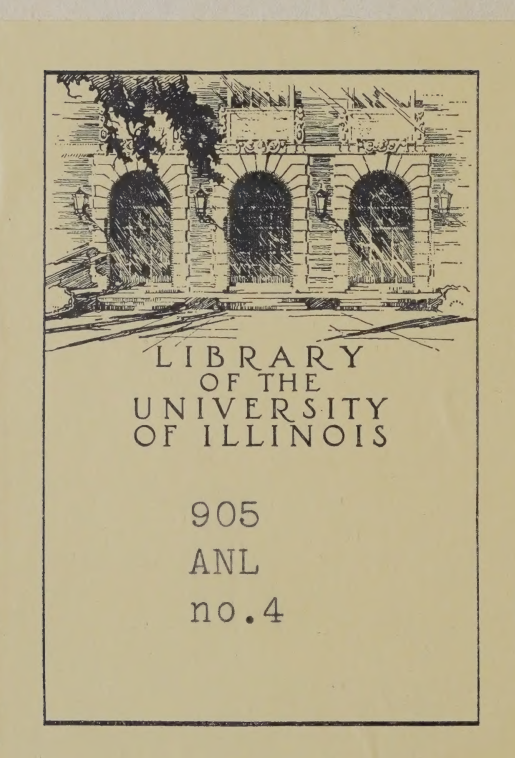

905
ANL
no.4



АННАЛЫ

ЖУРНАЛ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ

ИЗДАВАЕМЫЙ

РОССИЙСКОЮ АКАДЕМИЕЮ НАУК

ПОД РЕДАКЦИЕЙ

Академика Ф. И. УСПЕНСКОГО и Члена-Корреспондента Академии Наук Е. В. ТАРЛЕ

IV



ИЗДАТЕЛЬСТВО „ПЕТРОГРАД"
ЛЕНИНГРАД : : МОСКВА
1924

ОГЛАВЛЕНИЕ.

I. Статьи и исследования.

II. Некрологи.

III. Критика и библиография.

IV. Хроника.

АННАЛЫ

ЖУРНАЛ
ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ
ИЗДАВАЕМЫЙ
РОССИЙСКОЮ
АКАДЕМИЕЮ НАУК

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
Академика Ф. И. УСПЕНСКОГО
и Члена-Корресп. Академии Наук
Е. В. ТАРЛЕ.

№ 4



ЛЕНИНГРАД
1924

Печатано по распоряжению Российской Академии Наук. Май 1924 г. Непременный Секретарь, Академик С. Ольденбург.

Типография имени ВОЛОДАРСКОГО, Ленинград, Фонтанка, 57.

Ленинградский Гублит № 4542. Отпечатано 2.000 экз.

Научная поездка в Западную Европу.

Под влиянием все еще продолжающейся, хотя несколько ослабевшей, культурной изоляции России и теперь от ученого, которому удается провести несколько месяцев в Западной Европе, ждут не только, как прежде, извлечения новых материалов из библиотек и архивов, но прежде всего сведений об общих условиях если не жизни, то научной работы в западно-европейских странах. Считаю, поэтому, нужным предупредить, что я лишен возможности дать такую живую и яркую картину западно-европейской научной жизни, какую дала О. А. Добиаш-Рождественская в своих „Впечатлениях академического Парижа“. Виною этому прежде всего мое недостаточное практическое знание языка той страны, где мне пришлось главным образом работать,—Англии,—и другие причины личного характера, на которых я, конечно, не буду останавливаться. Сверх того, главной целью моей командировки было подготовление к печати английского перевода моей книги «Туркестан в эпоху монгольского нашествия», вышедшей еще в 1900 г. и требовавшей теперь, конечно, большого числа поправок и дополнений. На эту работу уходила большая часть моего времени; почти все остальные часы были посвящены столь же специальным занятиям: составлению курса из шести лекций по истории средне-азиатских кочевников для прочтения в King's College (по предложению Лондонского университета) и изучению вновь приобретенных восточных рукописей, преимущественно в Британском музее. Наиболее благоприятный случай ознакомиться с общим характером европейской научной жизни представлял состоявшийся в Брюсселе в апреле 1923 г. съезд деятелей исторических наук; но и там я, по характеру своих специальных занятий и интересов, сравнительно мало принимал участия в деятельности тех секций, где преимущественно сосредоточивалась работа съезда.

О своих специальных занятиях я сделал доклад в восточном отделении Русского Археологического Общества. Настоящая статья [1]) посвящена материалу менее новому, но интересному для более обширного круга: прочитанным мною книгам по археологии, истории искусства и т. п., также моим впечатлениям от прослушанных мною докладов и прений и, наконец, от занятий брюссельского конгресса.

---

[1]) Основу ее составляет доклад, прочитанный в заседании Российской Академии Истории Материальной Культуры 18 июля.

1.

После переезда через финляндскую границу (21 окт. 1922) и двухнедельного заключения на станции Келломяки в карантине, имевшем только политическое, а не санитарное значение, я прожил несколько дней в Гельсингфорсе (до отъезда парохода в Англию), встречая самое предупредительное отношение со стороны финляндских ученых, из которых мне был до тех пор лично знаком только один, проф. J. J. Mikkola. Население тоже ни чем не проявляло враждебного отношения к русским. Ученые сами обращали мое внимание на факт, что все улицы Александра, Николая, Владимира и т. п. сохранили свои прежние названия. В магазинах свободнее и охотнее, чем до войны, говорили по-русски. Жизнь в Финляндии постепенно налаживается, и финляндская марка становится все устойчивее. Вопросы, связанные с организацией высшей школы и вообще научной жизни, еще не вполне разрешены. Научные силы довольно скудны, что сознают и сами финляндцы; со стороны ученых, поэтому, не вызывает сочувствия открытие, рядом с прежде существовавшим университетом в Гельсингфорсе, двух новых в Або, финского и шведского. Сравнительно с прежним временем научные силы еще уменьшились вследствие возникшей после отделения от России необходимости дипломатического представительства в странах Запада и Востока; за отсутствием других подходящих лиц, эти должности отчасти было замещены специалистами-учеными. По примеру скандинавских государств, много внимания уделяется музеям.

Известно, что главная заслуга финляндской науки заключается в лингвистических и этнографических работах по изучению народов, объединявшихся прежде в урало-алтайскую семью. Такова и теперь деятельность едва ли не главной научной организации Финляндии, Финно-Угорского Общества (Suomalais-Ugrilainen Seura). По желанию Общества и его председателя, проф. E. N. Setälä, мною в заседании Общества был прочитан на немецком языке доклад о последних русских работах по изучению Туркестана; меня заранее просили говорить по возможности раздельно и внятно, так как значительная часть аудитории не вполне понимает немецкую речь. Из бесед с членами Общества я убедился, что и в этой области науки еще не вполне восстановлено общение между различными европейскими странами. Одним из главных фактов в истории туркологии за последние годы является открытие в одной из библиотек Диярбекра в Курдистане и издание в Константинополе трехтомного труда о турецком языке (заключающего в себе также богатый материал по этнографии, исторической географии и народной литературе), составленного во второй половине XI века на арабском языке Махмудом Кашгарским. Об этом памятнике было несколько статей в немецкой научной литературе [1]); между тем об его

[1]) Особенно статьи C. Brockelmann'а в Keleti Szemle, XVIII; Ostasiatisch Zeitschrift, VIII (Festschrift Hirth); Hirth Anniversary Volume.

существовании ничего не знали в Финляндии и даже, как я потом убедился, в Англии.

Взоры Финно-Угорского Общества по прежнему обращены в сторону России, где только и может собираться лингвистический и исторический материал по интересующим Общество вопросам. От меня старались узнать, насколько теперь возможно отправление из Финляндии в Россию научных экспедиций с такими целями. С особенным нетерпением ждет возможности продолжать свои исследования Kai Donner, установивший, как он мне сообщил, новый факт относительно народности камасинцев в Енисейской области, к которым он совершил путешествие в 1911-3 и снова в 1914 г. г. Камасинцы во время путешествия Кастрена, в 1848 г., говорили по-самоедски; Радлов, посетивший их через 15 лет, в 1863 г., уверял, что к тому времени они были совершенно отуречены [1]); но Доннер полвека спустя нашел среди камасинцев еще восемь человек, говоривших по-самоедски, из чего видно, что процесс отуречения не вполне закончен и до сих пор. В своей печатной статье [2]), посвященной специальному бытовому вопросу (о местных санях), Доннер даже называет камасинцев самоедским племенем (tribu samoyède), тогда как другие, вполне отуреченные самоеды, карагасы, названы у него татарами.

2.

Еще в Гельсингфорсе я ознакомился с вышедшими во время войны книжками главных немецких изданий по востоковедению, „Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft“ и „Der Islam“ (книжки, вышедшие после окончания войны, отчасти уже имелись в то время в Ленинграде). На этих изданиях должны были отразиться, хотя и в меньшей степени, чем на популярной литературе, политические и экономические стремления немцев во время мировой войны, в особенности союз Германии с Турцией. Статьи, помещенные в ученых журналах, конечно, существенно отличались от статей популярного журнала «Die Islamische Welt», о котором мне пришлось говорить в другом месте; [3]) все же ученые статьи в общем не соответствуют прежнему уровню немецкой науки. В своей статье о восточно-иранском вопросе я привел мнение Мартина Хартманна (M. Hartmann), что углубление в мелочные подробности не способствует, а только препятствует пониманию основных признаков явлений и их взаимной связи [4]). Как я потом узнал, М. Хартманна в то время уже не было

---

[1]) W. Radloff, Aus Sibirien, I, 205.

[2]) Finnisch-Ugrische Forschungen, XV (1915), 91—104. Печатание этого издания было задержано во время войны распространенным и на Финляндию запрещением писать по-немецки, после войны—недостатком денежных средств. Оттого тт. XIV и XV, за 1914—15 гг., фактически вышли только в 1922 г.; библиография доведена только до 1906 г.

[3]) Зап. Вост. Отд. Арх. Общ., XXV, 451 и сл.

[4]) Изв. Акад. Мат. Культуры, II, 384.

в живых; над его могилой было сказано, на страницах «Der Islam», что он не был типичным немецким профессором, что в нем выработалась привычка, естественная для журналиста, но пагубная для ученого—писать так, как будто бы его ждал наборщик, и еще сырыми посылать свои статьи в типографию [1]). Во время войны и в послевоенные годы эта привычка получила широкое распространение, между прочим, и в Германии, отражение ее мы нередко видим на страницах того же «Der Islam», в первые годы своего существования (он выходит с 1910 г.) старавшегося высоко держать знамя строгой научности. Довольно много статей поместил в этом журнале за последние годы, преимущественно о турецком исламе, Franz Babinger, в 1921 г. читавший в Берлинском университете вступительную лекцию об исламе в Малой Азии, напечатанную потом в «Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft» [2]). Об этой лекции патриарх немецких и вообще европейских ориенталистов, Theodor Nöldeke, поместил статью в „Der Islam", где с похвалой отзываясь об учености лектора, в то же время отметил его крайне некритическое отношение к источникам и вытекающие отсюда односторонние и преувеличенные выводы [3]). В той же книжке того же журнала напечатана статья Фр. Бабингера „Zur Frühgeschichte des Naqschbendi-Ordens", где небрежность в пользовании источниками доведена до последней степени [4]); о получившихся вследствие этого несообразностях мною послана заметка в редакцию «Der Islam».

Статья Nöldeke главным образом заключает в себе возражения, конечно, совершенно основательные, против мнений Бабингера о широком распространении в Малой Азии шиитства и вообще об истории шиитских сект. Несмотря на отдельные недосмотры, статья свидетельствует о редкой свежести мысли, до сих пор сохраненной ученым, родившимся в 1836 г. Еще реже бывает, что ученый, достигший такого возраста, способен изменять свои мнения под влиянием чужих трудов; так, Nöldeke, очевидно, главным образом под влиянием труда J. Wellhausen'a [5]), признает теперь, что ошибался в своей прежней оценке халифа Омара II и его царствования [6]). Но такое исключительное явление не уничтожает значения факта, что среди немецких востоковедов быстрее обыкновенного происходит исчезновение ученых старого поколения, без замены их равноценными силами. За последнее восьмилетие немецкое и вообще средне-европейское востоковедение, кроме уже упомянутых М. Хартманна и Вельхаузена, лишилось Гольдциэра, Зейбольда, Швалли, Фр. Делицша, Я. Барта, Штрака,

---

1) DI, X, 228.
2) ZDMG, LXXVI, 126—152.
3) DI, XIII, 70—81.
4) Ibid., 105—107.
5) Der Arabische Reich und sein Sturz, Berl. 1902.
6) Ср. об этом халифе мою статью в „Христианском Востоке", VI, 203—234.

Бецольда, де-Грота [1]), специалиста по истории искусства Макса фан-Бершема и специалиста по арабской математике Генриха Сутера (перечень, вероятно, неполон).

Из перечисленных имен историкам-неориенталистам, вероятно, ближе всего имя Max van Berchem, этого, как сказано в его некрологе, „великого светила на небе востоковедной науки", одного из лучших, если не лучшего, специалиста по мусульманскому искусству и эпиграфике. В том же некрологе, составленном E. Herzfeld'ом [2]), отмечено, что Max van Berchem, женевец по рождению, по своему воспитанию и всей своей научной деятельности одинаково близкий двум враждующим народам, французскому и немецкому, более многих других страдал от прекращения международного сотрудничества в науке и в минуты упадка духа говорил о бесцельности работы для человечества, снова погружающегося в варварство.

Несомненно, что в области истории искусства и вообще истории культуры, где все основано на сравнительном изучении памятников различных стран и народов, больше, чем во многих других областях, сознается необходимость скорейшего восстановления международного сотрудничества. Из тех произведений западной науки, с которыми мне удалось ознакомиться, я постараюсь выделить, отчасти в связи с прочитанными мною лекциями о кочевниках, отчасти в связи с упомянутой статьей о „Восточно-иранском вопросе", те книги и статьи, которые посвящены вопросу о культурных связях между Ближним и Дальним Востоком.

3.

Известно, что древность дошедших до нас вещественных памятников культуры Китая и Индии не находится ни в каком соответствии с древностью самых культур. Древнейшими известными памятниками китайского пластического искусства считались до последнего времени памятники II в. по р. хр. [3]); в 1914 г. экспедиции Segalen удалось открыть в провинции Шэнь-си статую коня перед гробницей китайского полководца, умершего в 117 г. до р. хр. [4]). Еще более ранние памятники были открыты, приблизительно в то же время, немецкой экспедицией Г. Миллера (Herbert Müller, 1912—14) в провинции Шань-дун: глиняные фигуры коней, относящиеся, судя по найденным вместе с ними монетам, к 250 г. до р. хр.

В области изучения Передней Азии продолжается стремление дойти непременно до древнейших остатков культуры; поэтому Британский Музей в 1918 г. возложил на кап. R. Campbell Thompson про-

---

[1]) Он скончался 24 сентября 1921 г. (ср. теперь „Восток", кн. 3, стр. 163), следовательно, в то время, когда была напечатана моя рецензия в «Анналах» (II, 261—267), его уже не было в живых.

[2]) Dl, XII, 206—213.

[3]) Ср. мою статью (некролог Э. Шаванна) в Изв. Акад. Наук 1918 г. стр. 1773.

[4]) ZDMG, LXVIII, 651, со ссылкой на Rev. Or. 1914, I, 480; II, 20.

должение прерванных еще в половине XIX в. [1]) раскопок на месте древнейшего, как полагают, сумерийского города Эриду, ныне холма Абу-Шахрейн или Абу-Шухур. Вслед за отчетом о раскопках в том же органе [2]) помещена статья оксфордского проф. S. Langdon о происхождении и расовых особенностях сумерийцев. И Томпсон, и Лэнгдон сближают находки в Эриду с керамикой курганов около Анау, в Закаспийской (ныне Туркменской) области (с которой сближали также находки в Сузах); оба склонны относить анауские находки к более раннему времени, чем находки в Эриду, и поэтому предполагают переселение народа с востока на запад [3]). Лэнгдон высказывает такое предположение о самих сумерийцах; по его словам, в области языка, религии и культуры есть факты (certain philological, religious and cultural evidence) в пользу происхождения сумерийцев из современного русского Туркестана; в северной Месопотамии они появились не позже 5000 г. до р. хр. По мнению Томпсона, предметы, обнаруживающие сходство с анауской керамикой, принадлежат не сумерийцам, а народу совсем другой расы, находившемуся в родстве с доисторическим населением Суз; этот народ, а не сумерийский, выселился в древности из Памиров и Гиндукуша.

Английские статьи не скоро сделались известными в Германии; еще в 1922 г. в „Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft" об английских раскопках говорится: „Nähere Nachrichten über die Ergebnisse sind noch nicht bekannt geworden" [4]). О тех же раскопках и своих собственных ассириолог H. R. Hall, хранитель египетских и ассирийских древностей Британского музея, предполагал сделать доклад [5]) на Брюссельском съезде, на который он, однако, не мог прибыть; устроитель секции истории Востока на съезде, проф. L. de la Vallée-Poussin, изложил краткое резюме доклада. H. R. Hall в 1919 г. производил раскопки в Уре, продолженные в 1922 г. другими лицами; об этих и предшествующих раскопках им была напечатана газетная статья [6]), где был отмечен факт, что раскопками Томпсона впервые было установлено существование в Вавилонии неолитической или, по крайней мере, ранней халькολитической культуры; на черепках был тот же геометрический орнамент, который применялся в те времена от Хэ-нан'и в Китае [7]) через Туркестан, Персию, Месопотамию и Анатолию до Фессалии. Руководитель раскопок 1922 г., Woolley, до конца

---

[1]) О раскопках 1855 г. см. Б. Тураев, История древнего Востока, I², 77.

[2]) Archaeologia or miscellaneous tracts relative to antiquity published by the Society of Antiquaries of London Vol. LXX. Second series vol. XX. 1920.

[3]) О других мнениях ср. Изв. Акад. Мат. Культуры, II, 362 и сл.

[4]) ZDMG, LXXVI, 97.

[5]) Под заглавием: „The recent excavations at Ur and Eridu and the early History of the Babylonian Civilisation".

[6]) Observer, 25, III и 1, IV, 1923.

[7]) О найденных там (еще в 1899 г.) предметах см. теперь L. C. Hopkins, The Royal Genealogies on the Honan Relics (Hirth Anniversary Volume, 1923, p. 194—205).

марта 1923 г. еще не возвращался в Англию [1]). В той же газетной статье говорится об отсутствии средств у правительства и общественных учреждений в эти трудные времена; вся надежда возлагается на частных меценатов, незадолго перед тем давших Британскому музею средства для производства интересных раскопок в Кархемыше. Вообще большие расходы, связанные с мандатом на управление Месопотамией, все больше вызывают неудовольствие английского плательщика податей (tax-payer), и все громче раздается требование как можно скорее покинуть Месопотамию.

4.

Не раз уже высказывавшееся мнение о кочевниках, как посредниках в культурном взаимодействии между Востоком и Западом, повторялось и в последние годы; таково было и общее направление журнала „Turan", выходившего в Венгрии в 1918 г. Zoltan de Takàcs доказывает в статье „Huns et Chinois", что гунны ознакомили Европу с китайским искусством, тому же автору принадлежит крайне отрицательный отзыв об „Altai-Iran" Стржиговского [2]). Известный исследователь Средней Азии A. v. Le Coq поместил в том же журнале статью о четвертой немецкой экспедиции в Турфан (1913—4 г.г.), где высказывается мнение, что другие кочевники, юечжийцы (индоскифы), ознакомили китайцев со скифской бронзовой культурой. Фон-Лекоку принадлежит также статья о поздне-античном кувшине из Хотана.

Культурным сношениям не могли не способствовать основанные кочевниками обширные империи, подвергавшиеся культурному влиянию с востока—из Китая, с запада—из Передней Азии, с юга—из Индии. Двум самым обширным кочевым империям, турецкой VI в. и монгольской XIII в., и образовавшимся после их распадения государствам преимущественно были посвящены мои лекции о среднеазиатских кочевниках. Содержание шести лекций, прочитанных в King's College, было потом изложено мною более кратко в докладе „The Nomads of Central Asia, their past and present", прочитанном 27 марта в Royal Antropological Institute. В основу мною были положены взгляды покойного академика В. В. Радлова [3]); кроме того, вследствие популярности в настоящее время, в особенности в Англии, „Кембриджской средневековой истории" (Cambridge medieval history), я довольно подробно остановился на вошедшем в I том этой истории очерке Т. Пейскера, посвященном кочевникам и кочевой жизни, как „Asiatic background" европейской истории. Слушатели вполне согласились с моими возра-

---

[1]) Сведения об этих последних раскопках, вероятно, вошли в доклад H. R. Hall „The British Museum excavations at Ur, El-Obeid and Shehrei, furthenr discoveries", прочитанный 17 июля 1923 г. на юбилейном празднестве Royal Asiatic Society.

[2]) Об этой книге см. «Изв. Акад. Мат. Культ.», II, 361 и сл.

[3]) Особенно в книге „Aus Sibirien" и в предисловии к изданию Das Kudatku Bilik Theil I. Der Text in Transscription herausgegeben (St.-P. 1891); по-русски „К вопросу об уйгурах", Спб. 1893 (Приложение к LXXII тому Зап. Акад. Наук, № 2).

жениями против двух мнений Пейскера: что началом приручения животных было содержание их в ограде для жертвоприношений, и что существует только одна местность, где мог сложиться быт конных кочевников—„турано-монгольские степи“ (Turanian-Mongolian steppes and deserts). Более спорными представлялись собранию мои возражения против одностороннего представления Пейскера о кочевниках, как врагах и разрушителях всякой культуры, и мои попытки доказать, что упадок благосостояния Персии и в особенности Туркестана происходил не в эпоху высшего могущества монгольской империи, но в эпоху ее распадения и вызванной этим анархии, и что на всем пространстве бывшей монгольской империи, от Китая до России, мы в после-монгольскую эпоху видим больше политической устойчивости, чем до монгольского завоевания.

С историей кочевых империй отчасти связано распространение на востоке передне-азиатских религий, христианства, манихейства и впоследствии ислама, отражавшееся также в области искусства и литературы. Китай VII—IX веков представляет картину тесного взаимодействия различных религий, передне-азиатских и восточно-азиатских, как между собой, так и с китайским государственным культом.

В этом взаимодействии приняло участие и христианство, как видно из христианско-китайского памятника—надписи 781 г. в Си-ань-фу, где, несмотря на резкие нападки на буддизм и даосизм, проявляется несомненное влияние буддийской и даосийской терминологии. К обширной литературе об этой надписи за последние годы прибавилось несколько новых трудов; сюда относятся статья Лайонеля Джайльса [1]) в бюллетене английской школы восточных языков 1917—20 г.г. и вышедшая в 1916 г. книга японского профессора Саэки [2]). Заметки Л. Джайльса чисто филологические и касаются исключительно толкования отдельных мест; в заключение воздается должное учености автора надписи, его „изящной мозаике намеков и цитат из всей китайской литературы“, но произносится суровый приговор („not a real religion, but a sham“) над китайским несторианством и его беспринципным эклектизмом. В труде Саэки привлечен некоторый новый материал из китайских сборников надгробных надписей, где рассказывается о карьере в Китае полководца из персидских христиан, умершего в 710 г. [3]). Проф. Саэки [4]) напоминает также о факте, уже приведенном в известность другим японским ученым, Такакусу [5]), именно о совместном переводе буддийской сутры на китайский язык индийцем Праджной и персом-христианином Адамом (его китайское

[1]) Lionel Giles, Notes on the Nestorian Monument at Sianfu (Bulletin of the Scho of Oriental Studies 1917, p. 93—97, 1918, p. 16—29; vol. I, part III, p. 29—49; part I p. 15—26).

[2]) P. Y. Saeki, «The Nestorian Monument in China». Lond. 1916.

[3]) The Nestorian Monument, p. 257 и сл.

[4]) Ibid. p. 72 и сл.

[5]) T'oung Pao, 1-я серия, VII (1896), 589. См. также Chavannes et Pelliot в Journ. As. 11, I, 134.

имя было Kingtsing), автором надписи в Си-ань-фу: труд был поднесен китайскому императору Дэ-цзуну (Te Tsung 780—805), отозвавшемуся об эклектизме в области религии столь же резко, как теперь Джайльс. Говорится, что Праджна не знал по-китайски, Kingtsing не знал ни санскритского языка, ни буддизма, и вводил в перевод буддийского текста христианские представления; между тем, по мнению императора, религиозное учение ценно и благотворно только тогда, когда оно преподается в чистом виде, без примеси чужих верований.

5.

Временем наиболее тесного сближения Запада и Востока была, как известно, эпоха монгольского владычества. Несмотря на сравнительно большое число трудов, посвященных монгольской империи, многое еще остается неясным, и продолжаются попытки привлечения новых материалов или иного освещения прежних. По смелости вывода обращает на себя внимание статья E. Herzfeld'a «Alongoa» [1]). Известно, что Алонгоа, собственно Алань-хоа, была по монгольской легенде матерью Бодунчара, отдаленного предка Чингиз-хана. Бодунчар и двое из его братьев родились без отца; их мать забеременела от луча света, проникшего к ней через верхнее отверстие юрты. По версии монгольского эпического сказания [2]), наиболее подробной, Алань-хоа рассказывала, что таким путем приходил к ней «человек золотистого цвета» и гладил ее по брюху; исходивший от него свет проник в ее утробу; уходя, он «взбегал по лучам светил, словно желтый пес» [3]). Все это мало похоже на рассказ Плутарха о видении Олимпиады, матери Александра, где говорится о поражении царицы молнией, о поднятии из раны пламени, разделившегося на языки. Тем не менее Herzfeld считает зависимость монгольской легенды от греческой несомненным фактом, и даже в имени Алань-хоа (имеющем вполне ясную монгольскую этимологию) он видит только искажение имени Olympias, с обычной в арабском алфавите заменой буквы ф, часто выражающей звук п, буквой k (q); предполагается, что при дворе Чингиз-хана читалось сказание об Александре с таким искажением имени его матери, и что отсюда возникла монгольская легенда. Попутно греческая легенда сопоставляется и с евангельским рассказом о рождении Христа; но для христианской легенды зависимость от греческой признается только вероятной, для монгольской—несомненной.

---

[1]) DI, VI, 317—327.

[2]) Переведено с китайского (впоследствии был открыт монгольский подлинник) под назваием Юань-чао-ми-ши („Секретная история монголов") Палладием Кафаровым в „Трудах членов Росс. Дух. Миссии в Пекине", т. IV, стр. 23—160. Часть переведена E. Blochet в его „Introduction à l'histoire des Mongols de Fadl Allah Rashid ed-din", Leyden-London 1910, p. 272—298.

[3]) Так по переводу Палладия (стр. 26); по переводу Blochet (p. 279): „Il partait à la lumière du soleil et de la lune en rampant comme un chien jaune".

Автор во время написания своей статьи находился в действующей армии и потому не мог произвести той работы, которая казалась бы необходимой. Им не выяснена зависимость всех мусульманских версий монгольской легенды от труда Рашид-эд-дина, где легенда сообщается в нескольких вариантах [1]). Не выяснена и судьба легенды об Александре на мусульманской почве. Herzfeld слышал в 1913 г. курдский рассказ, в котором легенда об Александре соединена с легендой о Мидасе, и этот рассказ представляется ему новым фактом, которому будто бы нет параллели в литературе [2]); между тем эта версия легенды об Александре приводилась и по устным рассказам (армянским и турецким [3]), и даже со ссылкой на литературный источник — одно из сочинений плодовитого арабского писателя Суюти (умер в 1505 г. [4]). У армян [5]) есть и легенда об Александре, несколько более, чем рассказ Плутарха, хотя все же очень мало похожая на рассказ об Алань-хоа; по этой легенде настоящим отцом Александра был колдун, приходивший к Олимпиаде в образе дракона. Несмотря на крайнюю шаткость теории Herzfeld'a, в пользу ее высказываются теперь авторитетные ученые, как Ed. Meyer [6]) и, повидимому, C. H. Becker [7]). Заслуживает внимания заключительное замечание Herzfeld'a, что легенды о сверхъестественном рождении мировых завоевателей и основателей религий—восточного происхождения, но что все мысли древнего Востока были заимствованы Востоком после-александровским только через посредство эллинизма. В такой общей форме это утверждение может быть, преувеличено, но, несомненно, заключает в себе значительную долю истины. Еще в 1912 г. мною было отмечено [8]), что Багдад, политический и культурный центр ислама в лучшую для него эпоху, отстоит всего на 100 верст с небольшим от Вавилона, культурной столицы древнего Востока; и все же те астрономические и географические представления, которые когда-то перешли из Вавилона к грекам, были известны мусульманам только в их греческой форме и обозначались греческими терминами.

Более достоверный характер имеют относящиеся к монгольской эпохе данные, извлеченные из китайских источников профессором-

[1]) В одном месте (Труды Вост. Отд. Арх. Общ. XIII, 9) сказано только: „через отверстие кибитки вошел свет и в живот ее вошел“;—несколько ниже (ib. 10) сказано, что она видела во сне, как к ней приходил „некто светлорусый и голубоокий“; по другому месту, (ibid. 49) приходил свет в образе живого человека.

[2]) DI, VI, 325: „wie ich glaube, literarisch unbelegte Vermischung der Alexandersage mit der Midassage“.

[3]) Доклад Minas Tchéraz на Первом Международном Съезде по истории религий; ср. Revue de l'histi des religions, XLIII, 345—351, со ссылкой на статью E. Lalayan в журнале Azgagracan Handés.

[4]) Ссылка на Суюти у Исмаила Хакки в его Комментарии на Коран, III, 624; оттуда заимствована Н. П. Остроумовым в „Среднеаз. Вестн.“ сент. 1896, стр. 34.

[5]) В той же статье Minas Tchéraz; указанием на нее я обязан Ю. Н. Марру.

[6]) Ed. Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums, I, 55.

[7]) ZDMG, LXXVI, 23.

[8]) Мир Ислама I (1912), 5.

синологом P. Pelliot; но и этот материал в том виде, как он опубликован в настоящее время, еще не вполне сделался достоянием науки. Pelliot совершил в 1908 г. экспедицию в Среднюю Азию; результатом ее должен быть многотомный труд «Publications de la Mission Pelliot», в котором два или три тома будут посвящены истории распространения в Китае персидского несторианства. Но эти томы, по словам самого автора, появятся еще не скоро, и потому им в 1914 г. была напечатана статья[1]) с изложением главных результатов его исследования, почти без ссылок на источники; вследствие этого читатель не всегда получает возможность судить о том, насколько выводы автора могут быть признаны доказанными. Ограничусь одним примером, наиболее близким мне по моим собственным исследованиям. При монгольском дворе в Китае во второй половине XIII в. был сановник-христианин, которого китайская история называет Ай-се (Ngai-sie), мусульманские источники—Исой (средне-азиатское произношение имени Иса—Айса); по китайской истории, он был франком и принимал участие в деятельности китайских ученых учреждений. Среди писем папы на имя монгольских государей и сановников того времени есть письма на имя знатного пизанца Изола, собравшего в стране татар большие средства, очевидно, посредством торговли, и пользовавшегося своим влиянием для покровительства своим единоверцам. Под влиянием совпадения времени и сходства имен должно было возникнуть предположение, которое и было высказано мною[2]), что сановник Ай-се или Иса и пизанец Изол—одно и то же лицо; для культурной истории не только Востока, но и Европы представлял бы интерес факт, что европеец XIII в., притом не-духовного звания (у Ай-се были жена и дети), мог, подобно иезуитам XVII в., наравне с мусульманами быть членом китайских ученых учреждений. Pelliot решительно отвергает мое мнение и полагает, что Иса был христианином из западной Сирии, природным языком которого был арабский. Главный его довод—что отец и дед Ай-се носили имена арабских христиан; между тем эти имена до сих пор никем не были приведены, не приводит их и Pelliot и не говорит, где он их нашел. Только из его частного письма от 7 февраля 1923 г. я знаю, что имена находятся в надгробной надписи Ай-се, составленной китайским ученым Чэн-цзюй-фу (Tch'eng kiu-fou) и сохранившейся в собрании сочинений этого ученого; имя отца было Бу-лу-ма-ше (Pou-lou-ma-che), имя деда—Бу-а-ли (Pou-a-li). Pelliot не мог определить, какие арабские имена приводятся в этих транскрипциях, но считал несомненным, что слогом Бу передается арабское Абу. Едва ли этого достаточно, чтобы утверждать, что «les noms du père et du grand-père de Ngai-sie sont les noms de chrétiens arabes».

---

[1]) Chrétiens d'Asie Centrale et d'Extrême-Orient (T'oung-pao, 2-e Série, Vol. XV, № 5, Déc. 1914).

[2]) В двух статьях: 1) Пизанец Исол (Зап. Вост. Отд. Арх. Общ., VI, 327—329); 2) Европеец XIII в. в китайских ученых учреждениях (ibid., XXII, 160—170).

25 октября 1922 г. Pelliot в соединенном собрании пяти парижских Академий произнес речь: «Mongols et papes aux XIII-e et XIV-e siècles». Эта речь, опубликованная Institut de France, также показывает, что Pelliot располагает новым и интересным материалом о сношениях между Европой и Монгольской империей. Между прочим подтверждаются слова Иоанна де Плано Карпини, что данную ему и его спутникам в 1246 г. при дворе Гуюка татарскую грамоту «переписали по саррацински» [1]); оказывается, что до сих пор в архиве Ватикана сохранился персидский текст грамоты с печатью великого хана, сделанной, по словам Плано Карпини, русским мастером Кузьмой [2]). С тех пор документ уже обнародован [3]); надо надеяться, что в не слишком отдаленном будущем выйдут в свет и другие работы Pelliot, о которых было объявлено в печати; сюда относится исчерпывающее исследование о надписи в Си-ань-фу [4]) и издание монгольского текста «секретной истории монголов». Выполнить эту последнюю работу в сравнительно недавнее время предполагал в России покойный проф. А. М. Позднеев [5]); потом ее взял на себя Pelliot, писавший в 1920 г., что надеется «publier ce travail prochainement» [6]).

6.

Я могу сказать только несколько слов об изучении западной части мусульманского мира, более близкой читателям-неориенталистам, но более далекой от моих личных занятий. В статье, посвященной памяти главного исследователя мусульманской Испании, Дози, мною было указано, что Дози не обратил никакого внимания на вопрос о преемственности развития городской жизни в римскую эпоху, при вестготах, при арабах и после; приэтом мною было высказано предположение, что уровень культуры Испании в эпоху арабского завоевания был не так низок, как можно было бы заключить из слов Дози [7]). В таком направлении, повидимому, теперь и выясняется этот вопрос, благодаря четырехтомной истории Испании Альтамиры (Altamira), вышедшей вторым изданием в 1911 г. [8]), причем в 1918 г. содержание этого труда было вкратце изложено на английском языке американским ученым [9]). При вестготах не только удержались провинциальные и муниципальные советы римского периода, но их положе-

---

[1]) Перев. А. И. Малеина, стр. 58.

[2]) Ibid. 57.

[3]) Revue de l'orient chrétien, 1923.

[4]) Bulletin of the School of Or. Studies, I, part IV, p. 16.

[5]) Ссылка на неоконченное литографированное издание Юань-чао-ми-ши встречается в русской литературе уже в 1912 г.; ср. Зап. Вост. Отд. Арх. Общ., XX, 161. Вопрос об издании был вновь поднят в 1914 г.; ibid. XXII, стр. XXXV.

[6]) Journ. As. 11, XV, 132.

[7]) «Изв. Р. Акад. Н.», 1921, стр. 238.

[8]) Historia de Espana y de la civilizacion espanola.

[9]) Ch. E. Chapman, History of Spain, New Iork 1918.

ние даже улучшилось, вследствие освобождения их от ответственности за уплату податей. Другими словами, при вестготах в Испании не было того упадка городской жизни, как при франках в Галлии.

Большой отклик имела и вызвала целую литературу [1]) попытка D. Miguel Asin Palacios [2]) доказать зависимость Божественной Комедии Данте от мусульманских, особенно аверроистских [3]) эсхатологических представлений.

Наконец, позволяю себе коснуться в нескольких словах предмета, совершенно чуждого мне, но близкого читателям «Аннал», именно деятельности Альфонса Олара (Aulard), организатора коллективной работы по изучению французской революции. Сведения о нем, приведенные во второй книжке «Аннал», прерываются на 1917 г., когда Олар от имени Франции приветствовал русскую революцию и оканчивал свое приветствием девизом: «Лишь одна любовь созидательна, ненависть бесплодна» [4]). Тот же девиз был положен в основу лекции, прочитанной Оларом в марте 1923 г. в Кембридже, на которой я имел возможность присутствовать. Лектор старался доказать, что творческим периодом во французской революции был только период, предшествовавший террору. Об организации изучения французской революции и об изданиях Société de l'histoire de la révolution française Оларом был сделан доклад также на брюссельском съезде.

7.

Выбор Брюсселя, как места съезда, одобрялся не всеми учеными, даже в союзной с Бельгией Англии; указывалось, во-первых, на отсутствие в Брюсселе интересных исторических памятников, во-вторых, на слишком свежие воспоминания о недавней войне. Первый довод едва ли был справедлив; экскурсии в Брюгге и на поле битвы при Ватерло, в которых мне удалось принять участие, были умело устроены и поучительны едва ли не для всякого историка. С другой стороны, опасения, связанные с политической атмосферой Бельгии, оправдались вполне; достаточно сказать, что в приветственных речах бельгийских ученых самый факт приезда иностранных гостей рассматривался, как выражение симпатии к Бельгии и ее политике. На других речах политического характера, произнесенных на съезде, особенно при его закрытии, я не буду останавливаться.

Россия была представлена на съезде слабее, чем предполагалось. Из трех делегатов Академии Наук только я один имел возможность пробыть на съезде все время; Е. В. Тарле не прибыл совсем; Н. П. Оттокар, живший во Флоренции, прибыл со значительным запозданием,

---

[1]) C. H. Becker в ZDMG, LXXVI, 27. К перечисленной там литературе можно прибавить статью A. Cabatuo в Revue de l'hist. des Rel. LXXXI, 333—360.

[2]) La escatologia Musulmana en la Divina comedia, Madr. 1919.

[3]) Ibid. p. 333. La filosofia dantesca es avicennista-averroista, mejor que tomista.

[4]) Анналы, II, 57.

вследствие позднего получения французской визы, но все-таки успел прочитать свой доклад: «Sur le rôle de la Commune et de la charte communale dans l'histoire des villes françaises au moyen âge». Из других русских ученых были И. И. Любименко, прибывшая из Парижа, где находилась в командировке, и прочитавшая доклад о проекте англо-русского союза в XVI и XVII вв., также несколько человек из наших бывших коллег, ныне постоянно живущих за границей, в том числе академик М. И. Ростовцев. Выдающийся московский историк А. Н. Савин, специалист по истории английских учреждений, предполагавший прибыть на съезд из Лондона, где он находился в командировке и занимался в архивах, скончался в Лондоне 29 января 1923 г.

Совершенно не будучи знаком с деятельностью прежних съездов, я не имею возможности судить о том, насколько отрицательные стороны брюссельского съезда были присущи и другим. Большое число докладов и секций неизбежно приводило к разбросанности. Секций было 13, но многие из них были разделены на подсекции; несколько секций, в дополнение к предусмотренным программой образовались уже на самом съезде. Труднее всего было следить за работами других секций членам секции истории Востока, собиравшейся в отдаленном Palais du Cinquantenaire, тогда как другие секции работали в Palais des Académies или в помещениях, расположенных вблизи его.

В секции истории Востока был прочитан мой доклад: „L'orientation des premières mosquées", основанный на статье, напечатанной мною по-русски в 1922 г.[1]); доклад не вызвал прений. В той же секции, в день моего председательства, был прочитан доклад М. И. Ростовцева: «La Russie méridionale et la Chine", иллюстрированный диапозитивами, в общем представлявший изложение и дальнейшее развитие уже известных русским ученым теорий докладчика о связи древней культуры южной России с культурой Дальнего Востока.

На других докладах, прочитанных в секции истории Востока, я не вижу надобности останавливаться: они перечислены в печатной программе съезда; сборник резюме докладов также был напечатан и роздан участникам съезда до начала его занятий. Едва ли также представляет интерес факт, что некоторые доклады были прочитаны не в той секции, для которой предназначались, или были перенесены из секций в общее собрание[2]).

Перехожу к имевшим отношение к Востоку докладам в секции истории средних веков; сюда относятся доклады L. Halphen „Les origines asiatiques des grandes invasions" и H. Pirenne „Un contraste historique: Mérovinigiens et Carolingiens". Содержание первого доклада опре-

---

[1]) Ориентировка первых мусульманских мечетей (Ежегодник Росс. Инст. Истории Искусств, I, вып. II, стр. 113—117).

[2]) Сюда относится доклад J. Capart „Les fouilles récentes de la Vallée des Rois", иллюстрированный превосходными диапозитивами. Ср. о тех же раскопках статьи В. Струве „Новые открытия в царском некрополе Фив" (Восток, кн. 3, стр. 150—159) и В. Викентьева „Фараон Тутанхамон и его гробница" (Новый Восток, № 3, стр. 362—371)

деляется его заглавием. Мысль о связи между средне-азиатскими событиями и так называемым „великим переселением народов", конечно, не новая; но докладчиком едва ли не не впервые было высказано предположение о связи событий второй половины IV в. с событиями, происходившими в Средней Азии на полвека раньше. Утверждение, что ориенталисты и общие историки до сих пор работают без всякого общения между собой, притом по различным методам, значительно преувеличено и едва ли применимо к таким ориенталистам, как покойный Эдуард Шаванн, и к таким общим историкам, как Теодор Линднер. Интересна была для меня личная беседа с докладчиком, которому поручено редактирование предпринимаемого во Франции коллективного труда по всемирной истории в 20 томах; по его словам, он все более переходит „avec armes et bagages" в стан исследователей истории Востока, убеждаясь в значении ее для мировой истории.

В основу доклада Анри Пиренна положена мысль, выраженная им в двух статьях, напечатанных во вновь основанном в 1922 г. органе: „Revue Belge de philologie et d'histoire" [1]). Вторая статья носит то же заглавие, как доклад, первой было дано несколько громкое заглавие: „Mahomet et Charlemagne". По мнению Пиренна, деятельность Карла Великого, тесно связанная с перенесением центра не только политики, но и культуры из бассейна Средиземного моря в бассейн Северного, была прямым последствием завоевания Сирии и Египта мусульманами, вследствие чего прекратились торговые сношения между юго-восточным углом Средиземного моря и южной Францией, остававшиеся довольно оживленными еще и в VI в. Вследствие этого эпоха Меровингов должна быть отнесена еще к эпохе античного мира, и только с эпохи Каролингов устанавливаются условия, характерные для Средних веков.

Критическое рассмотрение этой, во всяком случае, интересной мысли должно быть предоставлено специалистам. Для не-специалиста не вполне ясно, насколько мнение докладчика может быть согласовано с хорошо известным фактом быстрого исчезновения в эпоху Меровингов остатков римской цивилизации; сам Пиренн говорит об этом: „Ce qui subsistait encore de la civilisation romaine s'y dissout avec une rapidité surprenante. La barbarie y domine partout" [2]). Не затрагивается вопрос, не может ли упадок торговли Марселя находиться в связи с первыми проблесками торгового значения итальянских городов. Наконец, представление Пиренна о быстроте мусульманских завоеваний сильно преувеличено; по его словам, потребовалось немногим больше 50 лет, чтобы были захвачены области, „de la mer de Chine à l'Océan Atlantique" [3]). Известно, что до „mer de Chine" мусульманские завоеватели вообще не доходили.

[1]) Revue etc., t. I, janv. 1922, p. 77—86; t. II, № 2, avril 1923, p. 223—235.

[2]) Mahomet et Charlemagne, p. 83.

[3]) Ibid., p. 84 sq.

Мне удалось присутствовать также на двух заседаниях секции византийской истории; среди прослушанных мною докладов был интересный доклад Gabriel Millet о первоначальном виде купола св. Софии. Докладчик дает новое толкование тексту Агафия [1]) и доказывает, что первоначальный купол, обрушившийся 7 мая 558 г., имел эллиптическое основание и покрывал всю среднюю часть здания; пандативы, заполняющие теперь промежутки между четырьмя большими арками и основанием купола, возникли только при перестройке.

Gabriel Millet в той же секции прочитал доклад, присланный, по его просьбе, Н. Я. Марром (находившимся в то время в Париже): „Sur quelques termes désignant l'arc et la voûte“. Я не мог присутствовать при чтении доклада и слышал только часть прений, из которых было видно, что присутствовавшие имели совершенно неправильное представление о лингвистических теориях Н. Я. Марра и считали их основанными на подобном сближении культурных слов. Наконец, в той же секции известный деятель [2]) из иезуитов-болландистов патер P. Peeters прочитал доклад: „Sur la nécessité d'un dictionnaire onomastique de l'Orient médiéval“. При чтении доклада мне не пришлось присутсутствовать; в личной беседе с докладчиком я высказал ему свои сомнения, своевременна ли такая работа теперь, когда восточные тексты большею частью еще остаются неизданными. По мнению докладчика, это не является препятствием к выполнению работы, если руководство ею будет возложено на Н. Я. Марра. Насколько мне известно, Н. Я. такого предложения до сих пор не получал.

Из докладов, прочитанных в общем собрании, можно упомянуть о докладах М. И. Ростовцева «La crise politique et sociale du III-e siècle après Jêsus-Christ», Ф. Ф. Зелинского «La Sybille et la fin de Rome» и сэра William Ramsay «Anatolian influence in developing Hellenism». Особенный интерес представлял для меня последний доклад, в связи с известной мне частью теорий Н. Я. Марра. Докладчик остановился, между прочим, на слове dulos, «раб», не имеющем, по его словам, индо-европейской этимологии [3]), и привел известные слова Исихия (Hesychios), что dulos значит oikia, «дом». М. И. Ростовцев остановился преимущественно на внутренней жизни Римской империи, особенно на господстве солдатчины; главной причиной кризиса было, по его словам, восстание крестьян против городов. Ф. Ф. Зелинский проследил историю Сивиллы от отожествления ее с Кассандрой до возникновения христианства.

Дать общий свод прочитанных на съезде докладов, на основании опубликованных резюме, едва ли было бы возможно; слишком разнообразны были темы докладов, при полном отсутствии какого-либо

---

[1]) Agathias, Hist. V, 9.

[2]) О его заслугах И. Крачковский в Зап. Вост. Отд. Арх. Общ. XVIII, 0106.

[3]) Ср. K. T. Johansson в Indogermanische Forschungen, III, 232, где предложено, едва ли удачно, сближение с санскр. dâr, a «Haus, Weib» и толкование «Haus, als Kollektiv für das (weibliche) Hauspersonal».

общего плана занятий. Трудно было бы также установить связь между предметами занятий съезда и очередными задачами науки. Известно, что один из главных боевых вопросов современной исторической науки—вопрос о происхождении микенской или эгейской культуры и о месте ее в мировой истории. Между тем этой области был посвящен только один доклад, именно доклад греческого ученого M. N. Kyparissis по специальному вопросу об «Итаке» Одиссея. Докладчик склоняется в пользу Кефалонии, где раскопки последних лет привели к открытию большого числа предметов последнего периода микенской культуры, тогда как ни на Итаке, ни на Левкаде не найдено «de vestiges vraiment importants d'une civilisation mycénienne».

Остается еще упомянуть о постановлениях съезда, объявленных на его последнем заседании 15 апреля. Эти постановления касались: 1) возобновления международной библиографии исторических наук (взамен немецких Jahresberichte über die Fortschritte der Geschichtswissenschaft), согласно предложению венгерского проф. Horváth, едва ли не единственного представителя стран прежней средне-европейской коалиции, принимавшего участие в съезде; 2) издания международного органа по византиноведению (Etudes Byzantines), вместо «Byzantinisshe Zeitschrift», при участии М. И. Ростовцева; предложение внес бельгийский ученый H. Grégoire; насколько мне известно, оно уже приводится в исполнение; 3) издания Revue internationale d'histoire économique; предложение внес страсбургский профессор Lucien Febvre; 4) централизации архивного дела, без ущерба для самостоятельности отдельных архивов.

Главным языком съезда, конечно, был французский, хотя и английскому было отведено значительное место; на немецком языке не было ни одного доклада, хотя этот язык был, конечно, допущен правилами съезда; итальянский, как всегда, был слабо представлен. Сверх того, едва ли не в первый раз, был допущен испанский язык, на котором было заявлено два доклада, именно доклад R. Ballester из Вальядолида о Каталонской хронике XVIII века и (в секции истории медицины) доклад д-ра Fernandez de Alcade из Мадрида: «Mission civilizadora in Nuova Espana del Obispo Don Franz Antonio del Alcalde, reinando Carlos III». Были ли эти доклады фактически прочитаны, мне неизвестно. О допущении славянских языков не было речи, хотя местом следующего съезда в частных разговорах намечались Прага и Варшава. Оффициальное решение этого вопроса было отложено на три года, до 15 апреля 1926 г.

В. Бартольд.

Трапезунтская империя.

Приступая к изложению своей истории Трапезунтской империи, английский писатель Финлей [1]) высказывает следующие соображения по отношению к изученному им предмету. „Трапезунтская империя есть случайное явление, она не вызвана ни народными, ни государственными потребностями. Народные рессурсы не дошли до такого развития, чтобы нуждаться в перемене; ни в благосостоянии, ни в просвещении жителей не последовало увеличения; не было какого-либо неожиданного подъема и в национальном могуществе, который бы побуждал стремиться к преобладанию и заявить притязание на звание империи». Если бы это было так, то и тому молодому человеку, о котором повествует затем автор, едва ли бы удалось завладеть суверенными правами и основать новую империю в Трапезунте простым фактом принятия императорского титула и овладения местной администрацией. Точно так же неправильны и дальнейшие утверждения, что величие Трапезунтской империи существует только в воображении, что ее правительство обязано своим дальнейшим существованием лишь тому, что оно держалось установленных порядков, и не делало попытки изменить существующий социальный строй. Если бы в этом была сущность дела, то не было бы нужды говорить о расчленении империи накануне XII в., о центробежных силах, отвлекавших от единения с центром разнородные этнографические элементы, не успевшие спаяться с эллинизмом в плотное тело, о неоднократно выраженной у губернаторов (дука на местном языке) Трапезунта тенденции к автономности. Все эти явления хорошо отмечаются в истории Византии XII в. и их трудно согласовать со взглядами английского историка. Хотя в научном движении вперед после Фальмерайера, издавшего свою историю Трапезунта в 1827 г. [2]), сделано весьма мало, но нельзя не считаться с тем, что за истекшее столетие во многом изменился исторический метод и приемы исследования.

Недостаток фактического материала даже для внешней истории, несмотря на бойкое место, занимаемое Трапезунтом на мировом театре в средние века, оставляет в тени многое, что может привлекать внимание историка; предоставляется его пытливости знакомиться с сохранившимися археологическими памятниками, которые в состоянии

[1]) George Finlay, The History of Greece and of the Empire of Trebizond. Edinburg and London 1851 p. 353.

[2]) Fallmerayer, Geschichte des Kaiserthums von Trapezunt. München 1827.

бросить свет на полузабытые исторические факты и частию на внутреннюю жизнь империи. В предлагаемой небольшой статье мы желали бы ограничиться выяснением вопроса о том, из каких элементов состояло население империи, кем управляли и чем поддерживали внешний блеск и неприкосновенность империи ее цари, великие Комнины, с кого брали дани и пошлины и где находили силы и средства для защиты от внешних врагов. Как видит читатель, главный предмет предлагаемой беседы будет состоять в ознакомлении с территорией, занимаемой империей, и с жившим на ней населением. Если эти вопросы удастся нам хорошо поставить, то вместе с тем будет найден подход к решению тех сомнений, которые возникают при чтении книги Финлея.

На небольшой территории, захватывавшей неглубоко вдающуюся в материк полосу земли, казалось бы, не было места разнообразию населения. На самом деле это не так. Прежде всего сам город Трапезунт представляет значительную пестроту населения, что, впрочем, совершенно понятно для большого торгового центра, имевшего значение и складочного места для товаров восточных и европейских, и бойкого рынка для внутренней торговли и транзита. Кроме того, как центральный пункт имперской администрации и столица империи, Трапезунт заключал в своих стенах громадные массы служилых людей и богатых землевладельцев, живших здесь со множеством домочадцев и всяческой зависимой челяди. Торговые же интересы города привлекали сюда иностранных торговцев и множество рабочего люда, жившего наймом и поденной работой. Целые кварталы, прилегающие к морю, отданы были итальянской торговой колонии (генуэзцы и пизанцы).

Прежде всего следует отметить, что мы имеем пред собой территорию небольших размеров: в длину 434 килом., в ширину до 74, т.-е. до 300 верст с небольшим в длину и до 60 в ширину. Таковы были размеры империи. Если бы были хорошие пути сообщения, то всю имперскую область можно бы проехать в один день с севера на юг и в 4—5 дней с востока на запад. Но страна чрезвычайно гориста, малодоступна, третья часть ее покрыта лесом (даже теперь) и изрезана глубокими долинами, по которым протекают горные речки, и высокими утесами. В византийскую эпоху передвижение по стране было сопряжено с более значительными, чем ныне, затруднениями, вследствие крайней небезопасности от разбойников и притязаний местных полузависимых от короны властителей, которые почти на каждом переходе предъявляли требование уплаты пошлины.

Путевые записки Клавихо, бывшего во главе посольства, отправленного королем кастильским Генрихом III в 1403 г. в Самарканд к Тамерлану [1]), представляют громадный исторический интерес, как вообще

---

[1]) Narrative of the Embassy of Ruy gonzalez de Clavijo to the Courf of Timour at Samarcand. London. Hacluyt Society 1849. На русском в 28 т. Сборника отд. русского языка и слов. Академии Н. под ред И. И. Срезневского. СПБ. 1881.

по отношению к В., так в частности не имеют ничего равного относительно Трапезунтской империи. Поэтому воспользуемся здесь теми местами, которые рисуют в особенности географию и административный строй империи.

Посол оставался в столице империи от 11 до 26 апреля 1403 г. Ему предстояло направиться в ставку Тамерлана обыкновенным караванным путем, каким шли тогдашние торговые люди из Трапензунта в Персию. Уже и в этом отношении сообщения Клавихо имеют громадную цену. Но в особенности для характеристики административной власти центрального правительства в Трапензунте они не имеют ничего равного в литературе предмета. Приготовившись для трудного и продолжительного перехода, путешественники выступили в поход в воскресенье 27 апреля. Так как нынешняя шоссейная дорога на Эрцинжан и Эрзерум прошла приблизительно по прежнему караванному пути, то мы без особенных трудностей можем проследить направление Клавихо в пределах империи. И прежде всего отметим, что для сопровождения его и охраны был назначен военный отряд, которому было приказано находиться при посольстве, пока оно было на территории империи. Первый день пути шел по высоким горам, перерезанным долинами и горными речками. Хотя неизвестно, сколько часов посольство находилось в пути, но ночевка была на реке Пикситис, тур. Деирмень-дере, в разрушенной церкви. Все вероятности говорят за то, что переход продолжался не больше 3—4 часов, так что ночевка была на расстоянии 15—20 в. от столицы. Это обстоятельство весьма важно отметить в виду того, что потом случилось в понедельник утром. Именно, когда караван был готов в дальнейший путь, охранный отряд заявил, что не может следовать далее, потому что имеет основания бояться нападения со стороны врагов царя. В 20 верстах расстояния от Трапензунта уже имя царя не внушало страха, уже были враждебные для центральной власти влияния, хотя путешественники находились еще в пределах империи! Это подверждается и в самом повествовании Клавихо, из которого видно, что после следующего дневного перехода, в понедельник, караван остановился на ночлеге у царского замка, называемого Палеомацука, находившегося под властью царя. Военный округ Мацука, а в нем замок Палеомацука, хорошо известен по земельным актам; здесь была область влияния монастыря Завулонского, здесь жило деревенское население, о состоянии которого позволяют судить живые свидетели, т.-е. акты купли, продажи дарения и вообще движения земельной собственности. Можно думать что второй ночлег имел место в расстоянии не больше 40 в. от столицы, может быть даже менее, если принять в соображение замечание Клавихо, что в одном месте путь был завален свалившейся сверху скалой, что и было причиной остановки в этот день ранее срока. В среду путешествие было сопряжено с большими трудностями: горы покрыты снегом, переправа через горные ручьи. Остановка на ночь была близ крепости Цигана (еще 15 в.), построенной на утесистой

скале с единственным входом в замок через деревянный мост. Эта крепость принадлежала греческому рыцарю кир Льву Каваситу (Quirileo Arbosita). Как наименование горного прохода и крепости Цигана, так и имя крупного в то время трапезунтского вельможи, занимавшего пост дуки или кефалии Халдии и великого доместика, т. е. главнокомандующего военными силами империи, очень показательны в данном случае. Посольство находилось еще в границах империи, а между тем уже начинают сказываться центробежные стремления, ибо в Цигане и в дальнейших укреплениях по тому же пути обнаруживаются, повидимому, те самые, как выражалась покинувшая посольство охрана, враждебные царю силы, с которыми она не хотела вступать в борьбу.

Все это обнаружилось на следующий день, когда посольство приблизилось к укреплению по имени Кадака, в котором следует видеть нынешнее Ардаса. К этому отожествлению следует приходить, как на основании текста Клавихо, так и по другим данным, о которых сообщено будет ниже. У нашего путешественника находим в описании очень определенные черты, применимые именно к Ардасе. Она построена на крутом утесе поблизости от реки. Дорога шла по узкой тропе берегом реки, над самым утесом крепости идти можно было по одиночке. Небольшое число людей могло защищать этот проход против целой армии, и другого пути нет во всей этой местности [1]).

В Ардасе Клавихо со своими спутниками были в среду. Здесь были еще владения трапензутские, но с владетелем крепости произошли очень горячие объяснения, характеризующие положение дел. Из крепости вышли люди с требованием переговорить с путешественниками насчет имеющейся при них клади, и по этому поводу Клавихо делает следующее замечание: в замке живут воры и дурные люди, да и сам начальник их—тоже вор, по этой дороге путешествуют только большими караванами, соединяясь вместе несколько купцов, которые обязаны выдавать большие подарки начальнику этой области и его людям. К вечеру (т.-е. в среду) прибыли к крепости по имени Дориле (Dorile), которая имела прекрасный вид [2]). Послы узнали, что повелитель страны жил в этом замке, и они послали драгомана с тем, чтобы известить о себе, кто они. Но, приближаясь к самой крепости, увидели всадника, который сказал им, что начальник крепости предлагает им остановиться и сложить свой багаж в ближайшей церкви. Он же объяснил, что существует обычай, обязательный для путешественников, вносить известную пошлину в пользу начальника крепости,

---

[1]) Lynch. Armenia. Travels and Studies. London 1901. vol II. p. 243. Линч описывает всю нынешнюю шоссейную дорогу от Трапезунта до Эрзерума (II. p. 240, 225). От Трапезунта до Ардасы у него насчитывается до 60 миль. Другой более краткий путь идет на Сумелу; ясно, что Клавихо держался первого пути.

[2]) Отожествить это название весьма трудно. Нужно бы ожидать Аргирокастр в Халдии или нын. Гюмушхане, где по всей вероятности и была резиденция дуки Халдии, с которым испанский посол и вступил здесь в личные объяснения.

и что им следует исполнить это. Далее он сказал, что его господин имеет в горах военных людей, ведущих с турками войну, что он живет от сборов с путешественников, следующих этой дорогой, и от военной добычи. Если бы послы пожелали посетить начальника крепости, чтобы оказать ему внимание, то им было выражено мнение, что предпочтительней этого не делать, а что утром на следующий день он сам посетит их.

Утром 1 мая начальник крепости Кавасит, окруженный военной свитой в 30 человек, прибыл к месту расположения лагеря путешественников. Они все спешились и сели. Кавасит предложил послам сесть рядом с ним. В разговоре он дал понять, что его область скалиста и непроизводительна, и что он находится в постоянной войне с турками, своими соседями. Вследствие этого его людям нечем жить, исключая того, что дают путешественники и что им удастся добыть у соседей. Поэтому они должны оказать ему содействие одеждой и деньгами.

Послы отвечали, что они не купцы, что государь их испанский король, послал их к Тимур-бегу, и что у них нет ничего для уплаты или выдачи подарков.

Посол Тамерлана заметил, что ему хорошо известно, что трапезунтский император есть господин этой земли и вместе вассал Тамерлана, и присоединил, что все у них имеющееся принадлежит Тимуру и следовательно они должны свободно следовать через эту землю. Но прибывшие из крепости возразили, что хотя и справедливо все, что сказал посол Тамерлана, но что единственный источник существования для них заключается в том, о чем они говорили, и во всяком случае путешественникам придется уплатить то, что с них требуется. В виду такого категорического заявления, послы предложили один кусок ярко-красной материи и серебряный кубок, а монгольский посол дал кусок багряной материи флорентийского производства и штуку полотна. Но это не удовлетворило посетителей, и они просили надбавки. Несмотря на все вежливые слова, обращенные к ним, они продолжали настойчиво требовать исполнения их просьбы, говоря, что словами делу не поможешь. Тогда послы принесли еще кусок камлотовой материи и передали его военным людям из крепости. Наконец, последние удовлетворились, и начальник крепости сказал, что караван будет снабжен его охраной до области Арсинга, которая принадлежит Тамерлану [1]). Наняты были лошади под караван, оплачен эскорт и в пятницу послы двинулись в путь. Утром в час обедни они подошли к крепости, также принадлежавшей Каваситу, где должны были снова уплатить пошлину. В полдень они были в долине, где, по дошедшим до них слухам, была крепость, принадлежавшая туркам, находившимся в войне с Каваситом, там же был военный отряд, подстерегавший путеше-

[1]) Clavijo, p. 67, the lane of Arsinga и далее p. 68 a town of Arsirga. Следует думать здесь не о городе, а об области, зависящей от Эрзерума. Границы между трапезунтскими и монгольскими владениями были между Гюмушхане и Байбуртом.

ственников. К вечеру они подошли к городу Alangogaza; здесь покинул их отряд, данный Каваситом. В этом укреплении караван ступил на почву, занятую монгольскими чинами.

Переданное выше прекрасное описание пути через области Трапезунтской империи дает весьма живое представление не только о тех средствах, какими держалась призрачная власть императора в якобы принадлежащих ему имперских владениях, но и о существе этой «самодержавной» власти на весьма ограниченной территории. За 30 в. от столицы уже были полузависимые начальники крепостей, владевшие своими военными людьми и ведшие войну с соседями.

О составе населения можно судить на основании тех данных, которые даются наблюдениями над нынешними жителями трапезунтского округа.

Так, тройное деление империи на три военных округа: Трапезунт, Гимора и Мацука—находит себе отклик в административных округах (нахия) турецкого вилайтета: Matchka, Yomoura и Trebisond. Кроме того, состав населения дается указаниями на нынешние санджаки Лазистан—на восточной границе, Джанин или Самсунь—на западной и Гюмуш-хане—на юго-западной стороне. Таким образом, в этих подразделениях даются прямые этнографические группы, из коих состояло пограничное население империи: со стороны нынешнего Батума лазы, со стороны Каппадокии—цаны и наконец, с юга, в области минеральных богатств империи, Халды и Халивы, с городом Гюмуш-хане, что значит серебряный город.

Хотя в древнейшую пору население этой области было весьма густое, но во время империи, в особенности, принимая во внимание социальные и экономическия условия, а также нападения пиратов, уводивших в плен целые семьи, можно только допускать равенство в количестве сельских жителей ныне и в Средние века. Принимая в соображение, что в конце истекшего столетия в вилайете считалось 1 миллион 47 тыс. всего населения, причем в самом городе Трапезунте около 30 тыс, мы могли бы, не боясь ошибки, принять эту цифру для населения Трапезунтской империи, не считая Трапезунта, который, как столица, должен был представлять вдвое более местных и временных обывателей. Было бы неосторожно касаться вопроса о численности греческого и инородческого элементов: лазы, черкесы, цаны, армяне. Политическую роль могли играть армяне и грузины, особенно последние, которым принадлежала инициатива в начальный период, как это сейчас увидим.

В рассуждении вопроса о густоте населения по морскому берегу существует легенда, на которую ссылается греческий историк, писавший о Трапезунтской империи [1]). От Иноя до Воона так близко были

---

[1]) Ιωαννίδη, 204 (Historia Trapezuntos).

расположены жилища одно от другого, что кошке легко было перебежать все это пространство, прыгая с крыши на крышу и не спускаясь на землю.

Очень важно отметить ориентацию населения занимающей нас области в период образования Трапезунтской империи. В XII и в XIII в. правительственный класс состоял, кроме небольшой группы греческой аристократии из Константинополя, из грузинских, лазистанских и армянских элементов, т.-е. из той части местных служилых людей и поместного дворянства, которая принимала главное участие в образовании империи под высшим руководительством грузинской царицы Тамары. Это обстоятельство объясняет многое в первое столетие существования империи, пока константинопольским Палеологам в первой половине XIV в. не удалось рядом остроумных мер и суровым избиением приверженцев местной обособленной политики ослабить грузинское и армянское дворянство и утвердить в Трапезунте эллинское преобладание. Должно не забывать того обстоятельства, что возникновение Трапезунтской империи прямо противоречило интересам эллинизма, возложившего все надежды на Никейскую империю Федора Ласкариса в эту наиболее тяжкую эпоху латинского порабощения Константинополя и Греции.

Если рассматривать географическое положение Трапезунтской империи и вместе с тем принять во внимание план трапезунтского вилайета по карте турецкой империи, то в общем можно наблюдать почти полное совпадение границ не только на в. и з. (Батум и Самсун), но и на юге. Это конечно имеет свои основания столько же в географическом устройстве этой части черноморского побережья, находящегося на склонах понтийской цепи гор, сколько в этнографических условиях страны в направлении к в. и з. от намеченных пунктов. Не говоря здесь о древнем периоде, заметим, что территория византийской темы Халдии более или менее совпадает с границами Трапезунтской империи. Это до некоторой степени дает нам основание коснуться и таких вопросов в настоящей статье, какие по скудости дошедших данных, казалось бы, совершенно должны быть оставлены в стороне без надежды на их выяснение. Таковы вопросы не только о населении империи вообще, о составе его, но и центробежных силах, тянувших в сторону Грузии.

Что Трапезунтская область с отдаленных времен имела стремление к обособленному устройству, это хорошо видно из многих указаний. В особенности много шуму в свое время наделала военная и морская политика понтийского владетеля Митридата Евпатора, который подчинил своей власти северные берега Черного моря с городами Херсонисом и Кафой (Феодосия), завоевал Малую Армению и Колхиду и сделался царем Понта, т.-е. береговых областей Черного моря. Римляне противопоставили преграды образованию политического объединения на южном берегу Понта. Лукуллу и Помпею (74—67 до Р. Х.) принадлежат заслуги подчинения Понта и постройки

в стране многих крепостей и городов[1]. В 9 верстах от Батума по направлению к Трапезунту находится укрепление на устье р. Чороха, известное ныне под названием Гония[2]) и сохранившееся от отдаленной старины.

В период Трапезунтской империи занимающая нас область не раз была театром военных событий. Как было раньше, в начале средневековья, так и в XIV в. здесь проходила государственная граница между грузинским царством и империей. Официальный историк Трапезунта Панарет дает весьма любопытные в этом смысле подробности. Так, говоря о сношениях предпоследнего царя Мануила великого Комнина с тифлисским Багратидом, он рисует следующую картину[3]): «Шестого августа мы отправились в Лазику, и на исходе месяца, в начале 6881 г. (=1373 г.) имели свидание с царем Бакрадом». «Потом перешли в Вафи (Батум) и раскинули палатки вне селения. С нами было два корабля и до 40 мелких судов. Здесь было свидание и переговоры с грузинским Гурели, прибывшим с поклоном. Проведя здесь 6 дней, снова вернулись к себе индикта II-го».

Через 4 после того года, т.-е. в 1377 г., был заключен брачный союз между грузинским домом и трапезунтским. Именно за наследника престола сына Алексея III Мануила Комнина была сосватана дочь тифлисского царя Давида[4]). По этому поводу известия Панарета снова приводят нас к пограничной между Трапезунтским царством и Грузией полосе. «Отправившись в Лазику, мы провели там все лето до 15 августа в местности Макрегиаль. Прибыла и невеста из Гонии в Макрегиаль, и на другой день мы снялись и 30 августа прибыли в Трапезунт. В пятый же день нового года, т.-е. в субботу сентября индикта 1-го 6886 г., грузинская царевна короновалась при царской процессии и получила имя Евдокии, а прежнее имя ее было Кулканхат. На следующий день был брак, торжества продолжались больше недели».

В этом известии Панарета останавливают на себе внимание три названия местностей: Батум, Гония и Макрегиаль. Батум был уже населенным местом, стоянка судов и летнее пребывание было в Макрегиале, неподалеку от Батума, у устья Чороха. Наконец, Гония, в которой находилась невеста, есть наша крепость или поселение по близости от нее, так как с именем Абсар, который был предшественником Гонии, соединялось представление о крепости, о городе и о реке.

Не подлежит сомнению тяготение Трапезунта к северному берегу Черного моря. Хотя государственная граница была близ Батума,

---

[1]) Meyer Ed. Geschichte des Königreichs Pontos. Leipzig 1879; Niese, Grundriss der Römischen Gesch. 3-e Aufl. S. 172, 191.

[2]) Об нем моя статья в „Известиях Росс. Ак. Наук“ 1917 (Старинная крепость на устье Чороха).

[3]) Neos Hellinomnimon, IV. 288.

[4]) Panaretos, To chronicon p. 289.

но чем дальше идем к 13 веку, тем находим тесней связи Трапезунта с Крымом. Одним из самых первых военных событий в истории Трапезунта была война с сельджукским султаном из-за Крыма. Живые сношения с южной Россией объясняются тем обстоятельством, что Трапезунт никогда не производил довольно хлебных злаков для прокормления местного населения и постоянно нуждался в подвозе хлеба из Феодосии, от России же он зависел в продовольствовании солью, снабжая в свою очередь Крым плодами и разными овощами. Знакомясь с предметами ввоза и вывоза из трапезунтского порта, можно до некоторой степени понять и появление в титуле императоров выразительного „царь и обладатель Пиратии“, т. е. лежащей за морем от Трапезунта на северном берегу Черного моря южной Руси. А присутствие русских имен среди населения деревень говорит о любопытном факте обмена жителей между южной Русью и Трапезунтом.

Следует отметить любопытную сторону в занимающем нас вопросе: Трапезунтская империя, уже после своего основателя Алексея I, т. е. с 1222 г., перестала питать завоевательные планы на счет соседей, опасность же от внешних врагов с довольно редким искусством устраняла денежными выдачами, платой дани и весьма часто брачными союзами, так как трапезунтские принцессы славились отменной красотой на Востоке, как видно из слов Рамузио [1]).

«В это время в Трапезунте царствовал король именем Калоян, он был христианином и имел дочь, по имени деспина Като, большую красавицу. По общему мнению в это время не было на свете лучшей красавицы: по всей Персии распространилаеь слава об ее необычайной красоте и прелести. И, как этот король сильно был тесним и обижаем в своей мирной стране оттоманскими турками, то, находя себя в крайности и чувствуя опасность потерять государство, так как неприятель имел громадную силу, принял решение отправить своего посла в Персию в Тавриз, где жил султан Гассан-бей (тогда он жил еще в Диарбекире), с просьбой о помощи, зная его за государя очень благосклонного. Посол, горя желанием исполнить поручение своего короля и дать ему полное удовлетворение, просил Гассан-бея не отказать в помощи его господину, приводя разные доводы, что вред, причиненный христианскому королю, послужит укором для его земли. Гассан был молод и не имел жены и, так как, много раз слыша о красоте и прелестях вышеназванной девицы, уже влюблен был в нее, дал такой ответ послу: «если его король отдаст свою дочь ему в жены, то он предоставит в его распоряжение, для защиты его от оттоманского недруга, не только войска, но и сокровища и собственную особу».

Внутренняя охрана небольшой имперской территории не требовала содержания значительной армии; в случае же неожиданных нападений со стороны соседей всегда можно было нанять полудиких

[1]) Ramusio, Delle Navigationi II. f. 84 (Fallmeray S. 260—261).

кочевников, занимавших соседние горы. Таким образом, военная система в Трапезунтской империи не лежала большим гнетом на государстве, для центрального же правительства облегчалась еще и тем, что в провинциях с течением времени образовались местные полузависимые от короны владетели, имевшие свои военные отряды.

Под турецким господством произошло много перемен в изучаемой местности, были между прочим предпринимаемы насильственные передвижения целых племен и селений с одного места на другое, много населения уходило в более спокойные места для жизни. Но все же, отдавая себе полный в этом отчет, мы не можем забывать и того, что в XIV—XV в.в. положение дел на южном побережьи Черного моря было далеко не лучше: припомним хотя бы засилье иконийского султана, монгольские завоевания, набеги на мирное население со стороны турецких завоевателей и морских пиратов,—все это стоит тех жестоких мер истребления целых городов и деревень, о которых слышали мы накануне прошлого века и которые повторялись и в нынешнюю великую мировую войну. Итак, можно до некоторой степени быть уверенным, что знакомство с настоящим положением населения вилайета может быть полезно для понимания эпохи Трапезунтской империи [1]).

Очень любопытны сведения об ископаемых богатствах вилайета, о добыче металлов. Правда, эта статья промысла от древности идет все на убыль. Во время империи добычей металлов занимались горные жители Халивии, т.-е. нынешнего Гумюш-хане. Ныне хотя и числится в вилайете до 120 месторождений разных металлов—серебра, меди, олова, каменного угля и магнезии,—но все разработанные места пришли в упадок, запущены и не дают заработка населению. По морскому берегу с востока на запад встречаем древние серебряные копи (ἀργύρεια), упоминаемые у Арриана, Страбона и др. В настоящее время не остается других следов этих серебряных мин, доставлявших заработок населению многих городов, кроме галлерей, затопленных водой на р. Каршут, называемых колоннадой—от столбов, которые сохранились еще из древности [2]).

Если принимать в соображение этнографические условия областей, вошедших в состав империи, в свою очередь отражавшие на себе географические особенности страны, то придется признать, что в населении Трапезунтской империи составляли едва ли не больше половины не греческие элементы. Главнейшее место следует отвести на востоке лазам, на западе цанам (черкесы) и армянам. Горные возвышенности занимали полудикие кочевые племена, между другими курды, главным занятием которых было скотоводство и перекочевка со стадами из однех мест в другие. Само собой разумеется, в первый период империи, т.-е. до первой четверти XIV в., главное влияние в

[1]) Cuinet, La Turquie d'Asie, Géographie administrative, statistique descriptive et raisonnée de chaque province de l'Asie Mineure 1. Paris. 1892.

[2]) Cuinet, I p. 57.

официальной жизни империи должны были иметь грузины и армяне, во второй половине XIV в.—константинопольские греки. Время было неспокойное вследствие военных событий, нападений турок-сельджуков и горных кочевых племен, из которых состояла главнейше наемная кавалерия Трапезунта.

В сущности о населении мы сможем составить себе некоторое понятие на основании актов земельных владений небольшой области, бывшей в зависимости от Вазелонского монастыря, находящегося в расстоянии 30—35 в. от Трапезунта, и также при помощи некоторых случайных заметок, находимых у писателей и путешественников. Земельные акты дают возможность судить о тех бедствиях, какие причиняли сельскому населению корсары и набеги кочевников. Под влиянием бедствий, причиняемых разбойническими нападениями агарян, как называются в актах виновники этих нападений, культурные области обращались в пустыни. По этому поводу приведем характерное место из немецкого писателя[1]) о Месопотамии, в которой налоговая система произвела то же явление.

«В Месопотамии налоги произвели пустыню. Крестьяне вымерли или переселились. Нечто подобное можно видеть в Венгрии, и я видел в Гроссвардейне деревню, которая в 1848 г. имела 137, в 1867 г. 70, теперь же 35 домохозяйств, и виноградники которой в большинстве были заброшены и заросли шипами. Налоги и проценты, умертвив сперва крестьянина, затем и землю, производят пустыню». Эта безотрадная картина не может не приходить на память при знакомстве с земельными актами, уцелевшими в небольшой части Трапезунтской области, из которых приводим несколько данных.

Знакомясь с содержанием дарственных и запродажных актов Завулонского монастыря, нельзя не почувствовать большего сожаления, что подобного материала сохранилось так мало, и что помимо него все наши суждения могут быть или неправильны, или односторонни. Воспользуемся теми указаниями, которые могут вести к заключениям по составу населения. Прежде всего весьма любопытны данные о русском или, может быть, юго-славянском элементе. В числе членов крестьянского населения, владеющего земельными участками, часто упоминаются женщины. Мы обращаем внимание на женские имена, потому, что на них легче показать негреческое происхождение некоторых из них. Когда читаешь в актах: Анна Пападопуло, Феодора Гидонитиса, Мария Цархалина, Мария Кутрупелопуло, и т. п., то не может возникать никакого сомнения относительно происхождения этих имен,—конечно, все это греческие имена. Но рядом с такими прозвищами встречаем термины совершенно иного образования с окончанием имен на *ова* и *ева*.

Мы желаем особенно подчеркнуть вопрос о разноплеменности населения изучаемой страны, ибо на пространстве истории Трапезунта

[1]) Rudolf Meyer, Heimstätten und anderen Wirtschaftsgesetze. Berlin 1883 (цитовано у Г. П. Сазонова. Неотчуждаемость крестьянских земель, стр. 199). СПБ 1889.

исследователь наталкивается на чрезвычайно знаменательный факт недостатка местного патриотизма, полного забвения у большинства населения старых пережитков, отсутствия сказаний из средневековой истории. Местное туземное население сменялось пришлым, последнее усвоило себе лишь внешне фикции эллинского высокомерия, шовинизма и основательно забыло свою историю. В Трапезунте забыли патрона своего, св. Евгения, утратили память о местах погребения царей и митрополитов и выучились нелепой песенке: „шея эллина не выносит ярма".

Три военные округа, составлявшие ядро Трапезунтской империи, были защищены трудно доступными горами и неблагоустроенными сообщениями. Столица представляла отдельное административное целое. Она нуждалась в особенных мерах защиты как для правительственных учреждений и торговых людей, так и для окрестного населения, если ему угрожала опасность от нападения врагов, главнейше со стороны моря. В XIV в. (1324) для этого город был значительно расширен, к нему была присоединена обширная территория к западу и к морскому берегу и окружена стеной. В этом качестве строго централизованной административной единицы с небольшими окрестностями на 10—15 в. и может быть рассматриваем округ и в нем банда Трапезунт. Сосредоточение здесь правительственных учреждений, пребывание царской семьи и придворных чинов, постоянный прилив иностранцев с политическими и торговыми целями придавали городу привилегированное положение и создавали из него сложный административный центр, в котором военный гарнизон занимал скромное место.

Весьма трудно составить достаточно определенное понятие о социальном, экономическом и податном положении населения империи. Всякая попытка, в этом отношении, при скудости сохранившихся известий, сопряжена с опасностью придти к односторонним выводам. В одном положении был город Трапезунт, окруженный крепкими стенами и скалистым, недоступным для врага рвом, с дворцом и правительственными учреждениями в кремле. Большинство городских жителей занималось торговлей и промыслами, масса рабочих жила главным образом от купеческих кораблей в гавани Трапезунта, где складывались привозимые товары и откуда караваны направлялись на Восток. Но спокойствием могли пользоваться только городские жители, что касается деревенского населения, оно испытывало тяжелую судьбу, о которой можем судить по некоторым случайно сохранившимся данным. Главное несчастие деревни состояло в ее необеспеченности от морских корсаров и от набегов сельджуков, обыкновенно называемых агарянами.

Скорбный лист увода в плен и продажи в Александрию и Каир громадного числа населения, захваченного по береговым областям Черного моря, может приводить в ужас. В дарственных актах в пользу Вазелонского монастыря попадаются случаи, когда вся крестьянская семья из 3 или 5 человек оказывается в плену, единичные же случаи встречались почти на каждом шагу. Вывозом живого товара на В. за-

нимались венецианцы и генуэзцы, они имели свои фактории в Феодосии в Крыму и на Азовском море, скупали там пленных татар, черкесов, греков и русских и перевозили в магометанские земли. Самая высокая цена стояла на татарских пленных (130—140 дукатов), черкес стоил несколько дешевле (110—120), албанцы и славяне продавались за 70—80 дукатов. Молодая женщина выкуплена из плена за 850 перперов [1]).

Около половины XIV в., именно по смерти царя Василия I, в империи обнаружилось необычное движение, которое показало, до какой степени непрочен был государственный строй и какими искусственными мотивами направлялась политика правительства. О ходе этого движения сохранилось известие у историка Панарета, который называет участников этой ожесточенной борьбы, стоившей жизни многочисленным членам служилой аристократии. Ожесточение доходило до такой степени, что целые роды крупных чинов, захваченные получившей перевес партией, подвергались насильственной смерти. В 1344 г. происходил акт необычайно широкой раздачи титулов и должностей, и причина объяснена историком в весьма наивной форме: „поелику прежние первые архонты были перебиты". Кто же были эти перебитые, освободившие целый ряд высших мест? Как можно догадываться на основании имен высших правительственных лиц до и после отмеченного выше периода царствования Василия I, тогда произошла коренная перемена в администрации: взамен местных грузино-армянских родов выступают на первое место греческие, по преимуществу константинопольские, аристократические роды. Это и отмечено в известии Панарета под 1344 г.

Бурный период в истории Трапезунта, начинающийся с 1330 г. и продолжающийся свыше 20 лет, дает достаточное указание как на совершавшуюся в империи политическую и социальную эволюцию, так и на главных лиц, принимавших участие в борьбе. Победой эллинской партии и усилением константинопольского влияния, как показывают дальнейшие события, далеко не было достигнуто замирение; в среде самой партии, получившей преобладание, началась жестокая борьба, о которой дают понятие краткие упоминания историка Панарета: в 1349 г. захвачен Константин Доранит и весь род его, под тем же годом захвачен Феодор Доранит, прозываемый Пилели; под 1349 годом сообщено, что убит Михаил Цанихит, под 1351 г. «захвачен кремль отрядом Пилели», и ниже: Пилели и сын его и зять и дети Кинита заключены в крепость Кенкрину; под 1352 г. задушены в замке Кенкрине Пилели и сын его и зять; под 1352 г. пришел эпикерн Иоанн Цанихита и самовольно захватил крепость Цаниху.

Ряд жестоких убийств в среде получившей преобладание партии вскрывает перед нами новую сторону в этом движении. Если партия местных вельмож должна была уступить власть константинопольским

[1]) Heyd, Histoire du commerce du Luevant p. 546 (publiée par Raynaud). Акты Вазелонского монастыря (рукопись Публ. библ.). Дукат и перпер равняются 3—4 р.

выходцам и влиянию Палеологов, то сама трапезунтская династия не была на стороне этого переворота и продолжала борьбу с константинопольской партией при помощи своих приверженцев в среде местных крупных землевладельцев, а равно военных и гражданских чинов. Суровость мер, принимаемых против ослабевшего врага, и постоянная смена лиц, занимавших самые высшие места в государстве, дают понять, что партия находила в самой стране и в соседних государствах сильную для себя поддержку.

Чтобы дать понятие об этих внутренних элементах, поддерживавших смуту в стране, мы должны внимательней всмотреться в социальную и экономическую эволюцию, постепенно подготовлявшую в Трапезунте административные перемены. Смена имен, в которой проходят греческие и местные названия, дает возможность судить, что в Трапезунте до половины XIV в. имеют преобладание местные элементы, которым было нанесено поражение константинопольскими интригами. Это ведет к дальнейшему заключению, что история Трапезунтской империи при ее детальном изучении может обнаруживать особенности, находящие себе объяснение в обстоятельствах ее образования на окраинной территории эллинизма.

Ф. Успенский.

Гегемония Франции на континенте.

(В прошлом и настоящем).

I.

В обширной, отнюдь не академической полемике, которая, посредством прессы, ведется уже четвертый, если не пятый год между английскими и французскими правящими сферами, первенствующее место занимает тезис о стремлении нынешней Франции к установлению гегемонии на материке Европы. Этот тезис выдвигается в Англии и отвергается Францией. Осенью 1923 года эта полемика, в связи с начавшимся распадом Германии, особенно обострилась. «Если бы мы знали, что за речами в защиту Эльзас-Лотарингии скрывается огромного значения тайная мысль, которая предусматривает нечто худшее, чем воскрешение политики Людовика XIV и Наполеона, то entente cordiale никогда бы не осуществилась», и Англия иначе повела бы свою политику,—так писал 29 октября 1923 года редактор влиятельного „Observer'a"—Гарвин. Французская пресса резко обрушилась на Гарвина, и тон с обеих сторон зазвучал весьма страстный.

Сделаем попытку,—о которой и не думают обе спорящие стороны,—объективно рассмотреть, какое место, в самом деле, занимает пятилетие 1919—1923 г.г. в истории внешней политики Франции. Единственный для этого путь—сравнить пятилетие 1919—1923 г.г. с двумя предшествующими моментами безусловного преобладания Франции на материке, причем указанное пятилетие должно, конечно, быть для нас таким же исключительно историческим фактом, как и оба прецедента, с которыми мы будем его сравнивать; а чтобы на этот путь встать, мы должны, прежде всего, отбросить от себя всю бесконечную публицистику,—особенно германскую и французскую,—касающуюся именно 1919 — 1923 г.г. Эта публицистика так проникнута любовью к отечеству и народною гордостью и так бесстрашно и сознательно лжет и путает на каждом шагу самые простые и очевидные факты, она так преувеличивает приэтом наивность своих читателей, что это, в конце концов, начинает даже занимать само по себе, как интересное психологическое явление. Серьезные публицисты и политики, вроде француза Леона Додэ, немца Ганса Дельбрюка, француза Стефана Лозанна, немца Луйо Брентано, француза Ренэ Пинона, немца графа Ревентлова, доходят иногда до таких вершин, что, если все эти авторы сподобятся прожить на свете еще лет 20—25 и по истечении

этого срока заглянут в свои произведения,—им, вероятно, самим будет не совсем понятно, как им удалось на эти вершины взобраться.

И так как в этих соревнованиях всегда принимают (и принимали) участие оба правительства, то не только для нынешнего времени, но и для острых моментов даже давно прошедших эпох сплошь и рядом приходится отказаться от пользования не только публицистикою, но и многими официальными свидетельствами.

Нужно, напр., принять к сведению, что, как и всегда и везде, официальные мотивировки и реляции ни в малейшей степени нам не помогут разобраться в истинных тенденциях и устремлениях французской политики на восточной ее границе, где Франции приходилось завоевывать долгие века чужие местности и, поэтому, словесные и письменные объяснения несколько затруднялись. „Пришлите какого к нам беллетриста для сочинения журнала, это идет к славе России", просил Суворов 11 октября 1787 г. В. С. Попова, имея в виду так называемые журналы военных действий, по которым составлялись донесения ко двору [1]). И саркастический генерал-аншеф всегда обзаводился пред походом тем или иным «беллетристом»,—в 1788 году Грибовским, в 1799—Фуксом.

В таких оффициальных беллетристах ни Франция, ни Германия никогда не испытывали ни малейшего недостатка; не испытывают и теперь.

Доказательством служит нескончаемая полемика о Schuldfrage, о том, кто начал воевать, кто хотел, кто не хотел (и почему) прекратить войну, и кто когда проявил больше зверства при ее ведении. Все эти вопросы лет через пятьдесят будут, вероятно, так же мало волновать историков, как нас теперь мало волнует точь-в-точь такая же полемика, которая велась после любой большой войны XVIII или XIX веков, и всею этою литературою, вероятно, будут так же мало заниматься, как мы—книгою, скажем, вице-канцлера барона Шафирова «Рассуждение, какие законные причины его царское величество Петр первый, царь и повелитель всеросеийский... к начатию войны против короля Карола 12 Шведского, 1700 году имел, и кто из сих обоих потентатов во время сей пребывающей войны более умеренности и склонности к примирению показывал» и т. д. Лукавый барон Петр Павлович, во всяком случае, поступил предусмотрительнее и остроумнее нынешних германских публицистов: он оставил в стороне вопрос о том, кто хотел начать и начал войну, и не стал доказывать, будто Карл XII напал первый на Петра, он ограничился лишь доказательствами, что у Петра были «законные» причины так поступить, и поспешил перейти к миролюбивым намерениям царя уже во время войны и к доказательствам, что с русской стороны «та война по правилам христианских и политичных народов более ведена», т. е., выражаясь нынешними терминами, он доказывал, что „Kriegsverbrecher'ы",

[1]) Письма и бумаги Суворова, I, стр. 85. (Петрогр. 1916).

нарушившие правила цивилизованных народов, находились не в русском, а в шведском стане.

Даже и при такой осторожной постановке вопросов книга Шафирова неинтересна теперь: история выясняет, что у „сих обоих потентатов“ были очень существенные причины делать то, что они делали,—а о „законности“ этих действий даже и вопроса поставить никому не придет в голову—до такой степени это ненужно.

Сделаем же над собою усилие, отвлечемся от до сих пор не умолкающей полемики, условимся признавать, что и Антанта, и Германо-Австрийский Союз или, точнее, правившие классы обоих союзов, имели свои причины не противиться заострению противоречий в их интересах; что, даже если бы они и противились, едва ли это заострение прекратилось бы; что обе стороны были одинаково чужды „человеколюбию“; что, конечно, именно Германия начала войну в 1914 году, потому что считала, что дальше „время будет работать против нее и в пользу Антанты“; что, разумеется, точно также войну способна была начать и Антанта, но только в другой момент, когда Антанта, а не Германия считала бы себя готовой. Вчуже неловко и даже совестно за выдающегося историка Ганса Дельбрюка, когда он, яростно споря с Каутским, доказывает, что в июле 1914 года соседи напали на Германию (ein Ueberfall!) Никогда бы Шафиров не позволил себе такой бесвкусицы; он миновал бы этот подводный риф, — и начал бы с доказательства „законности“ интересов, во имя которых его страна объявила войну.

Правда, барон Шафиров писал свою книгу в 1716 году (а издал в 1717), т.-е. тогда, когда уже было ясно, что долгая война окончится так или иначе с выгодою и территориальными приращениями для России, а Дельбрюк и его товарищи (по несчастью в полемике)—писали и пишут, когда их отечество находится на дне политического уничижения. Шафирову легче было сохранить хладнокровие и не ставить себя в смешное положение.

Точно также, когда мы говорим о наблюдаемых в новой истории попытках Франции установить свое политическое и экономическое преобладание на континенте Европы,—то мы только из психологического любопытства можем интересоваться тою обличительною летучею литературою, которой так много теперь расплодилось в Германии, и которая направлена к установлению вероломства и душевной низости всех французских правителей вообще, а нынешних в особенности. Эта литература также не может нам дать подлинного понимания истории и действительности, как и аналогичная по своей научной правдивости французская публицистика, в стиле Луи Бертрана, доказывающая (мы дальше приведем образчик), что как Людовик XIV, так и ныне Пуанкарэ, занимая германские города, действовали, находясь в состоянии законной самозащиты, и что гений реки Рейна, le génie du Rhin, что бы там ни говорили внешние факты, требует присоединения левого берега к Франции.

*

Все это, по своему, любопытно и при анализе психических явлений, связанных с острыми историческими кризисами, все эти германские и французские полемисты никак не могут быть обойденными молчанием. Но этот анализ нас тут не интересует. Единственная наша цель—сравнить объективные условия, в которых делается ныне попытка установить французское преобладание на континенте, с теми условиями, в которых наблюдались два предшествующих аналогичных феномена при Людовике XIV и Наполеоне I.

Как дело дошло до положения, когда стала возможною нынешняя французская политика,—это вопрос для нас в данном случае второстепенный. Важнее всего тут определить: в какой исторический момент воля французских правителей встретила больше, а в какой меньше—объективных внешних препятствий в осуществлении своих стремлений.

Потому что воля, и воля твердая, была тут всегда налицо.

Во все три эпохи решительного натиска на Рейн и борьбы за установление политического и экономического преобладания—и при Людовике XIV, и при Наполеоне I, и при нынешних французских правителях—можно как угодно квалифицировать дух и цели их политики, но направляющая государственный корабль воля отличается полною определенностью основных устремлений.

Ничего тут не наблюдается такого, что сколько-нибудь напомнило бы манерное признание любующегося собою Петрарки: Voluntates meae fluctuant, et desideria discordant et discordando me lacerant! Никогда во все эти эпохи ни воля французской дипломатии не колебалась, ни желания не противоречили одно другому, и никакие эти возвышенные и деликатные терзания никого не беспокоили; не только их самих, руководителей и повелителей, но и главную массу дававшего тон современного им общества, политически-влиятельных классов. Никогда тут не случалось так, как бывало в России, чтобы до последней минуты не было решено, стоит ли брать Константинополь или не стоит,—и вообще, стоило ли воевать „за болгар“ или, умнее бы было воздержаться; никогда не бывало и так, как было в Германии, чтобы одно и то же правительство на протяжении двадцати четырех часов сначала приказало войскам войти в Бельгию, и, по истечении суток, всенародно само призналось бы, что „с Бельгиею поступлено несправедливо“, и этим признанием снабдило бы врагов благодарнейшею темою для пропаганды.

Эта воля выковывалась долго—и материальная почва была для этого подходящей.

II.

Франция объединилась на континенте Европы одною из первых и долгие столетия она была окружена на юго-востоке, востоке и северо-востоке мелкими и сравнительно слабыми государствами. Учение об «естественных границах» (Океан, Пиринеи, Альпы, Рейн) уже существовало на переходе от средних веков к новому времени, и учение

это стремилось дать обоснование экономическому завладению прирейнскими и предальпийскими итальянскими территориями. Территории же эти манили прежде всего своим собственным материальным богатством (Рейн) или близостью к богатым и легко могущим стать добычею торговым ломбардским республикам (предальпийские земли). В обоих случаях не было естественных препятствий; обыкновенно нельзя было опасаться сильного сопротивления; всегда добыча могла сторицей вознаградить за усилия.

Любопытное явление: эта очевидная, сравнительная нетрудность первых шагов завоевательной политики с давних пор опьяняла и окрыляла французскую политическую публицистику, и мысль о господстве над Рейном издавна сливалась у многих с мыслью о господстве над Европою. Так, впрочем, смотрели на движение французов к «естественным границам» и в других странах Европы. Историография Англии, Германии, Италии очень склонна поэтому отодвигать вглубь веков начало французских стремлений к гегемонии. К слову замечу, что и у нас, в историографии русской, это воззрение привилось.

Сергей Соловьев дает даже такую схему: «Новую политическую историю западной, а потом и восточной, всей Европы можно рассматривать, как историю борьбы против преобладания Франции... При Людовике XIV Франция следует своему исконному стремлению к гегемонии». Он только выражением «исконное», помещенным в данной связи, может внушить читателям неправильное представление, будто уже до Людовика XIV европейская гегемония ставилась, как цель, официальной французскою дипломатиею. Это утверждение было бы неправильно; и все-таки невольно думается, что если только Соловьев когда-нибудь читал Пьера Дюбуа, королевского юриста («Легиста») из Кутанса в царствование Филиппа Красивого, или хоть слыхал о нем, то некоторая неточность в этой вышеприведенной фразе русского историка заслуживает снисхождения [1]). Интересный был публицист Пьер Дюбуа, и не следует удивляться, что он излагал свою программу необузданной экспансии в такие скромные времена, как начальные годы Филиппа Красивого. Подобные кажущиеся анахронизмы—не редкость в истории политических учений. Ведь и московская мысль о «третьем Риме» возникла в платящей дань Крыму, большой, постоянно погорающей, разбросанной деревне, на мелкой реченке Москве-реке, а не тогда, когда это более приличествовало, напр., не в дни смотра русских войск в 1814 году под Парижем, когда Россия в самом деле стояла на верху

[1]) Он мог бы ознакомиться с трактатом Дюбуа либо в подробном изложении и выдержках Wailly (в Memoires de l'Académie des Inscriptions, 1849 г., том XVIII, стр. 435—494), либо в бытность свою в Париже, с семьею гр. А. Г. Строганова, в 1842—44 г.г. во время своей работы в отделении манускриптов Национальной (тогда королевской) библиотеки, где трактат Дюбуа хранится под шифром 6222. с. В этом не было бы ничего удивительного: Соловьев поражал своею неожиданною эрудициею в самых, казалось бы, далеких от него областях исторической науки, и своим ненасытным научным любопытством.

политической силы и военной славы, и когда торопившиеся люди поговаривали, что наполеоновская гегемония заменена русскою; ведь и японский мечтатель Окакура писал свои обе книги—«Пробуждение Японии» и «Идеалы Востока»—и создавал свою доктрину о «единстве Азии» и о всеазиатской роли Японии не после победы над Россиею и не после приобретений всемирной войны, а несколько раньше, как раз в годы глухого национального раздражения и обиды по поводу кассации главных условий Симоносекского договора. Присутствие крепости, свежести, внутренней уверенности—чувствуется индивидуумами раньше, иногда даже много раньше, чем эта сила проявится нациею в борьбе с внешним миром, раньше, чем эта борьба окончится хотя бы частичной победою. Дюбуа (точнее du Bois) был одним из тех легистов, которые так помогли Филиппу Красивому в его решительной схватке с папскою куриею; Petrus de Bosco, advocatus causarum regalium, таковы его латинизованные имя и звание. Но трактат, который нас тут интересует, — первый по времени из дошедших до нас трактатов Дюбуа,—посвящен исключительно вопросам внешней политики, которую автор понимает, как политику завоеваний. Он, заметим к слову, дал своему трактату курьезное наименование, как будто там идет речь о сокращении войн[1]). Написал он свое сочинение осенью или в начале зимы 1300-го года.

Основная идея автора выражена им с совершенною откровенностью: хорошо было бы, чтобы весь свет подчинился французскому королевству. Expediret totum mundum subjectum esse regno francorum! Вопрос только ставится о деталях, тактике и последовательности. Пьер Дюбуа дает совет Филиппу Красивому прежде всего завоевать Лотарингию, либо принудивши герцога Лотарингского признать свою полную зависимость от короля, либо просто уничтоживши этого герцога. Пример Лотарингии должен быть настолько устрашающим, чтобы остальные народы смирились без сопротивления. Патриотические фантазии Дюбуа проводят его к идее о завоевании французами Византии, Испании, Германии, Италии,—всех стран континента по сю сторону Средиземного моря. Но необходимою предпосылкою он считает овладение Ломбардиею, потому что Ломбардия даст французскому королю деньги, звонкую монету, в которой Франция так нуждалась. Это—очень характерная черта: при Людовике XIV, спустя три с половиною столетия, тоже проявлялась тенденция сначала получить в свои руки движимые капиталы, а потом уже приступать к большим предприятиям. От времен Пьера Дюбуа до итальянских войн Франциска I звонкую монету ищут на юге; при Людовике XIV взоры обращаются к северу, от Италии—к Голландии и к Рейну. Но тут мешал некоторый заколдованный круг: для получения денег нужны войны, а для ведения

[1]) Summaria brevis et compendiosa doctrina felicis expiditionis et abbreviationis guerrarum ac litium regni francorum. — К числу немногих фактов, известных нам из жизни Пьера Дюбуа, относится известие, что ему удалось послушать в Парижском университете Фому Аквината.

войн нужны деньги. Посильное решение этой задачи и составляет главное содержание политики последних двух Капетингов, всех Валуа и первых Бурбонов.

В этом стремлении к экономическому и политическому преобладанию державы, почувствовавшей свою силу пред соседями, не было, конечно, решительно ничего, исключительно-свойственного французам: от начала государственных образований до 1924 года этот феномен повторялся у разных народов и при самых разнохарактерных условиях. Главное препятствие к систематическому использованию имевшейся живой силы для завоевательных войн состояло, конечно, в слабости общего денежного хозяйства в стране и, поэтому—в неуверенности и необеспеченности королевского казначейства. Там, где надо было промышлять сегодня порчею и подделкою монеты, завтра конфискациями у мнимых еретиков Тамплиеров и постоянными займами у кого угодно и на каких угодно условиях,—там еще нельзя было мечтать о долгой, последовательной, аггрессивной политике. В начале своего царствования, в 1287 году, Филипп IV занимает деньги у Руана (на самых невыгодных для казны условиях); после его смерти, новый король Людовик X (Сварливый) спешит 4 июня 1315 года призанять денег у города Лиона, отдавая за это кредиторам в залог все финансовые права казны во всем лионском сенешальстве. И так начиналось и кончалось всякое царствование втечение нескольких столетий, пока Франция объединялась и округляла границы. Упорство в движении к Рейну поражало современников уже в XV, в XVI веках. Ничто не могло надолго отвратить взоры французских правителей от восточной границы.

Нужно, кстати, заметить что в эти первые века расширения французской державы наблюдателей особенно поражала цепкость и упорство в удержании раз завоеванного. «Удивительна ваша жадность, так как то, что вы раз получили правдою или неправдою,—никогда вы не желаете выпустить [1]),» сказал французскому послу в глаза папа Бонифаций VIII, в 1300 году (напомню к слову, как раз в том самом году, когда легист Пьер Дюбуа писал свой трактат). А стоял пред папою другой легист Филиппа Красивого, Пьер Флот, который, «улыбаясь» («en suzriant») ответил: «Конечно, государь, вы говорите верно». Бонифаций еще и посильнее выразился, во время той же негоциации, и

---

[1]) Merveillouse est vostre conveitise qar ceoque vous tenez une foiz ou en bone manere ou en malveise manere, jamez ne voletz lesser. Дословный перевод со старо-французского на новый французский язык был бы таков: Merveilleuse est votre convoitise, car ce que vous tenez, une fois ou en bonne manière, ou en mauvaise manière, jamais (vous) ne voulez laisser. Характерный документ, который я тут цитирую—донесение епископа Уинчестерского королю Эдуарду I о разговорах с папою, происходивших 21, 22 и 24 августа 1300 года, в поместье Scuicula близ гор. Ананьи Напечатан этот документ полностью нашедшим его в Record Office архивариусом Джонсоном, в English hist. Review, 1902, July, стр. 518—527 под назв. «Edward I and Gascony in 1300». Донесение писано по-старо-французски. Как известно, в это время французский язык был еще официальным и придворным языком в Англии (от самого норманского завоевания, т. е. с конца XI века).

даже помянул нечистую силу: «...и поэтому очень должен беречься тот, кто имеет дело с французами, так как тот, кто имеет дело с французами, имеет дело с дьяволом»[1]).

Упорные навыки и настойчивые подходы французской дипломатии, выработанные уже во времена Филиппа Красивого, которого наблюдал Бонифаций VIII, продолжались и обращали на себя враждебное внимание спустя двести пятьдесят лет, при Генрихе II, которого анализировал англичанин Эшем.

Наблюдая в средине XVI века Генриха II, завоевателя трех лотарингских епископств—Меца, Туля и Вердена, в его борьбе с императором Карлом V, английский дипломат Роджер Эшэм писал, что французский король для достижения своей цели соединился бы с протестантами и папистами, с турками и с дьяволом. За вычетом последнего поименованного персонажа, Генрих II и в самом деле, последовательно (а иногда одновременно) вступал в союз со всеми пересчитанными разнохарактерными силами.

И, правильно оценивая факт, англичанин не знал только, как с этим французским упорством бороться.

Во второй половине XVI века (и именно после Генриха II) наступает некоторый перерыв. Сложные движения в дворянстве и буржуазии на юге и отчасти в центре, комбинирующиеся с открытым или замаскированным вмешательством англичан, голландцев и испанцев в внутренние дела французской монархии, принимают обличие и получают историческую печать религиозных войн, и единство государства оказывается на некоторое время в угрожаемом положении. Но первая половина XVII столетия восстановляет утраченное великодержавие: Ришелье, а за ним Мазарини деятельно и успешно борются с Габсбургским домом, и против всяких попыток сплочения германской империи. Франция и коалиция одерживают конечную победу,—и Вестфальский мир оставляет западную, прирейнскую Германию в состоянии раздробленности и беззащитности.

Вот тут-то и выступил на арену инициатор первой попытки установления фрацузской гегемонии в Европе.

Материальная база была готова: большая, многолюдная страна, объединенная держава, с достигнутым, временным и относительным, конечно,—равновесием социальных сил, с упроченным абсолютистским аппаратом, с развивающейся финансовой системою, очень приспособленною к нуждам и к характеру этого абсолютистского аппарата, наконец, страна ,с традициями долгих войн и постоянных армий.

Но и база моральная была налицо. Времена, когда боровшиеся партии вели каждая свою собственную внешнюю политику, одна—

---

[1]) Там же, стр. 523 ... pur ceo deit mult prendre garde qi ad affaire ove Franceis, qar qi ad affaire ove Franceis, ad affaire ove deable. (Дословный перевод на новый язык был бы таков: par ce[la] doit prendre garde beaucoup [celui] qui a affaire aux français car [celui] qui a affaire aux français, a affaire au diable).

испанскую, другая—голландскую, третья—английскую, эти времена отошли в область преданий.

Инстинкт коллективной покорности воле оффициального представителя интересов Франции, молчаливой дисциплины во всем, что касается внешней политики, инстинкт и теперь поражающий наблюдателя во Франции, уже овладел господствующими классами ко второй половине XVII века окончательно.

Впрочем, уже и несколько раньше это явление быстро вытесняло старые воспоминания о героических временах «религиозных» войн и об остроте классовых и групповых расхождений, лежавших в их основе. Напрасно старался угрюмый и талантливый гугенот Агриппа д'Обинье, воскресить эти былые традиции в своих стихотворных и прозаических вещах; их мало читали и безнадежно забыли. Точно так же только потомство, а вовсе не современники, оценило болезненную силу Паскаля и сарказмы, блеск и правдивость психологических наблюдений и размышлений вслух разочарованного Ларошфуко. И аскет из Пор - Руаяля, и светский скептик из салона m-me де-Саблэ были совсем не ко двору. Слишком много было в господствующих классах воли к деятельности, устремления к добыче, к Страсбургу, к Пфальцу, к голландским складам, к английским шкунам.

Тут следут оговориться. Так называемая религиозная политика Людовика, вызванная отчасти желанием окончательно подавить казавшийся подозрительным в политическом отношении гугенотский дух, отчасти влияниями католического духовенства, отчасти во многих эксцессах являвшаяся порождением особой психологии, свойственной абсолютизму в определенные моменты его существования [1],—эта религиозная политика вовсе не была исторически наиболее значительным феноменом царствования Людовика XIV, но и во внутренних, и во внешних делах она больше всего заставляла себя замечать и о себе говорить. Это иногда может искажать историческую перспективу при изучении эпохи.

Приведем пример, вспомним, чем интересовались, о чем говорили и страстно спорили и во Франции и во всей Европе как раз в годы после Нимвегенского мира, когда отчасти готовился, отчасти уже происходил захват германских городов, и когда только что был оккупирован французами Эльзас.

Одновременно с укреплением своих позиций на Рейне и на бельгийской границе Людовик XIV был в своей внешней политике поглощен опасною, но всегда, вплоть до начала войны за испанское наследство, удававшеюся ему пробою своих сил, испытанием прочности своего престижа, проверкою своего положения, как гегемона западной части европейского материка. Например, среди серьезных военно-дипломатических забот и осложнений, король и его правительство месяцами поглощены конфликтом с женевскою общиною, ибо ces mes-

[1]) См. об этом явлении в моей книге «Падение абсолютизма в Западной Европе», 2-е изд. 1924 г. стр. 70.

sieurs de Genève, т.-е. члены городского совета с синдиком во главе, не желают разрешить отправление католической мессы в этой твердыне кальвинизма.

И вот, в 1678 и в 1679 г.г. королевский представитель де-Шовиньи предпринимает упорную дипломатическую кампанию против Женевы: по крайней мере, нельзя ли не петь эту мессу, а только говорить? Нет, нельзя. А не согласится ли M. de Chauvigny съездить куда-нибудь поблизости, если ему дать городских лошадей и экипаж, чтобы вне Женевы послушать мессу?—Нет, не согласится, он хочет, чтобы месса была в Женеве. Но ручается ли он, что кроме французов из посольства никого на эту мессу из граждан Женевы не пустят?—Нет, не ручается, напротив, месса будет открытою. Около полутора лет шли эти перекоры, пока 30 ноября 1679 года месса, наконец, была впервые отслужена в Женеве. Великая победа была одержана христианнейшим королем, и «вся Европа на это смотрела, как на чудо»: «Sa majesté a pu introduire la messe à Gèneve ce qui est regardé comme un prodige par toute l'Europe», с гордостью писал Шовиньи в Париж. Об этом говорили больше, чем спустя два года о присоединении Страсбурга к Франции.

Вот чем они занимались. Конечно, не к католической ревности короля, а к другим более отдаленным и сложным причинам должно направить внимание, если угодно заняться разъяснением всех этих характерных для XVII столетия фактов. Но здесь нам важно отметить одно: усилия французской политики в начальную эпоху первой по времени гегемонии дробились между несколькими разнохарактерными целями: 1) борьба с германо-австрийскими владениями; 2) борьба со страною более развитого капитала—Голландиею; 3) борьба с протестантскими соседями (даже и помимо Голландии), как с явными союзниками французских гугенотов.

Борьбы с Англией—еще не было: она началась только после второй английской революции 1688 года.

Оговорка же, которую мы хотим сделать, заключается в том, что «религиозная политика» Людовика долго и безнадежно извращала все перспективы при изучении этой эпохи.

Когда историческая наука была уже не совсем в младенчестве, в 1829 году, когда уже началась деятельность Ранке, один из тонких и широчайше образованных (по европейскому масштабу) тогдашних мыслителей, Чаадаев, писал: «Что такое бурная эпоха Карла I и Кромвеля и весь этот длинный ряд происшествий, её породивших, до самого Генриха VIII, как не развитие чисто религиозное? Во всем этом периоде выгоды чисто политические появляются второстепенными побудителями, и часто исчезают совершенно, или приносятся в жертву мнению [1])».

Подобные фантазии долго внушала даже иным проницательным умам история и Англии, и Франции XVI—XVII веков, и нельзя ска-

---

[1]) Сочинения и письма П. Я. Чаадаева, II, 17 (вариант к № 38). М. 1914.

зать, что и в настоящее время историография названной эпохи вполне от них освободилась. Отмена Нантского эдикта, последствия которой так долго, тенденциозно и так безмерно преувеличивались сначала протестантской, потом либеральной историческою литературою, обращала на себя гораздо больше внимания, чем рейнская политика Людовика XIV.

Упорные войны с Голландиею и Испаниею, присоединение Франш-Контэ, Страсбурга и всего Эльзаса—вот факты первой половины царствования, далеко превосходящие по своему историческому значению отмену Нантского эдикта, хотя и лишенные того трагического ореола, который лежит на истории религиозных преследований в последние пятнадцать лет XVII столетия.

Если угодно приурочить начало гегемонии Людовика XIV, его преобладающего влияния в Европе, к какому-нибудь более точному моменту (это всегда будет несколько искуственно), то основательнее всего было бы остановиться на годах действия Chambres de réunion или, в частности, на 1681 годе, когда Людовик присоединил к Франции столицу Эльзаса—Страсбург.

Как известно, софист Протагор утверждал в свое время, что если-бы боги не дали людям чувства стыда и справедливости, то существование государства было бы невозможным. Этот парадокс, если его применить к международной политике любого государства, покажется особенно курьезным и лживым в каждом слове своем. В частности, указанные Протагором качества играли минимальную роль в годы округления восточной границы при Людовике XIV.

Дела слагались так, что не было необходимости ни в каких теориях, ни в «естественных границах», ни в чем другом. Нужен был наскоро приисканный предлог, и нужно было продолжить и распространить уже выработавшуюся во Франш-Контэ практику оккупации—на Эльзас. Направление было дано с первых лет царствования Людовика,— и отмечено было очень тонко и точно посторонними наблюдателями еще за восемь лет до начала завоевания Эльзаса и за четырнадцать лет до занятия Страсбурга.

С тем реализмом, который был им свойствен, московские дипломаты, посетившие Францию в 1667 году, сразу оценили истинную природу миролюбия короля Людовика XIV. Вот что мы читаем в отчете («статейном списке») стольника Петра Потемкина и дьяка Семена Румянцева: «С испанским королем французский король помирился, а любви совершенной нет, да и впредь чают хотя малая причина будет, за что может французский король мирное постановление разорвать, и он де тотчас войско собрав да внезапу на которые городы придет, и, поймав городы, да опосле будет мириться. А что завладеет, и того мало поступается назад» [1]). В послед-

[1]) «Статейной список посольства стольника и наместника Боровского, Петра Ивановича Потемкина, во Францию, в 7175 годе» (Древн. Российская Вивл., Москва, 1788, часть IV, стр. 560).

ней фразе заключена та же мысль, которую высказал, как было выше сказано, папа Бонифаций VIII в 1300 году.

Петр Иванович Потемкин в 1667 году смотрел на дело гораздо правильнее и реалистичнее, чем смотрит в 1923 году академик Луи Бертран, утверждающий, что Людовик XIV принужден был воевать, ибо недобросовестные враги не хотели честно исполнять мирные договоры [1]). В том-то и дело, что Людовик XIV в самом деле сначала норовил «внезапно» «поймать городы», а уже «опосле» спешил оформить все в мирных трактатах. Замечу, к слову: очень жаль, что Потемкин и Румянцев так много и с таким вкусом повествуют о том, как они в глаза выругали уполномоченное лицо герцога Грамона «скверным псом» (за то, что тот собирался взять с них пошлину), и о других тоже очень темпераментных своих выступлениях, и так скупо характеризуют дипломатическое положение Франции. Но, повторяю, общий дух политики Людовика XIV уловлен ими вполне точно и определен совершенно правдиво, хотя и слишком лаконично.

Аннексии на Рейне—быстрые, обдуманные, решительные, всегда удачные—следовали одна за другою.

Почти одновременно одна за другою предпринятые войны против Голландии привели к расширению французских границ на севере, и поставили под вечно грозящий удар всю голландскую торговую и политическую жизнь. Близкая помощь, на которую при других условиях могли бы рассчитывать аннектируемые прирейнские владения со стороны Голландии,—временно исчезла.

Еще в 1675 году состоялось завоевание Эльзаса, в 1681 г. оно было довершено окончательно.

Когда 23 октября 1681 года Людовик XIV торжественно въехал в занятый впервые французами Страсбург, то епископ страсбургский, немец по происхождению, Эгон фон Фюрстенберг воскликнул, встречая его в соборе: «Nunc dimittis»! Это «ныне отпущаеши» было весьма фальшиво, по существу, так как Эгон боялся и ненавидел Людовика, но оно легализовало окончательно аннексию Эльзаса и Эльзасской столицы. Впрочем, население Страсбурга, ждавшее со страхом наихудшего, было довольно, что все окончилось мирно. Покоряться—и, по возможности, немедленно, без излишних разговоров—было единственною возможною политикою для прирейнских аннектируемых территорий. Австрийская империя оказалась с начала 1680-х г.г. под угрозою турок, остальные германские державы, подавно, ничем до поры до времени помочь не могли. Единственная возможная опасная соперница Франции—Англия—пребывала с 1660 года во власти Стюартов, получавших тайные денежные субсидии от Людовика, нужные им для успешной борьбы с английским парламентом. Так дело шло до конца 1688 года.

---

[1]) Revue des deux Mondes, 1923, 1 septembre (статья L. Betrand «Louis XIV»—любопытная, но неосновательная попытка апологии Людовика).

Английский государственный переворот в декабре 1688 года внес коренное изменение во всю европейскую ситуацию. Английский крупный и средний движимый капитал (в лице представлявшего его Сити) готов был уже в 1647 году примириться с Карлом I, а в 1655 году предложить корону лорду-протектору Кромвелю, лишь бы поскорее восстановить спокойную государственную жизнь, возобновить борьбу с Голландией и начать борьбу с Францией; представители движимого капитала с полным восторгом встретили в 1660 году милорда Карла, когда он триумфиально шествовал от берега моря в свой дворец, чтобы занять там после долголетних скитаний престол своего казненного отца; они делали все зависящее, чтобы избежать вторичной революции, и только сумасбродства и насилия Иакова II, соединявшего в себе умонастроение Филиппа II испанского или Торквемады с темпераментом и обдуманностью нашего Павла Петровича и с личными качествами императора Коммода, — заставили Сити участвовать в низвержении династии Стюартов с престола и приветствовать воцарение Вильгельма III. Что касается другой основной экономической силы тогдашней Англии—землевладельческого класса (куда дворянство входило определяющим, но уже отнюдь не единственным элементом), — то этот класс, в общем, в своей массе, повторил почти ту же эволюцию, за вычетом, разве, увлечения Кромвелем. О меньшинстве, оставшемся в душе верным Стюартам после 1688 года—говорить здесь совершенно излишне, на внешнюю политику эта династическая оппозиция влияния не имела.

Демократические слои города (представители наемного труда) и деревни (малоземельные фермеры, батраки, быстро уменьшавшееся в количестве собственническое крестьянство) в вопросах внешней политики были настроены в Англии либо безучастно, либо иной раз более воинственно, авантюристично, конквистадорски, чем даже представители капиталистических верхов.

Поиски «нового отечества» за морем, распашка новых земель, добывание внезапных богатств, переселение на девственные новые материки и острова—приводили к постоянным столкновениям именно с французами.

В глазах оскудевшего английского эмигранта, уезжавшего за море пытать нового счастья, Иаков II был двойным изменником: он продал «истинную веру» и подчинился вавилонской блуднице, т.-е. римской церкви, и он же продал Англию Людовику XIV за субсидию. Бедные кварталы Лондона приняли революцию 1688 года с ликованием.

Таким образом, почва для начала борьбы против французской гегемонии у Вильгельма Оранского оказалась чрезвычайно прочною. Побудительных же причин и толчков было более, чем достаточно.

1. Во Франции было, приблизительно, в три раза больше населения, чем в Англии, почва была гораздо плодоноснее английской, климат лучше, поверхность, ею занимаемая, почти в два раза больше английской. Французский флот к концу XVII века мало уступал англий-

скому. Французские войска были безусловно первыми в тогдашней Европе и количественно, и качественно, французские финансы были еще не вполне расшатаны со времен Кольбера.

Непосредственное нападение на Англию было всегда (и оставалось к концу XVII века) предприятием, чрезвычайно рискованным для аттакующего, но редко оно было, вместе с тем, столь опасным и для аттакуемого. Окончательное утверждение французской гегемонии на материке должно было иметь непременным логическим своим последствием высадку французской армии в Англии. Если бы даже Людовик XIV не содержал, на всякий случай, в Сен-Жермене изгнанных Стюартов и их двор, если бы даже он не давал постоянно денег и оружия ирландцам, если бы, даже, его агенты не вели тайной агитации и разведок в самом Лондоне,—все равно, вся его политика в Европе клонилась, как к необходимому своему завершению, к попытке сломить Англию прямым ударом.

2. Монархия Людовика грозила Англии не только в Европе. Успешное основание колоний в Азии и Америке сделало Францию почти на всех мировых путях опаснейшею и бдительною соперницею Англии. В Индии, в Северной Америке, в Африке—всюду шла нескончаемая война между английскими и французскими сеттлерами. Сеттлеры часто вели истребительную борьбу *при деятельной поддержке регулярных войск*—это любопытнее всего,—даже тогда, когда между метрополиями царил глубокий мир. Французский посол Барильон со всеми придворными, в четыре темпа, поклонами вручал королю английскому Иакову II взятку в полмиллиона ливров; король в умилении просил Барильона в ответ передать Людовику XIV: «Моя привязанность к нему будет длиться столько же, сколько моя жизнь»,— а в то самое время, когда в Уайтгольском дворце происходила эта идиллия,—французы и англичане резались на берегах северо-американских рек почти без перерывов, и даже тренировали краснокожих для деятельного участия в этом состязании. Когда же революция 1688 года изгнала Иакова из Англии,—эта борьба в колониях и из-за колоний приняла особенно широкий характер.

Но война первой коалиции против Людовика XIV, где в первый раз участвовала Англия, показала, что рубить корни французской силы возможно будет лишь очень медленно и наперед мирясь с неудачами и разочарованиями. После этой долгой и изнурительной войны, начавшейся в 1688 г. и еще не окончившейся в 1696 году, после войны, где против Людовика XIV боролась Австрия со всеми своими германскими союзниками, Голландия, Англия, Савойя, Испания, при полной изоляции Франции, у которой не было *ни одного* союзника, которая была окружена со всех сторон врагами,—Вильгельм III, король Англии и штатгальтер Голландии, душа союза, человек железной энергии и крутого, упорного духа, осенью 1696 г. написал своему ближайшему другу, великому пенсионарию Гейнсиусу: «В этом случае» (если Савойя заключит сепаратный мир с Людовиком, что и случилось) «я не вижу, как мы

можем продолжать войну, не подвергаясь верной гибели, и мы будем принуждены заключить такой мир, какой Франция пожелает нам даровать». Вильгельм метался во все стороны, ища денег. Он самым серьезным образом писал, чуть не с полей битв, в Англию, что ему нечем кормить солдат, и что если не подошлют денег, то армия разбежится. А министры не знали, где достать хоть часть нужной суммы. «Если не удастся (достать деньги от английского банка. *Е. Т.*), один бог знает, что может быть еще сделано. Все средства должны быть испробованы, лучше, чем лечь и умереть (rather than lie down and die)»,—так писал 7 августа 1696 года королю Вильгельму лорд Шрэсбери, государственный секретарь и член регентства. Вот при каких условиях приходилось бороться.

А Людовик все еще держался. Нужно было заключить мир и сделать передышку. Когда 10 сентября 1697 года Рисвикский мир был подписан,—Людовик твердо стоял на ногах, и мысль его была уже всецело поглощена назревшею новою, хотя и замаскированною, аннексиею, которая обещала окончательно упрочить его гегемонию в Европе. Предстоял захват Испании домом Бурбонов.

III.

Война за испанское наследство всегда изучалась по старинке, авторы не утруждали себя и читателей особенно сложными вопросами; и, напр., в немецкой и английской историографии мы найдем немало подробных описаний дипломатических переговоров и анализ военных действий принца Евгения, Мальборо, маршала Виллара, и очень немного о причинах необычайного упорства сторон в войне, которая кончилась затем такими, повидимому, мало-решительными для всех воевавших сторон результатами. Когда-нибудь история этой войны или, вернее, история Европы в эпоху этой войны, будет пересмотрена исследователем, который, может быть, не сумеет даже ответить ни на один большой вопрос, но захочет эти вопросы только поставить,—и уже тогда, наверно, удивятся, что под хламом старых ненужностей так долго не замечали громадного, незаменимого материала для истинного, а не призрачного познания истории европейских народов. Если бы на всестороннее исследование эпохи войны за испанское наследство была потрачена $^{1}/_{10}$ того труда, который, напр., пошел на историю отмены Нантского эдикта и ее последствий, то выигрыш для науки был бы огромный. Но—habent sua fata themata, не только libelli. Одной теме везет, другой—нет. Этой теме не повезло.

Французская историография тут интереснее английской и германской, но и она чрезвычайно мало помогает делу. Здесь можно отметить по вопросу о начале войны за испанское наследство два основных течения. Одно представлено историками в духе академика Луи Бертрана, новейшего, самого блистательного по своему стилю и наиболее откровенного по основной тенденции из апологетов Людовика XIV: король-

солнце всегда отличался мудростью, умеренностью, осторожностью, терпел от недобросовестности противников, но что же ему было делать, если враги и тогда, как и теперь («comme dans la Ruhr!»: слова Бертрана) отказывались от выполнения обязательств? Подобно другому страдальцу, уже из новейших времен, Раймонду Пуанкарэ, великий король, с душевною болью, был вынужден насиловать истинную свою умеренную и сдержанную натуру—вступать в чужие области и подолгу (насколько от него зависело) там задерживаться. Таков первый взгляд. Второй—более сложен по содержанию и менее непосредствен по выражению. Его придерживаются или к нему с оговорками склоняются и Легрелль в своей шеститомной монографии (La diplomatie française et la succession d'Espagnè), и антиквированный появлением книги Легрелля Рейналь, за пять лет до появления первого тома Легрелля, выпустивший в 1883 г. свою двухтомную книгу о завещании Карла II испанского (Louis XIV et Guillaume III, histoire des deux traités du partage et du testament de Charles II), и ряд историков помельче, зависящих от этих основоположных трудов. Этот взгляд в своем наиболее, так сказать, радикальном, решительном выявлении, перешел и в тот курс истории Франции, который был как бы подведением итогов французской исторической науки: я имею в виду Histoire de France, редактированную покойным Эрнестом Лависсом. Здесь этот взгляд сводится к признанию, что политика Людовика XIV к началу 1701 года добилась превосходных результатов, в Испании воцарилась династия Бурбонов, и Людовик XIV стал как бы опекуном и нового испанского короля, своего внука, и всей Испании. Но, в том же 1701 году, к сожалению, Людовик совершил кое-какие ошибки (les fautes de Louis XIV: так автор Saint-Leger озаглавил соответствующий параграф, ср. том VIII, стр. 78). Главною из этих «ошибок» было занятие бельгийских городов французскими войсками, силою выдворившими—а отчасти заарестовавшими—расположенные там голландские гарнизоны. Другая «ошибка» состоит в том, что Людовик XIV устроил так, что вся торговля испанских колоний стала переходить в руки французских негоциантов и даже богатейшая из монополий, так наз. Asiento, т.-е. право ввоза и продажи негров, тоже перешла в руки французской гвинейской компании. А это-то (cette conduite) и поссорило Людовика XIV с Голландией и Англией и вызвало убийственное, длившееся больше двенадцати лет, кровопролитие.

Писать так историю—возможно (главное доказательство—то, что ее часто так писали и пишут до сих пор); но понять события при таком историографическом методе никак нельзя. История войны за испанское наследство, где подробно трактуется (с приведением генеалогических таблиц) о правах Бурбонов на испанский престол, где указывается на усиление блеска дома Бурбонов, как на цель предприятия, а на торговые выгоды французского купечества, как на «ошибку» «поведения» Людовика XIV,—такая история методологически отличается очень слабо от любого героического мигрирующего мифа, напр., от жизнеописания Бовы-Королевича, которому тоже сначала везло, и

который тоже впал потом в целый ряд злополучных ошибок, от последствий коих с большими затруднениями избавился.

С точки зрения нашей темы и нашего подхода к теме положение вещей в 1701 г. сложилось такое. Все главное, чем успел завладеть Людовик до тех пор, за ним осталось; уступки и отдачи были, сравнительно, ничтожны. Свои территориальные, старые и новые, европейские и внеевропейские приобретения французское правительство стремилось так или иначе предоставить для использования и эксплоатации французскому движимому капиталу, торговому, промышленному, судостроительному, и приэтом король продолжал не уклоняться от заветов Кольбера (в чем его принято укорять, когда речь идет о второй половине царствования), а следовал в точности этим заветам. Овладение Испанией (а именно так можно было, зная Людовика, истолковывать, несмотря на все дипломатические формулы, воцарение его внука Филиппа на испанском престоле) влекло за собою и обеспечение новых огромных рессурсов для французского движимого капитала в колоссальных испанских колониях. А что Людовик XIV умеет из этих движимых капиталов, при всем несовершенстве налоговой машины, извлекать во-время то, что ему нужно, в этом Европа убедилась в августе 1696 года, когда лорд Шрэсбери собирался, как выше упомянуто, «лечь и умереть» в ответ на требование о присылке денег для войны против Людовика, сам же Людовик отнюдь не помышлял о жесте, исполненном подобной резиньяции. Франция была опасна для Европы, вообще, и для Англии в частности,—даже если бы у нее вовсе не было колоний и шедших оттуда богатств; колонии испанские—неизмеримо богатые, необъятные, беспредельно щедрые по своей природе—были бы страшны для Европы и, особенно, для Англии, если бы принадлежали даже не Франции, а любой другой державе, хоть немного более способной их целесообразно использовать, чем Испания. Вывод из этих двух посылок был сделан всеми европейскими кабинетами вполне логичный: допустить соединение в руках Людовика или его наследников европейского могущества Франции с колониальными богатствами Испании значило обречь Европу на длительное (и довольно прочное в предвидимом будущем) подчинение воле Версальского двора.

Гегемония Франции, влияние на дворы, возможность давления — всё это уже было налицо, с некоторыми перерывами, около двадцати лет, до 1700 г. Но теперь дело шло об ином; Европе континентальной приходилось готовиться к чему-то, очень похожему на вассалитет, Англии—уже чувствовавшей за собою достигнутое преобладание на море—нужно было ждать постройки нового французского флота и борьбы на всех морях за свои колонии.

В Англии очень многие долго не хотели в 1700—1701 г.г. воевать, конъюнктура в некоторых существенных отношениях была неблагоприятною, хотели кончить миром, признали сразу Филиппа V испанским королем, и все-таки начали войну. И на континенте те, кто даже не имел, подобно австрийским Габсбургам, никаких претензий

на испанский престол, пошли, не колеблясь, за Англией и Австрией. Слишком жизненные и очевидные интересы были в игре; и на этот раз не о свободе Рейна, а об участи всей Европы был поставлен ребром вопрос. Ружья стали стрелять сами, не дождавшись даже окончательного обмена дипломатическими любезностями. В первые годы войны, преобладание Франции в Европе держалось. Гегемонии Людовика XIV нанесен был смертельный удар лишь на четвертый год войны за испанское наследство, в битве при Бленгейме, 13 августа 1704 года. И все-таки до такой степени продолжала действовать привычка, до такого гипноза дошло во всей Европе поколение, выросшее в царствование Людовика XIV, что сам герцог Мальборо, победитель французов при Бленгейме, не верил долго глазам своим,— и даже спустя два года после следующей крупнейшей своей победы над французами (при Рамильи), когда, в первые же несколько дней после битвы, ряд городов и крепостей сдались англичанам, и Мальборо торжественно вступил в Брюссель,—счастливый полководец все еще не мог освоиться с тем, что король-солнце безнадежно утратил гегемонию в Европе. «Это, действительно, скорее кажется сном, чем правдою», писал он 31 мая 1706 года, т. е., значит, спустя 8 дней после победы при Рамильи и на третий день после своего въезда в Брюссель. It really looks more like a dream than truth! Ему все казалось, что такие перевороты могут скорее сниться, чем сбываться в действительности.— Но с каждым годом войны становилось яснее, что Людовику не удержать гегемонии, а Европе—не сломить Людовика окончательно; и когда две главные стороны пришли к этому заключению, борьба прекратилась.

Когда 22 августа 1712 года лорд Болинброк и граф де-Торси подписали перемирие в Фонтенбло,—и этим закончили длившееся двенадцать лет кровопролитное состязание между Англией и Францией,— основная цель Англии оказалась достигнутою. Не затем, ведь, Англия вела эту убийственную и бесконечную брань, чтобы получить Гудзонов, залив, Акабию, Нью-Фаундленд и остров св. Христофора, и не затем чтобы заставить французское правительство срыть укрепления Дюнкирхена, но затем, чтобы добиться отказа Людовика XIV от всяких мечтаний о соединении в руках. французских королей власти над Францией и Испанией, и, главное, чтобы указать Людовику предел, дальше которого французское могущество не должно и не будет распространяться. Еще до того, как была решена судьба войны за испанское наследство, из рук Франции было выбито окончательно оружие, без которого упрочить свою гегемонию вне Европы ей было трудно, расширить же свои колониальные владения за счет англичан еще труднее. Французский флот должен был прекратить свою борьбу с английским флотом за первенство. Ошибочно было бы недооценивать, но несообразно с реальностью и переоценивать значение этого факта.

Нам тут нужно принять к сведению три стороны дела: во-первых, отметить, что сильный флот не был для Людовика делом первой необ-

ходимости для установления его гегемонии на Рейне и в центральной Европе; во-вторых, что отсутствие первенства на море стало давать себя чувствовать, только когда пришлось бороться против Англии за сохранение и увеличение этой гегемонии и расширение её сферы; и в-третьих, что переход морского господства в руки Англии тяжко и длительно подрывал морскую торговлю Франции даже в годы мира.

Чтобы отчетливо уяснить себе реальную обстановку политической борьбы между двумя великими западными державами в XVII и начале XVIII веков, нужно считаться со множеством обстоятельств, которые легко ускользают от внимания и понимания людей нашего времени. Например, в эпоху русско-японской войны английские морские специалисты (школы лорда Бересфорда), помнится, настаивали на следующей аксиоме: морская сила кое-что может сделать против суши, а сухопутная сила не может против моря почти ничего. Это, по их мнению, аксиома. Но попробуйте усвоить себе подобные аксиомы и перенести их в анализ событий XVII века,—и можно гарантировать, что этот век останется совершенно непонятым. В XVII веке, напротив, суша была сильнее моря,—и тот, кто был могуч только на суше, был сильнее того, кто был могуч только на море. Первостепенная морская, торговая, колониальная, финансовая держава Голландия бывала иногда, месяцами, в жесточайшем затруднении,—не из-за войны с другою великою державою, а вследствие полной невозможности справиться как с корсарами, так и с пиратами; эти две категории не следует смешивать, так как первые—были предусмотрены международным правом, а вторые—только уголовным, что не мешало тем и другим грабить при случае торговые суда совершенно одинаковым образом. Корсары выезжали из Дюнкирхена и Остендэ, пираты из Туниса, Алжира, Марокко, южной Испании; первые практиковали в Северном море и Ламанше, вторые в Атлантическом океане и Средиземном море, причем, впрочем, области их компетенции были весьма неясно разграничены,—и обоюдным их усилиям удавалось неоднократно прекращать голландскую торговлю. Приходилось снаряжать целые флотилии, чтобы хоть немного и на время очистить море. Недавно в амстердамских архивах найдено было письмо Рембрандта (знаменитый портретист занимался, между прочим, и морскою торговлею), в котором он жалуется на эти бедственные обстоятельства и свои потери; все амстердамское купечество нападало на власти города за недостаточную охрану торговых интересов. Точно так же отношение торговых кругов, всего лондонского Сити, к тем или иным режимам времен долгих революционных потрясений XVII века, популярность Кромвеля в Сити, непопулярность некоторых министров Карла II—объясняются теми же точно соображениями. Серьезный враг для британского народа король-солнце, деспот и папист, Людовик XIV; но очень серьезен бывал временами и капитан Гаукинс или Кидд или какой-либо из его предшественников или преемников по грандиозным разбойничьим операциям на море.

И сила Людовика XIV в первой половине царствования, его преимущество пред Англией и Голландией—заключались вовсе не в том, что он успешнее справлялся с пиратами (он справлялся с ними хуже, чем делали это англичане и нидерландцы), — но в том, что он не так нуждался в море, как Англия и Голландия. Вот почему, пока он стремился только к округлению границ на севере и на востоке, за счет голландский или испано-бельгийский, или германский, — он был непреоборим: когда же дело пошло об общей борьбе с Англиею на суше и на море, — тогда все эти привходящие обстоятельства коснулись и его, — и ослабили, расчленили и подорвали его силы. Он не справился до конца дней своих ни с англичанами, ни с пиратами варварийских берегов, ни с корсарами Ламанша, Бискайского залива, Северного моря.

Нелюдимы, дики, никому решительно не подчинены были моря в том веке. Их нужно было отвоевывать не только у англичан и у голландцев, но и у бессчисленных, неведомых и очень сильных (своим вездесущием) неприятелей. Правильно было сказано об этих временах: купец (любой нации) выезжал часто с товарами в фактории Леванта или в Индию, — в качестве купца; в открытом море (все продолжая свой правильный рейс) он превращался в пирата и, вспомоществуемый своими матросами и приказчиками, грабил встречные суда чужих наций, без всякого лицеприятия, врагов и союзников; подъезжая к месту назначения, он снова обращался в мирного негоцианта. На обратном рейсе повторялось то же самое. Ни один Зомбарт не ответил точно на вопрос: кто такие, напр., были Гаукинсы? Торговый дом или династия морских разбойников?

Таковы были моря. На них шла своя особая жизнь, царили свои порядки и условия, там туго менялись обстоятельства, — и было похоже, что время остановилось на семнадцать веков между 67 годом до Р. Х., когда пираты отрезали миродержавный Рим от всех его владений и довели его до жестокого продовольственного кризиса или 74 годом, когда они взяли в плен Юлия Цезаря, и тем днем, когда пираты же взяли в плен английский военный корабль, на котором полномочный представитель всемогущего Оливера Кромвеля ехал в Голландию, и раздели этого полномочного представителя до рубахи. При таком положении вещей относительное господство английского флота на море все же давало англичанам огромное преимущество: их торговля была на море в несколько бо́льшей безопасности, чем торговля французская или голландская. Не только потому это происходило, что их все-таки больше боялись пираты, но и потому, что только английские корсары чувствовали себя более или менее безопасными от поимки и веревки; и только англичане вели на море (противозаконно, но вполне безнаказанно) корсарскую войну против всех не-английских купеческих кораблей целыми годами в эпоху полного мира между Англией и всеми прочими державами.

Решилась участь борьбы за морское первенство в пользу Англии еще до войны за испанское наследство.

Это ничего не значит, что Жан (точнее Ян, он был фламандец) Барт, каперствовавший за счет Франции, наносил английской торговле громадные убытки, и что адмирал Турвиль одержал над англо-голландским флотом 10 июля 1690 года блестящую победу при Бичи-Хэде. Ведь Франция не могла никак тратить на флот столько, сколько было необходимо, чтобы выдерживать длившуюся десятилетиями войну с Англией. Достаточно было тому же адмиралу Турвилю потерпеть в 1694 году тяжкое поражение при Ла-Гоге, — и все предшествующие успехи были сведены к нулю. В течение всех последующих лет войны, кончившейся Рисвикским миром, — и затем в течение всей огромной войны за испанское наследство французский флот уклонялся от встреч с англичанами, если не считать одного мелкого исключения, и французы довольствовались каперскими нападениями на торговые суда противника.

Результат войны за испанское наследство был в одном отношении вполне определенным: море перешло всецело во власть Англии.

Во французской историографии (особенно, старой, роялистской) очень укрепилось мнение, что французский флот был разрушен революцией, а до революции стоял на большой высоте. В этом мнении есть неясность: французский флот уже до революции не мог состязаться сколько-нибудь успешно с английским. Эта часть англо-французской дуэли была покончена еще при Людовике XIV. Уже к средине XVIII века, в 1747 году, у Англии было 126 линейных военных кораблей, а у Франции всего 31.

Последствия были для всего периода средины и конца XVIII века весьма серьезны: всякая война с Францией становилась для англичан войною колониальною, где они, а не французы, могли выбирать объект и срок нападений.

Итак, французская гегемония и на суше, и на море была отклонена от Европы. Но деятельная роль Франции и в центре, и на периферии Европы не была покончена. И в течение всего XVIII века активная французская политика постоянно заставляет ее противников вспоминать о временах Людовика XIV и говорить о покушениях Версальского двора воскресить эти времена.

Например, Петр Великий боялся Франции и не доверял ей, и правильно разгадал, что французская политика всегда будет в делах, касающихся центра и севера Европы, стараться восстановить и укрепить главные положения Вестфальского мира. Когда 24 марта 1716 года в Данциге, в доме великого канцлера графа Головкина, собралась русско-польская конференция и русские представители подали польским записку о накопившихся неудовольствиях (так называемую «Меморию досадам»), — то самою большою из всех этих русских

досад оказалась негоциация короля польского Августа с французским двором, причем, по русским сведениям, французский двор в особом договоре требовал, чтобы все оставалось в «священной римской империи» (т.-е. в Германии) так, как это определено по Вестфальскому миру.

Петр не мог следовать относительно Франции старому правилу: «дружи не с соседом, а через соседа», потому что влияние Франции было могущественно и в Швеции, и в Польше, и в Турции, и цесарские владения не были достаточным от Франции заслоном.

Эта традиция от Петра сохранилась в русской дипломатии.

В мае 1734 года, когда решалась участь Лотарингии, и было ясно, что австрийскому дому ни в каком случае нельзя будет отстоять эту землю от французов, вошедших туда с большими силами, русский обер-шталмейстер Левенвольд прибыл в Берлин и имел серьезный разговор с королем. Это была уже, по малому счету, третья и последняя попытка заставить Фридриха-Вильгельма I энергично действовать против французов. На этот раз Левенвольд просил хотя бы только о примерной диверсии на Рейне, только о сборах, только об угрозах. И опять ничего не вышло. Король объявил, что нужно «долго подумать». Остерман конечно, хотел помочь Австрии против Франции затем, чтобы окончательно провалить дело Станислава Лещинского в Польше. Но хотя Станислав, в конце концов, и провалился, однако, Лотарингия была потеряна: Пруссия не пошевелилась даже, чтобы ее отстоять от французов; так был упущен момент, который уже не вернулся. В 1735 году Лотарингия была формально уступлена Франции Габсбургскими домом, который ею владел. Еще до договора 3 октября 1735 года вся эта область была занята французскими войсками.

Лотарингское дело было уже с XVI века обдумано в Париже. Довершить начатое Генрихом II удалось таким образом в 1735 году, в эпоху, когда Франция уже претензии на гегемонию в Европе не выставляла.

Австрия заплатила Лотарингией за попытку извлечь кое-какую пользу из выборов нужного ей человека на польский престол.

Мена была для Австрии—и еще больше для всей западной Германии—невыгодная. В те времена Лотарингия еще сохраняла в известной степени немецкий характер.

В Австрии, предпринимая всю эту операцию против Станислава Лещинского, за которую пришлось так дорого расплатиться, не чувствовали, до какой степени новые восточные надежды эфемернее старых западных владений.

Фридрих Великий, напротив, очень хорошо понимал эту разницу, и когда однажды (в феврале 1772 г.) австрийский посол фон-Свиттен предложил ему вернуть Австрии маленькое графство Глатц за обширные польские земли из полученных Австрией по первому разделу, король заявил: „У меня подагра только в ногах, а с подобными предложениями было бы позволительно ко мне обращаться, если бы подагра была у меня в голове“.

Он бы, на месте своего отца и в 1734—35 г.г., за Лотарингию, вероятно, серьезно поборолся с французами (потому что Пруссии было выгоднее, чтобы Лотарингия осталась в руках Габсбургов), — если судить по дошедшим до нас его саркастическим и враждебным французам заметкам, которые он сделал тогда же, когда произошло присоединение Лотарингии к Франции,—но он был тогда еще бессильным кронпринцем.

Дело было сделано, и уже никто не мог его надолго уничтожить. Попытка отнять у французов Лотарингию была совершена спустя 135 лет после ее присоединения к Франции, — и Лотарингия была в тот момент уже гораздо более французской, чем немецкой землею.

Эта попытка казалась поколению 1870 года очень удачной для Германии; поколение 1918 года держится в данном случае иного мнения: „Avec la terre française c'est comme ça: tout empire germanique qui en a mangé,—en est mort". Эти слова были сказаны после Версальского мира.

Таким-то образом, между эпохою Людовика XIV и империею Наполеона, произошло завоевание Лотарингии, дополнившее и упрочившее дело Людовика, но не завершившее собою движения Франции к Рейну. Приближались времена великих переворотов, буря революции и эпопея Цезаря.

IV.

Революционные события сначала (до 1792 года) совсем сняли Францию со счетов в области международной политики. Дипломаты монархической Европы, которым было некогда, уже спешили составлением проектов раздела Франции, наподобие того, что было сделано с Польшей.

Габсбургский дом собирался получить обратно Лотарингию. Страсбург должен был снова стать имперским городом, шла речь и о Вердене и о других присоединенных к Франции с XVI века восточных областях.

Но с конца 1794 года дело стало круто меняться, и французская республика, отбросивши врагов от границ, выступила на путь завоеваний. В 1796 году началась наполеоновская военная эра. В эти последние годы директории все казалось непрочным, не-настоящим, подлежащим пересмотру, и внутри страны, и вне ее, и, в частности, на Рейне. Поход Суворова в Италию показал, как шатки еще многие завоевания республики.

Но вот — наступил решительный кризис.

В ноябре 1799 года генерал Бонапарт захватил верховную, фактически самодержавную, власть, 14 июня 1800 года произошла битва при Маренго, 3 декабря 1800 года австрийцы со своими союзниками были разгромлены при Гогенлиндене, — и 9 февраля 1801 года был подписан Люневильский мир, причем Габсбургский дом заключил

этот мир также и от имени всей «Священной римской империи германской нации». Территория в 1150 квадратных миль, в том числе весь левый берег Рейна и некоторые владения на правом берегу — отошли окончательно к Франции. Вековая цель была достигнута, «естественная граница» на востоке — обеспечена.

С этого-то времени начинается в истории Европы новая большая глава о французской гегемонии, вписанная кровью в летописи человечества. Пред нами—двоящийся образ. Мы видим то французского монарха, который сказал о себе, что он «ответствен за всех, начиная с Хлодвига», видим наследника и продолжателя Людовика XIV, государя в горностаевой мантии со скипетром в одной руке и державою в другой, как он стоит на Вандомской колонне, законодателя и самодержавного императора, которого коронует в Нотр-Дам римский первосвященник, и который женится на дочери австрийского императора; то пред нами воитель, для войны рожденный, ею живущий, без нее томящийся духом, на нее смотрящий, как на вполне нормальный, обиходный, можно сказать, совершенно прозаический, удобный и всегда под рукою находящийся резервный аргумент. Есть еще один синтетический образ, который часто предносился взору и самого Наполеона, и современного ему поколения: Карл Великий, тоже и государь, и воин, и папский помазанник, и вождь завоевательного ополчения, и законодатель, и администратор, и постоянный инициатор вторжений и агрессивных войн, властитель, силою взявший Запад, собравший на время своей жизни эту рассыпавшуюся за триста лет до него храмину.

Масштабы у Наполеона были не те, что у Людовика XIV, и обстановка была не та.

Наполеон получил в свое распоряжение и организовал великую державу, которая только что пред тем революционным усилием уничтожила бесповоротно все путы, мешавшие свободному развитию новых капиталистических сил и нового хозяйства вообще: видел же он пред собою на континенте державы, у которых этот результат еще не был достигнут, которые уже поэтому были слабее, у которых не только не было сознания внутренней правоты их социально-экономического строя, но, что гораздо важнее, не было никакого убеждения в его логичности и прочности, в том, что стоит его дальше сохранять и защищать. Уже в этом была разница между обстановкою наполеоновской борьбы,—и обстановкою борьбы Людовика XIV.

Франция при Людовике была организмом не идентичным, но аналогичным всем тем, с которыми она боролась на континенте,—и стоявшим ниже организма английского уже вследствие присутствия такой социальной болезни, как сеньериальный строй. При Наполеоне же во французском государственном теле не было уже тех социальных болезней, которые еще разъедали большую часть Европы. Второе отличие заключалось в том, что центральная Европа и Австрия были построены так, что всякие толчки—изнутри ли, в виде попыток административных реформ, извне ли в форме войн, не сплачивали, а раз-

дробляли, разъединяли их, грозили полным распадом и без того рыхлым, неуклюжим, неспаянным государственным образованиям. Наполеон же царствовал над страною, которая уже несколько веков как достигла государственного объединения, которую только что бывшая великая революция объединила и сплотила окончательно, и которую именно он, Наполеон, одел в прочный панцырь законченных, строго соображенных, идеально-централизованных учреждений.

Таковы были благоприятные для Наполеона отличия в обстановке, среди которой он строил здание великой империи, сравнительно с обстановкою Людовика.

Были и отличия неблагоприятные. Они должны быть рассмотрены в тесной связи с анализом масштаба, размаха деятельности Наполеона, в чем он был так непохож на Людовика XIV.

Куда направлялись его действия? И как смотрела на эти действия как тщилась разгадать эту загадку Европа? Гентц, доверенный человек Меттерниха, говорил, что Наполеона нужно рассматривать, как стихийную силу природы. Он был не одинок в своем воззрении. Упрощать проблему начали лишь впоследствии.

Покойный Альбер Сорель потратил много учености, остроумия и стилистического блеска, чтобы в четырех последних томах своей восьмитомной книги «L'Europe et la révolution française» доказать, что, в сущности, военный разгром Европы, производившийся Наполеоном в течение всего его царствования, был не чем иным, как, прежде всего, вынужденною защитою рейнской, а отчасти и альпийской границы от коалиций, желавших эту границу отнять. Сначала нужно было эту рейнскую границу защищать на Рейне, потом на Дунае, потом на Висле, потом на Москве-реке.

И если бы не исход русской кампании, пожалуй, Наполеону пришлось бы оборонять рейнскую границу на Ганге и Инде (куда он уже собирался), а Сорелю—описывать эти защитные усилия в девятом томе.

Такие тезисы можно ставить и обсуждать (каких же тезисов нельзя ставить и обсуждать?), но доказать их никак нельзя. Внутренняя невероятность, кричащая несообразность—воспрепятствуют всем усилиям аргументаторов. В наполеоновской эпопее—значительнее всего 1) легкость разрушения общеевропейского старого режима и всего социально-политического уклада, и 2) полная невозможность длительного существования колоссальной империи.

Великий поэт назвал Наполеона: «Свершитель роковой безвестного веленья». Воображенье поэта было поражено непрерывною активностью, не знающею отдыха энергиею, которая могла иногда казаться самоцелью, этою уверенностью руки в разрушении одних форм и созидании других, необычайною торопливостью инициативных импульсов и немедленным, столь часто успешным стремлением к реализации. Среди безмолвия и страха, который он внушал, превращая последовательно одни народы в орудия, другие—в жертвы, третьи—в зри-

телей, непрерывно приэтом переводя то тех, то других из одной роли в другую, органически не будучи в состоянии допустить существование чужой инициативы рядом со своею, рассматривая каждую автономную волю (особенно, после 1807 года), как вызов и casus belli, император совершал свой исторический путь, не переставая приковывать к себе взоры. Современники, особенно те, которые от него пострадали или готовились пострадать, не претендовали на окончательное разрешение загадки. Они видели только, что император необычайно спешит, как будто за ним гонятся фурии, что каждая грандиозная перемена в Европе, которую он совершает, влечет за собою непременно другую, еще более грандиозную, что самая нивелляция, уравнение и единообразие, которые он проводит в промежутках между битвами, тоже являются не самоцелью, а только средством. Очень бы изумились Меттерних и Гентц, Питт младший и лорд Ливерпуль, граф Румянцев и Александр I, если бы им сказали, что все это землетрясение происходит, главнейшим образом, затем, чтобы защитить рейнские и альпийские границы; Сорель не имел бы среди современников Наполеона никакого успеха.

Но, в конце концов, дело было не в психологических анализах: Европе грозила уже не гегемония в духе Людовика XIV, но другая гегемония, походившая на прямое политическое порабощение.

Современники (а к их ощущениям должно в данном случае относиться с особенным вниманием) именно с битвы при Маренго, обыкновенно, считали начало наполеоновской гегемонии в Европе. Но некоторые (меньшинство) приурочивали этот момент ко времени на пять с половиной лет позже, к битве под Аустерлицем, т.-е. ко 2 декабря 1805 года. «Не такие беды бывали со мною, я проиграл аустерлицкое сражение, решившее участь Европы, да не плакал», сказал Кутузов после неудачного штурма Браилова, вечером 20 апреля 1809 года, в утешение князю Прозоровскому, который рвал на себе волосы и рыдал. Из всех людей именно Кутузову тяжелее всего было сделать подобное признание. Его слова вполне точно отражают взгляды трех кабинетов: русского, английского, австрийского. Они пять с половиною лет, от Маренго до Аустерлица, отказывались признать, что участь Европы решена.

Не отрицая факта зарождения французской гегемонии еще с Маренго, они долгое время считали этот факт эфемерным.

Раздумывая после Нарвы о поражении, Петр Великий сознался, что «все то дело яко младенческое играние было»: до такой степени не была оценена сила врага и не было сделано, со своей стороны, то, без чего речи не могло быть о спасении от Карла XII. То же ослепление, то же непонятное впоследствии, но иногда как-то неотразимо нападающее совсем некстати легкомыслие, то же глубочайшее непонимание противника—владели европейскими кабинетами от самого начала наполеоновской карьеры вплоть до Аустерлица, т.-е. в долгое десятилетие огромных походов, битв, завоеваний, начавшееся весною

1796 года и окончившееся 2 декабря 1805 года. Всякий раз, объявляя ли войну или поднимая перчатку, правящая Европа за весь этот период склонна была думать, что ликвидация французских сил близка, и близка, вместе с тем, ликвидация всех изменений как во французских внешних границах, так и во внутреннем быту послереволюционной Франции. После блистательных военных побед и дипломатических завершений Франция была устрашающе огромна и сильна уже при консульстве. «Я был тогда ростом во сто локтей», j'étais alors haut de cent coudées, вспоминал впоследствии Наполеон о первом десятилетии своей деятельности, особенно, о годах консульства. И хотя непосредственные соседи и державы послабее уже тогда трепетали пред ним, и, напр., курфюрст баденский, на территории которого был беззаконно схвачен французскими жандармами герцог Энгиенский, не только не осмелился протестовать, но поспешил забежать вперед, чтобы обнаружить пред Наполеоном свое усердие, хотя остальные монархи стран, граничивших с Францией, вели себя не храбрее курфюрста Баденского и сознавали себя уже тогда вассалами, но в Англии, в России, в Австрии настроение еще было уверенное и думали не о том, чтобы продержаться, но о том, как бы ускорить ликвидацию наполеоновской державы. Только после Аустерлица стали понимать устрашающее значение французской империи и грозную, неотвратимую опасность, повисшую над Европою. Это сознание в промежуток времени от Аустерлица до Тильзита, от начала декабря 1805 года, до конца июня 1807 года, комбинируется с серьезными усилиями остановить победное шествие Наполеона. Напр., русская война от Пултуска до Фридланда вовсе не похожа на Аустерлицкую кампанию.

После Тильзита вплоть до начала войн 1812—1814 г. г. гегемония Наполеона общепризнана (на континенте) и вполне реальна; так реальна, как не была никогда гегемония ни одного монарха в этой части света. Этой гегемонии не мешает ни затяжная народная война в Испании, ни отчаянный поступок Австрии в 1809 году, так жестоко наказанный Ваграмским побоищем и Шенбруннским миром.

Но этой гегемонии, зато, непрестанно вредят и ее упорно подтачивают и подрывают два могущественные фактора: во-первых, несоразмеренность экономического фундамента с колоссальною политическою постройкою и, во-вторых—Англия, теряющая союзников, теряющая торговлю, терпящая неудачи и поражения,—но не складывающая оружия.

Первый фактор был вреднее второго. Уродливость в экономическом строении империи была опаснее английского флота, гибельнее пожара Москвы, непреодолимее русских морозов, непоправимее измены саксонцев, неуловимее испанских гверильясов. И этот фактор дал о себе знать именно в последние годы блеска и безмерного политического могущества Наполеона. Уже не было пред французским императором тех столь раздражавших его русских послов, которых он видел некогда в Тюильри, когда был первым консулом; не было ни Колы-

чева, ни Моркова, которые, как о них тогда в России говорили, «катеринствовали», т.-е. вели себя, как гордые екатерининские вельможи; был уступчивый, терявшийся старик Куракин, был вкрадчивый, почтительный дипломат и лазутчик, молодой Александр Чернышев. Не было Питта Младшего, — были эпигоны и посредственности, и единственный достойный преемник Питта, начинавший Джордж Каннинг, после краткого пребывания в британском кабинете, был надолго убран прочь от власти. Была окончательно сломлена Австрия, и Меттерних считал себя счастливым, что удалось устроить брак эрцгерцогини Марии-Луизы с Наполеоном. О прочих державах — говорить не приходится: только безусловная покорность еще спасала некоторые из них от неминуемого присоединения к великой империи.

И в эти-то годы неестественность строения империи, состоявшая в несоответствии между экономикою ее и политикою, стала явственно сказываться.

Наполеон политически хотел продолжать Карла Великого, и называл себя императором Запада, и в самом деле, его империя с вассальными и полувассальными владениями размерами своими далеко превзошла империю Карла, а фактическая власть его над этою империею была несравненно больше, чем могла когда бы то ни было быть реальная власть Карла. Но в экономическом отношении Наполеон упорно шел по пути Валуа, Бурбонов, прусских Гогенцоллернов, по пути любого национального правительства времен возникающего и развивающегося меркантилизма. Он хотел царствовать над всею Европою, но с тем условием, чтобы вся Европа была объектом экономической эксплоатации для Франции. Он даже выдумал название для этой привилегированной части своей огромной империи. Франция называлась на официальном языке «старыми департаментами». L'Empire français — это было целое, les anciens départements — это была часть; но целое принуждалось к полному экономическому подчинению этой части, к забвению самых законных своих хозяйственных интересов во имя исключительно интересов этой части. То, о чем в эпоху полного развития националистической политики в России, в конце царствования императора Александра III и в первые годы Николая II, осмеливалась писать только в наиболее откровенные минуты часть русской прессы, находившаяся под наиболее сильным влиянием представителей московского промышленного района, стремление к искусственной защите интересов промышленников одной части государства от промышленников другой части того же государства, напр., к защите Москвы от конкурренции Лодзи и, вообще, польского края,—это требование установления внутренних протекционистских рогаток не только популяризовалось и восхвалялось во французской прессе в эпоху первой империи, но и было твердо проводимою, принципиально обосновываемою политикою Наполеона.

У Наполеона было определенное воззрение: завоеванные страны делятся на различные категории, смотря по тому, которые из них

французское правительство может более непосредственно эксплоатировать, а которые — менее. В этом отношении на первом месте после «старых департаментов» Французской империи стояло королевство Италия, государем которого был Наполеон. Когда однажды нужно было решить, кому дать крупное экономическое предпочтение (право на транзит хлопка) — Милану и Венеции, или же Триесту и Фиуме, то Наполеон решил дело в пользу Милана и Венеции: «все благо, которое отсюда проистекает для королевства Италии, полезно Франции, и поэтому его величество предпочитает, чтобы Милан и Венеция выиграли больше, чем Фиуме и Триест, потому что интерес этих двух первых городов более национален». L'intérêt des ces deux premières villes est plus national[1]).

Наполеон даже употребляет слово национальный в сравнительной степени, — до того он, «император Запада», в области экономической все меряет узкою, чисто-национальною, чисто французскою меркою.

Таково было экономическое положение, создаваемое наполеоновским владычеством в покоренных и зависимых странах. Сравнительно с этим фактором гораздо менее значения имел другой, тоже по своему характерный.

Наполеон был слишком завоевателем, слишком все основывал на голом факте покорения, слишком подчеркивал, что, кроме беспрекословного повиновения его воле и преклонения пред его силою, он ни от кого ничего не ждет и ни в чем другом не нуждается. В сущности, это отношение было логическим выводом из практикуемой экономической политики: вы не будете иметь машин, чтобы не конкурировать с французами, вы будете монопольным рынком для французов, я вас заставлю за бесценок продавать французам ваше сырье, я не позволю вам торговать с англичанами, все это вас разоряет, но вы подчинитесь, потому что боитесь меня и беззащитны пред моим гневом.

Поэтому, обращение с покоренными было самое упрощенное, такое, какого не знали новые века.

Никаких процедур, даже самых несложных, в стиле посылки, напр., в 1653 году стольника Стрешнева и дьяка Бредихина к гетману Хмельницкому и в стиле ответной «отписки» Богдана царю с изъявлением радости о принятии Украйны «под крепкую руку», при Наполеоне не полагалось и никогда ничего подобного не происходило. При Наполеоне сами Стрешнев и Бредихин должны были бы от имени Украйны изъявить эту радость верховному владыке; а Богдана вероятно, уволили бы за излишнюю популярность и удалили бы из присоединяемой страны, с назначением, впрочем, ему щедрой пенсии, что при подобных обстоятельствах тоже было в духе первой империи.

Наполеон посылал в покоряемые и присоединяемые области наместников и чиновников, которые и должны были, обыкновенно, выражать ему чувства населения. Так оно казалось ему надежнее и

[1]) Нац. арх., AF. IV. 1243. Séance du 20 janvier 1812 (протокол заседания Совета по управлению торговли и мануфактур).

спокойнее. Да и не нуждался он во всех этих церемониях: пока есть у него его несокрушимая армия, церемонии не нужны; когда армии не будет, церемонии будут бесполезны.

Это непосредственное завоевание, вступление во владение, экономическое и политико-стратегическое использование чужих земель и чужой живой силы,—больше всего подавляло и приводило в панику сначала, а потом возбуждало раздражение и вызывало на борьбу.

Эта манера, с другой стороны, вредила, нередко, самому Наполеону; иногда вредила в отдаленных своих последствиях, иногда, напротив, вред был довольно непосредственный и очевидный. Герцогство Ольденбургское вовсе не нужно было Наполеону в 1810 году, но он его занял так, мимоходом, под предлогом желания лучше организовать борьбу против английской контрабанды. Как известно, отказ вернуть герцогу его владение был одною из причин, окончательно поссоривших Наполеона с Александром.

Почему Наполеон не увел из герцогства своих чиновников и войска? Не умел он этого делать! Не умеют, вообще, добровольно расставаться с раз занятыми местностями дипломаты и государственные люди новых времен. И особенно не умел Наполеон. Хотя льстецы и хвалители говорили, что Наполеон воскресил не только империю Карла Великого, но и древнюю Римскую империю, но в этом отношении Наполеон никогда не умел и не хотел поступать так, как поступал древний Рим. У Рима была линия политики, рассчитанная на века, ему спешить было некуда, и он спокойно проявлял, когда было нужно, мудрость самоограничения.

Рим знал, что от него — ничто не уйдет. Почему же не подождать? У римского сената это выходило всегда и умно, и естественно. Стоят римские гарнизоны в греческих городах, — и никто их оттуда выгнать не может, но и держаться там далее не политично и бесполезно. И вот, после более чем двухлетнего пребывания, Фламиний получает приказ от сената, и сразу эвакуирует Грецию и уезжает с армией в Брундузиум. И пред отъездом даже рисуется необычайною своею корректностью: Халкиду и Деметриаду он освободит в течение ближайших десяти дней, а Акрокоринф хочет непосредственно, сам, так сказать, из рук в руки передать ахейцам! И сенат знал, что все равно судьба Греции предрешена если не сейчас, то через двадцать или через пятьдесят лет, и с своей стороны Фламиний, острослов и любитель греческого языка, был настолько человеком римской государственной культуры, что тоже, конечно, считал несущественным, при нем ли или при его внуках Греция станет римской провинцией. В марте 194 года состоялась эвакуация, а в 149 году римляне снова пришли и уже прочно остались. Только сорок пять лет, значит, пришлось потерпеть; торопиться сенату было некуда.

Вот именно этого спокойного доверия к судьбе и терпения не было никогда ни у Людовика XIV, ни у Наполеона, ни у позднейших деятелей. Все, что угодно, но только до последней возможности дер-

жаться на раз занятой позиции, не выпускать из рук раз занятой территории.

Что такое так называемое время **в точности** «великой империи» (le grand Empire), 1807—1812 г.г.?

Это есть период относительного мира: за это время (после Тильзита) Наполеон воевал всего один раз с Австрией (в 1809 г.), с Испанией (1808—1812) и продолжал войну с Англией. А за вычетом этих войн, указанное время считалось, относительно, тихим: Наполеон, как видим, приучил своих современников в смысле мира и тишины не предъявлять особых требований и довольствоваться малым.

И это «тихое» время и было временем непрерывных аннексий, с предлогами и без предлогов, с ультиматумами и без таковых. Прежде, еще в годы консульства, подобные—по размерам и по бесцеремонности — аннексии были исключением; теперь, после Тильзита, на них уж мало и внимания обращали; можно сказать, что в этом отношении Наполеон-император настолько же безоглядочно ушел вперед от Наполеона-консула, насколько Наполеон-консул ушел вперед от короля Людовика XIV.

И все эти мирные завоевания, непрерывно следуя за завоеваниями военными, округляли гигантскую империю и ее вассальные и полувассальные владения.

И именно тогда сложная сеть законов и тончайше выработанная паутина таможенных, полицейских и погранично-военных организаций была пущена в ход для действенного выполнения непоколебимой воли императора: 1) английские товары должны быть без остатка изгнаны и больше не допускаемы в Европу, и всюду они должны, по возможности, быть заменены французскими; 2) европейское сырье и европейские рынки сбыта должны быть, во всю меру императорской власти, обеспечены за французскими промышленниками.

Во всю меру императорской власти... Но есть ли, вообще, мера для этой власти?

Европа должна была попытаться дать Наполеону ответ на этот вопрос, если она не хотела погибнуть экономически, как она погибла политически.

Таким-то образом была подготовлена такая прочная и широкая база для позднейшего деятельного сотрудничества континентальных держав с Англией, какой никогда до тех пор не было; какой не было в таких размерах даже и при Людовике XIV, какой нет и теперь.

Ведь, прежде всего, одна из центральных идей наполеоновского царствования—план сломить Англию экономическим ее разорением— породила континентальную блокаду, во имя которой торговля с Англией и всеми ее владениями безусловно воспрещалась на всем подчиненном Наполеону континенте. Наполеон знал, что блокада бьет одним концом Англию, а другим—континент с Францией включительно. Он знал, что промышленность на континенте, выигрывая бесспорно от уничтожения конкуренции английских мануфактуратов, проигрывает от отсутствия

колониального сырья (вроде хлопка, тростникового сахара, красящих веществ и т. п.); он знал, что торговля проигрывает уже безусловно, без всяких компенсаций. И впоследствии, в конце жизни, он называл блокаду военною мерою, которая была бы отменена, как только цель ее была бы достигнута [1]). Но он приэтом признавал, как факт, «страдания и уничтожение внешней торговли в мое царствование». Если перейти от классов промышленников и купцов к более обширной, несколько классов в себе вмещающей группе потребителей, то они теряли безусловно и чувствовали особенно с 1810 года, после Трианонского тарифа, большую нужду в товарах, без которых никак обойтись не могли. С чисто финансовой стороны, разрыв торговых сношений с Англией был для многих держав континента равносилен полному исчезновению звонкой монеты из казначейства и быстрому падению валюты. И именно чем обширнее была держава, чем дороже стоил ей, поэтому, ее бюрократический персонал, тем чувствительнее для нее было это внезапное оскудение таможенных и иных аналогичных поступлений, собиравшихся в звонкой валюте. Когда русские помещики и купечество жаловались на уничтожение торговли с Англией в 1807—1812 г.г., в годы действия в России континентальной блокады, то они ломились в открытую дверь: правительство, с своей стороны, знало очень хорошо, как отзывается эта мера на русских государственных рессурсах.

Почувствовало это и французское правительство, т.-е. сам Наполеон. И тут, в сотый раз в истории, экономика победила политику, каким бы всемогуществом руководитель политики ни отличался, как бы ни был он убежден в справедливости и целесообразности своей теории и как бы мало он ни стеснялся чем бы то ни было при ее проведении. Наполеон, метавший громы против малейших нарушений блокады, сменявший внезапными приказами отдельных монархов и наместников за слабость и попустительство, разрушавший за это же самостоятельность государств, не пощадивший за этот грех своего родного брата Людовика, им же посаженного на голландский престол, приказывавший «передать в Неаполь, что король на дурном пути; что когда кто удалился от континентальной системы, то я не пощадил даже своих братьев и еще менее пощажу его» [2]), этот самый творец блокады и грозный судия ее нарушителей—начал нарушать блокаду, выдавая за деньги лиценции для торговли с Англией! Без притока звонкой монеты с этой стороны не могла вполне обойтись и великая империя, им созданная. Конечно, это обстоятельство еще более раздражало вассалов, которые из страха должны были продолжать разоряться, и в то же время безропотно смотреть, как Наполеон и тут хочет поставить Францию в привилегированное пред вассалами положение.

[1]) Mèmorial de Sainte-Helène (изд. 1894), II, 625: Le systeme continental lui-même dans son ètendue et sa rigueur n'etait dans mes opinions, qu'une mesure de guerre et de circonstance.

[2]) Наполеон —Шампаньи, Paris 2 avril 1811. Correspondance XXII, 9. № 17546.

Но силлогизм экономической действительности был весьма прост: для того, чтобы при такой экономической политике поддерживать колоссальное политическое здание, Наполеон нуждался в громадных свободных денежных средствах, в металлической наличности. А без Англии достать ее было все-таки весьма трудно. И случилось то, что без единого исключения всегда происходит в истории: экономика сломила политику, всесильный Наполеон оказался тут бессильным, и в разгаре войны с Англией и Испанией стал делать то, что приносило ему явный политический ущерб, но давало финансовую непосредственную выгоду. Такие умные современники, как Н. С. Мордвинов, тотчас же это заметили: «Полезность денежного прибытка от выпуска в заграничные земли хлеба ознаменовал примером своим и император Наполеон, который, сколь ни сильно ненавидит неприятелей своих и сколь ни много желает им вреда, но в прошедшем (1809) г. не остановился отпустить в Англию такое количество хлеба, что счисляют оное в 4.000.000 фунт. стерл.; не удержало его от такового выпуска и то предусмотрение, что англичане могут повезти хлеб сей в Испанию, которую скорее покорить можно ему голодом, нежели ядрами и пулями» [1]). Таково было положение на континенте. Для Англии же вопрос ставился еще проще: континентальная блокада была мерою, с которой Англия могла бороться и боролась годами,—но она ясно видела, что в *основе* своей мера задумана страшная, и что беда грозит английской промышленности и торговле—неотвратимая. Все английские колонии, вместе взятые, не могли тогда, по своей покупательной силе, даже отдаленно компенсировать исчезновение или даже сильное сокращение европейского рынка сбыта. Для Англии борьба с Наполеоном, победа над Наполеоном, в самом деле, становилась вопросом жизни и смерти. Безмерное могущество Наполеона на континенте окончательно превратилось для Англии в опасность не только политическую, но и экономическую. Уцелевшая и неукротимая Англия—и покоренный континент соединились в одних надеждах, их интересы сошлись — политические интересы *вполне*, экономические — *почти*, с тем исключением, что промышленники континента боялись, как сказано, конкурренции английских фабрикатов; но даже и промышленники, чем дальше, тем больше, жестоко страдали от отсутствия колониального сырья.

При этих-то напряженных условиях жизни всего континента, при таких внутренно разъедавших колоссальную империю экономических противоречиях, при подобной убежденности всех управлявших Англиею или влиявших на ее политику общественных классов, что упрочение господства Наполеона есть гибель Великобритании, человечество продолжало ждать долгие месяцы известий об императоре, вошедшем с великою армиею в Россию. Наконец, в январе 1813 года молнией облетела Европу неслыханная новость.

[1]) Архив графов Мордвиновых, IV, 19 (Петерб. 1902), № 926. О снятии запрещения на выпуск хлеба. Октября 28 дня, 1810.

Сигнал общего восстания был дан.

После яростной обороны 1813—1814 годов колоссальное строение, наконец, рушилось. «Тяготевший над царствами кумир»—исчез.

Вторая французская гегемония, несравненно более тяжелая, реальная, давящая волю, топчущая материальные интересы побежденных, несравненно более грандиозная по своей распространенности и объему, прекратилась, таким образом, чрез сто с небольшим лет после первой, связанной с именем Людовика XIV, которая была лишь слабым намеком, начальным штрихом, бледным предзнаменованием того, что мир увидел при Наполеоне.

Сравнение обеих индивидуальностей нас тут не занимало.

Людовик XIV был обыкновенным человеком, Наполеон I необычайным военным гением, государственным деятелем разносторонней и колоссальной одаренности, совсем исключительной воли, неутомимой энергии, изумительного и неусыпного внимания, почти беспредельной трудоспособности.

Мы теперь обратимся к третьей эпохе, когда гениев совсем не оказалось и в помине, и увидим, что от этого эпоха нисколько не проигрывает в исторической значительности.

V.

В длительной исторической драме, в которой главным содержанием является коллизия между стремлением Франции к экономическому и политическому первенствованию на материке—и разнообразными противоборствующими силами, занавес поднялся в начале 1680-х г.г. и опустился 13 августа 1704 года, после битвы при Бленгейме; вновь поднялся 14 июня 1800 года, после битвы при Маренго и вновь опустился в январе 1813 года, когда Европа узнала, наконец, о финале наполеоновского нашествия на Россию; опять поднялся 11 ноября 1918 года, когда была подписана в Компьенском лесу, в вагоне маршала Фоша, капитуляция Германии,—и еще не успел опуститься. Третий акт продолжается и развивается.

Но этот третий акт имеет гораздо меньше общего со вторым, чем второй с первым. Наполеон еще живо соревновал с Людовиком XIV, и главная дирекция печатного дела при первой империи внушала редакторам специально, чтобы они, проводя параллели между Наполеоном и Людовиком XIV, не забывали отдавать все преимущества не покойному королю, но благополучно здравствующему императору.

Некоторое в н е ш н е е сходство в обстановке, в которой оба начали борьбу, бесспорно, было: удачные наступательные войны, территориальные завоевания; тот же основной враг, выступивший против Людовика—в средине его царствования, против Наполеона—с самого начала его деятельности: Англия; тот же длительно ощущаемый и

активно влияющий на события недостаток нужных для упрочения гегемонии денежных средств (причем Наполеон справлялся с этим несравненно успешнее, чем Людовик,—хотя, как мы видели, иной раз с отступлениями от основной своей экономической политики); наконец, та же необходимость вооруженною рукою поддерживать уже сделанные завоевания и то же стремление предпринимать новые и новые.

Период, начавшийся 11 ноября 1918 года, протекает при иных условиях, и ни Мильеран, ни Клемансо, ни Пуанкарэ, конечно, не настолько ощущают лично себя продолжателями Людовика и Наполеона, чтобы соревновать персонально с обоими монархами пред лицом равнодушной музы истории Клио: столетний юбилей Наполеона (5 мая 1921 года) был отпразднован с необычайною торжественностью, при деятельном участии президента республики Мильерана и всех гражданских и военных сановников Франции. Ревнивого чувства к Наполеону, которое было у самого Наполеона к Людовику XIV, у нынешних правителей, конечно, нет и в помине. Но еще до того, как одержана была победа над Германией, вопрос о преобладании Франции на континенте уже начал ставиться на очередь: наследство Людовика XIV и Наполеона не было отринуто.

В своей лекции на тему: «Что такое нация?» Ренан сказал: «То, чего не могли сделать ни Карл V, ни Людовик XIV, ни Наполеон вероятно, никто не сможет сделать в будущем. Разделение Европы слишком велико, чтобы попытка всемирного господства не вызвала очень скоро коалицию, которая заставила бы воинственную нацию вернуться в ее естественные границы; особое равновесие установилось надолго. Франция, Германия, Англия, Россия еще и чрез сотни лет, несмотря на приключения, в которые они будут пускаться, останутся историческими индивидуальностями»... Публицист Revue des deux Mondes, Дюмон-Вильден, писавший в разгаре войны, в 1916 году [1]), не спорит с этими здравыми мыслями, но вносит в них поправку, которая ему кажется скромной: конечно, Англия, Россия, Италия призваны играть большую роль, «но, как бы блестяща ни была культура этих великих стран, она никогда не будет иметь того характера универсальности, как культура французская». И дальше красноречиво (хоть и очень кратко) доказывается, почему Европа обязана спасением «французской жертве», и почему только культура Франции истинно универсальна. «Мы никогда не увидим немецкую Европу; если есть какая-нибудь логика в развитии цивилизации, мы с н о в а увидим Европу французскую». Так кончается статья. Эта статья—одна из мириады ей подобных.

Французы были еще до войны подготовлены идейно к такого рода воззрениям и претензиям. Но для Европы очень многое оказалось неожиданным.

---

[1]) Том 31, стр. 793.

Относительно Франции—в некоторых странах Европы, прежде всего в Германии и России, в гораздо меньшей степени в Англии, господствовал в широкой публикой ряд курьезных (по своему полному несоответствию действительности) заблуждений. Тут, как сейчас увидим, была почти что полная бэконовская коллекция категорий ошибочных суждений: и idola specus, ошибки, зависящие от ограниченности личного кругозора,—и idola theatri, ошибки, внушаемые ложными системами и предвзятостями усвоенной неправильной доктрины,—и idola fori, ошибки, так сказать, передающиеся путем заразы, от общения и сношений с себе подобными, с другими людьми вообще.

Особенно, в Германии пред 1914 г. любили останавливаться на вырождении, моральном падении, физической дряблости и других французских пороках. Французские политические условия—разваливающийся государственный строй, lockere Zustände; Францией управляют биржевые агенты; можно ли серьезно говорить о стране, где почти каждые два месяца меняется правительство? Дисциплины во французской армии нет, антимилитаризм так силен, что едва ли мобилизация пройдет благополучно. При первом поражении толпы народа бросятся к Елисейскому дворцу с криками: «Dechéance! dechéance», как это было в Париже 4 сентября 1870 года, после Седана. Воспоминания 1870 года, вообще, оказали могущественнейшее воздействие на Германию пред мировою войною.

Все эти фантазии передавались из Германии в Россию и здесь находили почву. Почему? Во-первых, по привычке умственного повиновения и следования, потому же, почему, напр., в русских философских книгах так же неизбежно, как в немецких, и, обыкновенно, еще менее кстати, чем в немецких, приводились всегда и приводятся стихи из II части «Фауста», или потому же, почему Шпенглер был, на началах полного доверия, еще до того, как его сумбурные томы добрались до России, произведен в гениальные мыслители (и ровно на такой же срок, как в Германии,—и отставлен одновременно с тем, как это случилось с ним в Германии),—и вообще, потому же, почему, шире говоря, не только в самом деле внутренно-сильные идейные течения, но и простые умственные повадки, мимолетные моды—испокон веков шли к нам из Германии и резко влияли у нас на общественные навыки мысли. Тут неуместно было бы на этом феномене подробно останавливаться, достаточно указать на его значение также и в данном случае. Во-вторых, действовала у нас пред войною и собственная слишком быстрая податливость к поверхностным впечатлениям, соединенная у многих представителей прессы с полною свободою от каких бы то ни было точных сведений, касающихся прошлого и настоящего Франции. В-третьих, не только придворно-аристократические, но и широчайшие бюрократические сферы, и часть общественных слоев вне бюрократии, с непобедимою внутреннею антипатиею относились к утвердившемуся во Франции политическому строю, и всем им отрадно было приписывать этому строю предполагаемый упадок французской державы.

Дело было не только в салонных путешественниках и не только в газетных и журнальных дилеттантах. Вот что писал в 1911 году серьезный и способный человек, русский резидент в Танжере, сановник, двадцать пять лет прослуживший на дипломатических постах и достигший уже тогда 50-летнего возраста (письмо направлено было его другу князю Орлову для сообщения, конечно, императору Николаю II): «Вообще, дух войска (французского. Е. Т.) неважный. Ну, скажи, пожалуйста, можно ли при таких условиях серьезно говорить о вооруженном столкновении французов с немцами? Нужно быть наивным, как Извольский, чтобы верить в войну и возлагать большие надежды на французскую армию. Вероятно, социалисты, управляющие Францией, прекрасно сознают слабые стороны гнилого государственного организма и, сколько бы ни хорохорились на словах, никогда не рискнут поднять руку на немцев» [1]). Это писал человек, живший в Марокко, у которого буквально на глазах французы как раз тогда покоряли эту огромную страну... Это писалось 17 (30) сентября 1911 года.

Обреченное русское поколение считало, что в 1911 году у нас в России был строй прочный, а во Франции, которою «управляют социалисты», строй «гнилой»; что смешно говорить о французской армии; что (в том же письме): «с течением времени Франция будет становиться все в большее подчинение Германии»... Они жили в царстве иллюзий и призраков, задолго до того, как ушли сами от активной деятельности в мир воспоминаний. Я цитировал мнение человека, стоявшего явственно выше своей среды. О других неинтересно было бы и распространяться. Они все, почти без исключений, были на одно лицо. Они полагали, что, так как аристократический «Gaulois» и салонный «Figaro» ежедневно говорят о гибельной политике радикалов, — значит, Франция гибнет; если клерикалы пишут о засилии франкмасонов,—значит, франкмасоны управляют Францией; если прислуга русской миссии в Марокко услышала от прохожего солдата, что ему тут жарко, и что ему хотелось бы домой, — значит, французская армия разлагается; если гвардейцы в Берлине выше ростом, и, маршируя так называемым Gänsemarsch'ем, отчетливее «печатают носком», чем французы, значит—французы вырождаются и тягаться с немцами им нельзя. Женская впечатлительность, детская скорость в выводах, общая слабость анализирующей мысли, отвычка от сколько-нибудь упорного обдумывания внешних фактов, эрудиция, пополняемая из иллюстрированных журналов, исторические познания, усвоенные в средних классах Правоведения или Пажеского корпуса или, в лучшем случае, гимназии— все это многим не давало вглядываться и мешало понимать. Насколько серьезнее были наблюдения во Франции послов Алексея Михайловича, выше мною цитированные!

Это не случайно. Правившее сословие времен Алексея само имело волю к власти и понимало хищническую силу, когда видело ее на сто-

[1]) Цитирую по неизданным письмам к Орлову (из б. походной канцелярии).

роне у чужих. Обреченное же поколение XX века уже не имело вкуса ни к власти, ни к силе, и ушло со сцены мгновенно. Первые — были конгениальнее с Людовиком XIV, чем вторые с потомками и духовными наследниками Людовика XIV; первым оказалось легче понять Людовика XIV, чем вторым понять будущих авторов и реализаторов Версальского мира.

В Англии эти немецкие и русские заблуждения были распространены гораздо меньше, вследствие более высокой общей культуры политического мышления. Германскую армию, правда, ставили там выше французской, и что из немцев выходят лучшие солдаты («the germans make better soldiers») — это являлось аксимой. Но англичане правильно, в общем, оценивали возможное значение колониальных войск, неисчерпаемых запасов живой силы во французской Африке, превосходное устройство главного штаба, общий смысл военного воспитания, систематически дававшегося французскому народу (всем классам его) с самого 1870—71 г.г. Они соображали, что если из огромной и богатейшей, второй в мире колониальной империи в 10 слишком миллионов кв. километров, которою располагала Франция пред войною 1914 года, всего около $1^1/_4$—$1^1/_2$ милл. кв. километров было приобретено за всю историю Франции до 1870 года, а больше $8^1/_2$ миллионов—именно третьею республикою за короткий период после 1870 года — то уж поэтому говорить о слабости или упадке агрессивности современной Франции — дело спорное и мало производительное. Они соображали, прежде всего, что третья республика есть феномен сложнейший, и что если немцы убеждены в вырождении этой республики, то тем выгоднее и лучше, не следует ни в каком случае их разочаровывать. Сами же англичане еще раз внимательно пригляделись, длительно, два года подряд, в 1901—1903 г.г. обдумали дело, и король Эдуард VII поехал в 1903 году к Эмилю Лубэ с предложением политической дружбы.

И все-таки даже в Англии далеко не все реально представляли себе современную Францию, и несколько курьезное впечатление производят такие характерные заявления, как сделанное Эдмундом Госсом в январской книге Edinburgh Review за 1916 год (том 226, статья о «французском единстве»). Восхищенный автор плохо может скрыть свою радость по тому поводу, что французский союзник оказался таким стойким и сильным, и главное, не может утаить, что это для него, Госса, оказалось полным сюрпризом. Поэтому он начинает в высшей степени бездоказательно выдумывать, будто благой моральный поворот произошел за пятнадцать лет (до того, как он пишет) и что очень много помог делу спорт и т. п. Все это так же дилеттантски и фантастично построено, как и вышеприведенные глубокомысленные соображения о вырождении французского народа и заявления о том, что у немцев „mehr Konsistenz“, чем у французов. Все это такое легковесное, туристское, банальное, несерьезное, что не веришь глазам своим, когда убеждаешься, что настоящие дипломаты, правда, не в Англии, а в других странах, строили на подобных сообщениях и со-

ображениях свои планы, вводили эти домыслы в свою деловую аргументацию.

В правивших кругах Франции, между тем, не только не замечалось упадка духа, не только не было и речи об отказе от активной внешней политики, но сверх того, росло с каждым десятилетием убеждение, что если внутренний капиталистический порядок, социальный строй где-нибудь «крепок», то именно во Франции. Первое министерство Клемансо (1906—1909 г.г.) Жорес назвал l'ère de la conservation sociale; строй, олицетворявший собственническую Францию, не подвергался, в сущности, никакой систематической атаке, но в высшей степени характерно было то, что его защитники стремились в самом деле, ни с того, ни с сего, без всякого серьезного повода, на каждом шагу демонстрировать полную готовность принять где угодно и по какому угодно поводу вооруженный бой. А за отсутствием вооруженного врага, убивали, при случае, безоружных. Сегодня в Дравейле, завтра в Вильнев-сен-Жорже, послезавтра в Нарбонне; стреляли в рабочих, стреляли и в виноделов. Строй был и без этих кровавых вызовов, порождавших справедливое возмущение, уверен в себе. Страною мелкого ремесла и мелкой земельной собственности Франция прожила весь XIX век, и вступила в XX-й. Ее могущественнейшим, экономически руководящим классом была не промышленная, но торгово-финансовая буржуазия. Германские экономисты с чувством внутреннего превосходства иронизировали над французскою манерою жить рентой, давая капитал под проценты и не вкладывая его в непосредственные промышленные обороты. Капитал в таких случаях всегда вызывает нарекания; еще с конца средних веков и с начала нового времени «ленивый капитал» особенно раздражает наблюдателей.

Есть два типа исторического развития движимого капитала Западной Европы. Один — Венеция и Генуя — Брюгге — Антверпен — Амстердам—Лондон. Это тип быстрого усиления торговопромышленного капитала, сравнительно очень мало зависящего и в создании, и в усилении своем от мелких депозитов. И есть другой тип — отчасти Флоренция XIV — XVI в.в. и, безусловно, новейшая Франция, где роль мелких вкладов—иногда очень велика, а иногда—решающая.

Во Флоренции, правда, был не только «ленивый», но и, рядом, очень деятельный промышленный капитал; однако, именно мелкие рантье, совсем новый класс (куда, прежде всего, вошли оскудевшие нобили) подвергались осуждению. Архиепископ Флоренции в 1446 — 1459 г.г., св. Антонин, который, и по происхождению своему (он был сыном нотариуса Пьероцци), и по времени, когда жил, — мог наблюдать вблизи рост движимого капитала, укорял дворян, «не желающих работать» и отдающих свои деньги «купцам и менялам», как раз за то, что они хотят пользоваться доходами, хотя бы маленькими, не рискуя капиталом (salvo tamen capitali), и именно поэтому считал их поступки ростовщическим хотя сами они называют это депозитом, но, явно, это ростовщичество: «а места этих сделок Пьяцца делла Синьо-

рия и Меркато Нуово являлись, по его словам, широкою дорогою, ведущею к гибели души [1]). В истории социально-экономического развития Европы именно парижская Place de la Bourse явилась прямою преемницею осуждаемых Антонином флорентийских площадей в деле приобщения мелких вкладов к общему росту движимого капитала.

Национальное богатство Франции в течение последних ста лет, в особенности же с начала второй империи до мировой войны, увеличивалось, в полной точности, как раз по способу, осуждаемому Антонином. Капиталы быстро росли, и росло число держателей, без риска, без основания новых грандиозных предприятий, без миграции предпринимателей и рабочих. Работала биржа, соединенная с шестью колоссальными банками, и дипломатия, соединенная с биржею. Иногда гигантских банков было не шесть, а четыре или семь; иногда министр иностранных дел охотнее и быстрее принимал во внимание советы и интересы биржи, иногда относился к этим интересам более сухо и небрежно (впрочем, тогда он, обыкновенно, долго не засиживался в царственных аппартаментах дворца на Quai d'Orsay). Но, так или иначе, биение животворящего политического пульса слышалось именно на бирже. Увеличивались и крепли капиталы, но не число доменных труб и не число рабочих в стране. Многое объясняется в социальной истории и в нынешней действительности французского народа этим коренным фактом его отсталого экономического развития. Во Франции капитализм рос, а рабочий класс оставался стационарен: и только во Франции так было.

Конечно, и в данном случае тоже в Европе многие не хотели признавать факта, и все умышленные преувеличения, которым предавалась капиталистическая французская пресса, принимали за чистую монету, хотя эти преувеличения революционной опасности, якобы грозящей Франции, были рассчитаны только на то, чтобы облегчить правительству, суровые меры против Confederation génerale detravail и против синдикалистского движения и как-нибудь оправдать расстрелы безоружных. И тут тоже — никакие очевидности ничему не помогали, и в императорской Германии, где насчитывалось на 11 миллионов избирателей больше четырех с половиною миллионов подающих за социал-демократов, и в монархической России, минированной на всем протяжении своем аграрною социальною революциею в центре и национальными революциями (пока в скрытом виде) на окраинах, правящие сферы с само-

[1]) Secunda pars summae rever. in Christo patris ac domini Antonini, archiep. florentini. Basileae, 1511 [Пуб. Библ. 17. а 17. 2. 37] О ростовщичестве «De usura, sub formae sermonis»—трактуется на листах: La 5—7.

Вот это характерное осуждение первой биржи и первых вкладов: platea est locus ubi multi conveniunt, locus latus et patens. Et lata est via, quae ducit ad perditionem. И дальше: In prima—ut est Florentiae platea dominorum ac platea fori novi—sunt nobiles qui nolunt laborare et ne pacunia eis deficiat paulatim consumendo tradunt eam mercatori vel trapecitae intendentes prinipaliter aliquid annnuatim recipere ad discretionem lorum salvo tamen capitali. Et quamvis ipsi vocent depozitum, — tamen clare usura est — La—VI, оборотная страница).

довольством сравнивали себя с Францией, благодарили небо за то, что они не таковы, как сей мытарь, и твердили: «doch haben wir mehr Konsistenz», и указывали на «подгнивающую социальную республику».

И — вдруг, с такою психологией, с таким отсутствием представления о действительности, — правящие и, шире, образованные слои европейского общества, сразу, без всяких переходов, оказались пред изумившим их своею неожиданностью фактом.

Франция выдержала свою очень тяжкую долю страшной борьбы, отвергая все попытки врага покончить войну соглашением, и, как только оружие было вложено в ножны, — она извлекла его оттуда снова, и повела резко-активную, ни с кем и ни с чем не считающуюся политику. Тени Людовика и Наполеона внезапно выступили из истории, — и их имена замелькали в политической полемике.

VI.

Остановимся, прежде всего, на обстоятельствах, предшествующих моменту наступления французского преобладания в этот третий раз, в нынешний раз. Самое примитивное чувство очевидности заставляло даже немцев, в общем, в течение всей мировой войны признавать, что французы в 1914 г. в массе своей войны не желали и боялись, что не боялся войны, может быть, президент Пуанкарэ и очень немногие, близкие ему круги, но что они были в этом отношении решительно в меньшинстве. Война в 1914 году началась не по инициативе французского правительства или общества или какого-либо из общественных классов, и велась Антантою против германской, а не французской попытки установить гегемонию. Таким образом, за всю новую историю, начиная с XVII столетия, впервые в ноябре 1918 года случилось так, что победа Франции оказалась не победою над Европою, а победою с Европою, победою, одержанною Францией и другими великими и второстепенными державами над наиболее в данный момент опасною, сильною (до войны) и честолюбивою державою континента. Неисчислимы были последствия этого факта. Прежде всего, полные размеры, абсолютный характер германского поражения давали возможность делать с Германиею что угодно и извлечь из победы максимум того, что можно было извлечь; когда писался и подписывался мирный трактат, победившая Европа продолжала бояться не победительницы Франции, но побежденной Германии, и, под мотивированным и «законным» предлогом обеспечения соседей от будущих германских нападений, оказалось возможным провести полное разоружение Германии и упрочить за Францией фактически верховный контроль и необходимую дипломатическую почву для активной политики в центре Европы.

Уже это давало Франции громадную силу на континенте. Со времен Наполеона не повторялось (а до Наполеона никогда не слагалось), такое положение вещей, при котором либо непосредственною

своею военною силою на местах, либо категорическими приказами германскому правительству, Париж мог распоряжаться участью Мемеля, Данцига, Верхней Силезии, самых восточных, наиболее далеких от Франции германских границ. Далее, Германия попала под власть победителя, обладая еще огромными экономическими рессурсами, гибель великодержавия постигла ее, как отца Гамлета смерть, «в весне грехов», в процессе громадного капиталистического развития.

Было (и есть еще теперь, после пяти лет развала), что у нее отнимать, и, кроме материальных богатств, Германия в потенции обладала огромными рессурсами труда, и на эти рессурсы нынешнего и будущих поколений уже был выдан вексель, подписанный в Версале 28 июня 1919 года Беллем и Мюллером, уполномоченными Германской республики. Мы не будем спорить с французскими публицистами (с ними вполне соглашается в этом отношении вождь германских левых «независимых» социал-демократов Брейтшейд), что, если-бы победили немцы, то они точно так же постарались бы выжать все соки из Франции, как Франция старается теперь сделать это с немцами. Бесспорно, это так, но мы тут, повторяем, совершенно незаинтересованы в сравнительной оценке душевной красоты и моральных добродетелей обеих сторон. Мы обязаны считаться с фактом случившимся на самом деле, а не гипотетическим.

Факты же реальные говорят нам, что германские жизненные соки не увеличивали с 1919 г., но еще могут в будущем увеличивать экономическую, а потому и политическую силу Франции, в распоряжении которой германская хозяйственная жизнь в некоторых областяхв той или иной степени теперь находится. Далее, еще особенность: впервые со времени возникновения больших государственных образований в Европе положение вещей свелось а) к существованию на континенте единственной во всей Западной Европе могущественной, обладающей громадною и технически обильно снабженной армией державы, и b) России,— отделенной от средней Европы целою системою второстепенных самостоятельных государств, находящихся под финансовой, экономической, а иногда и политической ферулой французского правительства. При Людовике XIV Россия тоже лишь к концу его царствования, вообще, стала приниматься в рассчет версальским двором, да и то ее, еще очень слабое, воздействие на европейскую политику нейтрализовалось двадцатилетнею войною со шведами и, отчасти, с турками.

Но зато при Людовике XIV налицо была на континенте могучая и упорная соперница—Габсбургская монархия; была Голландия со своими громадными движимыми капиталами, флотами, колониями, обширнейшею торговлею; было курфюршество Бранденбургское, которое вело уже самостоятельную и беспокойную политику, сегодня дружественную, завтра враждебную, и с этою политикою даже очень и очень нужно было считаться. При Наполеоне Россия, несмотря на тяжкие поражения, испытанные ею от руки французского императора,

несмотря на Аустерлиц и Фридланд, на Тильзитский мир, все-таки была несравненно могущественнее России времен Людовика XIV. Она, кроме того, уже не была отделена Польшею от Средней Европы, потому что самостоятельной Польши уже не было. Только хрупкий заслон—обрывок, оставшийся от Пруссии—отделял владения Александра I от владений наполеоновского брата и вассала, вестфальского короля, Жерома Бонапарта; а на восточных границах герцогства варшавского французские таможенные ревизоры и чиновники, совершая свои постоянные осмотры, могли непосредственно сталкиваться с пограничною русскою стражею. Теперь, после Версальского мира, цепь вассальных и полувассальных государств, находящихся в прямой экономической и политической связи с Парижем, отделяет Россию от Средней Европы. Австрия—превратилась в клочек земли с 6 миллионами жителей, без армии, без тени самостоятельности как экономической, так и политической. Бельгия—в военном союзе с Францией, Голландия, Дания, Испания, Скандинавские державы—не имеют никакого голоса, не играют ни малейшей роли в общих делах европейского континента. Вновь возникшие державы—Чехо-Словакия, Польша, Юго-Славия, а также усилившаяся Румыния—все под ферулою парижских финансов и парижского военного министерства, при чем главные штабы, как в Варшаве, так и в Праге, и в Бухаресте, находятся под ближайшим, непосредственным воздействием и открытым влиянием французского генерального штаба.

Таково положение вещей на континенте, в точном смысле слова. Чем больше вдумываться в эти условия, тем больше будет выясняться, что сложившаяся после 1918 года дипломатическая обстановка на континенте—более благоприятна, если брать только внешние условия, для установления «длительного» французского преобладания, чем была при Людовике XIV и при Наполеоне.

Мы пока говорили только о дипломатических международных предпосылках для этого преобладания на континенте. Сравнение между этими тремя эпохами дает еще более существенные результаты, если мы перейдем а анализу самого содержания понятий о гегемонии: a) при Людовике XIV, b) при Наполеоне I, c) в эпоху после Версальского мира.

Но этот вопрос естественно и неразрывно сливается с другим, который вследствие особого его характера и безмерной важности мы пока намеренно выделяли из предлагаемого тут подведения итогов. Речь идет о роли Англии.

Впервые за все свое существование Англия оказалась в таком положении, как в 1919—1923 г.г. Обыкновенно, после деятельного участия в разрушении чьей-либо гегемонии или претензии на гегемонию Англия видела пред собою, во-первых, поверженного врага и, во-вторых, тотчас же готовую распасться коалицию второстепенных и первостепенных держав, более или менее ослабленных и разоренных только что окончившеюся борьбою против общего врага.

Так было, например, после войны за испанское наследство, когда французская претензия на гегемонию была похоронена почти на девяносто лет, и когда, вместе с тем, ни Габсбургский дом, ни Савойя, ни Голландия не могли и думать угрожать Англии ни в политическом, ни в экономическом отношениях.

После крушения наполеоновской империи наблюдается, в общем, почти та же картина. К 4-му апреля 1814 года, когда Наполеон отрекся от престола, Европа была несравненно больше потрясена, измучена и разорена войною, чем к 11-му апреля 1713 года, когда был подписан Утрехтский мир между Людовиком XIV и враждебною ему коалициею. Из победителей Наполеона только одна Россия могла внушать Англии кое-какие опасения, да и то больше в будущем, чем в настоящем. Прежде всего, восстановление торговли с Англией после падения Наполеона рассматривалась русским землевладельческим классом и, одновременно, русским купечеством, как спасение для всего русского хозяйства. Ведь сами же английские наблюдатели в эпоху континентальной блокады указывали, что Александру I грозит участь Павла, если он будет упорствовать в подчинении воле Наполеона и в исполнении всех запретов блокады [1]). Зная это, лорд Кэстльри мог, на всякий случай, мешать по мере сил на Венском конгрессе территориальному усилению России, но бояться ее или ждать войны с нею—никак не мог и не ждал.

Борьба против Николая I в 1854—1855 г.г. не была для Англии борьбою против гегемона в таком смысле слова, как борьба против Людовика XIV и Наполеона I. Николай Павлович был еще только гегемоном in spe, в будущем, в случае, если бы ему удалось в самом деле, разрушить Турцию. Во всяком случае, после Крымской войны (и очень скоро после нее, уже со средины 60-х годов) попрежнему Россия,—а не союзник, не Франция, вместе с которою была одержана победа,—стала привлекать подозрительное и враждебное внимание Англии. Сравнительно с русским движением в глубь средней Азии и с присоединением Ташкента,—всякие неудовольствия с Парижем, вроде претензий по поводу права убежища (в связи с покушением Орсини), могли показаться англичанам мелкими неприятностями.

Теперь попробуем от этих исторических прецедентов обратиться к положению вещей в 1919—1923 гг. Отличие окажется самое разительное, какое только можно себе вообразить.

Во-первых, враг, стремившийся к гегемонии и побежденный в борьбе, оказался настолько раздавленным и растоптанным, как это не случалось ни разу, ни с одною страною, за всю новую историю. Политическое уничтожение Германии, превратившее ее из субъекта в объект международной политики, так закончено, ее экономика так подорвана, — что на предвидимые времена она как бы вовсе снята с европейской карты, и все усилия Англии в 1919—1923 гг.

[1]) ... the quick apotheosis of a Paul I (см. брошюру 1809 г. The state of Britain abroad and home, Британский музей, № 8135, d. 33).

направляются лишь к тому, чтобы от этой полноты уничижения и уничтожения, от этой законченности экономического развала Германии—не пострадали бы как-нибудь английские интересы. Во-вторых, из союзников определенно—и тотчас же после победы—выделился один, который оказался в обладании колоссальною армиею и быстро растущим военным воздушным флотом, и который несравненно более готов к войне и могуч, чем был в июле 1914 года, который располагает целою системою союзов и соглашений с рядом европейских государств и который установил истинно-сюзеренные отношения ко многим из них, как к своим вассалам. Кроме Франции—вплоть до русских границ—на всем континенте Европы нет не только ни одной великой державы, но нет и ни одного вполне самостоятельного от Парижа государства. Мало того: нет ни одного государства, которое могло бы больше выиграть, подчиняясь Лондону и противодействуя Парижу, чем ведя обратную политику. Германия в 1920—1921 гг., в министерство Ференбаха и Симонса, пробовала было опереться на англичан, и дело окончилось катастрофическим принятием французского ультиматума 6 мая 1921 года (как бы в насмешку посланного из Лондона, где происходило совещание премьеров).

Попробовала было проявить самостоятельный характер и Испания в Реуфе и, вообще, в своей полосе в Марокко,—и поражения 1922—1923 гг. от рук прекрасно вооруженных неведомым благодетелем марокканских войск, фашистская революция (и ее победа) в Мадриде и провинции, безнадежная запутанность всех испано-марокканских дел—были последствием проявленного испанским правительством неспокойного характера и непослушания парижскому властелину.

Были и еще поучительные примеры, воспитательное значение которых для всего европейского континента оказалось в пятилетие после Версальского мира поистине огромным.

На кого опереться Англии? Единственная не покорившаяся парижскому жезлу европейская держава пережила огромную социальную революцию, ее внешняя политика рассчитана, в конечном счете, вовсе не на союзные, а на совсем иного характера отношения к британским правящим классам, она продолжает, хотя и на иных основах, при совсем иной идеологии, но упорную и самостоятельную стародавнюю политическую работу в Передней и Средней Азии. Ллойд-Джордж в 1923 году, весною, уже будучи в оппозиции, откровенно заявил в парламенте, что он всегда, прежде всего, боялся и боится усиления России. Он её боится больше, чем Франции.

Итак, в Европе союзников на случай решительной, даже не военной, а только дипломатической борьбы против Франции у англичан—пока нет.

Из внеевропейских держав—только Соединенные Штаты представляют собою серьезную величину, но правительство Штатов и

главенствующая, с выборов 1920 г., республиканская партия основным принципом своей внешней политики демонстративно выставляют начало полнейшего невмешательства в европейские дела. Да и удивительно было-бы, если-б дело обстояло иначе: Соединенные Штаты обладают в настоящее время большею частью всего мирового золотого запаса, громадными массами сырья для всех без исключения отраслей промышленности, обильнейшим в совершенстве оборудованным сельским хозяйством. Они абсолютно ни в ком не нуждаются, и, хотя, конечно, в их интересах было бы общее повышение покупательной способности европейского рынка, но жертвовать для этого хотя бы частью золотого запаса они вовсе не рассчитывают.

А так как всякое вмешательство в европейские дела, по установленному ритуалу, начнется у собеседников Соединенных Штатов разговором о спасении цивилизации, об излечении мятущегося человечества etc., окончится же непременно просьбою о золоте, то и покойный Гардинг, и ныне здравствующий Кулидж, и, тот, кто в ноябре 1924 года заменит Кулиджа, оказывались всегда, и, вероятно, окажутся в будущем, глухими к самым патетическим и красноречивым призывам Муссолини, Ллойд-Джорджа, Мак-Дональда и других человеколюбцев.

Да и помимо этой общей причины, Англия уже потому не могла бы надеяться на поддержку Соединенных Штатов в дипломатической борьбе с Францией, что если есть в настоящее время у Соединенных Штатов серьезный торговый конкуррент (особенно, в деле захвата нефти) и грозный соперник на морях, то именно Англия, а вовсе не Франция.

Итак, у Англии нет ни в Европе, ни вне Европы ни одного возможного союзника в этой борьбе против могущественнейшей военной державы современного капиталистического мира.

Уже это обстоятельство должно серьезно затруднять британскую политику в ее усилиях сдержать Францию.

Но нерешительность английских кабинетов, начиная с Ллойд-Джорджа, продолжая Бонар-Лоу, Болдуином и Мак-Дональдом, зависит не только от этого обстоятельства, хотя, конечно, и оно имеет существеннейшее значение. В долгой и кровавой английской истории бывали все-таки случаи, когда Англия выходила на опасный бой и одна, без союзников, как она сделала это, например, в грозные времена Филиппа II, в восьмидесятых годах XVI века, после смерти Вильгельма Молчаливого (когда было ясно, что Голландия в ближайшие годы активно не поможет), или весною 1803 года, разрывая Амьенский договор и бросая перчатку могущественному Наполеону.

Это бывало редко, но все-таки бывало.

Нерешительность Англии в 1919—1923 г. г. зависит (может быть, больше всего) и от другой, более сложной причины. Мы до сих пор искусственно выделяли ее из общего хода рассуждений. Настал момент устремить на это обстоятельство все внимание.

Вопрос ставится так: к какой именно роли стремится нынешняя Франция? В чем содержание и точный смысл современного ее преобладания?

Гегемония Людовика XIV в 1681—1704 г.г. заключалась в громадном, непосредственном влиянии Версальского кабинета на все дела Западной и отчасти центральной Европы и в упрочении такого порядка вещей, когда французская территория могла постоянно увеличиваться за счет ее непосредственных соседей, главным образом, за счет земель германских, прирейнских. Гегемония Наполеона в 1800—1812 г.г. заключалась в еще более огромном безусловно решающем влиянии его воли на все европейские кабинеты, кроме английского, в колоссальном расширении границ французской империи и в создании, сверх того, из целого ряда государств—зависимых вполне или полузависимых от Наполеона владений.

Но как определить нынешнее положение вещей? Есть ли это гегемония в духе Людовика XIV или Наполеона? Нет ли неточности в таком приравнении?

Все правители Франции в 1919—1924 г.г., начиная с Клемансо и кончая Пуанкарэ, не уставали повторять, что им не нужно ни одной пяди германской территории, и что все, оккупированное ими в виде «санкций и гарантий», будет возвращено, как только Франция получит то, что ей приходится получить по договору. Этим уверениям можно придавать значение или отказывать им в этом,—но подобных оговорок ни Людовик XIV, ни Наполеон никогда не делали. Но допустим, что оккупированные области или часть их останутся в державном обладании Франции. Это с английской точки зрения весьма прискорбно, потому что соединение французской руды с немецким углем и французских капиталов с рейнско-вестфальским царством доменных труб может породить могущественнейшую конкурирующую с Англией промышленную силу,—но этим и ограничивается главное, правда, крайне серьезное неудобство для Англии от создавшегося положения. И притом часть английского промышленного класса определенно боится все-таки германской конкуренции и мало верит в реальность французской.

Влияние же Франции в других странах Европы явственно направлено пока к объединению Европы не против Англии, как это было при Наполеоне, а против попыток политического возрождения Германии. Французский главный штаб создает чехо-словацкую, польскую, румынскую, юго-славийскую армии, но ни одного сантима не дает им на постройку флота. Наполеон изгнал английские товары из Европы,—нынешняя Франция не делает ни малейших попыток вредить английской торговле. Наконец, наполеоновские вассалы были сплошь и рядом приведены к покорности силою его оружия,—вассалы нынешней Франции возникли как государственные особи, или усилились, если раньше существовали, только в результате победы Франции над Германией, и в могуществе Франции видят оплот, а не угрозу своей

самостоятельности. А это обстоятельство тоже необычайно путает карты. Бельгия, напр., является теперь в военном и таможенно-экономическом отношениях прямым продолжением Франции,—и это положение вещей самым кричащим образом противоречит всем традициям английской политики: не допускать подчинения Бельгии какой бы то ни было великой державе. Но что же Англии делать? Воевать с Бельгией за то, что она добровольно и с полнейшею готовностью заключила с Францией тесный союз? Это показалось бы тем более абсурдным, что союз—определенно сухопутный, а не морской, направленный против той же Германии, но вовсе не против Англии.

Далее. Французское правительство после Версальского мира строит демонстративно мало военных судов,—и торговый французский флот тоже усиливается крайне туго и медленно. Правда, флот воздушный зато растет во Франции весьма быстро, но это не так раздражает англичан, как раздражали всегда попытки любой державы меряться с ними на море.

Наконец, вопрос о влиянии во внеевропейских странах. Если исключить эпизод с поддержкою кемалистов и возрождающейся Турции в 1920—1922 г.г.,—то нигде во всем свете, *ни разу* французская политика за все пятилетие с 1919—1923 г.г. не столкнулась с английскою. Что же касается эпизода с Кемалем, то поддержка Кемаля в решительный момент оказалась лишь товаром, который Пуанкарэ выгодно продал англичанам за разрешение занять Рур. После двух лозаннских конференций 1922—1923 г.г. ясно, что нет для Франции *ни одного* внеевропейского интереса, который она не отдала бы за усиление свое на Рейне и Руре; а для Англии—ее жизненные интересы являются исключительно внеевропейскими.

При этих обстоятельствах в общественном мнении английских правящих классов произошло резкое и глубокое раздвоение, которое отразилось и в прессе, и в парламенте и, даже, в недрах британского кабинета. в 1922—23 г.г.

Ллойд-Джордж, один из вождей нынешней оппозиции, является наиболее характерным представителем одного течения, Болдуин и Мак-Кенна—другого.

Идея Ллойд-Джорджа заключается в том, что, хотя нынешнее положение *пока* и отличается от положения при Наполеоне, но что пуанкаризм (термин „Daily Chronicle“) и бонапартизм—родные братья, и пуанкаризм станет в будущем столь же опасен для Англии, как был некогда Наполеон. Что пуанкаризм, как политическое направление, останется, если даже сам Пуанкарэ завтра умрет или уйдет в отставку,—это признается аксиомою. Идея же Болдуина и Мак-Кенна та, что политически пуанкаризм явно направлен исключительно против Германии, и нельзя во имя туманных будущих опасностей призывать на страну реальную опасность в настоящем, войну против Франции, войну, в которой у Франции были бы союзники, а у Англии, кроме разоренной, обессиленной, безоружной Германии союзников не

было бы, даже если допустить, что Германия осмелилась бы выступить. Школа Болдуина признает, конечно, что внедрение Франции в прирейнских землях чревато для Англии убыточными экономическими последствиями, но противоядием школа Болдуина считает хозяйственное объединение всех необъятных земель британской короны. Имея немногим меньше $^1/_3$ части земного шара в своих руках, стоит только окружить эти владения высокой таможенной стеной, пока еще не воздвигнутой, чтобы не бояться в будущем никакой французско-рейнско-вестфальской конкуренции. Бурное возрождение в Англии протекционизма и открытый переход к протекционистам бывшего премьера, Стэнли Болдуина, до 1923 г. колебавшегося, показывают, что меры против будущих экономических опасностей могут быть когда-нибудь подготовлены. Съезд премьеров всех английских владений в средине октября 1923 г. в Лондоне высказался за протекционизм.

Оба направления спорят усиленно, и при этом раздвоении мысли и чувства никакое сколько-нибудь решительное выступление против Франции невозможно.

Во время предвыборной кампании в Англии, уже к концу ноября 1923 года все три соперничающие партии заняли определенную позицию по вопросу о французской гегемонии на континенте. Консерваторы (проведшие кандидатов в 258 округах) заявили о необходимости перехода к протекционизму, к политическому невмешательству в дела Европы и экономическому обособлению и самозащите от возможной в будущем континентальной конкуренции (тут имеется в виду возможный в близком будущем гигантский франко-рейнско-вестфальский угольно-металлургический концерн, работающий на соединенном франко-германском капитале и под защитою французского правительства и французских оккупационных властей на Рейне и Руре). Протекционизм должен обеспечить необъятный британский имперский рынок как от этого концерна, так и от ввоза из Соединенных Штатов. Что касается либералов (проведших кандидатов в 155 округах) и labour party (192 округа), то обе эти партии, расходясь по многим вопросам внутренней политики, согласны между собою как по вопросу о протекционизме, который обе эти партии решительно отвергают, так и по вопросу о вмешательстве,—обе требуют активного противодействия французской политике в Германии, и вообще, стремлению к установлению гегемонии на материке Европы. Правительство Макдональда, возникшее в начале 1924 г., поддерживается этими двумя партиями, дающими ему слабое большинство в несколько десятков голосов. Вместе с тем, обе эти партии, зная решительное отвращение нынешнего английского избирателя от всякой воинственной политики, лишены возможности доводить свою мысль до конца и энергично на ней настаивать; напротив, обе не перестают говорить о необходимости решительного отказа от милитаризма и о сокращении вооружений. Получается серьезное логическое противоречие между предполагаемыми энергичными

и опасными заданиями во внешней политике — и средствами к их осуществлению.

24 октября 1923 года, в Сен-Луи, разъезжавший в это время по Соединенным Штатам Ллойд-Джордж произнес речь, в которой заявил, что «германские углепромышленники и французские металлурги сговариваются между собою», и что их союз—есть подрыв интересов Англии. Вот почему он рекомендовал занять решительно враждебную позицию против рейнского сепаратизма, который главным образом и построен на идее тесного экономического сотрудничества между Францией и Германией. Он, по существу, совершенно прав в своем указании и предупреждении; он ошибается только, забывая, что подобные предупреждения мало что предупреждают, обыкновенно. Что же непосредственно может предпринять британский кабинет? Не допускать в Кельне легальной, уже признанной Берлином автономии? Но тревожащий Ллойд-Джорджа экономический союз может обойтись не только без Кельна, а даже без формального отделения рейнской области от Германии.

Борьба между английскими партиями на этой почве разгорается в Англии все сильнее.

Несомненно ближайшие годы пройдут в английской политической жизни под знаком упорной войны между приверженцами этих двух непримиримых программ, касающихся двух теснейшим образом связанных между собою вопросов: о протекционизме и об отношении к французской политике на материке. Выборы в декабре 1923 года не дали абсолютного большинства в английском парламенте ни одной из трех боровшихся партий. Во всяком случае—либералы и labour party вместе располагают теперь большим количеством голосов, чем консерваторы,—и во Франции с самого окончания английских выборов ждут обострения споров с за-ламаншским соседом. Но Макдональд пока не решается.

VII.

Во Франции знали об этом раздвоении английской политической мысли уже давно; еще при Ллойд-Джордже, еще в 1920 году, стало выясняться, что англичане далее нот и словесных укоров не пойдут. И тогда же выступил с фатальными для Германии требованиями человек, который только что вышел из «золотой клетки» Елисейского дворца, осуждавшей его до той поры на молчание.

Пуанкарэ именно и дал конкретное содержание понятию французской гегемонии,—как она осуществляется в этот раз: требование «репараций» не только, как очень важная цель, но и как средство,—захват Рейна и Рура в возможно более прочное обладание для «обороны французской границы» и для возможно более полного политического и экономического использования, как другая цель, более далекая и важная.

Эта другая цель автоматически, при осуществлении своем, разрушает политическое единство Германии, подрывает возможность ее полного экономического возрождения,—и делает Францию наследницей большей части претензий и шансов былой императорской Германии, поскольку эти претензии касались промышленной деятельности. Занятие Рейна было предусмотрено мирным договором; занятие Рура было осуществлено Пуанкарэ ровно через год после того, как он получил снова власть в качестве первого министра. Первым министром он стал 15 января 1922 года, Рур был занят 11 января 1923 года.

После всего сказанного незачем много распространяться о том, насколько движение к Рейну было знакомо всей французской истории, и насколько, в частности, занятие Рура повторяло политику Наполеона, который созданием Вестфальского королевства стратегически укреплял свои рейнские владения и экономически их усиливал. Напомню менее известный факт, что вплоть до конца второй империи мысль о Рейне главенствовала в правящих сферах, хотя говорилось об этом больше в тайной корреспонденции, чем открыто.

Только что явившись в Россию после крымской войны, в качестве посла, герцог Морни хлопочет о сближении между императорами Наполеоном III и Александром II и мотивирует это в своем донесении (5 сентября 1856 г.) весьма прозрачно: «Если бы когда-нибудь пришлось мирным путем переделать карту Европы, ясно, что изменение в пользу Франции не могло бы совершиться с согласия Германии, и что это было бы возможно только с помощью России». Это он пишет министру иностранных дел графу Валевскому в Париж,—и еще больше подчеркивает свою мысль в конфиденциальном письме непосредственно императору Наполеону III: «Мое очень глубокое убеждение, что нам более возможно и легче быть в хороших отношениях с Россией, чем с Германией, которая нас ненавидит от всего сердца. А в моих глазах это—все, для успеха будущих ваших планов, каковы бы они ни были». Проходит еще некоторое время, и опять Морни говорит о будущем: «Знайте, что Россия—единственная держава, которая согласится на всякое увеличение Франции [1]). Я уже получил уверение в этом. А потребуйте того же от Англии!

И кто знает, не нужно ли будет, с нашим требовательным и капризным народом, когда-нибудь прийти к этому, чтобы его удовлетворить?» En venir là. Яснее говорить о Рейне невозможно.

Война 1914—1918 г.г. популяризовала идею занятия Рейна в самых широких кругах народа.

Не следует забывать, что в глазах очень многих, даже убежденнейших антимилитаристов во Франции война 1914 года была войною чисто оборонительною, и старая идея овладения Рейном, как «естественною границею», поэтому, очень выиграла в популярности.

[1]) В подлиннике: qui ratifiera tout agrandissement de la France (перевести тут по-русски термином «ратифицировать» было бы неверно).

Главный секретарь Конфедерации Труда, наиболее активной, революционно настроенной организации рабочего класса, какая оказалась в наличности во Франции в момент начала войны, Леон Жуо, говорит: «Правда, мы знали, что нападение идет не от этой страны» (т.-е. не от Франции [1]). И он остался в этом убежденным до сих пор, нисколько при этом не переставая и по воззрениям, и по темпераменту быть социалистом и революционером, организатором всеобщей забастовки в мае 1920 года.

Почва для пропаганды необходимости захвата Рейна, как укрепленной границы от будущих германских вторжений, была в очень широких слоях, сравнительно, подготовлена в 1918—1923 г.г. И все-таки, когда усилиями Пуанкарэ, в самом разгаре Каннской конференции, было низвергнуто министерство Бриана, уже готового подписать с Ллойд-Джорджем соглашение, когда внезапный вызов Бриана в Париж привел к его отставке и к образованию кабинета Пуанкарэ, во Франции идея занятия Рура еще не успела вполне акклиматизироваться.

Человек холодного и непреклонного упорства в основной цели, весьма мало уважающий своих современников (как врагов, так и единоплеменных), очень владеющий сарказмом, очень верящий в силу, но фразами умеющий это маскировать, человек, глубоко убежденный, что теперь Франция, если поторопится, может надолго подорвать жизненную мощь Германии, но что эта возможность для Франции с каждым годом будет все уменьшаться и вскоре исчезнет вовсе,—Пуанкарэ именно и полагал главный смысл нынешнего французского военно-дипломатического преобладания в отхвате тех двух областей, которые являются сердцем и легкими торгово-промышленной Германии. И нельзя сказать, что его очень уж нервно подталкивало «общественное мнение». Насколько зависит от индивидуальной воли, напротив, он сам немного ускорил назревавшие и без него события. Даже комитет металлургии еще не мечтал о таком уж скором и полном военном захвате Рура. Вильям Полтни, очень заметный парламентарий первой половины XVIII века и друг (а к концу враг) Уальполя, говаривал, что подобно тому, как змеиную голову двигает вперед змеиный хвост, так и главы партий подталкиваются своими партиями [2]). В десятимесячной дуэли, которая завязалась между Ллойд-Джорджем и Пуанкарэ, с января 1922 г., когда Пуанкарэ оставил Ллойд-Джорджа в Канне в таком нелепом и унизительном положении, устроивши в Париже внезапную отставку Бриана, вплоть до 19 октября того же года, когда английский премьер ушел от власти, слабость Ллойд-Джорджа заключалась в том, что он, как и втечении всего последнего периода своей карьеры,—все ждал, по вещему слову Полтни, толчков от своей партии или от коалиции партий, на

[1]) Nous savions, il est vrai, que l'agression n'était pas le fait de ce pays.—L. Jouhaux, Le Syndicalisme et la C. G. T. (Paris 1920), стр. 192.

[2]) The heads of parties are like the heads of snakes carried on by the tails.

которых опирался,—но так как у них единства мнений по вопросу о борьбе против Пуанкарэ, как сказано, не было, то он так и не дождался нужного толчка. Что же касается Пуанкарэ, то он не ждал толчков, а давал их, и старался ни разу не выпустить из рук инициативы.

Он застал благоприятную для себя почву, но строить начал по собственному плану. Загипнотизировавши одних утверждением, будто немец заплатит (классическое ныне: l'allemand payera tout), если суметь за него взяться, терроризуя других обвинениями в преступной слабости и в мирволеньи к врагу, разгадавши, что Англия ничего сейчас для Германии не сделает, и что можно, при известных жертвах и осторожно веденных доверительных беседах, покончить с Ллойд-Джорджем и получить от нового кабинета carte blanche для занятия Рура,—Пуанкарэ взялся за свое дело. Узнавши точно, что Англия примирится с занятием Рура, если выдать ей головой Кемаляпашу, Пуанкарэ не замедлил это сделать.

В январе 1923 года Рур был занят.

Время рурского «пассивного сопротивления» 11 января—12 августа 1923 года было использовано главою французского правительства полностью. Нужно сказать, что в первый момент растерянности, ярости и отчаяния, в Германии, особенно, в правых кругах, речь заходила даже о подготовке чего-то вроде гверильи в занятой области.

Но эти мысли были почти тотчас же покинуты. Действительно, сопротивляться французам в духе старых национальных эпопей, в стиле героической индивидуальной или групповой инициативы—нечего было и думать. Хорошо было в свое время Карагеоргию уйти, в январьский холод, вдвоем с Главачем, в лес и горы и там поджидать добровольцев: «в первый день нас было четверо, на третий день девять, на седьмой—триста; на десятый—четыре тысячи». А еще через несколько дней можно уже было начать войну с турками. Все это было очень возможно и уместно, в январе 1804 года в окрестностях Рудника против янычар с кривыми шашками и ятаганами, но не в январе 1923 года в окрестностях Эссена против генерала Дегутта с кирасирами, аэропланами, танками и блиндированными поездами.

Никакого «единого национального фронта», помимо всего прочего, в Руре не образовалось, сколько о нем ни писали. Классовые противоречия оказались слишком глубокими.

На третий день после начала оккупации Рура оффициозный орган Пуанкарэ («Le Temps», 14 января 1923 г.) писал по поводу того, что рабочие массы воздерживаются от участия в патриотической демонстрации пред зданием рейхстага: «еще логичнее поступила бы социал-демократия, если бы она низвергла правительство Куно». Орган французского кабинета, правда, забывал приэтом прибавить, что рабочие Рура относятся к оккупации враждебно. Но, все равно, «обще-национального фронта» в этой борьбе не получилось. «Наш враг сидит не только на Сене, но и на Шпрее», эти слова Клары

Цеткин получили широкий отклик среди рабочих масс. Активное сопротивление стало совершенно немыслимым.

Тогда всплыла тактика сопротивления пассивного. Идея Куно финансировать рурское промышленное население с тем, чтобы оно не работало на французов, привела к страшному финансовому краху Германии, к обогащению отдельных фабрикантов и углепромышленников, к недобросовестному и неслыханному (вполне теперь уже констатированному) расхищению народных средств, к безработице и голоду среди рабочих. К концу лета ошибочность избранного метода борьбы уже ни в ком не возбуждала ни малейших сомнений. 12 августа 1923 года пал «кабинет пассивного сопротивления» Куно, и наступило тяжелое похмелье ликвидации финансовых и иных последствий рурской политики павшего канцлера. Эта эра еще только начинается, но уже успели обозначиться некоторые явления, интересные с точки зрения нашей темы.

Прежде всего одна за другой последовали попытки сепаратистов оторвать Рейн от Германии окончательно и создать рейнскую республику вне Германии.

Полная невозможность для центрального правительства тратить дальше деньги на содержание чиновников и поддержку неимущего населения в оккупированных местностях давала сепаратистскому движению некоторую почву и силу. Оккупационные власти, под рукою, поддерживали движение (в Пфальце, впрочем, генерал де-Метц помогал сепаратистам совершенно открыто).

Официальная позиция, занятая самим Пуанкарэ в вопросе об отделении Рейнской области от Германии—с чисто-формальной стороны была «неуязвима»: он не видит причин, почему бы ему не «сочувствовать» свободолюбивому рейнскому населению, «освобождающемуся от прусского ига». Король Генрих II Валуа, занимая весной 1552 года Мец, Туль и Верден, выпустил воззвание, в котором объяснял, что борется за германскую свободу и, сохраняя серьезность, называл себя публично защитником германской свободы, «Vindex libertatis germanicae». Пуанкарэ так далеко не идет. Во-первых, он уже занял все, что хотел; а во-вторых, он никогда не любил излишеств в стиле.

Уже к октябрю 1923 года выяснилось, что крайние сепаратисты (в духе Смеетса и Дортена) не имеют поддержки в населении. Но тут же и немедленно (в том же октябре) оказалось, что центральное правительство (в лице канцлера Штреземана) само согласно безотлагательно отделить Рейнланд и Рурскую область от Пруссии и предоставить им образовать хоть особую самостоятельную республику, лишь бы эта республика согласилась числиться в составе Германии...

Все это—тоже своего рода традиция бедственной эпохи, наступившей для Германии с момента разгрома ее военных сил в 1918 году. В конце ноября 1923 года уже при новом канцлере Марксе было, вдобавок, заявлено в рейхстаге, что правительство согласно на пересмотр конституции, с целью значительного расширения самостоятельности как Ба-

варии, так и вообще отдельных государств. Если не сепаратизм, то партикуляризм—окончательно легализован и поощрен отныне в Германии.

Щедрость и готовность в деле раздачи всевозможных автономий, начиная с провозглашения принципиального согласия сделать Эльзас-Лотарингию самостоятельным государством германского союза (в октябре 1918 года, еще до революции, в канцлерство Макса Баденского) и кончая «широчайшею автономиею», которую великодушно обещал в ноябре 1923 года канцлер Штреземан, обращаясь к Рейнской и Рурской областям, весь этот внезапный либерализм, все государственное бескорыстие—уже ничего не могли исправить; в лучшем случае все эти мероприятия были бесполезны, чаще же всего—вредили. Тут наблюдалось все то же явление, которое так хорошо объяснил потомству Макиавелли, говоря о растерянном, трусливом и бестолковом поведении Гвидо Новелло во Флоренции, весною 1266 г., после поражения Манфреда и гибеллинов при Беневенте: «Эти улучшения, которые, будь они сделаны до того, как наступила нужда, помогли бы—будучи сделаны запоздало и без постепенности, не только не помогли, но ускорили гибель». Fatti prima che la necessità venisse...

В том-то и дело, что кроме англичан, да и то не всегда, мало кто когда-либо умел делать уступки до того, как они оказывались уже совсем неизбежными и—именно поэтому запоздалыми.

Новейшие германские правители этого не умели, во всяком случае, никогда.

«Легальный сепаратизм» привел к положению, которое в ноябре 1923 года «Times» характеризовал словами: нечего себя обманывать, в центре Европы образовалось новое государство под контролем Франции, располагающее колоссальными запасами угля и грандиозною промышленностью.

Следует прибавить, что граница между этою новою будущею республикою или автономною областью—и остатком Пруссии, от которой республика или автономная область непосредственно отделится,—будет не особенно устойчивою и не очень безопасною для остатка Пруссии.

В старом международном праве власть государства над береговыми водами простирается на такое расстояние, на которое хватает дальнобойности батарей, поставленных на берегу, «terrae dominium finitur, ubi finitur armorum vis». В отношениях скрытой войны, в каких живут после Версальского мира Франция и Германия, в сущности, фактически-прочных границ на западе Германия не имеет и иметь не может, так как, в данном случае, разница между береговыми водами и сухопутными пространствами весьма невелика. Силы французского влияния и возможности военного давления теперь на западе Германии хватает на большее расстояние, чем при Людовике XIV, и почти на такое же самое, как при Наполеоне I.

В Германии бо́льшая часть общественного мнения рассматривает в настоящее время дело так, что Рейн и Рур, имеющие отныне законно-признанное самостоятельное управление, не финансируемые более из Берлина, прочно занятые французами, все же, после крушения сепаратистских попыток зимою 1924 года и после образования в Англии правительства Мак-Дональда, останутся в составе Германии, и что начавшееся с введением твердой Renten-Mark оздоровление финансов может благим образом повлиять на общее положение.

Но, вместе с тем, целым рядом «договоров» (т.-е. повелительно навязанных соглашений) рурская обрабатывающая промышленность и рурские угольные копи уже обязались доставлять так называемой «Micum» безвозмездно громадные партии как готовых фабрикатов, так и, в особенности, угля (Micum=Mission interalliée de controle des usines et des mines, комиссия французских и бельгийских инженеров, заведующая эксплоатацией Рура). Эти договоры (датированные концом ноября и декабрем 1923 года и январем 1924 года), даже независимо от того, уйдут ли французы из Рура или останутся там (а они вовсе не собираются уходить)—делают в самом деле Рур «французской оружейной мастерской» (eine französische Waffenschmiede), как выразился 9 февраля 1924 года Максимилиан Мюллер. В этом-то и заключаются отчасти общеевропейские последствия рурской капитуляции Германии, происшедшей после падения кабинета Куно 12 августа 1923 года. Не менее значительны эти последствия, вообще, для консолидации французской промышленности. По германским подсчетам, отныне рурские копи обязаны доставлять победителям ежемесячно на 50 миллионов марок золотом угля в натуре (не считая взносов в золотой валюте крупного угольного налога); точных цифр для оценки взносов фабрикатами еще нет, но и они тоже крайне велики. Это—только Рур. Общие суммы взносов, требуемых с Германии, будут установлены и обусловлены сроками в близком будущем. От итога, определенного в 1921 году (132 миллиарда марок золотом + 6 миллиардов особого взноса в пользу Бельгии), Антанта и не думает приэтом отказываться.

Так встретило европейское человечество новый 1924 год. Французское политическое преобладание привело к большому сдвигу в центральной Европе.

Это преобладание—пока, по крайней мере,—не ставит пред всею Европою той альтернативы, которую ставила политика Людовика XIV и Наполеона: борьба или вассалитет.

Зато пред Германией ставится вопрос не о вассалитете, но еще гораздо более трагический—об экономических возможностях дальнейшего существования.

Ближайшие годы будут, верно, свидетелями попыток, может быть, более успешных, Германии ответить так или иначе на этот вопрос. До сих пор все попытки ответить на него оказывались в высшей степени не-

удачными, и каждая из них еще более сгущала мрак, нависший над побежденною страною. Может быть, и в самом деле, после осенней капитуляции и договоров рурских промышленников с Micum (хотя эти договоры, по словам даже самых сдержанных германских публицистов, «ужасны», sprechen eine furchtbare Sprache), все-таки появится некоторый слабый просвет, и самые эти договоры можно будет изменить,—как думают теперь иные оптимисты; будущего мы не знаем, а оптимисты в Германии ошибались уже очень много раз. Один из лидеров демократической партии Теодор Вольф утверждает, что в переговорах с Макдональдом Пуанкарэ в состоянии еще уступить «$^{1}/_{10}$ или $^{1}/_{20}$ часть» из своих требований, «но не уступит ничего из своих истинных намерений». Прибавим, что сам Пуанкарэ может хоть завтра уйти в отставку, но пуанкаризм, о котором шла речь, как сильное течение во французской политике внешней и внутренней, имеет корни в громадных буржуазных и крестьянских слоях французского народа и едва ли скоро исчезнет. Правда, $^{4}/_{5}$ разрушенных войною местностей Франции уже к 1 марта 1924 года—вполне восстановлены, по неофициальным подсчетам. Но, как мы видели, дело несравненно сложнее вопроса о репарациях.

Вспоминается ли теперь в Германии пророчество Фюстель-де-Куланжа? И думает ли кто-нибудь об этом же пророчестве во Франции? Едва ли. Для Германии—оно уже бесполезно, и может только породить запоздалые «змеи сердечной угрызенья»; во Франции—оно прозвучало бы совершенно некстати и не по-придворному в чертогах Елисейского дворца, куда со всех концов, один за другим, спешат с приветствиями и изъявлением чувств друзья, союзники, должники и вассалы.

Но третьим лицам и наблюдателям вспомнить можно.

Дело было в лютую для Франции зиму, в январе 1871 года. В осажденном, голодающем и бомбардируемом из крупповских орудий Париже вышла очередная книжка «Revue des deux Mondes», где на первом месте оказалась статья Фюстель-де-Куланжа «La politique d'envahissement». Великий исследователь писал [1]): «Если пруссаки в нынешней войне останутся победителями до конца, о них, может быть, скажут: они не совершили никакой ошибки. Но это будет заблуждением: они совершили ошибку, состоящую в том, что они слишком победители, что они показали слишком много силы и слишком много ловкости, а это ошибка, за которую всегда рано или поздно расплачиваются». Et c'est une faute que l'on paye toujours tôt ou tard.

Спустя несколько дней после появления статьи Фюстель-де-Куланжа состоялось в зеркальном зале дворца Людовика XIV в Версале провозглашение победоносного короля Вильгельма германским императором, а еще чрез полторы недели Париж сдался, и таким

---

[1]) „Revue des deux Mondes“, 1871; том 91, стр. 26 (1 janvier 1871).

образом книжка журнала попала в Германию уже после входа немецких войск во французскую столицу. Какими туманными и фантастическими должны были представляться эти глухие угрозы поверженного врага, эти зловещие советы не слишком любоваться своею силою—в ликующем, расцвеченном знаменами Берлине, упоенном восторженною лестью своих и чужих: «Man sagte uns, wir seien das Salz der Erde überhaupt,—Und wir haben es geglaubt!»...

Теперь соотечественники Фюстель-де-Куланжа по себе знают, как трудно не быть «слишком победителями» и не обнаруживать слишком много силы, если она есть в наличности.

Во всяком случае, пока, они стараются показать, что сила их направляется только против Германии и что у других народов бороться с Францией будто бы нет никаких оснований.

Временное в 1923 г. смягчение тона относительно России и явные намеки на возможность изменения ныне существующих ненормальных отношений между обеими странами—таково одно из проявлений этой тенденции современной французской дипломатии.

Сравнительная, временная, по крайней мере, «обеспеченность» внешней, международной обстановки, обусловливаемая разнообразными причинами, о которых шла речь выше, и строгая (пока) ограниченность и очерченность задач и претензий, обращающихся враждебным острием исключительно против одной Германии,—вот наиболее характерные отличительные черты природы нынешнего французского преобладания. Обе черты дают переживаемой эпохе индивидуальную физиономию, делающую ее во многом все же непохожей на два предшествующих исторических периода французской гегемонии, о которых шла речь в этом этюде.

Таково в настоящий момент положение вещей, рассматриваемое с международно-дипломатической точки зрения. В наши времена предсказывать длительность и «устойчивость» любой конъюнктуры было бы более, чем рисковано, и вышеприведенное слово «обеспеченность» следует понимать весьма и весьма условно.

Внутренняя жизнь, классовая борьба европейских народов непрерывно и ускоренно, иногда бурно эволюционирует в наши дни, и в каком направлении эта эволюция будет влиять на дипломатию в каждый данный момент—предсказать в точности трудно. Кое-что должны, наприм., выяснить общие выборы во Франции.

Во всяком случае, пока указанная международная комбинация держится,—и если она продержится еще известный срок,—следует ждать больших перемен во всех стародавних условиях экономической деятельности, а потому и в традиционной социальной структуре французской республики. Давнишние слова о революционном значении каждой новой фабричной трубы должны быть, конечно, учтены отныне и для Франции.

С другой стороны, только будущее скажет нам, суждено ли Германии, в самом деле, фактически уступить победителю использо-

вание значительнейшей части рейнских и рурских экономических возможностей, и, если суждено, то как она будет жить и работать без Рейнской и Рурской областей, без которых она уже не Германия, а какая-то новая страна. Но все это—пока скрыто от нас тою же непроницаемою завесою, как и все будущее внутреннее развитие европейских народов.

Пятилетие европейской истории, только что истекшее, это, так сказать, еще не быт, еще не устоявшееся положение; это—все еще продолжающееся извержение кратера и колебание почвы.

Е. Тарле.

Развал королевской армии в первые годы Великой Французской Революции.

I.

Литература о французской армии периода Великой Революции довольно обширна; встречаются, как отдельные монографии, так и труды, имеющие более общий характер. Монографии группируются, главным образом, вокруг деятельности выдающихся вождей армии. Это по большей части биографии генералов, с описанием военных подвигов и стратегических задач, которые они выполняли [1]). Общие труды—это военная история того времени, с тщательным разбором стратегических планов [2]). Литература эта имеет по большей части специально-военный характер. В трудах по Французской Революции в ее целом, вопрос об армии рассматривается вскользь, в связи с внешней политикой Французской Революции и ее отношениями с Западной Европой. Таковы старые труды Тьера, Минье, Кинэ, Тэна, Зибеля, Гейссера, Рамбо, Карно и более новые, как Олара, Сореля, Жореса.

Некоторое исключение представляет собою Луи-Блан, где небольшое место отводится описанию военного бунта в Нанси, наиболее выдающегося события в период разложения старой королевской армии.

Французская армия не рассматривается во всех этих трудах, как учреждение, органически связанное с Революцией, прошедшее вместе с ней все этапы своего развития. С самого начала Великой Революции, потрясшей до основания старый режим во Франции, в то время, как разрушались все старинные учреждения и общество перестраивалось на новых началах, сообразно с задачами, поставленными великими народными движениями,—вся конструкция королевской армии должна была неминуемо рухнуть. Старая королевская армия рассыпалась, видоизменялась, как и целый ряд других учреждений старой монархии.

---

[1]) Таковы, напр., ряд работ. Chuquet: «Le général Dagobert»; «Dugommier»; «Quatres généraux de la Révolution: Hoche, Desaix, Klèber et Marceau». Birè. Mèmoires du génèral D'Andigué» и многие другие.

[2]) Таковы, напр.: Chuquet: Les guerres de la Révolution. Rousset. Les volontaires (1791 — 94). Rambaud. Les Français sur le Rhin. Krebs et Morris: Campagnes des Alpes pendant la Révolution. Fervel. Campagnes de la Révolution Française.

Существует еще мало известная монография: Chilly. La Tour du Pin (Les origines de l'armée nouvelle sous la Constituante. Paris, 1909 г.); в ней заключается масса интересного материала, но написана она в очень консервативном духе и местами представляет собою сплошной хвалебный гимн военному министру La Tour du Pin.

В 1789 — 90 г.г. армия наиболее сильно переживала внутренний кризис: полнейшую дезорганизацию дисциплины и неудержимое стремление солдатской массы осуществить громко провозглашенные принципы „свободы человека и гражданина“. Солдатские элементы, в массе своей принадлежащие к низам 3-го сословия, неудержимо и стихийно бросились на штурм „старых порядков“ в армии, т.-е. стремились сломить старую, классовую организацию этой армии — привилегированное, дворянское офицерство. Среди хаоса вновь нарождающагося порядка, солдатская масса проявляла свои часто неясно выраженные стремления в неорганизованных, почти стихийных мятежах, наиболее характерным из которых является знаменитый бунт Нансийского гарнизона — в конце лета 1790 г.

Армия во всех государствах представляет собою ту живую силу, на которую опирается всякое правительство, имеющее корни в стране. Эта сила, обращаясь против правительства, неминуемо приводит его к тяжелым катастрофам. Между многими и сложными причинами, вызвавшими величайщую катастрофу, которую пережила королевская власть во Франции в первые же месяцы Революции — одною из многих причин было то, что армия обратилась против этой королевской власти.

Все нерешительные попытки двора к проведению контр-революции были обречены на неудачу, и одной из многих причин этой неудачи был отказ армии поддерживать Людовика XVI-го и ее решительный переход на сторону Революции.

Почему же армия с первых же дней Революции не смогла больше служить опорой королевской власти? На это были глубокие причины, заключающиеся в самой организации армии.

Королевская армия во Франции была добровольческой [1]). За исключением милиции, которая набиралась принудительным набором, была немногочисленна и не входила в состав линейных войск, — весь солдатский элемент набирался из добровольцев, главным образом, из низов 3-го сословия. Это была сельская и городская молодежь, не ужившаяся почему-либо на местах, не пристроившаяся прочно к какому-либо ремеслу, занятию или сельскому хозяйству. Королевские вербовщики, разъезжавшие по Франции, вербовали эту молодежь, ловкими приемами чисто внешней рекламы заманивая ее на военную службу [2]). Люди записывались в полки, подписывая военный контракт на несколько лет, стремясь променять голодное существование на солдатское жалование и паек. Часто такие контракты подписывались в веселую минуту, под пьяную руку. А затем, в большинстве случаев, солдат ждало горькое разочарование. Правда, военная служба не была

---

[1]) Babeau. La vie militaire sous l'ancien régime. Les soldats. Paris 1889, стр. 34.

[2]) Babeau. La vie militaire sous l'ancien regime. Les soldats. стр. 41 и след. Paris, 1889.

обременительна, всего какие-нибудь 4 часа в день. Но жалованье выплачивалось неакуратно, задерживалось целыми месяцами, паек был очень скуден, помещение отвратительно, белья не оказывалось под блестящими, красивыми мундирами. Впереди для солдата не было никакой надежды на повышение. Унтер-офицерский чин — это все, на что мог рассчитывать самый удачливый солдат. В последние годы старого режима суровая дисциплина и жестокие телесные наказания, заимствованные из прусского военного кодекса, возбуждали среди солдат открытое раздражение. Наказы в Генеральные Штаты 1789 г. от 3-го сословия и прогрессивной части дворянства полны протестами против этих заимствований из иностранного кодекса, чуждого духу французской армии [1]).

Так как военный контракт обязывал солдата выслужить весь срок, и законного способа уйти со службы без уважительной причины (болезни) не было, то солдаты прибегали часто к средству незаконному — дезертирству. В последние годы старого порядка под влиянием увеличивающейся суровости военной дисциплины и тяжелого материального положения — дезертирство солдат во французской армии приняло массовый характер [2]). Правительство Людовика XVI-го проявило по отношению к этому явлению всю ту слабость, которая была так характерна для него. Дезертиров было слишком много, а потому, несмотря на существование строжайших против них законов, их миловали целыми толпами и вновь распределяли по полкам.

Все учащающиеся крестьянские волнения накануне Революции возбуждали и солдатскую массу. Для подавления аграрных беспорядков употреблялись войска, но недовольная, взбудораженная до самых низов солдатская среда инстиктивно становилась на сторону крестьян и революционизировалась все больше и больше [3]). Командный офицерский состав был совершенно чужд солдатам по происхождению, образованию, образу жизни. В глазах солдат — то была привилегированная и ненавистная каста, так как для солдат был почти недостижим офицерский мундир, и так как все офицеры за немногими, единичными исключениями, принадлежали к дворянскому сословию.

Но офицерский состав, сплошь дворянский, не был, однако, вполне однороден по своему положению в армии. Придворное и родовитое дворянство получало по протекции и по праву рождения высшие командные посты. Провинциальное дворянство было постоянно оттесняемо в своем движении по службе преимуществом своих более родовитых товарищей [4]): Нетитулованные офицеры открыто

---

[1]) Таких наказов бесчисленное множество. Например: Cahier du tiers-état du baillage de Besançon. Arch. Parlem t. II. стр. 340. Cah. du tiers-état de la sénèchaussée de Rénne, ibid. t. IV. стр. 272—73. Cah. de les noblesse de Poitou. Ibid t. V. стр. 397. Cah. de la noblesse de Maconnais. Ibid. t, III. стр. 625 и множество других.

[2]) Mémoires du Comte de St.-Germain. Amsterdam. DCCLXXIX. стр. 154—55.

[3]) Bouillé. Mémoires sur la Révolution française, t. I, стр. 48—49. Paris 1802.

[4]) St.-Germain. Mémoires. стр. 123.

роптали против 18-ти—20-ти-летних молодых людей из аристократии, приезжавших с свой провинциальный полк на 2, 3 месяца в году, часто в чине полковника, и уезжавших обратно в Версаль после отбытия этой краткосрочной повинности. Дворянские наказы 1789 года полны жалоб неродовитого дворянства на эти своебразные синекуры, которые раздавались по милости двора [1]).

Умирающий старый порядок почти накануне своей гибели совершил еще один ложный шаг. Эдиктом 1781 г. предписывалось допускать на офицерские должности только лиц доказанного дворянского происхождения. Что же касается лиц из буржуазии, в виде исключения пробившихся к офицерским чинам, — то они были остановлены в своем дальнейшем повышении. Молодежи из высшей и богатой буржуазии, стремившейся к военной карьере, была оставлена только возможность служить простыми солдатами, что не было для нее, конечно, соблазнительно [2]). Эдикт 1781 г. встретил безжалостную критику в наказах 3-го сословия [3]).

Буржуазия, интеллигентная в высших своих слоях, ясно сознающая возрастающее свое значение, справедливо оценила этот эдикт, как унизительный для ее достоинства.

В восьмидесятых годах XVIII в. среди офицерского состава выделилась прогрессивно-настроенная группа, насчитывающая среди своих членов как родовитых военных, так и средних, провинциальных офицеров [4]). Эта часть командного состава мечтала об умеренных реформах в армии, главным образом об уничтожении телесных наказаний для солдат, об улучшении быта солдатской массы Говорили о необходимости проведения общего духа гуманности и справедливости в управлении армией, и роптали на „министерский деспотизм“, т.-е. на произвольные назначения и отставки сверху, от военного министерства и под влиянием двора.

Однако солдатская масса плохо разбиралась в том, какая часть ее начальства настроена либерально, а какая консервативно. Во всех офицерах солдаты видели «привилегированных», и этого было достаточно. Они ненавидели их той инстинктивной ненавистью людей из низов 3-его сословия, которую крестьянин, мелкий ремесленник, рабочий, чувствовал вообще к дворянину—привилегированному. Достаточно было удара по старой правительственной машине, проявления

---

[1]) Смотреть, напр., дворянские наказы: Cah. de la noblesse de Château-Thierry. Arch. Parlem. t. II. стр. 664. Cah de la nobl. de Toul. t, VI. Ibid. стр. 6. Cah. de la nobl. de la sénéch. de Lyon. Ibid. t. VI. стр. 606 и многие другие.

[2]) Babeau. La vie militaire sous l'ancien régime. Les officiers стр. 68 и след. Paris, 1890 г. Шере, Падение старого режима. т. I, стр. 37. Lavisse. Histoire de France T. IX. p. I. стр. 66—67.

[3]) Например, наказы: Cah. du tiers-état du baillage de Vitry-le-Français. Arch. Parlem. t. VI, стр. 28. Cah. du tiers-état bu baillage de Dole. Ibid. t. III, стр. 165. Cah. du tiers-état du baill. de Gien. Ibid. T. III. стр. 407. Cah. du tiers-ètat de la ville de Pont-à-Mousson. Ibid. t. II. стр. 232, и множество других.

[4]) Babeau. La vie militaire sous l'ancien regime. Les officiers стр. 289. Paris. 1890.

слабости этой машины—и солдатская масса готова была броситься на дворянское офицерство и сломать сословную организацию армии. Таким образом королевская армия накануне Революции представляла собою 2 чуждых и враждебных друг другу лагеря: солдат и офицеров. Офицерский состав разделялся на привилегированный, придворный слой, по праву рождения и связям заполнивший собою высшие посты, и провинциальное, рядовое офицерство, находившееся в антагонизме с этим высшим слоем. В той и другой группе—либерально настроенное меньшинство, проникнутое идеями просветительной литературы и мечтающее об умеренных реформах в армии в духе гуманности и уничтожения наиболее вопиющих злоупотреблений.

С самых первых дней Революции народные представители, заседающие в Версале, с тревожным вниманием присматривались к настроению армии. Вопрос заключался в том, за кем пойдет военная сила, за придворной реакцией или за «представителями нации», как тогда уже начали говорить.

Однако, уже с конца июня 1789 года революционное настроение охватило некоторые полки со значительной силой и должно было, казалось, послужить грозным предостережением для двора Людовика XVI. Летом и осенью того же года в отдельных полках вспыхивали бунты, неорганизованные мятежи, выражавшиеся, главным образом, в неповиновении офицерам и нарушении военной дисциплины. Никаких определенных политических лозунгов солдаты, однако, не выставляли. Началом таких мятежей был бунт «Французской гвардии» (Gardes françaises) в конце июня 1789 г.

В Пале-Рояле, гостеприимном приюте, устроенном для парижского народа герцогом Орлеанским, приюте, наполненном дешевыми кабачками и увеселительными заведениями, дававшими хороший доход либеральному герцогу, кипела своеобразная жизнь уличных митингов, горячих споров и зажигательных выступлений против деспотизма министров и привилегированных. Солдаты попадали на эти митинги случайно, как попадали мелкие буржуа, низшие служащие торговых заведений, ремесленники, рабочие, одним словом—весь разнообразный люд, принадлежащий к 3-му сословию. Под влиянием проповеди молодых и полных энтузиазма народных ораторов, как Камилл Демулен, солдаты быстро революционизировались и твердо запоминали, что министры—тираны, а привилегированные, и в том числе офицеры—враги народа.

Королевская власть совершила еще один ложный шаг. 23 июня 1789 г. король еще раз подтвердил эдиктом неприкосновенность существующей организации армии. В тот же день 2 батальона полка Gardes Françaises отказались от несения очередной службы. Было ли это нарушение военной дисциплины прямым ответом на королевский указ, или просто стихийным мятежом, почти без определенной цели, сказать очень трудно, из-за молчания на этот счет источников. Королевская власть заколебалась, и не приняла никаких мер, вплоть до последних чисел июня.

27-го июня в Париже и Версале торжественно праздновалось согласие короля на соединение 3-х сословий Генеральных Штатов и санкционирование, таким образом, со стороны королевской власти совершившегося факта Революции. Солдаты французской гвардии тем временем окончательно вышли из повиновения. Они перестали нести службу, открыто не повиновались своим офицерам, толпами покидали казармы. В Пале-Рояле народ приветствовал их, как борцов против деспотизма. Офицеры, отправившиеся в Пале-Рояль уговорить солдат, были изгнаны толпой[1]).

Тогда военное министерство распорядилось арестовать 11 человек, зачинщиков бунта и отправить их в тюрьму Бисетр. По дороге они были освобождены толпою и отправились в Пале-Рояль[2]).

Мятеж разросся с удвоенной силой. Для ареста освобожденных гвардейцев был направлен отряд драгун и гусар. Однако после переговоров с толпою вновь прибывшие солдаты отказались от своего предприятия, и вся сцена окончилась братанием с толпою под крики «Да здравствует нация» и продолжительной выпивкой в кабачках Пале-Рояля[3]). Инициаторы мятежа остались на свободе, не вернулись в казармы и не были отведены в тюрьму.

Что же делал военный министр Бриенн?[4]) Он решительно ничего не делал, так как посылать новые отряды в Пале-Рояль для ареста «бунтовщиков» было более, чем рискованно: они могли последовать примеру первого кавалерийского отряда. Власть осталась совершенно инертной. Но в Версале заседало Учредительное Собрание, которое не могло не отозваться на событие. Депутация от парижских выборщиков появилась перед решеткой Учредительного Собрания с письмом, в котором была высказана просьба заступиться за возмутившихся солдат перед исполнительной властью.

Это письмо очень характерно для настроений этого первого времени Революции:

«Господин президент. Вчера народ толпою устремился к тюрьме Аббатства, чтобы освободить от цепей 2-х французских гвардейцев[5]), которых герцог Дю-Шателе (полковой командир) хотел арестовать против всякой справедливосcти. Эти две несчастные жертвы были с триумфом доставлены в Пале-Рояль, где народ взял их под свою защиту»[6]). А затем следует просьба к Учредительному Собранию взять под свою защиту 2-х гвардейцев.

---

[1]) Lettres et journal de Gudin de la Ferlière. 2 juillet 1789. (Nouvelle Revue rétrospéctive. Juil.—Déc. 1898). Дживелегов. Революционная армия и ее вожди, стр. 10. Изд. «Книга» 1923 г.

[2]) Тарле. Падение абсолютизма в Западной Европе. Стр. 170—171.

[3]) Lettres et journal de Gudin de la Ferlière. 2 juillet 1789.

[4]) Lavisse. Histoire de France. T. IX. p. I. стр 67.

[5]) Число солдат, которые должны были быть арестованы, точно неизвестно. В письме выборщиков к Учредительному Собранию их значится только 2, в Journal de Gudin la Ferlière—11 человек. Во всяком случае, их было несколько.

[6]) Archives Parlementaires. T. VIII. Стр. 175. Paris 1884. Заседание 1 июля 1789 г.

Учредительное Собрание было поставлено в большое затруднение. Оно не могло признать законность солдатского «мятежа», поддержанного «толпою», и в то же время боялось, отвернувшись от этого мятежа, оказать помощь правительству, в то время как у него с этим правительством назревал ряд конфликтов. Обращение парижской депутации было заслушано и горячо обсуждалось. В результате было решено, что нельзя предоставить ликвидацию всего мятежа всецело военному министру [1]).

Но какими же средствами располагало Учредительное Собрание для подавления или успокоения «мятежа»? Очевидно, только нравственным авторитетом представителей нации. И Собрание прибегло к этому эфемерному средству, в начале своего существования, среди бури надвигающейся Революции. Было написано послание к населению Парижа с призывом к спокойствию и повиновению королевской власти и в то же время с обещанием заступиться за виновников беспорядков [2]). В этом ясно выразилось опасение Учредительного Собрания оттолкнуть от себя все те силы народной Революции, на которые оно могло опереться в своей борьбе с королем.

В том же заседании 1-го июля была выбрана депутация к королю, чтобы просить его оказать снисхождение возмутившимся солдатам [3]).

Мятеж полка «французской гвардии» был ликвидирован в ближайшие же дни. «Зачинщики» бунта, освобожденные толпою, и присоединившиеся к ним товарищи должны были признать свое дальнейшее пребывание в Пале-Рояле, под постоянной охраной толпы, довольно трудным. Совершенно отказаться от военной службы они, очевидно, не собирались, и их дальнейшее пребывание вне казармы не имело никакого смысла. Мог быть только страх наказания за проступок против военной дисциплины, но Учредительное Собрание взяло на себя заступничество за провинившихся. И действительно, развязка всего происшествия была очень типична для первого времени Революции, времени мечтаний о всеобщем братстве и дружеском единении всех. Король тотчас уступил просьбе Национального Собрания и объявил о своем намерении простить провинившихся, если они добровольно подчинятся. «Зачинщики бунта», очевидно, заранее уверенные в своей безнаказанности, добровольно явились в тюрьму, были тотчас освобождены и вернулись в казармы. Нечего и говорить о том, что остальные солдаты, присоединившиеся к «бунту», были избавлены от всякого наказания.

Современники оценили значение всего события в смысле перехода части армии на сторону Революции. Через год с небольшим, в сентябре 1790 г., мы все еще находим упоминание об этом первом бунте французской гвардии в газете Прюдома «Révolution de Paris». «Мы не должны забывать», говорится в ней: «что Революция обязана

[1]) Arch Parlem. VIII, стр. 175—77. Заседание 1-го июля 1789 г.

[2]) Arch. Parlem. VIII, стр. 177. Заседание 1-го июля 1789 г.

[3]) Arch. Parlem. VIII, стр. 177. Заседание 1-го июля 1789 г.

своими успехами патриотизму французских гвардейцев и остальной армии» [1]).

Этот первый эпизод возмущения французской гвардии характерен в высшей степени как по поведению солдат, так и по отношению правительства к бунту. Солдаты поддались общему настроению парижского населения, стремясь к свободе и ослаблению суровой дисциплины. Власть тотчас растерялась, а Национальное Собрание, оговорившись о необходимости уважения к королю и закону, заступилось за солдат. «L'Assemblée Nationale gémit des troubles qui agitent la ville de Paris»—говорится в послании Собрания к парижскому населению [2]). Собрание, в сущности, так же, как и власть, расписалось в своем бессилии. Этот же мотив жалобы и неуверенности будет звучать во всех посланиях Собрания к армии в течение всего 1789 и 1790 г.г.

Национальное Собрание бессильно что-либо предпринять против начавшегося восстания армии, как и против аграрных движений летом 1789 г., как и против всех стихийных проявлений народной Революции, потому, что оно само находится в антагонизме с королевской властью и во всех этих движениях черпает силу для борьбы с этой властью.

Даже Мирабо, в этот ранний период Революции, в июле 1789 г., призывает солдат французской армии к открытому неповиновению «исполнительной» власти. Это его речь, произнесенная в Национальном Собрании 8-го июля по поводу королевского приказа о стягивании войск к Парижу для совершения контр-революционного переворота. «Несмотря на всю свою верность воинской дисциплине, солдаты не смогут позабыть, кто мы (т.-е. представители нации) такие; они увидят, что мы их друзья, их близкие, их семья, заботящиеся о самых дорогих их интересах, так как о н и (солдаты) с о с т а в л я ю т ч а с т ь н а ц и и, которая поручила нам попечение о своей свободе, собственности, чести; нет, такие люди, такие французы не откажутся никогда от своих умственных способностей до такой степени, чтобы считать своим долгом наносить удары, не справляясь о том, кто будет их жертвой» [3]).

Это полное и яркое признание за солдатом его прав человека и гражданина, возмущающегося против деспотизма власти. Солдат перестает быть солдатом, он делается человеком, за которым признается его право сопротивления власти. Весь эпизод возмущения королевской гвардии служит прологом к тем многочисленным «солдатским мятежам», которые волною прокатились по всей Франции в течение 1789—90 гг.

Бунт полка „Gardes Françaises“ кончился мирно и благополучно, но чем шире и глубже развивалась Революция, тем грознее становились эти бунты, унося с собою жертвы, и к 1790 г. вылились в полное разложение старой, королевской армии.

---

[1]) Les Révolutions de Paris. № 58.
[2]) Arch. Parlem. t. VIII, стр. 177. Заседание 30-го июня 1789 г.
[3]) Arch. Parlem. t. VIII. Засед. 8 июня 1789 г.

Крушение феодального строя летом и осенью 1789 г. дало толчок к первой эмиграции дворянства. За границу потянулся высший слой родовитой и придворной аристократии. Это не могло не повлиять на некоторую часть офицерства, принадлежащего к этому слою. Оно было захвачено первой эмиграционной волной, сбито с позиций, поставлено перед дилеммой: примкнуть к Революции со всеми ее новшествами, или уйти за пределы государства. Большая часть офицеров, конечно, не могла следовать примеру этих первых эмигрантов. Не имея их больших материальных средств, оно в массе своей оставалось в своих войсковых частях и гарнизонах. Оставаться, однако, было более чем тяжело. Солдаты отказывались от несения службы, проявляли открытое сопротивление офицерам. Бунтовали целые полки, гарнизоны, войсковые части, изгоняя своих командиров, иногда выбирая себе новых из числа незнатных и молодых офицеров [1]).

Все язвы старой королевской армии, все ее темные стороны стали казаться солдатам совершенно невыносимыми. Недодача жалованья, плохой паек, ухудшившийся еще благодаря общей разрухе,— вызывали взрыв негодования во всех войсковых частях.

Мотивы неповиновения самой солдатской массой иногда объяснялись деспотизмом офицеров.

Состояние армии было настолько угрожающим, что уже в августе 1789 г. в Учредительном Собрании был возбужден вопрос о необходимости законодательных мер для устроения армии на новых началах [2]).

1-го октября 1789 г. в спешном порядке был возбужден вопрос об устройстве особого Военного Комитета Учредительного Собрания, целью которого была бы работа по реорганизации армии [3]).

В заседании 3 октября был избран этот Комитет, в состав которого с самого начала вошел Dubois de Crancé, знаменитый впоследствии сотрудник Карно [4]).

В Военный Комитет вскоре же после его возникновения начали поступать с мест донесения о волнениях в армии, многочисленные жалобы солдат, доклады командного состава. Общие заседания Национального Собрания часто почти целиком посвящались тщательному разбору тех или других событий военной жизни, начиная с мелких и незначительных и кончая крупными мятежами, которые предстояло так или иначе ликвидировать. Собрание стояло перед труднейшей задачей спасти армию от разрухи среди полного политического развала страны и сохранить, по возможности, прежний офицерский состав, ибо другого тогда еще не было, лишив его исключительного привилегированного положения, в котором он находился до тех пор.

---

[1]) Chilly. La Tour du Pin. (Les origines de l'armée nouvelle sous la Constituante). Paris 1909. Стр. 87 и след. Лукин-Антонов. Из истории революционных армий. стр. 106—107. Гос. изд. Москва 1923 г.

[2]) Arch. Parlem. t. VIII. Заседание 6 авг. 1789 г., стр. 433 и 619.

[3]) » » » IX. » 1 октября 1789 г., стр. 203—34.

[4]) » » » IX. » 3 » 1789 » » 336.

Сознание того, что прежний чисто дворянский командный состав не соответствует новому духу времени, все яснее проникало в умы всех, кто интересовался военным вопросом. Интересно отметить, что генерал маркиз Буйе, старый военный, усмиритель бунта в Нанси и участник бегства короля в Варенн, ясно сознавал неизбежность уничтожения сословной организации армии. В своих мемуарах, подлинность которых, повидимому, не оспаривается историками, описывая события весны и лета 1790 г., Буйе говорит следующее:

«Армия королей Франции, находящаяся под командой дворян (des nobles), не могла остаться армией той конституции, которая уничтожила дворянство» [1]).

Мы встречаем ту же мысль, но выраженную гораздо ярче, на страницах журнала Прюдома «Les Révolutions de Paris», в августе 1790 г., т.-е. тогда, когда со всех сторон в Париж неслись известия о военных мятежах (из Меца, Тулона, Нанси). «Исполнительная власть должна понять», говорится в № 58 газеты: «что во Франции существуют две партии: 3-е сословие (les communes) и прежние привилегированные (les ci-devant priviligiés). В армии существует то же деление. Солдаты принадлежат к третьему сословию, офицеры—к дворянству. Можно ли сомневаться в том, что дух Революции, царящий по всей стране, охватит также и армию? Солдаты рассматривают своих офицеров, как аристократов, а офицеры считают солдат патриотами, и от этой разницы происхождений неминуемо произойдет взрыв, который нужно предвидеть» [2]).

И немного далее на страницах того же номера говорится следующее:

«Революция есть изменение, которое уничтожает все установленные права и формы. А поэтому солдаты ведут себя самым достойным образом, когда из опасения причинить государству слишком большое потрясение, они сохраняют до сих пор во главе армии, во время полного разгара Революции (en pleine Révolution), всех этих графов, маркизов, герцогов и рыцарей, которые высказывают желание «искупаться в крови французской черни» (de la canaille française) и сохранить свои исключительные права на офицерские должности» [3]).

Конечно, характерны слова Прюдома о кровожадных стремлениях французского офицерства именно летом 1790 г., когда это офицерство очутилось в таком положении, что с трудом спасало свои головы среди разбушевавшегося моря солдатских восстаний и бежало за границу. Важна, вообще, самая оценка создавшагося положения, невозможность примирения солдатской массы, демократической и народной по своему составу, с чисто дворянским, привилегированным офицерством.

---

[1]) Mémoires de M-me de Bouillé sur la Révolution Française, t. I, изд. 1892. Paris. Стр. 131.

[2]) Les Révolutions de Paris. № 58. Август 1790 г.

[3]) Les Révolutions de Paris. № 58. Август 1790 г.

И старый военный, генерал маркиз Буйе, ненавидящий Революцию, и редактор демократической газеты—оба приходят к одному и тому же выводу.

Лето 1790 г.—это время разгара военных бунтов, безудержное разложение королевской армии.

Национальное Собрание тратило нередко целые заседания на рассмотрение докладов с мест, выслушивало петиции отдельных полков, нередко отдельных солдатских групп, писало послания к полкам в стиле поучений на темы о «гражданских добродетелях», которые должны проявлять солдаты, посылало письменные одобрения, когда солдаты демонстрировали свой «патриотизм» и «гражданские чувства» и «печально удивлялось», когда солдаты их не проявляли.

Но кроме Учредительного Собрания и его Военного Комитета, вопросами об армии должно было заниматься военное министерство, ответственное перед Собранием и назначенное королем.

Во главе военного министерства стоял либерально-настроенный министр, граф La Tour du Pin. Аристократ по происхождению, он был тесно связан с двором Людовика XVI-го прочными и давними отношениями. Мемуары маркизы De La Tour du Pin, жены сына военного министра, рисуют его нам, как человека, принадлежащего к либеральному высшему военному кругу [1]).

Повидимому La Tour du Pin с самого начала искренно примкнул к Революции. Он не сделался от этого, однако, менее верным «слугою короля», которого он начал рассматривать, как короля конституционного. Но этот «прогрессивно-настроенный» министр, так же как и Учредительное Собрание, был поставлен перед труднейшей задачей организовать армию на новых началах и справиться с солдатскими мятежами. Он видимо терялся, не знал, что делать, и апеллировал к Собранию. 13-го июня 1790 г. La Tour du Pin произнес в Учредительном Собрании длинную речь, в которой характеризовал создавшееся положение:

„Армия находится в полнейшей дезорганизации. Целые полки нарушили повиновение военным декретам, королю, узаконенному порядку, присяге, данной в самой торжественной форме“.—„Что за дух заблуждения и безумия охватил всю армию?“ [2]), удивлялся военный министр. И он повторял все одно и то же: положение армии отчаянное,—приказы более не исполняются солдатами, начальники потеряли всякий авторитет, полковые кассы и знамена находятся неизвестно в чьих руках, офицеры изгоняются из полков, арестовываются солдатами, некоторые убиты. Во многих войсковых частях образовались незаконные собрания (conseils irréguliers), состоящие из унтер-офицеров и солдат, самовольно вмешивающиеся во все стороны военной жизни [3]).

---

[1]) Marquise de la Tour du Pin. Journal d'une femme de cinquante ans. 1778—1815. t. I. Paris 1914.

[2]) Arch. Parlem. t. XVI, стр. 95. Засед. 13 июня 1790 г.

[3]) » » » XVI, » 95. » 13 » 1790 »

Ко всему этому присоединилось еще одно осложнение: постоянное вмешательство в дела армии муниципальных властей [1]). Ни один декрет Национального Собрания не уполномочил муниципалитеты судить поступки офицеров, отдавать приказания солдатам, подчинять жизнь армии переменчивой политике отдельных городских центров.

„Такие самовольные распоряжения муниципалитетов еще более ослабляют дисциплину и уродуют конституцию“,—говорил министр [2]).

Какие же средства успокоения предлагал La Tour du Pin?

Никаких реальных мер он предложить не мог, а как панацею от всех бед он выдвинул необходимость для солдат французской армии, принять самое широкое участие в предполагавшемся в скором времени Празднике Федерации [3]). И на это эфемерное средство успокоения министр возлагал все свои надежды.

Праздник Федерации прошел в Париже с большим подъемом и сопровождался во всей Франции празднествами единения народа с войсками с одной стороны и войск с национальной гвардией с другой стороны [4]).

Однако волнения в полках шли все усиливающимся темпом.

6-го августа 1790 г. La Tour du Pin еще раз обратился к Учредительному Собранию. На этот раз он больше всего жаловался на возникновение во многих войсковых частях незаконных комитетов, составленных из солдат и унтер-офицеров.

«Каждый день», говорил министр, «возникают все новые и новые нелегальные комитеты» и с каждым днем они делаются все более и более дерзкими. В них затрогиваются вопросы политики, финансового положения полков, а также критикуется все управление военного дела. Все это подлежит «шумному и беспорядочному обсуждению» «самочинно возникших» комитетов. По постановлениям этих же комитетов, солдаты самовольно проверяют счета полковых касс и принуждают офицеров силой выплачивать им большие суммы денег совершенно незаконно» [5]).

«Из этих очагов возмущения выходят те скандальные петиции, которыми со всех сторон осаждают власть»,—говорил La Tour du Pin. «Все авторитеты уничтожены, армия ведет переговоры через своих уполномоченных непосредственно с военным министром и мой кабинет часто заполняется толпой солдатских депутатов, которые являются с гордыми заявлениями «о намерениях своих войсковых частей»—это

---

[1]) Arch. Parlem. t. XVI, стр. 95. Засед. 13 июня 1790 г.

[2]) » » » XVI, » 96. » 13 » 1790 »

[3]) » » » XVI, » 96. » 13 » 1790 »

„Le roi a remarqué avec satisfaction l'esprit de devouement à la Constitution, le respect pour la loi et l'attachement à sa personne, qui a animé toutes les fédérations... Sa Majesté a pensé qu'il conviendrait que chaque régiment prit part à ces fêtes civiques pour multiplier les rapports et resserer les liens d'union entre les citoyens et les troupes“.

[4]) Bouillé. Mémoires, стр. 127. t. I.

[5]) Arch. Parlem. XVII, стр. 640. Заседание 6 августа 1790 г.

их собственные выражения»[1]). И La Tour du Pin апеллирует к Учредительному Собранию:

«Спешите на помощь отечеству! От вас одних отныне можно ждать спасения. Авторитет трона становится недостаточным в этот критический момент. Помогите королевской власти остановить гибельное разрушение военной силы»[2]).

Таким образом, в речи военного министра мы видим изображение того страшного развала, в котором находилась армия. Королевская власть устами своего министра признавалась в полном своем бессилии и обращалась за помощью к Учредительному Собранию.

Но военный комитет только работал еще над вопросом о реорганизации армии, а Собрание ограничивалось длинными посланиями в примирительном и нравоучительном тоне к возмущавшимся войсковым частям, ничего для армии не делая.

В заседании 6-го августа 1790 г. под влиянием тревожных известий с мест, в спешном порядке заслушан был доклад одного из членов военного комитета Emmery—доклад, являющийся подтверждением слов La Tour du Pin.

«В армии нет больше субординации, нет дисциплины», говорил докладчик: «я скажу, что не существует больше армии. Желая скорее воспользоваться лучшею участью, солдаты считают, что одно только обещание создать новые военные законы уничтожило уже прежние. Поэтому необходимо, чтобы Национальное Собрание подтвердило своим авторитетом, что законы, до сих пор не отмененные, продолжают существовать»[3]).

Докладчик подтвердил слова военного министра об образовании большого числа «солдатских комитетов или клубов» и требовал их немедленного уничтожения[4]).

Положение в армии было настолько критическим, что Национальное Собрание в том же заседании 6-го августа издало декрет к армии[5]).

Рассмотрим главнейшие пункты этого декрета:

«1. Все военные законы и ордонансы, до сих пор существующие, будут иметь силу впредь до новых, которые явятся результатами работ Национального Собрания по этому вопросу.

«2. Все ассоциации и комитеты, самовольно возникшие в армии, прекратят свое существование.

«3. Будут назначены особые инспектора из высшего командного состава (des officiers généraux) для поверки счетов каждого полка и для удовлетворения солдатских жалоб на финансовое управление пол-

---

[1]) Arch. Parlem. XVII, стр. 640. Заседание 6 августа 1790 г.
[2]) Arch Parlem XVII. стр. 641. Заседание 6 августа 1790 г.
[3]) Arch. Parlem. XVII. стр. 641. Заседание 6 августа 1790 г.
[4]) Arch. Parlem. XVII, стр. 641—42. Засед. 6 августа 1790 г.
[5]) Arch. Parlem. XVII, стр. 643. Засед. 6 августа 1790 г.

ков за последние 6 лет. Эта проверка будет происходить с участием командира воинской части, одного из капитанов, одного из поручиков, одного из подпоручиков (sous-lieutenant), одного сержанта или капрала и 4-х солдат. Солдатская часть комиссии будет конструироваться следующим образом. В каждом батальоне (compagnie) будет избран жребием один солдат из числа грамотных и прослуживших не менее 2-х лет и из общего числа всех избранных опять-таки жребием избрано 4 человека для участия в работе комиссии.

«7. Указывается на необходимость преследования всех бунтовщиков в армии. Они будут судимы и наказаны по тем законам, которые разработает и утвердит в ближайшее время Учредительное Собрание».

В том же пункте довольно непоследовательно указывается на то, что хотя новый военный кодекс еще не разработан — бунтовщики должны знать, что они объявляются «изменниками отечества» (traîtres de la patrie), недостойными носить оружие, изгнанными из своих полков и лишенными звания активных граждан.

«8. Каждый офицер, унтер-офицер и солдат, выполнив приказание своего начальства, имеют право апеллировать на это приказание, если считают его неправильным, к Национальному Собранию, министру или высшему военному начальству» [1]).

Разберем декрет 6-го августа.

В art. 2-м объявлены незаконными и подлежащими уничтожению самовольно образовавшиеся солдатские комитеты.

В art. 3-м можно, однако, видеть их частичное восстановление в законом санкционированной форме, в виде широкого участия солдатских представителей в новых комитетах, которые предполагалось устроить для проверки счетов полковых касс и разбора солдатских жалоб. Солдаты должны быть представлены в числе почти равном офицерам (4 солдата на 5 офицеров, считая в том числе и инспектирующего генерала). А если считать, что сержант или капрал ближе к солдатской коллегии, то и в равном с офицерами числе. Неясным остается только, должны ли были эти новые комитеты сделаться учреждением постоянным, или вводились, как экстренная временная мера.

Интересно отметить, что Chilly, автор монографии о La Tour du Pin, один из очень немногих историков, останавливающийся на законодательных мероприятиях Учредительного Собрания, касающихся армии, совершенно недооценивает декрет 6 августа. Вся работа Chilly написана в хвалебном тоне по отношению к La Tour du Pin, который мог будто бы спасти армию от разрухи, если бы не ослепление, слабость

---

[1]) Arch. Parlem. t. XVII, стр. 643. Засед. 6 августа 1790 г.

«Il est libre à tout officier, sous-officier et soldat après avoir obéi, de faire parvenir directement ses plaintes aux supérieurs, au ministre, à L'Assamblée Nationale sans avoir besoin de la permission d'aucune autorité intermédiaire».

и попустительство Собрания, постоянно «потворствовавшего солдатским мятежам» [1]).

Рассматривая декрет 6 августа, Chilly совершенно не замечает смысла 3-го пункта, узаконяющего участие солдат в организации военной жизни [2]). А между тем ясно видно по этому пункту, что выборные от солдат должны были войти в предполагавшиеся к созданию новые военные комитеты. Chilly, разбирая декрет, совершенно об этом не упоминает.

Луи-Блан, в своей «Истории французской революции», также как и Chilly, не вникает в смысл декрета 6 августа. Не отмечая предполагавшегося участия солдат в новых комитетах, Луи-Блан рассматривает весь декрет, как репрессивную меру, направленную против солдат [3]).

А между тем декрет 6 августа представлял собою мероприятие, вызванное создавшимся в армии положением. И действительно, Собрание было поставлено в полную невозможность уничтожить солдатские влияния на внутреннюю жизнь армии. Для этого нужно было иметь наготове какую-то особую, дисциплинированную военную силу, которую можно было бы противопоставить тем стремлениям, которые проявляли солдаты почти всех полков. А такой силы как раз и не было. Была разваливающаяся старая королевская армия, эмигрировавшее офицерство и полнейший беспорядок.

Таким образом, декрет 6 августа 1790 г., на который возлагалось столько надежд к успокоению, представляет собою попытку ввести в законную форму и урегулировать участие солдатских элементов в организации некоторых сторон военной жизни.

В пункте 8 декрета узаконяются непосредственные сношения солдат с высшей властью (Учредительным Собранием, военным министром и высшим командным составом), отношения, уже присвоенные себе солдатами, так сказать, явочным порядком.

Учредительное Собрание присвоило себе в сущности «функции исполнительной власти» и отступило от принципа строгого разграничения в этом случае между «исполнительной» и «законодательной» властью. С другой стороны, довольно непоследовательно был установлен другой центр апелляции, кроме Учредительного Собрания,—военный министр и высшее военное начальство. Весь декрет в целом является компромиссом между страхом оттолкнуть от Революции солдатскую массу и желанием ввести в определенные законом рамки ее «самочинно» создавшуюся организацию.

Декрет 6 августа был издан в самый разгар смут. В некоторых гарнизонах волнения длились по несколько месяцев. Характерен в этом отношении пример бунта в гарнизоне Hesdin. Началось с того,

[1]) Chilly. La Tour du Pin, стр. 157—58.

[2]) Ibid. стр. 164—65.

[3]) Луи-Блан. «История французской революции». Т. V. стр. 13—14. Париж. Изд. 1908 г.

что солдаты не хотели признать некоего Odille, назначенного офицером в полк [1]). Во главе возмутившихся солдат мы находим юного офицера Даву, в чине sous-lieutenant. Будущий маршал Наполеона начал свою карьеру в качестве представителя революционных солдат.

Полк Royal-Champagne в Hesdin прогнал нескольких офицеров, захватил в свое ведение кассу полка, заставил офицеров выплатить солдатам большие суммы денег и совершенно не признавал в течение долгого времени какого бы то ни было начальства.

7-го августа 1790 г., после вторичного доклада своего военного комитета о случае возмущения в полку Royal-Champagne, Учредительное Собрание издало декрет, который скорее можно было назвать примирительным посланием, чем декретом: «Учредительное Собрание, заслушав отчет своего Военного Комитета, касающийся дела полка Royal-Champagne, не одобряет (improuve) поведение тех унтер-офицеров и кавалеристов [2]) гарнизона Hesdin, которые уже давно, а в особенности со 2-го числа этого месяца, позволили себе проявления неповиновения, достойные порицания» [3]).

Затем, довольно непоследовательно, Национальное Собрание возложило на «исполнительную власть» все необходимые меры для «ликвидации бунта». Если возмутившиеся не успокоятся, то король должен будет «употребить все наиболее действительные средства, чтобы прекратить беспорядок и наказать (et faire punir) всех зачинщиков и участников» [4]).

Само собою разумеется, что королевская власть не располагала никакими средствами для подавления мятежа.

Однако довольно неожиданно спокойствие было восстановлено путем различных переговоров начальства с солдатами, и 29 августа в Национальном Собрании был заслушан доклад Военного Комитета о том, что в Hesdin все пришло в норму [5]).

Летом 1790 г. в некоторых войсковых частях, близких к северо-восточной границе, начали распространяться слухи об иностранном вторжении с целью восстановления старого порядка.

Слухи эти были возбуждены появлением австрийских войск, проходящих к бельгийским провинциям близко от французской территории.

По докладу Дюбуа Крансэ Учредительному Собранию от 27-го июля 1790 г., навигация по реке Мезе была затруднена от французской границы до Льежа из-за присутствия с одной стороны австрийских войск, с другой стороны бельгийских отрядов [6]).

---

[1]) Arch. Parlem. t. XVII, стр. 642. Заседание 6 августа 1790 г.

[2]) Полк Royal-Champagne был полком кавалерийским и солдаты в кавалерийских полках вообще назывались не просто солдатами или рядовыми, а всегда cavaliers (кавалеристы). Смотр. Babeau, Les soldats.

[3]) Archives Parlem. t. XVII, стр. 650. Засед. 7 августа 1790 г.

[4]) „ „ t. XVII, стр. 650. „ „ „ „

[5]) „ „ t. XVIII, стр. 404—405. Засед. 29 августа 1790 г.

[6]) „ „ t. XVII, стр. 379. Засед. 27 июля 1790 г.

Собрание в том же заседании постановило снестись с военным министерством для выяснения вопроса о прохождении австрийских войск через часть французской территории [1]).

В разгоряченном воображении населения, находящегося около границы, появление австрийцев рассматривалось как угроза Революции. Дюбуа Крансэ докладывал Собранию о том, что, по известиям из департамента Арденн, население находится в страшном волнении. В 20-х числах июля народ собирался у границы по ночам, вооруженный чем попало. Вооруженные крестьяне стреляли в темноте друг в друга из ружей; все бредят вторжением австрийцев [2]). Солдаты не остались чуждыми этому общему возбуждению. 9 августа в Национальном Собрании был заслушан доклад депутата Вердена—Жоржа— о волнении в Clermontois: в городке Stenai распространились слухи о вторжении австрийцев. Какой-то офицер будто бы объявил солдатам кавалерийского местного полка о том, что австрийцы идут с целью наказать всех тех, кто не стоит за короля (qu'ils — австрийцы — entreraient et puniraient tous ceux qui ne seraient pas pour le roi). Весь гарнизон города Stenai был охвачен страшным возбуждением. Около 30.000 национальных гвардейцев собрались со всех окрестностей для противодействия врагам [3]).

Ревбель в том же заседании потребовал тщательного рассмотрения причин всех этих волнений. Психическое состояние некоторых войсковых частей, по его словам, доходило до полного исступления. «Весь гарнизон Bitche'а»—говорил депутат—«вышел из города с барабанным боем, изгнал всех своих офицеров, затем вернулся в город с обнаженным оружием» [4]).

Эти известия о распространении паники в гарнизонах на границах — не единичные.

Солдаты, национальные гвардейцы и часть населения поддавались панике и не формулировали ясно своих требований. В раздраженном разгоряченном воображении как чисто народных, так и солдатских масс рисовались разнообразные ужасы и страшнее всего—призрак грозящей реакции. Франция начинала уже бояться иностранного нашествия, которое может восстановить старый порядок, хотя был еще мир.

Неясные, пугающие слухи, постоянное возбуждение, недоверие к офицерам, паника, распространяющаяся среди солдат — вот тот психический фон, на котором разыгрываются солдатские восстания.

Август 1790 года — это разгар военных бунтов. Как раз в это время Мирабо выступил в Национальном Собрании с замечательной речью, в которой предлагал не паллиатив, а общую меру для «оздоровления армии». В заседании 20-го августа, Мирабо предложил проект декрета, сущность которого заключалась в следующем. Существую-

---

[1]) Arch. Parlem. t. XVII, стр. 381. Заседание 27 июля 1790 г.
[2]) » » t. XVII, стр. 279. » » » »
[3]) » » t. XVII, стр. 663. » 9 августа 1790 г.
[4]) » » t. XVII, стр. 663. » » » »

щая королевская армия должна быть полностью распущена и набрана затем вновь, по возможности из тех же самых людей, но уже согласно новой организации, утвержденной Учредительным Собранием и королем. В эту вновь набранную армию должны быть приняты только те офицеры и солдаты, которые согласятся присягнуть всем тем правилам нового воинского устава, который будет санкционирован Учредительным Собранием [1]).

Проект декрета Мирабо не был принят Собранием. Мера, очевидно, показалась слишком рискованной. Новая «конституция» армии, как тогда говорили, не была еще выработана. Роспуск всей армии в тот момент, когда Собрание не создало еще ее новую организацию, казался мерой слишком опасной. Офицерство частью эмигрировало за границу и новый набор армии, совершенно добровольной, ибо о принудительном наборе не было тогда еще и речи, мог привести к тому, что новая армия оказалась бы с сильно уменьшенным кадром опытных офицеров.

В отчетах заседаний Учредительного Собрания, посвященных рассмотрению военных бунтов, нельзя найти указаний на то, велась ли в войсках определенная революционная пропаганда какими-либо лицами со стороны, т.-е. не принадлежащими к армии.

Указание на вмешательство муниципалитетов в дела армии, указание, данное министром La Tour du Pin и подтвержденное докладчиком военного комитета Emmery, не проливает света на этот вопрос.

Вмешательство это имело место, но не в виде пропаганды, а в виде незаконных распоряжений ни кем на это не уполномоченных муниципальных властей.

Депутаты, много занимавшиеся армией, члены Военного Комитета — Dubois Crancé, Emmery, Noailles — нигде не указывают на то, что солдатская масса подверглась какой-либо определенной революционной пропаганде. Рассмотрение радикальной прессы того времени, конечно, могло бы пролить много света на этот вопрос. Радикальная пресса могла вести именно такого рода пропаганду.

В нашем распоряжении находится, к сожалению, только „Moniteur", ничего не дающий в этом направлении, и газета Прюдома „Les Révolutions de Paris", дающая кое-что.

„Les Révolutions de Paris" в течение всего лета 1790 года определенно выступает на защиту солдат, оправдывает вынужденной необходимостью солдатские мятежи и ведет очень сильную кампанию против всего офицерского состава.

В № 58 августа 1790 года газета Прюдома заявляет следующее:

«Можно ли удивляться тому, что в полках образовались комитеты? Офицеры открыто придерживаются принципов, противоречащих Революции. Солдаты видят в них врагов общественного блага, гото-

---

[1]) Arch. Parlem. t. XVIII, стр. 179—180. Засед. 20 августа 1790 г.

вых отдать солдат на избиение, если только Франция подвергнется иностранному нашествию...... Мы в опасности-граждане! Аристократы по всей Франции угрожают патриотам. С самого начала Революции они работают над тем, чтобы сделать армию орудием своего злого умысла» [1]).

«Как только в армии произошел взрыв, молчаливые до этих пор враги Революции поспешили провозгласить гражданскую войну; они покинули Париж, устремились во многие департаменты, отправились за границу».

Таким образом автор статьи отбрасывает на аристократию вину в пропаганде, но пропаганде контр-революционной. Какие-то посланцы (des emissaires) аристократии покинули Париж, говорится далее, и отправились к разным войсковым частям для того чтобы опорочить имена наиболее известных патриотов — членов Учредительного Собрания, принадлежащих к военному сословию [2]).

Далее автор статьи ставит совершенно определенный вопрос: когда же наконец командные должности будут замещаться не привилегированными только, а лицами третьего сословия? [3]).

«Исполнительная власть совершенно намеренно сохраняет на командных постах все тех же людей; до сих пор еще не исключены со службы эти кровожадные звери (bêtes sanguinaires), которые ожесточают солдат; места, случайно сделавшиеся вакантными со времени провозглашения Декларации Прав, не отданы до сих пор еще лицам непривилегированным» [4]).

«Надежда употребить офицерский состав для устройства контрреволюции заставляет главных агентов исполнительной власти вести себя подобным образом по отношению к армии» [5]).

Встречается указание на то, что лица третьего сословия с трудом проникали на офицерские должности.

«У всех министров», говорится в том же № 58 газеты, «существовал принцип повышать только дворян и интриганов. Когда человек третьего сословия (un roturier) посвящал несколько лет своей жизни военной службе, в надежде сделаться офицером, то, даже достигнув этого чина, он не мог повышаться дальше» [6]).

Интересно было бы выяснить, насколько такая агитация доходила до тех многочисленных воинских частей, которые были раскинуты по всей Франции. Выяснить это, однако, невозможно в точности за недостатком источников. Парижские газеты, конечно, попадали в провинцию, и Франция питалась известиями из центра. Кроме того, те многочисленные солдатские депутаты, которые, по выражению La Tour

[1]) Révolution de Paris № 58.
[2]) ibid. № 58.
[3]) ibid. № 58.
[4]) ibid. № 58.
[5]) ibid. № 58.
[6]) ibid. № 58.

du Pin, «заполняли его приемную и шумно заявляли свои требования», легко могли познакомиться с парижской прессой. Основной тон газеты Прюдома в той ее части, которая направлялась против существовавшего тогда офицерского состава, вполне соответствовал тому настроению, которым были охвачены солдаты.

Если солдаты читали газету Прюдома, а это вполне возможно, они находили в ней ясную и конкретную формулировку своим стремлениям.

Интересным доказательством того, что парижские газеты проникали в провинцию и читались там, служит следующее указание в Archives Parlementaires: в самый разгар бунта в Нанси, 28 августа 1790 года, парижская почта привезла туда № 327 газеты „Annales patriotiques et litteraires de la France", издателями которой были Мересье и Каррà [1]).

Газета сообщает: 1) В якобинском клубе в Париже (à la Société des amis de la Constitution, aux jacobins) было заявлено, что какие-то комиссары-наблюдатели должны тайно выехать из Парижа и направиться во все департаменты для того, чтобы навести справки о настроении на местах и о всех лицах, стоящих во главе департаментов.

2) Далее говорится о том, что патриоты, члены Учредительного Собрания, совершенно не осведомлены об этих комиссарах-наблюдателях и об их роли.

3) Очевидно, эти последние — шпионы исполнительной власти, посланные для того, чтобы мобилизовать все аристократические элементы страны. Двор замышляет контр-революционный переворот с помощью иностранной силы и для этого не жалеет никаких средств. Двор стремится разложить армию (dissoudre l'armée) и подкупить муниципальные и департаментские власти.

4) „Общество друзей конституции" (т.-е. Якобинский клуб), встревоженное этими известиями, постановило разослать обращение ко всем своим филиальным отделениям.

«В особенности» — говорится далее в газете, — «мы предупреждаем всех национальных гвардейцев и солдат-патриотов линейных войск о том, что они должны тесно сплотиться друг с другом, чтобы противостоять этой новой грозе; мы предлагаем солдатам-гражданам и гражданам-солдатам (aux soldats-citoyens et citoyens-soldats), а также патриотическим членам департаментов и муниципалитетов, проникнуть ближе в планы этих комиссаров-наблюдателей, подосланных двором, и тотчас донести о них всем окружающим вас, патриотическим газетам и т. д., для того, чтобы разрушить этот новый план» [2]).

В этом известии, находящемся в Archives Parlementaires, о том, что в Нанси, в разгар бунта появился номер «Annales patriotiques» и

---

[1]) Arch. Parlem. t. XIX. Заседание 14 октября 1790 г. стр. 628.

[2]) Ibid. стр. 628.

произвел соответствующее действие на умы уже взбунтовавшихся солдат, можно видеть подтверждение того, что провинция в сильной степени питалась настроением левой парижской печати.

В данном случае газета Карра̀ агитирует армию, или, точнее, ее солдатский элемент, не только против офицеров, но и против всех аристократических элементов страны, указывая на возможность контр-революционного переворота с помощью иностранной силы.

Это только более точная формулировка тех опасений, неясных, смутных слухов, которыми жили солдатские массы, опасаясь какого-то возможного контр-революционного переворота.

Теперь перейдем к вопросу о Якобинском клубе.

«Annales Patriotiques» передает известие, исходящее будто бы из парижского Якобинского клуба. Эта газета, как известно, была редактирована журналистом Карра̀, впоследствии членом Конвента, гильотированным вместе с жирондистами 31-го октября 1793 г. [1]).

У Олара в его «Recueil de documents pour l'histoire du Club des Jacobins de Paris» в перечне членов Якобинского клуба мы находим имя Карра̀ [2]). Следовательно, в августе 1790 г. он мог быть членом клуба и действительно мог в своей газете передать сенсационное известие о контр-революционной агитации и посылке в провинцию для этой цели тайных агентов правительства, известие, исходящее из клуба. Трудно проверить, однако, действительно ли в парижском клубе якобинцев обсуждалось это известие. В документах, опубликованных Оларом, мы не находим подтверждения этого известия. Однако, по собственным словам Олара, со времени возникновения клуба, сначала именовавшего себя «Бретонским», сомнительная дата основания которого относится приблизительно к концу июня 1789 г. [3]) и до июня 1791 года — не существовало журнала, который связно и последовательно передавал бы обо всем, происходившем в клубе [4]). Такой журнал появился только к 1-му июня 1791 г. Следовательно, как раз для интересующего нас периода остались отдельные и довольно отрывочные фрагменты, случайные отчеты, помещаемые в тогдашних газетах, отдельные речи членов клуба и разрозненные извлечения из протоколов заседаний, опубликованных по тому или другому поводу [5]). Олар счел возможным в своем «Recueil de documents pour l'histoire des Jacobins de Paris» приблизительно восстановить то, что происходило в клубе с 1789 г. по 1-ое июня 1791 г., именно по этим отрывочным источникам. Газета «Annales Patriotiques» фигурирует в качестве одного из источников [6]). Однако в сборнике

---

[1]) Aulard. La Société des Jacobins. Collection de Documents, rélatifs à l'histoire de Paris pendant la Révolution Française. Paris 1889. t. I, стр. 241.

[2]) Ibid. Introduction. стр. XLI.

[3]) Ibid. Introduction, стр. II.

[4]) Ibid. Introduction, стр. CXXIV и CXXV.

[5]) Ibid. Introduction, стр. CXXV.

[6]) Ibid. Introduction, стр. CIX.

документов, опубликованном Оларом, не встречается та выдержка из этой газеты, которая значится в издании Archives Parlementaires.

Служит ли это доказательством того, что из Якобинского парижского клуба в конце августа 1790 г. не мог раздаться призыв к предостережению против контр-революционных заговоров, предостережение, обращенное к другим клубам, филиальным отделениям парижского, а также, что очень важно, ко всем национальным гвардейцам и солдатам французской армии? Конечно, нет, так как известие, передаваемое демократической газетой Карра и не попавшее в Recueil Олара, тем не менее оказалось в свое время опубликованным в официальном отчете комиссаров, посланных в Нанси для расследования мятежа, и было заслушано в заседании Учредительного Собрания [1]), с указанием на агитационное влияния этого известия на разгоряченные уже солдатские массы в Нанси.

Но, конечно, трудно возлагать всю ответственность этого агитационного призыва на парижский Якобинский клуб в его целом, именно из-за недостаточности точных источников, относящихся к этому времени (т.-е. к лету 1790 г.), и из-за отсутствия журнала клуба, резюмирующего принятые клубом решения. Отдельные членъ клуба могли выступить с подобными заявлениями, и их речи попадали, без сомнения, в левые, демократические газеты.

Насколько французское общество летом 1790 года интересовалось положением армии, можно отчасти себе представить по тому, что в августе 1790 г. вопросом о реорганизации армии на новых началах занимались в Якобинском клубе в Париже.

Тот же Карра, редактор «Annales Patriotiques», выступил с большой речью, в которой изложил свои принципы.

«Народ»—говорил он—«сделавшийся свободным, благодаря действительным успехам разума и универсальной философии (philosophie universelle), не может вести никакой иной войны, кроме оборонительной против всех тиранов, которые могли бы появиться среди него. В споры же королей он может вмешиваться только для того, чтобы поддержать среди них политическое равновесие и воспрепятствовать наиболее честолюбивым из них нарушить всеобщий мир. Мы будем тем излюбленным народом мессии (ce peuple Messie), которого все остальные нации ждут, как всеобщего спасителя. Мы понесем к нашим соседям не факел вражды и раздора, но свет гения и свободы. Наши искусства и наша конституция, а не наши завоевательные стремления должны перейти Рейн, Альпы и Пиринеи». [2]).

Высказав эти положения с пафосом, так свойственным эпохе Великой Революции, оратор переходит к французской армии:

«Долгое время солдаты были лишь слепым орудием деспотизма; но с самаго начала Революции они отказались проливать кровь своих сограждан и своих братьев. Они не дожидались новой организации

[1]) Arch. Parlem. XIX. Заседание 14 октября 1790 г. стр. 628.

[2]) Aulard. La Société des Jacobins I. стр. 242. Paris, 1889.

армии, чтобы принести гражданскую присягу, чтобы проникнуться духом декретов Национального Собрания, чтобы соединиться друг с другом и с гражданами-солдатами (т.-е. национальными гвардейцами) федеративным договором [1]).

«Армия должна быть создана на новых принципах. Солдаты сделаются настоящими французскими воинами, которые соединяют воинскую честь со священной любовью к отечеству; они не будут рассматриваться больше, как презренные наемники, но как уважаемые исполнители административной власти [2]). Подчинение солдат офицерам не исключает равенства их прав» [3]).

Затем Карра подробно останавливается на желательном, по его мнению, способе замещения офицерских должностей. Он устанавливает два принципа: 1) выборность офицерских должностей и 2) участие в этих выборах—солдат.

Рассмотрим предлагаемый им порядок.

1. Высшие военные должности (генеральские) должны замещаться по назначению короля.

2. a) Все полковые командиры должны быть избраны комиссиями из 30-ти человек, выбранными в свою очередь солдатами (choisis eux mêmes par les soldats) из общего числа капитанов, поручиков, подпоручиков, сержантов и капралов; b) капитаны и лейтенанты будут избираться комиссией из 10-ти человек, в свою очередь выбранной солдатами; c) подпоручики, сержанты и капралы будут избираться солдатами [4]).

3. Каждый французский солдат, достигший законного для этого возраста и принесший гражданскую присягу, получит звание активного гражданина и может занимать не только все военные должности, но и быть избранным на гражданские должности. В этом последнем случае, он сможет тотчас выйти в отставку, но с условием заменить себя другим человеком в полку [5]).

4. Каждый военный, выслуживший непорочно свой срок, приобретает право быть выборщиком и выбранным в департаментские собрания, хотя бы он не имел никакой собственности [6]).

5. В случае важных проступков против военной дисциплины солдаты будут судимы своими „пэрами-солдатами“ в числе 12 человек (т.-е. солдатской коллегией) под председательством капитана или поручика.

Таким образом, оратор устанавливает желательность широкого участия солдат в деле замещения офицерских должностей, полной возможности для солдат достижения всех военных рангов и приобре-

[1]) Ibid. стр. 243.
[2]) Ibid. стр. 243.
[3]) Ibid. стр. 244.
[4]) Ibid. стр. 245—246.
[5]) Ibid. стр. 246.
[6]) Ibid. стр. 246.

тение целой категорией лиц прав активных граждан, т.-е. полных гражданских прав вне принципа цензового, имущественного.

Итак, накануне восстания в Нанси, этого кульминационного момента развала королевской армии, общественное мнение с одной стороны и неорганизованные, стихийные солдатские мятежи с другой стороны— толкали Национальное Собрание на путь реформы армии. Главное направление этой реформы должно было итти по пути демократизации офицерского состава, состоявшего до тех пор почти исключительно из чисто-дворянских элементов. И военные мятежи, и часть общественного мнения выдвинули еще один вопрос—широкое участие солдатских элементов в организации военной жизни. Учредительное Собрание к августу-сентябрю 1790 года почти ничего (за исключением декрета 6-го августа) не сделало для армии, находившейся в состоянии полного распада и анархии. Политика Учредительного Собрания отличалась нерешительностью и медлительностью, не отвечавшими властным запросам, которые ставил перед законодателями весь ход революционного движения

Учредительное Собрание должно было пережить бунт в Нанси, чтобы выйти на путь решительных мер по реформе армии. Восстание в Нанси интересно по сложности той ситуации, в которой оно разыгралось, и ему мы посвятим отдельный этюд.

М. Буковецкая.

Французская эмиграция, вопрос об интервенции, империя, июльская революция в свидетельствах русского вельможи.

(Из неизданных бумаг графа Виктора Кочубея).

I.

Раскаты великой Французской Революции разбудили очень слабое эхо в России. Просвещенная поклонница просветительной литературы, Екатерина II, поспешила принять самые энергичные меры, чтобы опасная «зараза» не проникла в пределы ее империи. Всякие сношения между Францией и Россией были прерваны. Русским путешественникам, застигнутым революцией во Франции, было приказано немедленно вернуться на родину, да и сами русские вельможи испуганно спешили прочь из этого гнезда революционной заразы.

В числе немногих русских, живших тогда в Европе, с целью получения серьезного, научного образования, был племянник канцлера А. А. Безбородка—Виктор Павлович Кочубей. Не имевший своих детей, Безбородко взял к себе на воспитание своего племянника Кочубея, с тем, чтобы приготовить в нем себе помощника и преемника. Он дал ему хорошее образование в России, а потом начертал целый план продолжения учения за границей. В 17 лет Кочубей был отправлен в Швецию, где слушал лекции в Упсальском университете, потом он должен был прожить два года в Лондоне, оттуда проехать в Испанию, потом во Францию и наконец в Швейцарию. Но только первая часть этого плана была осуществлена согласно желаниям Безбородка.

1789 и 1790 г.г. Кочубей провел в Лондоне в серьезных занятиях, оттуда он решил непосредственно отправиться в Париж. Безбородко отнесся крайне враждебно к такой перемене плана. Он написал Кочубею решительное письмо, в котором требовал изменения его планов относительно поездки в Париж: «Ежели Вы решитеся вояжировать в Италию, внутрь Германии, я письма пришлю», — пишет канцлер своему племяннику:—«а во Францию Вы ехать не можете и не должны, ибо инако Вы подвергаете себя опасности не только не употреблену быть никогда в дело, но иногда и секвестру имения Я столько добрых имею о Вас мыслей, что и думать не смею чтоб Вы хотя малейше заразилися духом разврата Французского, и

потому уверен, что Вы, зная положение дел теперь, план путешествия Вашего перемените» [1]).

Письмо это не оказало никакого влияния на молодого Кочубея,— прямо из Лондона он отправился в начале 1791 г. в Париж, пробыл там недолго, оттуда проехал в Швейцарию, где продолжал научные занятия до осени 1791 г. и вновь вернулся в Париж, где пробыл всю зиму 1791 –1792 года.

До настоящего времени личность Виктора Павловича Кочубея не останавливала на себе особенно пристального внимания. Отчасти вероятно причиной этого была малая доступность Диканьского архива, где сосредоточена большая часть материалов, имеющих к нему отношение.

После революции архив этот был перевезен в Полтаву и открыт для разработки. Имеющиеся там документы дают нам возможность бросить свет на психологию этого типичного русского вельможи конца 18-го и начала 19-го века. Любопытно, как этот воспитанник Безбородка богатый русский дворянин и помещик, предназначенный чуть не с колыбели к дипломатической карьере, реагировал на крупные события европейской жизни, с которыми на первых же шагах столкнула его судьба. Казалось бы, не могло представлять вопроса, как отнесется к французской революции этот будущий преемник Безбородка. А между тем, мы встречаем у него мнения, которые по своему тону были редким явлением среди современных наблюдателей революции. К сожалению, в Диканьском архиве сохранилось не много заметок Кочубея, относящихся ко времени его пребывания в Париже. Среди них наибольший интерес представляет (фр.) неоконченное письмо его к неизвестному адресату, писанное в 1791 году. По всем вероятиям, адресатом этим был гр. С. Р. Воронцов, русский посол при Великобританском дворе, с которым Кочубей сблизился во время своего пребывания в Лондоне. Адресовать такое письмо кому-нибудь из своих корреспондентов в Петербурге Кочубей, конечно, не мог, в виду существовавшей тогда перлюстрации писем.

«Вы желаете, господин граф, чтобы я сообщил вам замечания, какие я мог сделать во время моего пребывания в Париже о современном положении Франции и об ее отношениях с иностранными державами...

«Прежде чем приступить к этому, я хочу сделать только одно замечание,—в том, что я вам скажу, я убежден глубочайшим образом. У меня нет никаких оснований, как у большинства иностранцев, облеченных какими-нибудь общественными функциями, или же просто путешественников, желать, чтобы дела во Франции шли тем или другим способом; поэтому во все мои наблюдения я вкладывал наибольшую беспристрастность и, если я ошибаюсь, то во всяком случае не намеренно.

---

[1]) Сборн. Русск. Ист. Общ., т. 26, „А. А. Безбородко"—Григоровича.

«Необходимо прежде всего установить то положение, признанное всеми разумными людьми, что французская конституция [1]), хотя и основанная, быть может, на неоспоримых истинах, имеет в организации своих основных частей и в их действии недостатки, которые, в соединении с некоторым другими местными особенностями, будут всегда мешать деятельности, необходимой при хорошем управлении, и которые явятся, благодаря этому, постоянными помехами к восстановлению порядка.

«Исходя из этого, естественно думать, что необходимо должны произойти большие перемены, чтобы уничтожить то, что есть нелепого в подобном управлении. Но каким образом произойдут эти перемены? В этом, именно, и заключается великий вопрос, который разделяет мнения почти всех и относительно которого трудно будет прийти к соглашению, до тех пор, пока будут в силе и будут играть решающую роль репрессии, которые в настоящее время применяются всеми партиями во Франции.

«Если послушать какого-нибудь эмигранта или кого бы-то ни было, принадлежащего к этой партии, то можно подумать, что они не признают той великой истины, какую я установил с самого начала. Они, повидимому, еще колеблются, признать ли конституцию хорошей или неприменимой. По их мнению, совершенно необходимо, чтобы иностранные державы пустили сразу в ход все свои силы, чтобы совершенно уничтожить все, что введено нового. Но задумываются ли они над тем, во что бы обошлось державам это предприятие; во что бы это обошлось им самим, и, наконец, есть ли возможность осуществить его. Не следовало ли бы наоборот прийти к убеждению, что современное положение вещей ни в каком случае не может стать постоянным, что, как только умы несколько успокоятся, будет гораздо легче достигнуть блага, чем сейчас можно предполагать, и что с течением времени покой, всегда желанный для всех, станет во Франции такой же целью общих желаний, как теперь свобода.

«Будучи в течение $4^1/_2$ месяцев свидетелем того, как идут дела в Париже, а следовательно и в большей части провинциальных городов, которые подражают столице, и имея перед собой пример Англии, я думаю, что все клонится к королевскому деспотизму. Человек, живущий со своего имущества, мануфактурист, рабочий должен в конце концов устать, живя постоянно, так сказать, на военном положении; так как быть постоянно настороже, стоять на карауле, ходить дозором,—это несомненно указывает на то, что страна или армия опасаются неожиданного нападения. Далее, фракции и партии, в особенности та, которая сейчас господствует, и, кроме всего прочего, легкомысленный характер самой нации заставляет меня думать, что также легко может произойти поворот обратно к той партии, которую сменила властвующая теперь партия.

[1]) Речь идет о конституции 1791 года.

«Англичанин, который никогда ничего не делает без размышления, сказал: лучше дадим Карлу II вдвое больше власти, чем его предшественнику, чем позволить управлять нами партии, составленной, однако, совершенно иначе, чем та, которая господствует сейчас во Франции. Я думаю, несмотря на очень неблагоприятное мнение о рассудительности француза, который, по моему, не должен бы был выходить за пределы пируэта и rigodon,—я думаю, повторяю, что француз скажет то же: лучше иметь одного абсолютного монарха, чем жить под деспотической властью нескольких тысяч якобинцев, которые все, одни бессознательно, другие из личных видов, готовят нашу гибель. Но если это время и придет, я очень далек однако от мысли, что старый порядок может когда-нибудь восстановиться. Многие нововведения слишком тесно связаны с существованием, быть может, трех четвертей нации, чтобы была возможность покуситься на них. Восстановление духовенства в его владениях, восстановление феодальных прав и многих других, без сомнения, невозможны. Но множество привилегий и прав, которыми пользуется дворянство, могут быть им возвращены, не причиняя этим никому вреда.

«Таким образом король ничего не потеряет от новой революции такого рода; народ, повидимому, тоже ничего не потеряет, но дворянство и духовенство уже не будут иметь того, что имели в прежние времена. Раздражение, какое они чувствуют против тех, кто лишил их их привилегий, и их отвращение ко всякому другому порядку кроме прежнего, кажутся мне настолько же естественными, насколько нелепа, безразсудна и неосуществима их мечта восстановить все в прежнем виде.

«Если принять эти рассуждения, ясно, что задача, какую эмигранты желали бы возложить на иностранные державы, сводится к защите привилегий дворянства и духовенства.

«Между тем какое кто право имеет вмешиваться во внутренние революции какой бы то ни было страны? И если бы даже такое право существовало, не следовало ли бы ранее внимательно рассмотреть, не превзойдет ли трудность исполнения этого во много раз ту пользу, какую можно из этого извлечь. Говорят, что пример Франции чрезвычайно опасен для всех других держав. Допустим; но разве нет тысячи способов предупредить его действие, в особенности когда предосторожности должны быть рассчитаны только лишь на короткий срок, т. к. выше доказано, что новый порядок должен неизбежно заменить теперешний...

«Оставим на минуту все, о чем шла речь, и допустим, что наиболее значительные европейские державы решатся начать войну. Император с королем прусским и несколькими имперскими князьями ввели бы с одной стороны во Францию крупную армию. Россия вместе со Швецией произвела бы десант в месте, которое будет признано наиболее удобным для общих планов.

«Сардинский король с королем Обеих Сицилий нападет с одной стороны, между тем как испанский король сделает диверсию с другой.

Все склонится перед этим армиями, за исключением общественного мнения, которое было бы подавлено на некоторое время, но не замедлило бы проявить себя при первой возможности. В состоянии ли будет союзный флот вечно охранять Ла-Манш? В состоянии ли будут Испания и оба итальянские короля долго держать войска в чужой стране? И даже император, у которого несомненно больше возможностей чем у других, благодаря смежности его владений и лучшему состоянию финансов, сможет ли и он содержать значительную армию, вне своих владений? Конечно нет; а как только войска будут выведены из Франции, все будет свова перевернуто вверх дном. Из такого рода предприятия не только не извлекут никакой выгоды, но оно породит и другого рода неудобства: полное объединение всех партий, у которых не будет с этого момента никакой иной цели, кроме защиты имущества и жителей.

«Я далек от мысли, чтобы война могла вызвать во Франции такого рода переворот, какого могут пожелать державы; повидимому одна мысль о войне и приготовления к защите отодвигают всякую благоприятную перемену как для короля, так и для дворянства Франции. В настоящий момент все головы заняты этим единственным предметом—войной. Если заговоришь об анархии, которая царствует в стране, отвечают, что не было времени установить все согласно конституции, потому что угрожает война. Если говоришь, что суд, налоги все в беспорядке, — опять тот же самый ответ, и, быть может, ответ этот не лишен основания. Но если бы внимание было направлено единственно на управление, что возможно только во времена полной безопасности со стороны иностранцев, можно думать, что в та́ком случае легче признали бы, что́ есть безусловно плохого в управлении, и попытались бы исправить это.

«Помимо этих осязательных истин есть еще некоторые другие, не настолько существенные, но тем не менее достаточно значительные, чтобы откинуть всякую мысль о войне; это банкротство и безопасность королевской семьи. Первое неизбежно при войне, и хотя я уверен, что именно оно спасло бы Францию и сделало бы ее самым сильным из всех государств, однако подобная мысль должна внушать отвращение, если принять во внимание последствия, котерые были бы так ужасны для стольких людей, пострадавших без всякой вины, кроме слепого доверия к законному правительству. Что касается до следствий для безопасности королевской семьи,—она будет совершенно не обеспечена, как только»... [1]). На этом рукопись обрывается.

Итак, в то время, как французские эмигранты бряцали оружием а европейские дворы обсуждали план первой коалиции, когда для тех и для других казалась возможной и легко осуществимой победа над революционной Францией и возврат старого порядка, молодой рус-

---

[1]) Письмо В. П. Кочубея к неизвестному адресату.—Диканьский архив кн. Кочубеев, № по описи 2063.

ский вельможа, не сочувствовавший, притом, «крайностям якобинизма», с полной ясностью понимал всю бессмысленность и нелепость эмигрантских мечтаний и рисовал яркую картину последствий предполагаемого вмешательства держав во внутренние дела Франции. Он не сомневался, что первым следствием этого будет объединение всей Франции вокруг революционного правительства. Не сомневался он также, что именно это вмешательство подвергнет наибольшей опасности королевскую семью, интересы которой так озабочивали европейские дворы.

Кочубей прожил в Париже больше полугода, постоянно посещая Национальное Собрание и внимательно следя за его работой. Его основная точка зрения на события во Франции не менялась. В особенности глубокое презрение вызывали в нем интриги и махинации эмигрантов. Он считал их деятельность безусловно вредной для Франции, хотя и не верил в возможность успеха их предприятий. Суровые меры, предпринимаемые против них Законодательным Собранием, он считал излишними. «Следовало бы, мне кажется»,—писал он своему учителю и другу Пиктэ,—«показать глубочайшее презрение ко всем махинациям этих людей, которые лишены всяких средств и которые немного раньше или немного позже будут вынуждены необходимостью и размышлением вернуться на свою родину» [1]). Из своего пребывания в Париже в разгар революции Кочубей вынес и сохранил на всю жизнь живой интерес к судьбам Франции и невольную симпатию к ней. Во всей своей дальнейшей государственной деятельности он всегда был противником прусской ориентации и на этом не раз сталкивался с Александром I.

II.

Вся европейская ситуация изменилась к тому времени, как Кочубей вторично попал в Париж. Это было в 1808 году. Его мечты о совместной работе с Александром в том направлении, которое рисовалось ему в юности,—разлетелись в прах. От той вечной дружбы, в которой в пламенных, почти влюбленных выражениях клялся ему молодой Александр, тоже ничего не осталось, и Кочубей, разочарованный в нем и в своей деятельности, уехал за границу. Он опять был там в качестве совершенно частного человека и избегал встреч и разговоров с официальными представителями тех стран, которые он посещал. Только в Париже он имел продолжительный разговор с знаменитым Фушэ.

Это было вскоре после Эрфуртского свидания в тот период, когда уже под успокоившейся, якобы, поверхностью чувствовалось назревание новых политических комбинаций и столкновений. Фушэ, конечно, не мог отказаться от попытки выведать кое-что у такого видного государственного деятеля России и близкого друга Александра,

[1]) Письмо В. П. Кочубея к Пиктэ. Диканьск. архив, № 2076.

в окончательное отдаление которого от дел он не мог поверить. В то же время он тщательно скрывал свои собственные замыслы и старался в наиболее убедительной форме внушать Кочубею официальную точку зрения Наполеона.

В Диканьском архиве сохранился небольшой пакет, запечатанный печатью Кочубея, на котором рукой Кочубея написано: «Resumé d'une conversation avec M-r Fouché à Paris le 9/21 Decembre 1808». В пакете этом находятся несколько листов бумаги, на которых Кочубей изложил тогда же свой разговор с Фуше:

«Поѣхавъ однаго утра»,—пишет он,—«и именно въ четвергъ 9/21 Декаб. 1808 дабы воспользоваться даннымъ мнѣ отъ него позволеніемъ къ Госпо Ф., благочинія государст—го начальнику онъ имѣлъ со мною въ кратцѣ слѣдующій разговоръ":

Он: [1]) О, г. граф! Вы не останетесь здесь долго с нами, вас скоро призовут назад.—Таких людей, как вы, не оставляют без назначения, вы скоро снова вернетесь к деятельности.

Я:—О нет, M-r! Я чрезвычайно польщен вашим лестным мнением обо мне и я был бы счастлив иметь возможность служить моей стране, если бы мое здоровье не испортилось в последнее время и если бы оно не пострадало так во время службы, которая требовала работы, превосходящей мои силы.

Он:—Вы говорите об усталости, но с таким добрым государем, как имп. А., работа должна быть очень легкой и приятной.

Я:—Работа, конечно, очень приятна, но у каждого человека есть известный предел. Моя работа перешла за этот предел, здоровье мое не дало мне возможности заниматься ею далее.

Он:—Ба-ба... Вы еще так молоды. Надо работать. Император Александр прекрасный государь. Он добр, мягок, любезен, таково общее мнение. Быть может, следовало бы иметь немного больше энергии в характере. Людьми и государствами теперь нельзя так управлять, как раньше. Он честен; это во всем значении слова рыцарь без страха и упрека. Быть может, прежде ваших войн с нами, нужно было бы взять Пруссию, которая ничего не стоила, и те части Австрии, которые подходили для России и потом сказать нашему императору: Вот я взял то, что мне подходило, и ничего не имею против того, что бы вы взяли то, что вам подходит, будем друзьями. Наш имп., у которого не было интересов, противоположных России, устроился бы соответственно этому, не было бы никаких войн, и вы приобрели бы прекрасные области; но имп. А., руководимый своим благородством (loyauté), поступил иначе. В сущности, может быть, так и лучше. Быть может, есть больше людей, которые его любят. Его сердце, быть может, удовлетворено тем, что он любим, а если так, то все прекрасно. Теперь уже поздно делать эти приобретения. Обстоятельства привели

---

[1]) Дальше изложение разговора ведется по-французски и приводится здесь в переводе.

к иным результатам—и с той и с другой стороны приняты обязательства, но вы сделали прекрасное приобретение—Молдавия, Валахия и Шведская Финляндия.—Это прекрасная страна, Молдавия и Валахия, а в Финляндии есть прекрасные гавани. Это ведь уже дело законченное?

Я:—Без сомнения, нельзя приблизиться к имп. А., не восхищаясь редкими среди государей качествами, какими он отличается. Без сомнения, он мог бы увеличить свою территорию за счет Пруссии, не подвергая себя никаким основательным упрекам, потому что он увеличил бы ее за счет эгоистической державы, которая причинила величайшие несчастия Европе, но он предпочел действовать согласно своим принципам и своей совести. Человеку с характером имп. трудно решиться действовать против совести. Он, разумеется, пользуется счастьем быть любимым своими подданными. Во время войны они дали ему очень важные доказательства своей преданности. И люди, и деньги предлагались нацией с восторгом, с увлечением. И теперь все готовы к величайшим жертвам для его славы.—Приобретение турецкой территории до Дуная, без сомнения, очень выгодно для России. Это естественная граница. Это область, содержащая много богатств, необходимых для наших южных провинций. Что касается Финляндии, это страна очень бедная, приобретение которой очень полезно, благодаря ее близости к столице. Она была до сих пор, так сказать, лишена границы. Впрочем, что все это значит в сравнении с вашими приобретениями!

Он:—Финляндия, действительно, небогатая страна, но много значит преимущество для столицы. Молдавия и Валахия богатые провинции; в них много жителей. Россия великолепная империя—чорт возьми, какая ширь, какая необъятность!

Я:—Да, Россия прекрасная империя, но Франция—какая сила, какое сосредоточенное могущество, какие почвенные богатства! Все ее провинции плодородны, густо населены, хорошо орошаемы.

Он:—О, да, Франция прекрасная империя. Она лучше России—но она слишком велика, слишком обширна. Только гений императора может с ней справиться. Без этого гения она не могла бы существовать, и благодаря этому придется принять иные меры.

Я:—Это, действительно, изумительно, надо сознаться, когда видишь этого человека посреди битв управляющим этой колоссальной империей и каждую минуту думающим об ее процветании. Это просто изумительно, сколько он издает приказов, распоряжений для ее управления в то время как можно было бы думать, что он свыше человеческих сил поглощен военными операциями. Я чрезвычайно стремлюсь увидеть этого необыкновенного гения, я был бы в отчаянии, если б мне пришлось покинуть Париж, не повидав его. Думаете ли вы, М-г, что, как говорят, его величество скоро возвратится?

Он:—Этого нельзя знать наверно, это зависит от тех мер, которые должны быть ранее приняты. Император, вероятно, не оставит Испанию раньше, чем не установит там порядка. Он один может покончить с этой историей. С его генералами это не пойдет так как с ним... Мы теперь

в Мадриде, но есть еще скопища мятежников и есть на берегах англичане. Это не будет трудно. Они будут вести себя, как всегда. Они предоставят испанцев их участи... Надо еще многое сделать. Император дал испанцам свободу устроить себе конституцию, он не хотел их стеснять. А эта юнта установила в Байоне конституцию, согласно которой она сохранила инквизицию, монахов и т. д.—Это не может так продолжаться. Нужно либеральное правление... Впрочем, эта война не будет долго длиться, она скоро кончится и будет нашей последней войной.

Я:—Как, последней, а Англия, разве вы не думаете, что с ней будут продолжать воевать?

Он:—Англия! Если бы у нее не было мании господствовать на морях и не позволять никакой другой нации заниматься торговлей, то с ней прекрасно можно было бы прийти к соглашению. Император хочет мира, но она смеется над всем светом, когда она требует от него отказаться от Испании или допустить испанских депутатов на конгресс. Это все равно, что сказать: я хочу продолжать войну... Пусть они сохраняют себе все, чем они завладели в Америке, в Индии, а мы сохраним то, что мы имеем. Но надо предоставить нам свободно продавать наши товары... Посмотрим, как все это кончится. Без всех этих махинаций, без этой войны, в которой англичане ничего не могут нам сделать, у нас давно был бы мир. Война с Испанией была бы последней, которую мы вели.

Я:—Неужели вы так думаете, M-r? Неужели вы думаете, что воин, стяжавший столько славы, завоеватель, которого, быть может, не видел еще свет, человек с таким блестящим гением и характером, как император, может надолго почить на лаврах, и когда Испания будет усмирена, не подумает о новой войне?

Он:—Да, я так думаю. Император приобрел больше славы, чем какой бы то ни было человек в свете. Ему нужен мир, чтобы упрочить свои учреждения. Он не только воин,—он великий государственный человек. Он пожелает закончить свое дело... Я думаю, что война с Испанией,—это последняя война на континенте. Австрия не так безразсудна, чтобы желать воевать с нами, она сделала чрезвычайные вооружения, превышающие ее средства, но это ничего не значит, она не сделает такой глупости, чтобы вступить в борьбу с императором. Он быстро выкинул бы ее из игры. Австрийцы не имеют людей, способных руководить таким делом. У них нет генералов. Эрцгерцог Карл? Это человек незначительный. Они быстро потеряли бы свои лучшие провинции. Император посадил бы короля в Венгрии, он не дал бы им короля, как Испании, он сказал бы: ну, выбирайте кого-нибудь из своей среды,—и эти люди были бы в восторге, что не будут больше принадлежать немецкой державе. Император сделал бы то же самое с Богемией, и с Австрийской империей было бы покончено. Нет, Венский двор не затеет войны с нами.

Я:—Я так же уверен, как и вы, M-r, что Австрия не вызовет Вас. Она, конечно, никогда не думала затевать войну с вами. Ее вооружения—

это следствие страха перед вами и довольно широко распространенного мнения, что вы на нее нападете. Я очень счастлив слышать, что император так мирно настроен. Но в Европе найдется мало людей, которые этому поверят, и это объясняется очень просто. Как можно не ожидать новых войн, когда вот уже 15 или 16 лет мы видим только войны, только битвы, только завоеванные провинции и королевства,— когда мы подумаем о том, с какой легкостью все это совершилось, когда мы, наконец, примем во внимание, что люди с трудом отвыкают от вкусов и привычек, которые они сделали. Все думают, что война,— это стихия императора.

Он:—Но нет, это несправедливо. Неужели вы думаете, что императору легко вести войну? Нужен его гений, чтобы делать это так, как он делает. Нужен его гений, его твердость, чтобы вести французские армии. Это не то, что другие; солдаты, генералы—рассуждают, спорят, все это требует бесконечного искусства и бесконечного труда. Император часто должен чувствовать себя усталым от этого. Франция могущественна, ей нечего больше желать для своей славы. Она хотела бы только, чтобы создания императора упрочились. За это стоит общественное мнение.

Я:—Но, M-r, что такое общественное мнение в такой монархии, как Франция, как Россия и т. д.. Разве оно существует? Разве оно может существовать?

Он:—Простите, пожалуйста, общественное мнение существует, и оно очень сильно во Франции. И это просвещенное общественное мнение. Это не то, что в прежние времена. Пренебрегать обществом нельзя. Оно судит правильно, оно обладает просвещением. Его нельзя ввести в заблуждение с помощью газет или бюллетеней. Ложь в отношении к нему невозможна. Оно умеет отличить истину.

Я:—Я признаю, что общественное мнение существует. Оно существует и во Франции, и в России, так как, поскольку люди думают, они имеют мнение, и если есть сходство во мнении разных индивидуумов, это можно рассматривать, как общественное мнение. Я хотел только сказать, какие же могут существовать способы в абсолютной монархии для проявления общественного мнения, так как, если способов такого проявления не существует, для правительства все равно, как если бы не существовало общественного мнения.

Он:—Да нет, вы ошибаетесь. Во Франции существует общественное мнение. Оно проявляется различными способами,—в театральных представлениях, в статьях, в газетах, в разговорах. Всеми этими способами общественное мнение проявляется, и если оно высказывается определенно, уверяю вас, что правительство с трудом решится действовать против него. Оно вынуждено следовать общественному мнению, если оно желает спать на матрацах, а не на штыках.

Я:—Если вы говорите со мной с таким доверием, разрешите мне предложить вам такой вопрос. Если общественное мнение имеет такое влияние на действия правительства, каким образом возможно, что

оно предприняло войну с Испанией, между тем как известно, что общественное мнение всей страны было против этой войны?

Он:—Нет, общественное мнение было не против войны, но против способа ее ведения; если бы император объявил войну Испании, как он мог это сделать, чтобы наказать ее за дерзкий манифест, который опубликовал князь мира после битвы при Иене, весь мир аплодировал бы этому. Но тот способ, каким это было сделано, не вызвал одобрения. Теперь все чувствуют, хотя и не одобряют способа, что эта война должна быть закончена согласно видам императора, и в этом отношении общественное мнение единодушно.

Вот подождите, я сейчас приведу вам пример общественного мнения: генерал Моро был отдан под суд. Конечно, он был виновен. Это человек слабохарактерный, который подчинялся различным влияниям. Я бы очень быстро покончил с этим делом, я бы вызвал генерала Моро, я бы сказал ему, что он делает глупость, я бы прочел ему хорошенькую нотацию, и все было бы кончено. Но он был предан суду. Думаете ли вы, что судьи не приговорили бы его к смертной казни, если бы они не боялись общественного мнения? Оно высказалось так определенно, что они должны были постановить более мягкий приговор. Можно было бы привести много других подобных примеров. Нет, общественное мнение много значит во Франции, то-есть общественное мнение Парижа. Париж — огромный город, это целая империя; управляя Парижем, можно управлять общественным мнением Франции, управлять всей империей. Если бы Петербург был так же велик, как Париж—император Александр мог бы управлять Россией, управляя своей столицей, но у вас дело обстоит иначе. Петербург маленький город. — Нет, не заблуждайтесь. Во Франции общественное мнение—это все. Население очень просвещенно. Каждую минуту приходится наблюдать, изучать общественное мнение.

Я:—Признаюсь вам, M-r, что в отношении этого вопроса я был в полнейшем заблуждении, я очень доволен, что получил правильное представление о таком важном предмете».

Этим кончается изложение разговора.

Трудно сказать, который из двух собеседников был более тонким дипломатом в этом словесном турнире. Конечно, ни одному из них не удалось выведать у другого то, что ему хотелось знать, и ни одному не удалось внушить собеседнику веры в свои утверждения. Единственно, в чем Кочубей был, вероятно, вполне искреннен, это в высказанном им сожалении, что император Александр не поступил с Пруссией так, как советовал Наполеон. Все сближение с Пруссией в глазах Кочубея было ошибкой Александра.

Тем не менее он, конечно, не верил в миролюбие Наполеона, и разговор с Фушэ не изменил его мнения о вероятности новых войн.

Любопытно ядовитое замечание Кочубея по поводу общественного мнения Франции. Он взял на себя смелость утверждать, что оно было так же мало влиятельно во Франции при Наполеоне, как до

тех пор во все времена в России. Впрочем, всего через двенадцать лет, когда он был вторично министром внутренних дел, ему пришлось убедиться, что при некоторых обстоятельствах даже Россия того времени могла иметь общественное мнение, и правительству волей-неволей приходилось с ним считаться. Это было во время Семеновской истории.

Фушэ оказался неправ в своих предсказаниях о скором возврате Кочубея к государственным делам. Александр расстался с ним холодно и почти враждебно и не торопился поручать ему каких-нибудь ответственных постов. Хотя он и был в 1810 году назначен членом Государственного Совета, но никакой активной роли в делах управления он в это время не играл. Только война 1812 года заставила его вновь ближе подойти к государственным делам. Когда после победы союзников был образован Совет управления Рейнским союзом, председателем его был назначен Кочубей.

В Диканьском архиве хранятся письма барона Штейна, из которых видно, каким уважением пользовался Кочубей и за границей.

«Совет, президентом которого вы будете, господин граф»,—писал ему Штейн от 14 марта 1813 года,—«будет управлять и руководить всеми делами, всеми отношениями государей, всеми занятыми областями и т. д. Власть его будет неограничена. Это точное выражение заключенного с Пруссией соглашения. Не отказывайтесь от этого назначения. Вы окажетесь во главе всех дел Германии, как Оксенштирна, вы будете в состоянии сделать бесконечно много добра. Я пришлю вам прокламацию, которая будет издана, когда будет совершен переход через Эльбу, вы будете довольны ее принципами» [1]).

28 июня того же года Штейн опять писал Кочубею: «Я очень огорчен, дорогой граф. Ваше присутствие имело бы самое благодетельное влияние. Ваш глубокий ум, развитый благодаря образованию и опытности в широкой деятельности, ваш спокойный и доброжелательный характер направлял бы, приводил к соглашению, ободрял, многое могло бы и должно было бы пойти иначе, чем он пошло...» [2]).

Но по окончании Отечественной войны, Кочубей снова и решительно устранился от активного участия в делах управления. Он провел несколько лет в Петербурге, но в 1817 году семейные обстоятельства принудили его снова поехать за границу, и в конце 1817 года он опять, через десятилетний промежуток, очутился в Париже. Обстоятельства там за это время снова резко изменились, реакция была в полном разгаре, и бывший глава эмигрантов, к которым с таким презрением относился Кочубей в разгаре революции, граф Артуа, был теперь наследником престола, оставаясь в то же время главой ультра-

---

[1]) Письмо Штейна к гр. В. П. Кочубею. Калиш 14/26 марта 1813 г.—Диканьский архив, № по описи 1277.

[2]) То же от 28 июня 1813 года. Рейхенбах.—Дик. арх., № 1278.

реакционной оппозиции бывших эмигрантов. За четверть века, протекшие с тех пор, как Кочубей впервые был в Париже, он не изменил своего отношения к французскому дворянству. Несмотря на гибель республиканского правительства, на Наполеоновскую эпоху, на попытку союзников восстановить Бурбонов со всем, что было с ними связано, он считал притязания бывшей кучки привилегированных безумными и гибельными для Франции, и он высказал это совершенно откровенно в письме, черновик которого сохранился в Диканьском архиве, к сожалению, без имени адресата. Впрочем, имя это не вызывает сомнения. Письмо несомненно было адресовано к тогдашнему министру иностранных дел графу Нессельродэ.

«Я медлил вам писать, господин граф»,—пишет Кочубей,—«пока не приехал в Париж. Эта Италия, такая прекрасная, слишком удалена от нашего севера, чтобы вы могли особенно интересоваться ею; и курьеры в Россию, которые отовсюду ездят так часто, здесь бывают реже, чем землетрясения или извержения Везувия. Здесь мы уже около семи недель. Вы знали Париж в различные эпохи и вы слишком хорошо осведомлены о том, что он представляет теперь, чтобы картина, какую я могу вам предложить, могла бы вас заинтересовать. Он мне не понравился во многих отношениях. Все тут, мужчины, женщины, дети занимаются, разговаривают, судят о политике страны. Это тема всех разговоров—оживленных, страстных, горьких, нелепых. Здешние ультра-роялисты, хотя они и принадлежат к тому классу, который должен был во время революции приобрести больший опыт, оказываются самыми бешеными безумцами, каких я когда-либо встречал. Я до сих пор очень внимательно следил за заседаниями палаты депутатов, иначе говоря, я хожу туда почти каждый день. Там есть несколько хороших ораторов; но остальное еще чрезвычайно молодо в делах представительного правления. Одно, что меня чрезвычайно удивляет в здешней форме правления, это то, что министерство никогда не может быть уверено в большинстве, и то большинство, какое оно имело во время некоторых прений, с тех пор, как я здесь, было так незначительно — в одиннадцать голосов, например, — что в Англии после этого министерство не сочло бы благоразумным оставаться еще хотя бы на один день. Мне кажется, что здешнее министерство должно бы иметь немного побольше твердости, в особенности же в ней нуждается король. Французы, которые, в общем, довольны им, говорят, что следовало бы быть не только королем французов, но так же к о р о л е м п а в и л ь о н а М а р с а н, в котором, как вы знаете, живет граф Артуа. Этот злополучный принц ведет себя, как дурак, он устроил что-то вроде притона оппозиции. По всему, что я узнаю, Поццо служит вам, как нельзя лучше. Тот ведет себя, как одержимый. Поццо держит открытый дом, но вы не слишком щедры к нему: как вы хотите, чтобы со ста двадцатью тысячами франков можно было иметь в Париже порядочное представительство. А, между тем, оно необходимо. Вы сами знаете, что собирая сведе-

ния, а в особенности желая оказывать влияние на дела, как в данном случае, нужно давать есть, нужны индейки с трюфелями, страсбургские паштеты и т. п. Французы любят все это [1] .... так же, как князь Петр В. Я нахожу, что это несправедливо. Вы же даете пятнадцать тысяч фунтов стерлингов невинному Ливену, пост которого приблизительно так же важен [2])».

Граф Кочубей еще со времени своего первого пребывания в Лондоне был всегда решительным сторонником английской конституции. Ему был глубоко симпатичен самый дух, проникавший государственный механизм Англии. В разные периоды своей жизни он мечтал о возможности без революционного потрясения основ русского строя вдохнуть в него тот дух законности, какой царил надо всем в Англии. Еще юношей он пытался произнести речь на эту тему в Екатерининском сенате; при вступлении Александра на престол, он мечтал, что его царственный друг осуществит на деле английские принципы управления, и даже во время правления Николая он представил записку о мерах предупреждения революции в России, проникнутую теми же самыми взглядами.

То же мерило законности он прилагал и к деятельности революционного правительства, одобряя те его меры, какие с его точки зрения осуществляли эту законность, и возмущаясь против тех, в которых он видел произвол.

С этой же английской точки зрения он оценивал и реставрационное правительство и резко осуждал и невыдержанные основы конституции, и бессмысленную и вредную роль реакционной оппозиции.

Такое отношение к правлению Бурбонов он неизменно сохранял во все продолжение реставрации вплоть до самой июльской революции.

III.

При Александре Кочубей не занимал больше постов, связанных с международными делами. С 1819 по 1823 год он вновь был министром внутренних дел, потом вышел в отставку и уже не возвращался к службе до смерти Александра. Он был за границей в конце 1825 года, но Николай немедленно по вступлении на престол вызвал его в Петербург. Он желал на первых порах окружить себя деятелями прошлого царствования, и Кочубей по возвращении из-за границы был назначен председателем Государственного Совета и комитета министров. Николай почему-то относился к нему с большим почтением и советовался вначале по всем важнейшим государственным делам. В Диканьском архиве сохранилось более ста записок Николая к Кочубею. Кроме того, сам Кочубей часто записывал свои разговоры с Николаем по разным, более или менее важным, вопросам. В числе

[1]) Дальше одно неразобранное слово.

[2]) Черновик письма, написанный рукою В. П. Кочубея, без подписи и имени адресата. Диканьск. арх. № по описи 2150.

этих записей сохранилось подробное изложение разговора Кочубея с Николаем вскоре по получении известий об июльской революции. Разговор этот очень характерен для обоих собеседников. Происходил этот разговор в Царском Селе 14 августа 1830 года и записан Кочубеем 16 августа того же года:

«Его величество, вернувшись из города вчера вечером»,—пишет он,—«передал мне утром, чтобы я зашел к нему в половине первого.

«Расспросив меня очень внимательно о моем здоровье и предложив мне самые подробные вопросы о том, что со мной было, император сказал: есть ли возможность оставаться здоровым, среди всего, что произошло и что происходит. Видели ли вы когда-нибудь подобную глупость! И какие последствия!

«Я ответил, что, действительно, мне кажется, парижские события ухудшили мое состояние; что я не переставал о них думать, что они мешали мне спать; что глупость и претенциозное самодовольство Полиньяка не имеют себе равных, что благодушная беспечность Карла X-го ни чем необъяснима и т. д.

«Мне не в чем себя упрекать,—сказал император, вот уже шесть месяцев, как я исполнил намерение довести до сведения короля мою точку зрения на происходящее, и дать ему понять, что я считал необходимым поддерживать Хартию, до известной степени гарантированную державами.

«Здесь я сказал е. в., что я знаю его точку зрения, что герцог де-Мортемар перед отъездом говорил со мной об этом с некоторого рода энтузиазмом, прибавив, что независимо от донесения, какое он сделал о своем разговоре с е. в., он лично отдаст о нем отчет королю. Император вновь заговорил: „Позвольте мне кончить то, что я хотел сказать, не перебивайте меня. Поведение короля непростительно. Он нарушил свою присягу, свою хартию. Людовик XVIII дал ее. Никто из союзников не стоял, в сущности, за Бурбонов; они явились сами, они предложили форму правления, они завербовали себе сторонников; союзники подумали, что это самое верное средство восстановить порядок во Франции, дать гарантии для сохранения спокойствия в Европе; союзники гарантировали Франции этот порядок вещей. Все это перевернуто вверх дном из-за того, что король вверился целиком Полиньяку. Король становится клятвопреступником в отношении своей присяги. Этого нельзя не признать. Это восстание в Париже происходит в удивительном порядке. Нельзя не признать, что это восстание справедливо, что оно провоцировано; но это революция, и приходится думать о последствиях. Во всем, что происходит сейчас в Париже, видны признаки того, что происходило в начале Французской революции. Это положение вещей представляет большие неудобства, которые нельзя терпеть. Что произойдет: или герцог Орлеанский, это ничтожество, падет, и восстановится снова республика, а Европа снова будет подвержена всем опасностям, которые она перетерпела, или герцог Орлеанский, понимая те опасности, каким он лично подвергается, поже-

лает разыграть Наполеона, пожелает поддержать себя, бросившись в систему войн. Опасности велики, не нужно закрывать на это глаза, лучше их предупредить, чем ждать. Поэтому я готов ко всему".

«Когда император кончил эту речь, я отвечал. Я сказал е. в., что я смотрю на то, что случилось во Франции, как на большое несчастье; что поведение Карла X, что бы ни говорили об его слабости и о влиянии, какое имели его министры на его решения, преступно, что он виновен не только перед Францией, но перед всеми законными государями Европы; что не нужно закрывать глаза на то, что мы живем в век, когда общественное мнение имеет колоссальное значение; что в тот век, когда цивилизация достигла такого прогресса, невозможно остановить рост идей, или во всяком случае невозможно дать им другое направление иначе, чем с помощью величайшей мудрости и большой осторожности правительства; что поведение Карла X принесло в этом отношении большое зло другим странам, — оно даст людям, неустойчивым в своих мнениях, беспокойным умам, людям с дурными намерениями, средства поддержать свои взгляды. Король стал клятвопреступником; это он нарушил закон, этот пример всегда будут выдвигать вперед. Будут говорить, что если бы частный человек так поступил, он был бы обесчещен, в некоторых случаях подвергся бы наказанию. А короли нарушают закон, присягу, когда это им удобно, следовательно, им нельзя верить. В такие времена, — прибавил я, — для государя важнее всего не давать возможности придраться к себе; всегда держать слово, ни в каком случае не нарушать присяги; нужно чтобы его поведение установило доверие между народами и государями; надо, чтобы народы привыкли смотреть на своих государей, которые выше их не только по рождению, но и по чистоте их принципов и чувств. А что произошло с Карлом X? Он не только вызвал революцию, гибельную для своей династии, но он попал в печальное положение, вызвав осуждение всех европейских наций. Начиная с людей самых незначительных, от поденщика до людей, самых выдающихся, все у нас находят Карла X виновным, это установившееся мнение, а при таком положении вещей, как оправдать какие-нибудь мероприятия в пользу Бурбонов? Люди, всего больше стоящие за законность, не знают, что говорить.

— Что говорить, — подхватил император, — нужно говорить правду. Другого пути нет. Нужно быть искренним. Я всегда буду искренним, и я не перестану говорить, что поведение Карла X постыдно, что он клятвопреступник. Я никогда не любил Бурбонов (на мое замечание, что император Александр тоже их не любил, император ответил мне, что он хорошо это знает), и поэтому если когда-нибудь во Франции опять произойдет революция, я никогда не соглашусь, чтобы на трон вступил ни Карл X, ни дофин. Что касается герцога Бордоского, это другое дело; это ребенок, его можно было бы хорошо воспитать и он мог бы хорошо править. Разумеется, сказал император, я никогда не буду держаться мнения, противоположного тому, что государи не

должны нарушать присяги. Ими всегда должна руководить честь, уклоняться от этого позорно. Все это правда; поведение Карла X постыдно; он нелепо. Он жаловался на распущенность прессы, но разве не он, вступая на престол, восстановил свободу печати?

Здесь начался разговор о последствиях этой революции.

Я заметил, что обстоятельства очень трудные; что, по-моему, следовало бы подождать и посмотреть, что будет происходить дальше во Франции; что мы ничего не можем сделать одни; что нужно прийти к соглашению с другими державами, что мы с нашей стороны не должны делать вид, что мы провоцируем Францию; что при спокойном поведении можно избежать многих осложнений; что нужно избегать мелких, враждебных поступков, которые не приносят никаких результатов, а могут содействовать усилению революционной партии во Франции; что нельзя заранее знать, каково будет в настоящее время поведение французского правительства; что весьма вероятно, в данный момент оно не будет провоцировать иностранных правительств; что, напротив, оно будет пытаться их успокоить; что, по всей вероятности, у французского правительства будут большие внутренние затруднения, но это не скажется так быстро; что сам герцог Орлеанский будет, быть может, страдать от этого нового порядка вещей, который, в свою очередь, может претерпеть изменения в якобинском роде; что при таких обстоятельствах, мне кажется самым правильным наблюдать, и предоставить французам драться между собой, вместо того, чтобы укреплять революционные принципы и объединить все партии путем какой-нибудь открытой политической комбинации, которая даст им предлог бить в набат и говорить, что они должны вооружаться для самозащиты, как когда-то говорили в Париже; что народ не был нападающей стороной и т. д.

Император на это сказал:

«— Я вовсе не желаю итти на какую-нибудь провокацию. Мне пишут со всех сторон, что нужно подождать того, что произойдет во Франции. Еще сегодня жена моя получила письмо от своего отца, который говорит ей, что все это его очень огорчает, что он не желает войны, но что, быть может, он будет вовлечен в нее, если французы начнут наступление.

А какова точка зрения Австрии? — сказал я.

Я получил письмо от Нессельроде, он виделся с Меттернихом в Карлсбаде и тот тоже думает, что пока еще нельзя составить себе никакого определенного мнения, и нужно ждать. Я не сомневаюсь, что Австрия и другие державы признают Филиппа VII, и мы будем вынуждены поступить так же.

Князь Меттерних, — добавил я, — попал в большой просак, он постоянно толкал французского короля принимать сильные меры, которые должны были укрепить его власть на более прочном фундаменте.

У меня есть для этого несомненные доказательства, доказательство в письменной форме; Франция в значительной степени обязана

своей революцией Меттерниху и герцогу Веллингтону, который повлиял на назначение Полиньяка в министерство; я только что высказал это лорду Гейтсбери. Он отрицал влияние герцога Веллингтона в этом случае и утверждал, что тот никогда не желал видеть Полиньяка во главе французского министерства. Но что бы он ни говорил, я знаю то, что знаю. Я всегда откровенен в своем поведении и я не скрыл своих мыслей от английского посла.

Продолжая разговор, я заметил, что ничего нельзя сделать без предварительного соглашения между главными державами—Пруссией и Австрией—и что участие Англии кажется мне тоже необходимым; что энтузиазм, какой французская революция вызвала в этой стране, так велик, что едва ли она пожелает войти в какую-нибудь комбинанацию, враждебную Франции; что с другой стороны в Австрии финансы в таком плачевном состоянии и сама она так плохо управляется, что ей трудно предпринять войну без английской поддержки; что Пруссия, финансы которой в цветущем состоянии, разве в самой последней крайности решится взяться за оружие.

«Император, сказав несколько слов о неустойчивом положении Австрии со стороны Италии, о том, что в Нидерландах скорее всего может произойти потрясение, и что рейнские провинции Пруссии могут прежде всего подвергнуться нападению французов, продолжал:

«— Конечно я войду в соглашение с союзниками; *но если французы нападут на Нидерланды, или на прусские провинции или на какие-нибудь другие германские государства, я сейчас-же выступлю в поход с 200-тысячной армией* [1]. Вот,—сказал он, — преимущество военных поселений, я могу через два месяца отправить в поход весь гренадерский корпус.

Я сделал здесь замечание, что это уже будет случай открытого нападения со стороны Франции, случай, предусмотренный союзным договором; я снова подчеркнул ту мысль, что нужно во что бы то ни стало войти в соглашение с союзниками, я очень подчеркивал мудрость такого плана, чтобы не действовать открыто против Франции без ее открытого нападения, что и в этом случае не иначе, как если все державы обратятся к нам, будут умолять нас о помощи, мы достигнем своей цели, нисколько не скомпрометировав себя, между тем, как выступая вперед, мы создаем крупные неудобства; одно из этих неудобств заключается в том, что Англия, которая *не желает* [2]) и которая с неудовольствием смотрела на наше сближение с Францией, постаралась бы сама с ней сблизиться, и таким образом мы утратили бы хорошие отношения с этими обеими соперничествующими державами.

Император заметил мне, что без всякого сомнения Англия признает герцога Орлеанского королем, это она сделает первая, что

---

[1]) Дальше одно неразобранное слово.

[2]) Курсив везде подлинника.

там все с энтузиазмом приветствуют происшедшую в Париже революцию, но что есть один пункт, на котором могут столкнуться обе эти страны — это Алжир; это может спутать карты и привести к войне, это единственное, по мнению е. в., обстоятельство, которое может вывести лондонский двор из пассивного настроения.

Разговор, главные черты которого здесь намечены, несколько раз прерывался отдельными связанными с ним вставками, — так, низость поведения герцога Орлеанского, в отношении которого я не только разделял мнение императора, но и шел дальше его. Действительно, что может быть более низкого и ничтожного, чем поведение этого принца? Е. в. был очень доволен отказом учеников политехнической школы принять знаки ордена Почетного легиона.

Император сказал мне, что, когда он был вчера в Кронштадте, он с большим удовольствием видел, как два французские судна, под трехцветным флагом, не получившие разрешения войти в порт, повернули обратно.

В общем, я был вполне доволен тем, что я слышал от императора. По всему, что я слышал о его мнениях, я этого не ожидал. В существенных пунктах его мнения, по скольку я их усвоил, сводятся к следующему:

1) Прежде всего попытаются прийти к соглашению с союзниками по поводу тех мер, какие надо будет принять в том или в другом случае.

2) Разрыва с Францией не будет. Император признает герцога Орлеанского наместником, признает его даже и королем, если его признают другие державы, но он сделает это последним.

3) Он не предпримет ничего враждебного против Франции, но если эта последняя нападет на одного из своих соседей, е. в. сейчас же объявит войну и выступит в поход с 200-тысячной армией.

4) Порицая поведение Карла X, император несколько раз с негодованием и горячностью высказывался по поводу вероломства этого государя. С такой горячностью он утверждал, что государи должны всегда держать свои клятвы и поддерживать свою честь [1])».

На этом рукопись кончается. Кочубей был доволен тем, что ему удалось отклонить Николая от таких действий, которые могли бы помимо воли втянуть Россию в войну с Францией. Действительно, принятые в первые дни, по получении известий из Парижа, меры, были отменены. Французские суда под трехцветными флагами получили доступ в наши порты и приказание Поццо-Ди-Борго выехать из посольского дома было взято обратно.

Однако еще одно обстоятельство тревожило Кочубея. Генерал Дибич получил приказ немедленно выехать в Берлин для соглашения с прусским королем по поводу необходимых предварительных мер. Выбор этого посредника не предвещало ничего хорошего. Дибич был

---

[1]) „Resumé d'une conversation avec l'Empereur à Czarscoe Selo le 16 août 1830. Диканьский архив, № по описи 2059.

решительным сторонником вмешательства во французские дела и горел желанием совершить победоносный поход в Париж. На другой день после разговора с Николаем, Кочубей поехал к Дибичу, чтобы убедиться, как велики его полномочия. Изложение этого разговора тоже хранится в Диканьском архиве, и на рукописи рукой Кочубея карандашом подписано: «Разговор с Маршалом Дибичем, очень замечательный».

Если Николай видел себя вынужденным до некоторой степени считаться с обстоятельствами, то генерал Дибич уже решительно ничем не смущался и рисовал себе ближайшие перспективы в самом упрощенном виде. Он признавал, скрепя сердце, что нужно предварительное соглашение с союзниками, но не сомневался, что оно будет достигнуто без большого труда. В дальнейшем же он не видел никакого труда покорить Францию и бросить ее, связанную, к ногам русского императора.

Никакие затруднения его не останавливали. На замечание Кочубея, что такого рода война потребует, прежде всего, колоссальных расходов, генерал Дибич ответил, что наших финансов хватит заглаза, что у министра финансов есть сейчас сто двадцать миллионов рублей, что „нет необходимости, — как он имел уже случай говорить императору, — платить войскам серебром, что совершенно достаточно уплачивать двойной оклад бумажными деньгами... что кроме того достаточно войти в соглашение с пруссаками и с другими государствами, по которым войска будут проходить, по получении всего, что необходимо для армии, уплачивая за все бонами, которые будут потом ликвидированы каким-нибудь способом, а когда войска войдут во Францию,— прибавил маршал,—в чем я не сомневаюсь, так же как и в том, что мы победим французов, мы наложим на них крупные контрибуции, которые с избытком оплатят военные расходы и принудим их подчиниться правительству, которое сможет дать гарантии на будущее.

— Но какому же правительству? — спросил я. — Правительству Бурбонов?

Но разве на них можно положиться. Какие же могут быть гарантии, что они снова не вызовут новых потрясений?

— Я не настаиваю,—сказал маршал,—что нужно во что бы то ни стало восстановить на престоле Карла X или даже дофина, но почему не посадить герцога Бордоского, почему ему не быть королем с твердыми монархическими учреждениями? А что касается гарантий, стоит только оставить во Франции сто тысяч русских, и тогда видно будет, будут ли уважаться эти учреждения.

Возвращаясь к его миссии, я спросил его: намерены ли мы делать какие-либо шаги в отношении Венского двора? Он мне ответил, что графу Алексею Орлову, который едет в Прессбург, чтобы присутствовать при короновании венгерского короля, поручено, как он предполагает, позондировать настроение Австрии.

«Я воспользовался этим, чтобы сказать, что мы ни в каком случае не можем действовать иначе, как в согласии с обоими союзниками... Я прибавил, что по моему мнению нужно всячески избегать подать правительству Франции маленькими враждебными выходками против Франции повод быть настороже против нас, предполагать, что мы восстановляем другие державы против Франции и побудить ее искать комбинаций, вредных для нас, как, например, тесного сближения с Англией...

Маршал Дибич высказал мнение, что занятие Алжира Францией— счастливое обстоятельство в настоящий момент, т. к. это может вызвать войну с Англией, которая, иначе, едва ли бы согласилась действовать заодно с союзниками, а что Австрия начнет действовать, как только она будет затронута в своих итальянских владениях...

В течение разговора я коснулся трудности, какую испытывают вообще государи при управлении; нет никаких средств остановить рост идей, какие господствуют в наш век; признавая, что неизбежно будет воевать с французами, если они пожелают нарушить спокойствие Европы, напав на соседей и провозгласив там свободу, для нас крайне неудобно итти с оружием во Францию или в Германию,—наша молодежь будет опять иметь случай пропитаться либеральными идеями. Величайшее затруднение, по-моему, заключается в том, чтобы найти средства, чтобы остановить распространенне этих идей, или, лучше сказать, найти средства быть довольным тем, что мы имеем.

Маршал сказал мне, что он нашел средство, быть может, единственное средство, какое существует—это поднять дворянство, истинное дворянство, старое дворянство,—прибавил он,—но, поднимая его путем разных прерогатив, нужно будет наложить на него обязанность служить, нужно установить такое правило, что этими прерогативами будет пользоваться только тот, кто принадлежит к третьему поколению дворян, состоявших на действительной службе. Таким образом, у нас были бы в военной службе только дворяне, все дворяне служили бы, и государство имело бы слуг, привязанных к правительству, заинтересованных в его сохранении.

В таком случае,—заметил я,—следовало бы сделать службу более приятной.

Конечно,—сказал маршал,—но это ж очень просто, стоит только назначать уважаемых начальников, которые понимали бы свой долг и которые бы одни были в непосредственных отношениях с государем; офицеры обязаны были бы обращаться только к ним, не так, как теперь, когда они не обращают на них никакого внимания и, быть может, не вполне неправы, так как генералы не внушают им ни уважения ни доверия [1])».

На этом изложение разговора Кочубеем прерывается. Таком образом, мы не знаем завершения блестящего проекта генерала Дибича

[1]) Изложение разговора В. П. Кочубея с Дибичем 15 авг. 1830. Писано рукой Кочубея, Диканьск. арх., № по описи 2060.

об образовании замкнутой дворянской касты, которая на все времена должна была бы оградить Россию от тлетворного влияния «либеральных» идей. Увы! он потерпел разочарование при осуществлении первого же своего проекта о водворении прочного порядка во Франции под охраной ста тысяч русских штыков. Когда он доехал до Берлина, признание Людовика-Филиппа королем французов было уже совершившимся фактом, и его молодецкий набег на Францию пришлось отложить.

В. П. Кочубей стоял на совершенно иной точке зрения. В Диканьском архиве сохранились его отзывы о французских событиях на протяжении целых сорока лет, и за все это время мы можем проследить у него одну основную точку зрения, которую он не изменяет при всех крупных переменах, свидетелем коих ему пришлось быть. Он был поклонником английской конституции, с ее глубоким преклонением перед законностью, и сторонником эволюционного хода истории.

С этой же точки зрения он судил о событиях реставрации и ее же он прилагал к оценке совершавшегося на его родине. Он всегда, в то же время, считал ответственным за революцию то правительство, которое не сумело понять нужды своей страны, не сумело итти „в уровень с веком“, как он выражался, и тем сделало неизбежным революционный взрыв. Хотя Кочубей вышел из рядов русского помещичьего дворянства, он не был сторонником его кастовых привилегий, как немецкий барон Дибич. По его взглядам его можно скорей причислить к той либеральной буржуазии, господство которой ознаменовало на Западе конец феодально-дворянской эры.

Т. Богданович.

Разработка древне-греческой истории в России.

Обыкновенно мы мало знаем и мало ценим труды наших, русских, ученых; между тем доля, которая внесена ими в общую научную сокровищницу в некоторых областях и по некоторым вопросам, весьма значительна,—гораздо больше, чем, может быть, кажется это на первый взгляд. К числу таких областей принадлежит древне-греческая история. Мы хотели бы дать краткий обзор того, что сделано русскими учеными по этой части. К такому обзору нас побуждает следующее. Пережитые годы и события составляют грань и в развитии нашей науки: мы вступили в новый период исторической жизни; многое в прошлом представляется нам теперь в ином освещении, мы смотрим на него с иной точки зрения, нежели прежде; пред нами стоят новые «очередные задачи»; мировоззрение историков меняется; говорят уже о «кризисе исторической науки»; изменились самые условия нашей работы. И естественно теперь подвести итог прошедшей работе в области, которая нас в данном случае интересует,—в изучении древне-греческой истории; взглянуть, какими путями и в каком направлении шла у нас разработка этой истории, что и кем сделано, каковы были достижения здесь.

I.

Первым самостоятельным русским исследователем в области древне-греческой истории был Мих. Сем. Куторга (1809—1886). Его не без основания можно назвать «первоначальником у нас науки об эллинстве». Он прошел хорошую школу и стоял на уровне европейской науки. Студент Петербургского Университета, М. С. Куторга в 1827 г. поступил в Профессорский Институт, который учрежден был при Дерптском Университете по мысли известного Паррота для подготовки русских профессоров. Там, в Дерпте, Куторга пишет свое первое исследование—магистерскую диссертацию на латинском языке: «De tribubus Atticis eorumque cum regni partibus nexu» (1832), и затем командируется за границу, где проводит более двух лет, слушает лекции в Париже, Гейдельберге, Мюнхене, а дольше всего в Берлинском Университете, основанном в тяжелую для Пруссии годину,—после разгрома ее Наполеоном,—«дабы силами духовными возместить потерю в силах материальных», и тотчас же ставшем одним из главных центров мировой науки, имевшим в составе профессоров ряд светил.

Нибура, правда, в нем тогда уже не было, но был Ранке, был Бек. Прекрасно подготовленный, Куторга вступил на кафедру Петербургского Университета. Появление его на этой кафедре было эпохой, по словам историка Петербургского Университета (В. В. Григорьева): «С Куторгой пришла у нас новая пора для истории Греции, пора строгой науки». Куторга преподавал и среднюю, и древнюю историю, но, по собственному его признанию, более всего его привлекала история древней Греции, и почти все его труды, за исключением немногих, посвящены ей.

Надо помнить, что, когда Куторга начинал свою ученую деятельность, не существовало еще ни «Истории Греции» Грота, ни «Греческой Истории» Курциуса; эпиграфика еще не занимала такого видного места, какое заняла она впоследствии, и не были еще сделаны поразительные открытия в области археологии и папирологии. Куторга начал с исследования вопроса о древних аттических филах и их отношения к территориальному делению страны. Этого, как мы видели, касался первый его ученый труд на латинском языке. Теперь он вновь исследовал вопрос, значительно расширил и дополнил прежнюю работу и в своей докторской диссертации «Колена и сословия аттические». (СПБ. 1838), остановился, в связи с филами, на происхождении сословий Аттики. Впоследствии он опять возвратился к той же теме в трактате на немецком языке, помещенном в «Бюллетене» Петербургской Академии Наук (за 1850—1851). Исследование Куторги о коленах и сословиях аттических было тотчас переведено на французский язык и сделало имя его известным за пределами России. Долгое время труд был одним из основных трудов по данному вопросу; на него ссылались, его цитировали, и Грот в своей знаменитой «Истории Греции» говорил, что «профессор Куторга разыскал и разъяснил основную аналогию между классами общества в древние времена у греков, римлян, германцев и русских». Дело в том, что Куторга уже в этом своем исследовании применяет сравнительный метод и для объяснения явлений древне-греческого быта приводит аналогии из быта других народов—германцев и славян. Конечно, его исследование теперь уже не соответствует положению вопроса в современной науке,—Куторга во многом заблуждался. Но важно то, что он опроверг существовавшее тогда мнение о кастовом характере аттических фил.

К 1843 году относится его «Греческая история до начала персидских войн». По истории Афинской республики от убиения Иппарха до смерти Мильтиада у Куторги есть весьма подробное исследование (1848),—один из главных его трудов. Здесь пред нами не только внешняя история Афин, но освещается и культурная сторона,—религиозные верования, празднества, обычаи, умонастроение, поэзия. Куторга пользуется поэтическими произведениями, приводит из них цитаты; выдвигает мотивы не только политические, но и торговые, экономические, обращает большое внимание на географические условия, на топографию.

В «Истории Афинской республики» Куторга не касался законодательства Клисфена. Этому законодательству—точнее, одной из мер, «дарованию гражданского звания метикам» (как пишет Куторга)—он посвящает особые «Критические разыскания« в «Пропилеях» (т. III, 185), имеющиеся и в немецком переводе. Исходным пунктом для него здесь служат известные слова Аристотелевой «Политики» (III, I, 10) о включении Клисфеном в филы многих иностранцев и рабов-метэков. Слова эти вызвали разные исправления и перестановку. По мнению Куторги, текст вовсе не испорчен и не требует никаких изменений. Такова и точка зрения современной науки, при чем под «рабами-метэками» понимаются вольноотпущенники (см. напр. у Clerc'а, в его монографии об афинских метэках, 1893). Куторга был близок к этому мнению. По его толкованию, Клисфен ввел в филы «метэков-иностранцев и метэков-рабов», т.-е. Клисфен принял в сословие граждан весь класс метэков-рабов, состоявший из 2 отделов: метэков-иностранцев и метэков-рабов. Так понимал это место потом и Зуземиль в своем известном переводе Аристотелевой «Политики», не ссылаясь, впрочем, на Куторгу, чем тот был очень обижен. Этим однако не исчерпывается содержание «разысканий» Куторги: оно гораздо шире подзаголовка: «о даровании гражданского звания метэкам». Тут речь идет и о филах, и о связи звания гражданского с владением поземельною собственностью, и о распределении афинского народонаселения по месту жительства, и о происхождении поземельной собственности, и о древнейшем устройстве аттических слобод (ком), и о переменах во внутреннем составе их.

Куторга в 60-х и в начале 70-х годов три раза побывал в Греции, посетил и Египет, что среди русских ученых в то время было большою редкостью. Отрывок из путешествия по Греции—«Платэи»—он напечатал в «Русском Вестнике» (1874). В том же журнале помещено несколько его статей, в числе их—«Борьба демократии с аристократией в древних эллинских республиках пред Персидскими войнами» (1875) и большая статья о Перикле, представляющая разбор «Очерка», посвященного Периклу учеником Куторги П. И. Люперсольским. Здесь Куторга уже выказал свое положение о политии, как особой форме правления, отличной от демократии и аристократии,—положение, которое он потом подробнее развил в посмертном труде своем.

В 1869 г. Куторга перешел из Петербурга в Москву, но здесь он пробыл недолго: в 1874 г. покинул профессорскую кафедру и поселился в деревне, продолжая однако работать над греческой историей до самой смерти, пользуясь своей богатой библиотекой. Его работы последних лет были после его смерти частью опубликованы в Журн. Мин. Народн. Просв. за 1891—2 г., а затем изданы отдельно и составили два объемистые тома «Собрания сочинений М. С. Куторги» (СПБ. 1894—6). Объединены они общим заглавием: «Афинская гражданская община по известиям эллинских историков». Но содержание не укладывается в это заглавие: оно довольно пестрое, разнообразное,—

богатый материал, много экскурсов, замечаний и наблюдений, своеобразное освещение явлений греческой, преимущественно афинской жизни. В I том входят: «Водворение на Западе изучения эллинства с эпохи Возрождения», «Основы Афинской Гражданской Общины» и целая монография в 400 слишком страниц об общественном положении рабов и вольноотпущенных в Афинской республике. И тут же, в этом трактате, подробнейшее, любопытное описание рынка в Афинах, с его рыбным и прочими рядами, и экскурсы об аттическом языке в пору процветания Афинской республики и его изучении в последующие времена, и история Афинской Политии.

Самый большой отдел книги—«Афинская Полития, ее состав, свойство и всемирно-историческое значение», причем в первой части говорится о политии, как особом виде республиканского строя, существовавшего в Греции, а во второй излагается история происхождения и образования Афинской Политии; бóльшая половина этого очерка посвящена сословиям и составу населения Аттики. Далее следует: «Влияние Востока на развитие эллинской образованности» (преклоняясь пред греками, Куторга однако считал софизмом мнение К. О. Миллера, будто эллины были вне влияиия Востока, и полагал, что «подобный взгляд противоречит законам исторического развития народов») и наконец небольшая статья о Таманском полуострове, уже раньше напечатанная в «Русск. Вестн.» (1870), по поводу исследования Герца.

Вообще, как исследователь, Куторга был своеобразен и вцолне еамостоятелен, хотя его выводы и домыслы были часто более оригинальны, чем верны; пред авторитетами он не склонялся, ходячих воззрений и принятых выводов не придерживался, не любил повторять сказанное другими и предпочитал заниматься вопросами или нерешенными, или темными, подававшими повод к разногласиям. Он сам говорил об этой своей склонности. Куторга обладал большими знаниями в области источников и научной литературы, особенно старинной, с большим вниманием и любовью изучал труды ученых XVI—XVIII стл. Он проявлял критическое отношение к своему материалу. «История», говорит он, «исходит из критики... Она только тогда и может называться историей, когда ей предшествует строгая критика». Но он был противником скептицизма и гиперкритики в области греческой истории и резко отзывался о скептиках.

Подобно Фюстель де Куланжу, Куторга считал первою обязанностью историка объяснить и истолковать известия, стараться отыскать в них тот именно смысл, который сами писатели разумели, и разъяснить их показания подобными же явлениями у других народов, рассматривать древних историков по воззрениям и образу мыслей самих эллинов и не вносить в древний мир понятий, чуждых эллинам.

II.

Сверстник М. С. Куторги М. М. Лунин (ум. в 1844 г.), бывший вместе с ним в Дерпте, в Профессорском Институте, и отправленный за границу, в Берлин, а по возвращении оттуда получивший кафедру в Харьковском Университете, для которого он стал тем, чем был Грановский и Кудрявцев для Московского [1],—М. М. Лунин напечатал в Дерпте в 1832 г. диссертацию: «Prolegomena ad res Achaeorum...», большую часть которой посвятил вопросу о пелазгах и высказал гипотезу, что пелазги были колонистами, выселившимися из Египта, при содействии финикиян, — гипотезу, конечно, неосновательную; но интересно то, что Лунин доказывал связь древне-греческой истории и культуры с Египтом и вообще как бы преугадывал кое-что о той критско-микенской эпохе, которую открыли нам новейшие раскопки.

Профессор Московского Университета П. М. Леонтьев, впоследствии известный соредактор Каткова по «Московским Ведомостям», в 50-х годах прошлого века усердно работал в области греческих древностей. Ему принадлежит выдающееся для своего времени исследование «О поклонении Зевсу в древней Греции» (М. 1850); он же редактировал прекрасный коллективный сборник статей по классической древности—«Пропилеи» (М. 1851—6, 5 т.), в котором имеются и несколько его статей, между ними—«Археологические разыскания на месте древнего Танаиса и в его окрестностях», «Обзор исследований о классических древностях северного побережья Черного моря» и другие.

В тех же «Пропилеях» Т. Н. Грановский напечатал известную статью о «Чтениях Нибура по древней истории», а П. Н. Кудрявцев—«Последнее время греческой независимости», по поводу книги И. К. Бабста «Государственные мужи древней Греции с эпоху ее распадения» (М. 1851), вызвавшую несколько рецензий, в том числе и Грановского. Книга эта охватывает период от Мантинем до Херонеи, не претендует, как заявляет сам автор, на «новые открытия», но написана живо, интересно, дает подчас яркие характеристики действующих лиц, изображает и тогдашнее состояние Греции (хороши, напр., страницы о наемничестве).

У Куторги было немало учеников. Первое место среди них принадлежит М. М. Стасюлевичу (1826 - 1911) [2]. Стасюлевич у нас более известен, как составитель хрестоматии по истории средних веков, как автор обзора главных систем философии истории, в особенности же как издатель и редактор «Вестника Европы»; но первые его труды относятся к области греческой истории. В 1849 г. вышла в свет его

[1]) О Лунине—моя ст. в Ж. М. Н. Пр., 1905 г., февраль, и в «Исторических Этюдах». СПБ. 1910.

[2]) О нем—«Вестн. Евр.», 1911, март. (Моя заметка об его трудах по древней истории).

магистерская диссертация: «Афинская игемония». При ее оценке надо иметь в виду, что она появилась за 20 лет до капитального труда У. Келера (Urkunden und Untersuchungen zur Geschichte d. delisch-attischen Bundes), что тогда не было того богатого эпиграфического материала, которым располагает современная наука. Молодой автор (Стасюлевичу было в то время всего 22 года), очевидно, подражает своему учителю, но у него в положениях и аргументации заметны парадоксальность, натяжки и искусственность, есть даже странности.

Во всех отношениях гораздо выше докторская диссертация Стасюлевича—«Ликург афинский» (СПБ. 1851), которая и теперь не лишена интереса. Она касается тогда еще мало разработанной темы—деятельности оратора Ликурга, который после Херонеи в течение 12 лет был руководителем Афин. Стасюлевич воспользовался надписями, что для того времени было несовсем обычно, высказал широкий взгляд на историю, коснувшись вопроса, по которому еще недавно шел спор: кому должна принадлежать область древней истории—филологам или историкам. Стасюлевич говорит, что уважение к филологии должно иметь свои пределы; филологи долгое время налагали свои оковы на историю, которая не выходила из пределов филологии; первый Нибур указал истории новый и самостоятельный путь. Уже Стасюлевич цитировал слова историка Нитча, которые служат исходным пунктом и для недавно скончавшегося историка античного социализма и коммунизма—Пельмана: античный мир был волнуем теми же жизненными вопросами, которые до сих пор занимают мыслящего человека. У Стасюлевича высказываются мысли интересные и для того времени оригинальные, хотя не всегда основательные. Греческих историков IV в. он ставит, напр., выше историков V в., Феопомпа — выше Фукидида (вспомним, что и Белох считает «Историю Филиппа» Феопомпа едва ли не главным произведением всей греческой историографии); вообще IV век в глазах Стасюлевича заслуживает большего внимания, нежели V; известно, что и современная наука на изучение IV ст. обратила большое внимание. Оценка Демосфена у Стасюлевича приближается к взгляду Дройзена и новейших строгих судей его. «Чем лучше его сношения с персами сношений Эсхина с Македонией?», спрашивает Стасюлевич. Понятие «оратора» у него определяется приблизительно так, как современные историки определяют понятие демагога в Афинах.

Что касается В. Г. Васильевского и Ф. Ф. Соколова, о котором речь будет дальше, то они не были учениками Куторги; в то время, когда они состояли студентами Петербургского Университета, Куторга находился заграницей. В. Г. Васильевский (1833—99), известный византинист, начал с греческой истории. В 1868—9 г. на страницах Ж. М. Н. Пр. печаталась его диссертация: «Политическая реформа и социальное движение в древней Греции в период ее упадка», вышедшая и отдельной книгой (1869). Книга эта, более 300 стр., посвящена предмету, тогда еще мало разработанному: она касается

Ахейского союза и Спарты, того переворота в ней, который связан с именами Агиса и Клеомена. Интересен самый выбор темы: В. Г. Васильевский пишет о социальном движении в древней Греции, пишет тогда, когда социальная сторона в истории еще не привлекала к себе должного внимания. Он очень основательно разработал свою тему и дал превосходную книгу, не совсем потерявшую свое значение даже и теперь.

К 60-м годам прошлого века относятся исследования по греческой истории профессора классической филологии в Петербургском Университете—К. Я. Люгебиля (1830—87), печатавшего частью по-русски, частью по-немецки. На немецком языке ему принадлежит трактат о сущности и историческом значении остракизма (1861), в котором он видит своего рода вотум недоверия, средство удалить вождя одной из борющихся партий,—дальнейшее развитие мысли, мимоходом брошенной Рошером (в монографии о Фукидиде, 1842). По-русски Люгебиль издал «Историко-филологические исследования» (1868), появившиеся потом и на немецком языке, в несколько измененном виде. Они касаются, во-первых, легенды о Кодре и отмене царской власти в Афинах, и во-вторых, архонтства и стратегии в Афинах во время Персидских войн, где дело идет главным образом о жребии и времени введения его. Предположение Люгебиля, что жребий введен при Эфиальте, теперь с открытием «Афинской Политии» Аристотеля, отпадает; зато эта «Полития» до некоторой степени подтверждает мнение Люгебиля, что монархическое правление не было отменено после Кодра, что пожизненные архонты в сущности были те же цари и носили царский титул, который в Афинах всегда существовал.

Слушателю Люгебиля, профессору Одесского Университета Л. Ф. Воеводскому, принадлежат исследования по греческой мифологии: «Каннибализм в греческих мифах» (1874) и «Введение в мифологию Одиссеи» (1883), написанное с точки зрения солярной теории. Другой слушатель Люгебиля—Д. Ф. Беляев, профессор Казанского Университета, впоследствии обратившийся к изучению византийских древностей,—автор «Омировских вопросов» (1875) и работ о воззрениях Еврипида (Ж. М. Н. Пр., 1877, 1882, 1885; Уч. Зап. Каз. Унив., и отдельно, 1878).

Большим почитателем Куторги был Ф. Г. Мищенко, сначала профессор в Киеве, а потом—после промежутка в несколько лет, в течение которых он был лишен кафедры,—профессор Казанского Университета. Его труды, несмотря на сравнительно недолгий его век (1847—1906), весьма многочисленны и разнообразны по содержанию.

Сначала Мищенка привлекла к себе аттическая трагедия, преимущественно в лице Софокла. Его первая печатная работа посвящена—Фиванской трилогии (1872), магистерская диссертация—«Отношению трагедий Софокла к современной поэту действительной жизни» (1874), вступительная лекция по возвращении из-за границы—«Божеству Промефею в трагедии Эсхила» (1877). К этой области он возвращался

и потом — в публичной лекции о «Женских типах в античной трагедии» («Русск. Мысль», 1892) и в статье: «Креонт и Антигона» («Филол. Обозр.», 1901).

В 1879 г. Мищенко издает перевод Страбона, а в 1881—докторскую диссертацию «Опыт по истории рационализма в древней Греции. Рационализм Фукидида в истории Пелопоннесской войны». Часть I (II не последовало). Из двух глав: «Биографические сведения о Фукидиде» и «Успехи рационализма в Афинах ко времени Фукидида», большую часть книги занимает вторая; но она только «подводит» к Фукидиду. Мищенко стремится поставить его в связь с современным ему состоянием афинского общества. Историю рационализма в Греции он начинает с Гомера и следит за его зародышами, за проявлением его в реформаторской деятельности Солона, Клисфена, Эфиальта и Перикла, в драматической поэзии, у Геродота и у софистов. Видное место в своем изложении Мищенко отводит политическим учреждениям, потому что «успехи сознания и сочувствия, а также развитие жизненных потребностей находили себе внешнее выражение в реальных формах политического устройства».

После этого, со времени вынужденной отставки своей, Ф. Г. Мищенко с редкой энергией работал над переводом на русский язык трех наиболее выдающихся греческих историков: в 1885—6 г. появляется его перевод Геродота (в 2 т.), в 1887—8—Фукидида (2 т.), в 1890—1899—Полибия (в 3 т.). Но Мищенко дал русской публике не только в общем хороший, удобочитаемый перевод этих историков: переводы снабжены обширными вступительными статьями, содержащими биографию переводимого автора, критическим разбором его сочинений и мнений о нем, примечаниями и подробным указателем. Это несомненно, крупные, важные для историка труды. Особенно хорошо «Послесловие к переводу» Фукидида. Перед тем в немецкой литературе были попытки развенчать величайшего историка древности; он подвергся беспощадным, страстным нападкам и критике со стороны главным образом Миллер-Штрюбинга. Мищенко в своем «Послесловии» дал всестороннюю характеристику Фукидида, критический разбор нападок на него и полную беспристрастия оценку его. Нельзя только согласиться с мнением Мищенка, будто Фукидид—сторонник афинской демократии [1]). Перевод Полибия снабжен обширным очерком федеративной Греции его времени — об Этолийском и Ахейском союзах.

Вновь открытая «Афинская Полития» Аристотеля вызвала в свою очередь несколько статей Мищенка (касательно низвержения Тридцати, олигархического переворота 411 г. и. в особенности суда присяжных). Из других работ Мищенка упомянем об актовой речи его: «Изучение античного мира в зависимости от успехов науки и просвещения» (1893), и о статье: «Общность имущества на Липарских островах»

[1]) Под таким заглавием — статья его в Ж. М. Н. Пр., 1890, август; мои возражения—там же, декабрь.

(Ж. М. Н. Пр., 1891). В последнее время своей жизни, до болезни, Мищенко занят был переводом Демосфена, но успел издать лишь 1-й выпуск (М. 1903).

Уже из этого краткого обзора видно, как много работал Ф. Г. Мищенко и как много он сделал в области изучения греческого мира и греческих писателей, преимущественно историков, и для распространения знаний о них. Нельзя не удивляться его энергии, неутомимому трудолюбию и работоспособности. Недаром еще в первой его печатной работе рецензент (В. И. Модестов) отмечал не только «яркое дарование», но и «замечательную эрудицию».

III.

Видное место в деле разработки греческой истории в России должно быть отведено профессору Петербургского Университета Ф. Ф. Соколову (1841 — 1909). Правда, напечатал он немного. Вышли отдельной книгой, в качестве магистерской диссертации, «Критические исследования, относящиеся к древнейшему периоду истории Сицилии» (1865), содержащие, по словам самого автора, «разбор некоторых мифов, исследования происхождения туземцев сицилийских и исследование религии сикулов» и др. Его «Труды», кроме книги о Сицилии, собранные после его смерти, составили всего один, правда, большой том (1910). Но Ф. Ф. Соколов был большой знаток греческой истории и ее источников, в особенности надписей. Его диссертация о Сицилии, книга в 300 страниц мелкой печати, по отзыву историка Петербургского Университета, Григорьева, „труд по древней истории Запада, какого еще у нас не бывало“, а по словам ученика Соколова С. А. Жебелева, — „для своего времени это была первая, вполне научная, обстоятельная и самостоятельная работа по древнейшему периоду истории Сицилии во всей европейской литературе“. Соколов сознавал, что он „выбрал предмет сухой, скучный и незначительный“, но приэтом замечал, что в науке „нет безусловно большого и безусловно малого; что нет ничтожной или никуда негодной истины“. Важнейшим его исследованием можно считать — об Аристомахе Аргосском. Оно пролило свет на период, нам мало известный, который, Белох называет «самым темным» во всей истории III стол. и греческой истории вообще со времени Персидских войн.

С конца 60-х и начала 70-х годов прошлого века вступает в новый период изучение „каменного архива“ Эллады, — греческих надписей. Начало греческой эпиграфике положил еще Бек; но ее развитие, быстрый рост на Западе начинается лишь с указанного момента. Стало выходить монументальное издание — Собрание аттических надписей; за ним последовали и другие. У нас, в России, из более ранних трудов в этой области следует отметить труды Н. Н. Мурзакевича и В. Н. Юргевича по части надписей юга России. Юргевич, напр., комментировал знаменитую надпись в честь Диофанта, полко-

водца Митридатова. Но развились у нас занятия эпиграфикой преимущественно с конца 70-х и начала 80-х годов XIX ст. Первое крупное издание надписей в России принадлежит И. В. Помяловскому («Сборник греческих и латинских надписей Кавказа» 1881.) П. В. Никитин дал «Обзор эпиграфических документов по истории аттической драмы» (Ж. М. Н. Пр., 1881) и напечатал выдающееся исследование: «К истории афинских драматических состязаний» (1882), главным образом на основании надписей, — исследование, в котором уже высказано многое из того, что потом, почти через 25 лет, высказал Ад. Вильгельм, едва ли не лучший современный эпиграфист [1]). Надписи увлекли и Ф. Ф. Соколова. Они—в его глазах — краеугольный камень всей науки классической древности, основной, надежнейший источник греческой истории; «из них должно быть выводимо всякое историческое построение».

Но в деле развития у нас греческой эпиграфики важны не столько печатные труды самого Соколова, сколько то влияние, которое он, как руководитель практических занятий, оказал на своих ближайших учеников: он создал школу «русских эпиграфистов». Летом 1880 года он отправился в Грецию, в Афины, и «с тех пор», говорит он в своей автобиографии [2]), «начались занятия молодых русских ученых в Греции», — по инициативе Ф. Ф. Соколова начались командировки его учеников в Грецию для изучения на месте главным образом эпиграфических памятников. Сначала были посланы В. К. Ернштедт и В. В. Латышев; затем последовал ряд других командировок: Д. Н. Королькова, А. В. Никитского, Н. И. Новосадского, А. Н. Щукарева, Н. Х. Лепера, С. А. Селиванова.

В. К. Ернштедт (1854 — 1902) потом специализировался больше в области палеографии; его главный труд — «Порфирьевские отрывки из Аттической комедии» (1891).

Что же касается В. В. Латышева (1855 — 1921), впоследствии академика, то он вскоре занял одно из первых мест среди эпиграфистов и не только русских, но и западно-европейских. В течение 1880 — 2 г.г. он работает в Афинах, занимаясь эпиграфикой, совершает поездки в Пелопоннесс, в Беотию, Фокиду, Фессалию, на острова; открывает новые надписи, печатает статьи на русском и иностранных языках — в Ж. М. Н. Пр. (напр. «Эпиграфические этюды», которые появлялись с перерывами в течение ряда лет), в Bulletin de correspondance hellenique, Mittheilungen des Deutschen Archäologischen Instituts in Athen. Возвратившись в Россию, он издает исследование «О некоторых эолических и дорических календарях» (1883). По предложению Соколова, Русское Археологическое Общество поручает В. В. Латышеву собрать и издать античные надписи, находимые на юге России, и работа над надписями северного побережья Черного моря

[1]) С. А. Жебелев — в некрологе П. В. Никитина (Ж. М. Н. Пр., 1916, авг.).
[2]) С. А. Жебелев—в некрологе Соколова (Ж. М. Н. Пр., 1909, сент.).

становится главным делом Латышева. Он списывает надписи в петербургских музеях и коллекциях, объезжает разные города и местности южной России, исследуя эпиграфические памятники, и уже в 1885 г. появляется I т. собрания, с введением и комментарием на латинском языке: «Insriptiones antiquae orae Septentrionalis Porti Euxini graecae et latinae», содержащий надписи Тиры, Ольвии, Херсонеса Таврического и других местностей от Дуная до Боспора, а через 5 лет последовал и II т., с надписями Боспорского царства (1890). Едва ли надо распространяться о том, как важен этот труд Латышева. В нем мы имеем свой «Corpus», занимающий место рядом с лучшими изданиями подобного рода на Западе. Он доставил Латышеву известность в ученом мире за пределами России, премию Зографа от французской Association pour l'encouragement des etudes grecques, редкое среди русских ученых звание члена-корреспондента Берлинской Академии Наук, а в 1895 г. Латышев был избран в Академию Наук в Петербурге.

К этому главному труду примыкают и другие работы Латышева, связанные с собранием надписей греческих колоний на юге России. Одна из главных — «Исследования об истории и государственном строе г. Ольвии» (1887). До тех пор в литературе об этом предмете не имелось ни одного труда, который соответствовал бы тогдашнему состоянию науки. Теперь, со времени раскопок в Ольвии, устарело, конечно, и исследование Латышева. Греческие и латинские надписи, вновь находимые в южной России, Латышев время от времени опубликовывал: среди них между прочим им обработан и комментирован один из важнейших эпиграфических источников — знаменитая присяга херсонесцев (в «Материалах по археологии России», № 9, 1892, и на немецк. яз. в Sitzungsberichte Берлинской Академии Наук). Опубликовывались Латышевым и многочисленные „Дополненяя и поправки“ к изданному собранию надписей северного побережья Черного моря, В 1894 г. им издан, совместно с Суручаном, сборник надписей, поступивших в музей последнего в Кишеневе в течение 1889—94 г.г., а в 1896 г.— „Сборник греческих надписей христианских времен из южной России“. К концу XIX в. накопилось уже столько новых эпиграфических материалов, что эти „Дополнения“, Supplementa, заняли целый IV т. собрания Inscriptiones Латышева, а затем по поручению Русского Археологического общества Латышевым предпринято было новое, 2-ое издание всего собрания, I т. которого появился в 1916 г. По инициативе Латышева, бывшего с 1900 г. товарищем председателя Археологической Комиссии, стали издаваться „Известия“ этой комиссии, в которых он опубликовал „Эпиграфические Новости из южной России“. Отчасти в связи с тем же главным трудом Латышева находится и собрание «Известий древних писателей греческих и латинских о Скифии и Кавказе» (Scythica et Caucasica), текст и русский перевод, изданные им при сотрудничестве других лиц (I т.—греческие писатели—1893—1900).

Нередко наблюдается переход наших ученых от классической Греции к Византии. Пример этого мы видели на Васильевском. То же

произошло и с Латышевым. С 1906 г. он от эпиграфики греческой все более и более переходит к изучению и изданию агиографических литературных памятников византийского времени.

Другой большой знаток греческих надписей—академик А. В. Никитский (1859 — 1921). Во время еще первого своего пребывания в Греции—потом он не раз там бывал, большею частью в Дельфах—А. В. Никитский издал найденную немцами, но дотоле не разобранную, надпись из Олимпии, оказавшуюся благодарственным декретом одного малоазийского города в честь Августа (Ж. М. Н. Пр., 1884), открыл раньше неизвестный храм Асклепия близ Навпакта и ряд новых надписей. Вообще в лице А. В. Никитского русская наука, по выражению его учителя Ф. Ф. Соколова, «имеет настоящего мастера в эпиграфике, стоящего на равной линии с лучшими европейскими знатоками греческих надписей». Его отличала удивительная точность и тщательность иследования, осторожность, вникание в детали, критический анализ.

Предметом изучения А. В. Никитского были по преимуществу надписи дельфийские, этолийские и западно-локридские. Дельфийским надписям посвящен его первый большой труд — „Дельфийские эпиграфические этюды». Одесса. 1894 — 5, результат его личных наблюдений и изучения этнографического материала на месте. К сожалению, А. В. Никитский был большой кунктатор, что отчасти обусловливалось его требовательностью к себе, его стремлением к самому точному, самому внимательному изучению каждой надписи, и его выводы и наблюдения предвосхитил немец Помтов, изучавший в Дельфах тот же материал, но работавший в гораздо более благоприятных условиях.

Предстояли, однако, новые большие раскопки французов в Дельфах, ожидалось огромное приращение материала, и «я», говорит Никитский, «решился представить в ряде этюдов положение дельфийских эпиграфических исследований до новых раскопок». Вышла только часть задуманного труда. Дельфийских же надписей, если и не исключительно, то по преимуществу, касается и другой крупный труд Никитского—«Исследования в области греческих надписей», Юрьев, 1901, важные в методологическом отношении, раскрывающие пред нами эпиграфическую методологию автора. Здесь он дает несколько критических опытов переисследования некоторых эпиграфических источников, в уверенности, что основательная переработка даст новые, даже неожиданные результаты, и он критически переисследует каждый факт «до его корней», производит «перекапывание до основания», полагая, что подъем вверх не только возможен при подобном «новом и новом перекапывании», но что он тогда только и надежен, когда мы стараемся убедиться в степени прочности установления фактов.

Статьи А. В. Никитского, всегда богатые тщательными наблюдениями, нередко новыми восстановлениями текста и интересными методологическими замечаниями, печатались в Mittheilungen d. Deutschen

Archäolog. Instit, Hermes 'Εφημερὶς 'αρχαιολογική, а русские — большею частью в Ж. М. Н. Пр., за последние годы—в „Известиях Академии Наук". Из них особенно следует отметить статью под заглавием Αχαϊκα (Ж. М. Н. Пр., 1913) — о Локридской надписи, касающейся посылки девушек в Илион, как очистительной жертвы. Она дает поправки к реконструкции такого знатока, как Ад. Вильгельм, не говоря уже о комментарии и объяснениях.

Н. И. Новосадский, профессор Варшавского, а потом — Московского Университета, будучи в Греции, занимался не только эпиграфикой, но также религиозными и государственными древностями и совершил ряд экскурсий по Элладе и на о. Крит. Кроме статей, из которых некоторые печатались в Mitheilungen d. Deutsch. Archäolog. Instit. и в 'Εφημερὶς 'αρχαιολογική, ему принадлежат вышедшие отдельными книгам,и исследования в области истории греческой религии: «Елевсинские мистерии» (СПБ. 1887), «Культ кавиров в древней Греции» (Варш. 1891), «Орфические гимны» (Варш. 1900) и превосходный курс по греческой эпиграфике (ч. I, М. 1902, 2-ое издание — 1915). Из статей его одна касается злободневной, очень интересной темы: «Борьба с повышением цен в древней Греции» (Ж. М. Н. Пр., 1917).

Результатом занятий А. Н. Щукарева, безвременно скончавшегося всего 39 лет от роду (в 1900 г.), помимо статей и впервые правильного объяснения некоторых надписей, были «Исследования в области каталога афинских архонтов III в. до Р. Х.» (1889), на основании главным образом эпиграфических данных,—предмет сухой, но даже по отзыву такого строгого критика, как В. А. Шеффер, «никто интересующийся историей Греции в эллинистический период не может безнаказанно оставить» книгу Щукарева «без внимания».

Главные работы Р. Х. Лепера касаются топографии Аттики— «К вопросу о димах Аттики» (Ж. М. Н. Пр., 1891—3, к сожалению, не окончено; ср. «Роль триттий в государственном устройстве Афин», там же, 1898) и на немецком языке большая статья „Die Trittyen und Demen Atticas" (Mittheilungen) по поводу исследований Мильгефера, с которым он по некоторым пунктям не соглашается. Лучший знаток вопроса, Мильхгефер, счел нужным ответить Р. Х. Леперу (там же, 1893). Заведуя раскопками в Херсонесе, с 1908 по 1915 г.г., Лепер открыл и издал ряд новых надписей, в числе их договор херсонесцев с царем Фарнаком и новые обломки декрета в честь историка Сириска. «Древний город Афины» (СПБ. 1911) Лепера — небольшой популярный очерк истории города с глубокой древности до новейших времен (по топографии Афин имеется и ст. А. А. Малинина на русск.—Ж. М. Н. Пр., 1900 и нем. яз.).

С. А. Селиванову, в молодости подававшему немалые надежды и так печально кончившему свою жизнь [1]), принадлежит ряд статей и «Очерки древней топографии о-ва Родоса» (Каз. 1892).

[1]) В припадке меланхолии он выстрелил себе в висок, остался жив, но лишился зрения и в таком положении прожил еще несколько лет (ум. в 1908 г.).

Ученик Ф. Ф. Соколова, профессор Петроградского Университета, С. А. Жебелев,—неутомимый работник в области изучения древнегреческого мира. Уже первый печатный труд его — студенческая работа—обратил на себя внимание. Он касался чрезвычайно интересной темы—«Религиозного врачевания в древней Греции» (СПБ. 1893). Поле работ С. А. Жебелева: эпиграфика, история, археология, классическая филология. В этих смежных областях ему принадлежит огромное число печатных трудов—статей, рецензий, отдельно изданных книг, и все они отличаются большою содержательностью и самостоятельностью, редкою основательностью и осторожностью выводов, трезвостью взгляда. Работая в такой широкой области, С. А. Жебелев в своих специальных исследованиях останавливается обыкновенно на периодах темных, мало еще исследованных, на временах упадка Греции, на вопросах детальных, где главным материалом служат документы, надписи.

Временем упадка Греции, в частности Афин, стали интересоваться лишь сравнительно недавно. На изучение этого периода долго смотрели, как на «печальную и неприятную обязанность». Этому «темному» периоду, дотоле мало разработанному, С. А. Жебелев посвятил свою магистерскую диссертацию: «Из истории Афин 229—31 г. до Р. Х.» (1898). Он попытался проследить историю «падения Афин». Внешним побуждением к тому служило значительное количество документальных источников-надписей, «краеугольных камней всей науки классической древности» в глазах С. А. Жебелева.

В связи с исследованием, являясь как бы его продолжением, стоит другой, еще более крупный труд С. А. Жебелева Ἀχαϊκά (1903), ряд этюдов из области древностей провинции Ахаии. И тут—область мало разработанная: в то время, когда С. А Жебелев писал свою книгу, вся литература об Ахаии состояла из двух статей в словарях Dizionario epigrafico Руджиеро и Real-Encyclopädie Паули Виссовы. И здесь материал, главным образом, документальный, эпиграфический. С. А. Жебелевым привлечены, впрочем, и другие данные—литературные, памятники искусства, монеты. Все вопросы исследованы с обычною у него тщательностью, осторожностью, обстоятельностью. На многие детали пролит новый свет, напр., на время превращения Греции в провинцию Ахаию—«нигде», по справедливому замечанию Ф. Ф. Соколова, «положение Греции после 146 г. не представлено с такою ясностью»,—на возрасты спартанских юношей (по С. А. Жебелеву, «ирены» соответствовали эфебам, от 18 до 20 лет, а не до 25, как обыкновенно принимали), на Еврикла, как патронома-эпонима, а не правителя Спарты, и т. д.

Статей С. А. Жебелева мы здесь называть не будем: они слишком многочисленны и разнообразны по содержанию. Но, кроме всего этого, С. А. Жебелев дал хороший перевод Аристотелевой „Политики“ (1910), с приложением статьи о греческой политической мысли, переработал для „Памятников мировой литературы“ перевод Фукидида (М. 1915,

2 т.), сделанный Ф. Г. Мищенком, и снабдил этот перевод вступительным очерком—биографией Фукидида, характеристикой его и его произведений. Очерк этот—образец спокойного, здравого, объективного отношения к спорным вопросам. В настоящее время С. А. Жебелев частью переводит, частью редактирует перевод „Творений“ Платона.

В последние годы и у С. А. Жебелева заметен наклон к более позднему, к христианскому периоду греческой литературы. Несколько времени тому назад он издал книжку о канонических и апокрифических евангелиях (1919), а затем—книжку: „Апостол Павел и его послания“ (1922). Наконец С. А. Жебелеву за последние годы принадлежат труды общего характера, научно-популярные, входящие в состав коллекции: „Введение в науку“. Переходим к изучению греческих древностей на юге России.

В. Бузескул.

Экономическая политика французского правительства при старом режиме.

(По поводу одной неизданной рукописи).

В 1915 году, во время эвакуации г. Юрьева, на чердаке одного из домов покойным профессором П. А. Яковенко найдена французская рукопись, без точной даты, относящаяся к первой трети XVIII века. Рукопись была передана проф. Е. В. Тарле, который, оценив ее научное значение, спас ее от уничтожения и привез в Петроград. Как раз в это время мною разрабатывались собранные за границей архивные материалы для монографии, посвященной социально-экономической истории Дофинэ. Е. В. Тарле любезно предложил мне воспользоваться этой рукописью.

Переплетенный в кожу фолиант озаглавлен: Mémoire concernant les traites et gabelles du Dauphiné en général et de la direction de Valence en particulier. (Записка о таможенных пошлинах и соляном налоге Дофинэ вообще и, в частности, округа Валанс).

Золототисненный корешок с надписью Dauphin [é] Fermes général [es] украшен Бурбонскими лилиями с четырьмя коронованными дельфинами по углам (герб Дофинэ). Фолиант заключает 99 исписанных листов; бумага с филигранью и водяными знаками двух родов.

По наведенным справкам, рукопись эта не издана. Возможно, что это уникум: ни в Парижском Национальном архиве, ни в департаментских архивах бывшей провинции Дофинэ (департ. Isère, Drôme, Hautes-Alpes) нам не встречался дублет рукописи.

По всей вероятности, это докладная записка, специально составленная для какого-нибудь высокопоставленного лица.

Рукопись состоит из трех частей.

В первой части трактуется о соляном налоге в округе Валанс. Хронологически последнее событие, о котором упоминается, — Bail de Carlier, откупной контракт, заключенный казной с некиим Карлье 19 августа 1726 года, контракт, в свое время наделавший много шума.

Вторая часть рукописи посвящена вопросу о таможенных пошлинах на реке Роне, на том участке великого водного пути Франции, по которому транзитом шли товары в Марсель и далее на восток, в Левант, и из Марселя в Лион и далее в Швейцарию и Савойю.

Третья часть рукописи заключает таможенный тариф 1659 года, которым провинция Дофинэ продолжала пользоваться, отказавшись принять введенный Кольбером новый тариф 1664 года.

Таким образом, события экономической жизни, охватываемые рукописью (1659 — 1726), относятся к временам Кольберовским и после - Кольберовским, когда были заложены главные учреждения и установлены принципы экономической политики французского правительства при старом режиме.

Соляной и таможенный вопросы, тесно связанные с ненавистной для населения откупной системой, занимают автора нашей рукописи. Характерно, что эти же вопросы, составлявшие едва ли не главное зло французской фискальной политики при старом режиме, пытался разрешить в свое время Кольбер, а сто лет спустя, накануне великой революции, те же вопросы выдвинул Неккер и даже снабдил свой знаменитый «Отчет Королю» 1781 года двумя специально составленными картами: картой соляного налога и картой внутренних таможен Франции.

Автор нашей рукописи дает детальную картину способа организации и взимания соляного и таможенных налогов, пространно говорит о связанных с ними злоупотреблениях и о мерах борьбы с последними — правда, лишь на небольшой территории округа Валанс, в Дофинэ, провинции «малого соляного налога» [1]). Но тем поучительнее и ярче картина, которую можно представить для всей Франции!

Таможенный тариф, заключающийся в нашей рукописи, весьма типичен и характерен для эпохи меркантилизма и, хотя он создавался для одной провинции, на нем отразились все господствовавшие тенденции Кольберовских и после - Кольберовских времен: разновременные и разнохарактерные явления экономической политики соединены здесь в своеобразную, цельную систему и дают картину живой действительности.

Попытаемся в самом сжатом виде ознакомить читателей «Анналов» с содержанием этой рукописи, напомнив в немногих словах ту обстановку, в которой развились основные тенденции экономической политики французского правительства эпохи меркантилизма.

I.

Кончились долгие годы гражданских войн и смуты. Фронда была подавлена. Кратковременное утомление охватило Францию. Об этом состоянии писал один английский агент в 1655 году. По его словам, «вельможи жалуются, но он не знает ни одного, способного что-нибудь предпринять; придворные ропщут, но для их успокоения

---

[1]) О торгово-промышленном и революционном значении провинции Дофинэ в позднейшее время см. мою статью: Промышленность и торговля Дофинэ в эпоху великой французской революции. «Из далекого и близкого прошлого». Издат. «Мысль». Птгр. 1923.

достаточно небольшой подачки; дворянство раззорено до такой степени, что не в состоянии сесть на коня и двинуться в поход; духовенство—в полной зависимости от двора и фаворита (Мазарини), раздающего бенефиции; парламенты усмирены, и члены их не смеют возражать; большие города жаждут успокоения и ненавидят виновников последних смут; в Париже все ругают и ненавидят нынешнее правительство—и покорно ему подчиняются» [1]).

Много говорили о республике, но не было ни программы, ни прочно установленных принципов, ни лица, способного объединить нацию [2]).

Среди всеобщего разгрома устояла одна лишь королевская власть, и ей суждено было оказаться вознесенной на небывалую высоту. Франция жаждала твердой власти и получила ее из рук Людовика XIV. Когда-то гордая феодальная аристократия превратилась в раболепных прислужников короля; все выдающиеся таланты эпохи служили для увеличения блеска короля-солнца.

По воле короля возникла великолепная Версальская резиденция, и надпись на медали, отлитой по случаю переезда в Версаль гласила: Hilaritati publicae aperta regia (королевский дворец открыт для публичных увеселений). Какая-то оргия наслаждений царила при дворе. Мемуаристы эпохи, Данжо и Сен-Симон, рассказывают о непрерывных празднествах, о роскоши нарядов и изощренности фантазии в деле наслаждений.

Но это была одна сторона медали.

В то самое время, как двор веселился, в то время, как король щедрой рукой раздавал пенсии, подарки, платил карточные долги своих любимцев, распоряжаясь государственной казной, как своим личным кошельком, французский народ порою умирал от голода. Войны и эпидемии уничтожили целые области, нищенство достигло ужасающих размеров, а люди, в изображении Лабрюйера, потеряли человеческий образ.

Вобан справедливо указывал, что экономическое положение Франции граничило с окончательным разорением: $^1/_{10}$ часть населения нищенствовала, $^5/_{10}$ еще были в состоянии подавать милостыню, $^3/_{10}$ были обременены долгами и лишь $^1/_{10}$—какая-нибудь сотня тысяч семейств—пользовалась всеми благами жизни... [3])

II.

Призванный Людовиком XIV к управлению финансами через несколько дней после смерти Мазарини, в марте месяце 1661 года, Кольбер застал казначейство в трудном положении: в казне—ни копейки, вокруг короля—скандально нажитые состояния.

---

[1]) Feuillet. La misère au temps de La Fronde. См. Lavisse, Histoire de France, t. VII, p. I, p. 65.

[2]) Henri Sée. Les idées politiques à l'époque de La Fronde. Revue d'hist. moderne et contemp. t. III, стр. 113 и след.

[3]) Vauban. Projet d'une dîme royale. Ed. Daire. 1851, p. 36.

От благотворной деятельности Сюлли не оставалось и следа. Во Франции, по определению Кольбера, не было ни торговли, ни промышленности, ни сельского хозяйства; не было армии и флота, ибо их не на что было содержать.

Как же жило государство? Жило благодаря изобретательности Фукэ, главноуправляющего финансами. Чем больше нищала Франция, тем больше обогащался Фукэ.

Известна его расточительность, роскошь его дворцов, великолепие его празднеств. Король в то время, по сравнению с Фукэ, был бедняк. Говорят, что когда королю приходилось обращаться к Фукэ за деньгами, последний отвечал: «В казне в. в. нет ничего, но кардинал (Мазарини) вам одолжит».

В год заключения Пиринейского мира (1659 г.) Кольбер записал «У короля — полное отсутствие кредита, с ним не вступают в переговоры, будучи уверенными, что он объявит банкротство».

Наконец, Фукэ — пал.

После ареста Фукэ должность главноуправляющего финансами (surintendant des finances) была уничтожена, и 5 сентября 1661 года Людовик XIV писал матери, что «отныне он решил заниматься финансами сам с верными лицами» [1]).

Был учрежден Совет по финансовым делам (Conseil royal des finances), руководство которым было поручено Кольберу. Впредь ни одна ассигновка не имела силы без собственноручной подписи короля, скрепленной Кольбером [2]). Назначенный сначала управляющим финансами (intendant des finances), Кольбер получил потом звание генерального контролера (controleur général), удержавшееся во Франции вплоть до великой революции.

Результаты нового порядка вещей не замедлили обнаружиться. Если в сентябре 1661 г. Кольбер писал, что до сих пор управляющие финансами заботились лишь об обогащении себя и своих близких за счет короля, то в декабре 1662 г. он мог отметить, что «ныне король трудится над своим личным обогащением».

III.

Финансовое дело Кольбер хотел упростить настолько, чтобы оно было доступно пониманию многих, а вестись могло бы немногими.

Прежде всего Кольбер упростил административный аппарат, сократил число служащих, директоров департаментов, действовавших самостоятельно и увеличивавших общий беспорядок.

Затем, главное внимание он обратил на то, чтобы, с одной стороны, облегчить для населения тяжесть налоговой системы, а с другой — увеличить приход в государственном бюджете.

---

[1]) Neymarck. Colbert et son temps. p. 36.

[2]) Déclaration du 5 septembre 1661.

Известно, что главным прямым налогом была талья (la taille), беспрерывно возраставшая со времени ее установления. Кольбер за первые 10 лет управления финансами добился постепенного уменьшения тальи: в 1661 г. талья давала 42.208.096 ливр., в 1671 г. — 33.845,797 ливров.

Но главный доход в государственном бюджете составляли не прямые, а косвенные налоги, отдававшиеся государством на откуп.

Их было три: 1) la gabelle — соляной налог; 2) les grosses fermes — так называемые большие откупа (пошлина на все товары); 3) les aides et entrées (пошлина с привозимых напитков).

Известно, что Кольбер ненавидел откупщиков и сознавал все зло откупной системы, но мысль о замене ее единым государственным налогом отпадала: Кольбер видел злоупотребления и затруднения, связанные с взиманием тальи.

Приходилось довольствоваться частичными улучшениями и мелкими реформами. Кольбер, подобно Сюлли, тщательно выбирал откупщиков, производил сдачу откупов с публичных торгов, назначал переторжки, если условия были невыгодны.

За продажу контрабандной соли полагалось 300 ливров штрафа; в случае неуплаты штрафа в шестимесячный срок виновный присуждался к трем годам галер; если контрабандисты были вооружены, но не действовали скопом,—3 года галер и 300 ливров штрафа. Если действовали скопом, т.-е. в количестве не менее 5 лиц,—смертная казнь, независимо от того, прибегали они к оружию или нет; соль, повозки, лошади подлежали конфискации.

Прав был Вобан, когда говорил, что «нужны были драконовы законы, чтобы поддерживать противоестественный порядок вещей». Но никакие наказания и угрозы не помогали: из-за нарушения соляных законов ежегодно бывало до 3.700 конфискаций только во время домашних обысков, до 2.300 арестов мужчин, 1.800 арестов женщин, 6.600 арестов детей, 1.100 конфискованных лошадей и до 50 повозок; ежегодно более 300 человек ссылались на галеры, в тюрьмах из-за соляного налога томилась третья часть всех преступников государства [1]).

Основные положения созданного Кольбером ордонанса 1680 г., регулировавшего организацию и способ взимания соляного налога, оставались в силе в течение 100 лет, и только революция 1789 г. внесла сколько-нибудь существенные изменения в это дело.

IV.

Обратимся теперь к детальному рассмотрению соляного режима в провинции Дофинэ по данным ценной рукописи, о которой говорилось в начале.

¹) Vauban. Projet d'une dîme royale. Изд. Daire. Le sel, стр. 92.

Провинция Дофинэ в отношении соляного налога была поделена между двумя главными управлениями (directions générales); одно из них находилось в Гренобле, другое—в Валансе.

Эти центральные присутственные места имели в своем заведывании по две контрольных палаты (deux controlles); каждый контроль в свою очередь заведывал несколькими соляными амбарами (greniers), бюро и «бригадами стражников».

В общем, в дирекции Валанса числилось: 1 склад (entrepôt), 7 амбаров, 42 бюро и 6 бригад, итого 56 учреждений (établissements), а в дирекции Гренобля находилось 13 амбаров, 42 бюро и несколько (число не обозначено) бригад. Всего же, следовательно, в провинции Дофинэ насчитывалось: 1 склад, 20 амбаров, 84 бюро и «бригады» (цифра в общем итоге не указана)[1].

Провинция Дофинэ, подобно большинству южных провинций, была подчинена соляному налогу, т. е. «королю принадлежало исключительное право снабжать население всей необходимой для его п-требления солью, не определяя, однако, ее количества».

Этот «реальный» соляной нал‹ог›, обычно называвшийся малым, резко отличался от большого соляного налога[2]); некоторые привилегии, по словам рукописи, отличали его и от обыкновенного малого соляного налога[3]).

Эти привилегии и особенности, перечисленные автором нашей рукописи в 17 пунктах[4]), давали право в Дофинэ всякому торговать солью, оптом и в розницу. Требовалось только предъявление соляных таможенных расписок (des billettes des commis de l'adjudicataire), удостоверявших, что соль взята из казенных складов (greniers du Roi).

Предъявление таких росписок было необязательно для лиц, запасавшихся солью для личного потребления; но в случае домашнего обыска они должны были доказать (justifier), что соль получена ими из казенных складов (как доказать—не сказано, и как согласовать эту привилегию с правом потребителя покупать соль у частных лиц—неясно).

Жители же «трех горных бальяжей» обязаны были запасаться удостоверениями, взятыми из казенных складов или у общинных консулов (если соль куплена была у частных торговцев). Это обусловливалось трудностью контроля и сравнительно благоприятными условиями для развития корчемной продажи соли в горах.

Торговцы солью обязаны были покупать соль в казенных складах и продавать ее частным лицам для личного потребления, а не для перепродажи.

---

[1]) Mémoire concernant les traites et gabelles du Dauphiné. Таблица: Establissements des fermes et gabelles en Dauphiné.

[2]) Большой соляной налог, «являясь личным, делал потребление соли обязательным и пропорционален количеству населения каждой местности». Mss. f. 2. verso.

[3]) Id. f. 2 и 2 verso.

[4]) Id. f. 2 verso—5 verso.

Корчемная продажа соли особенно сильно развивалась в тех округах, которые соприкасались с вкрапленными в Дофинэ частями других провинций: Прованса, Лангедока и Comptat. Создавалась чресполосица со всеми невыгодными ее последствиями. Приходилось вырабатывать особый тариф для потребителей соли из анклав. Дело в том, что цена соли в казенных складах Дофинэ (21 ливр за бочку—minot) была выше, чем цена в казенных складах Прованса (19 ливров), Лангедока (12 ливров) и Comptat (12 ливров 8 су). Для жителей всех местностей, de jure относившихся к этим трем провинциям, а de facto вкрапленным в Дофинэ, была установлена особая цена при покупке соли из складов Дофинэ; впрочем, цена эта была немногим ниже цены соли в Дофинэ (от 20 ливров 4 су до 20 ливров 8 су за бочку).

Легко представить, к какой путанице приводило на практике подобное применение «личного права», исторически обусловленного напластованиями в территориальном делении старой Франции и отсутствием административного единства. Приходилось прибегать к переписи людей и животных в этих анклавах, высчитывать вперед количество потребной им соли, выдавать удостоверения и т. п.[1])

Пользуясь своим правом покупать соль по дешевой цене, обитатели этих анклав перепродавали соль своим соседям со значительным барышом. Особенно охотно покупали с этой целью соль в Авиньоне, граничившем с Дофинэ, где соль была в $2^1/_2$ раза дешевле, чем в Дофинэ[2]).

С этой корчемной продажей до такой степени трудно было бороться, что власти в конце концов разрешили, вообще, всем жителям Дофинэ закупку соли в Авиньоне, но под условием уплаты пошлины при ввозе соли в Дофинэ. Даже и после уплаты пошлины авиньонская соль оказывалась дешевле той, которая продавалась в казенных складах Дофинэ. Эта «привилегия» откровенно мотивировалась тем, что без нее все равно процветало бы корчемство![3]).

Особенностью Дофинэ было то, что жители не были прикреплены к определенным соляным амбарам: они могли брать соль в любом из казенных складов. Этой свободы действий были лишены обитатели тех провинций Франции, где царила la grande gabelle.

Цена на соль варьировалась не только в разных частях провинции, но даже в пределах одной и той же дирекции. Так, в дирекции Валанса мы встречаемся с такими ценами за бочку соли в 7 казенных складах: 20 ливров 4 су, 20 л. 8 су; 20 л. 10 су 6 денье; 21 л. 5 су 6 денье, 21 л. 10 су; 21 л. 16 су 6 денье; 22 л. 6 су 6 денье.

Эти цены фиксировались для каждого склада в том общем контракте (bail), который должен был подписать откупщик при заключении сделки с казной.

---

[1]) Mss. f. 3 verso, пункт 8.

[2]) Ib., пункт 11.

[3]) Ср. лист 13 рукописи: Grenier de Pierrelatte. Montdragon est une terre de Provence.

Начиная с 1715 г., стали прибавлять разные добавочные сборы в пользу казны: постановленнием 4 июля 1715 г. стали взыскивать с каждой бочки еще от 2 л. 1 су до 2 л. 4 су 8 денье, постановлением 25 апреля 1722 г. был введен еще налог в 15 су 6 денье с бочки, наконец, 5 июля 1723 года—третий налог в 5 су[1]).

Любопытно, что откупщик в Дофинэ обязан был в силу королевского указа 1681 года отчислять по 5 су с каждой проданной им бочки соли в пользу иезуитов на содержание их коллегии в г. Вьенне. Откупщик, по соглашению с иезуитами, платил им ежегодно 1.200 ливров, и сбор в 5 су с бочки брал в свою пользу[2]).

С соляным налогом была связана любопытная натуральная повинность, включенная в откупной контракт: власти обязаны были в некоторых случаях снабжать чиновников откупа перевозочными средствами, т.-е. организовать гужевую повинность окрестного населения. Приэтом в контракте точно указывались места, откуда и куда должны были доставлять соль таким способом[3]).

Извлечение соли из соляных источников Дофинэ было безусловно запрещено 132 ст. откупного контракта, заключенного Карлье в 1726 г. и 92 ст. эдикта о сол. пошл. 1664 г.

В Дофинэ поэтому были взяты на учет все соляные источники (fontaines salées). Особая стража была приставлена к каждому из 7 соляных источников Дофинэ.

Сторож, охранявший два соляных источника в области так называемых Бароний, получал 150 ливров жалованья в год,—вознаграждение по тому времени немалое[4]).

Рукопись подробно останавливается на организации соляных складов (entrepôts) и соляных амбаров дирекции Валанса. В дирекции Валанса был 1 склад и 7 соляных амбаров. Назначение склада—оказание помощи в годы нужды соляным амбарам Верхнего и Нижняго Дофинэ и соседних провинций: Лионнэ, Виварэ и Лангедока, а также снабжение солью заграницы.

Поэтому, на складе имелась соль двух сортов: белая (Berre) для Дофинэ и красноватая (Peccais) для снабжения соседних провинций и заграницы.

Соляной склад Валанса был вместимостью в 46.000 бочек соли; на складе в описываемое время находилось 10.446 бочек соли Peccais и 20.275 бочек соли Berre.

На каждой двери склада висели три разные замка: ключ от одного находился у директора соляного откупа, от другого—у приемщика, от третьего—у контролера.

Из 7 соляных амбаров дирекции Валанса, расположенных вдоль реки Роны, первое место по значению занимал амбар Валанса, второе—

[1]) Mss. f. 7. Greniers à sel de la direction de Valence.

[2]) Id. f. 7, внизу под знаком +.

[3]) Id. f. 12, verso. Grenier de Montélimar.

[4]) Id. f. 5. Таблица: Fontaines salées du Dauphiné.

Вьенны. Количество соли, продаваемое из каждого амбара, колебалось в зависимости от ряда местных причин, урожая и проч. [1]).

Особые бригады стражников, бывшие в ведении главных контрольных палат, должны были заботиться об охране интересов соляного откупа, бороться с корчемной продажей соли, с контрабандным ее ввозом и т. д. В дирекции Валанса таких бригад было шесть.

Функции этих бригад были довольно сложны и хлопотливы. Они эскортировали по р. Роне барки с солью, для чего вся река была разделена на участки; доведя барки до определенного места, одна бригада сдавала их другой. Эти бригады должны были следить, чтобы соль с барок не попадала контрабандным путем в руки прибрежных жителей; они обязаны были следить за судами, движущимися по Роне, задерживать подозрительные и отводить их в речные таможни для осмотра; обязаны были наблюдать за возчиками, двигавшимися сухопутным путем из Авиньона, Лангедока и Прованса в Дофинэ. Им рекомендовалось не упускать из вида проселочные дороги и, особенно, горные тропинки.

Наша рукопись содержит жалобы на недостаточность личного состава бригад для выполнения столь многотрудных обязанностей, к которым нужно присоединить еще и внезапные домашние обыски у обывателей с целью проверки, нет ли у них контрабандной соли[2]).

Вопрос о контрабанде занимает в нашем фолианте особый отдел, озаглавленный: Des différentes espèces de faux saunage, des moyens pratiqués pour y remedier et de ceux proposés pour la même fin[3]).

Автор рукописи подробно рассматривает разные виды контрабанды в Дофинэ.

Причины их довольно однообразны. В соседних провинциях соль дешевле, чем в Дофинэ, и население, несмотря на бдительный надзор, умудряется провозить дешевую соль к себе домой.

Бригады слишком малочисленны, чтобы изловить контрабандистов при перевозке соли, а раз соль попала в Дофинэ—ничего нельзя поделать! Даже домашние обыски ни к чему не ведут: жители Дофинэ предъявляют удостоверения, которыми они запаслись заранее, при покупке соли у себя в провинции, и заявляют, что ими сделан запас на 20 и даже на 30 лет [4]).

Единственное средство борьбы автор рукописи видит в том, чтобы продавать в пограничных местечках только белую соль (sel de

[1]) Mss. f. 9 Estat général des ventes en sel des greniers de la direction de Valence pendant les baux de Manis, Lambert, Pillavoine, Bourgeois et les 3 premières années de celui de Carlier.

[2]) Id. f. 10. Brigades de la direction de Valence. Всего здесь было 6 бригад, насчитывавших 11 начальников и 36 стражников. Жалованье этим 47 лицам выплачивалось в размере 12. 300 ливров в год.

[3]) Id. f. 17—23.

[4]) Mss. f. 21 verso.

Berre). Так как соль, добываемая в Провансе, красноватого цвета, то никакие ухищрения при домашних обысках не помогут виновным [1]).

После подробного рассмотрения всех случаев контрабанды [2]) автор фолианта в особом параграфе рассматривает вопрос о судебном преследовании контрабандистов.

В дирекции Валанс имелся особый juge des gabelles, судья, ведавший в первой инстанции дела, связанные с правонарушениями в области уплаты и взимания соляной пошлины. Апелляционной инстанцией являлся Гренобльский парламент.

В случаях, грозивших обвиняемому смертной казнью или иными уголовными наказаниями, судьи назначались согласно ордонансу об уголовном судопроизводстве 1670 года, и весь процесс происходил на общем основании, как для других уголовных дел.

Автор рукописи, считая, что осветил «все детали, связанные с соляным налогом дирекции Валанса», собирается говорить о соляном налоге дирекции Валанса. Тут в нашем документе, к сожалению, пропуск.

V.

Вторая часть фолианта посвящена вопросу о таможнях Дофинэ (des traites du Dauphiné).

Вопрос о внутренних таможнях оставался одним из самых больных вопросов Франции до конца старого режима. Карта таможен, приложенная, как и карта соляного налога, к отчету, представленному Неккером королю в 1781 г., рисует Францию перерезанной внутренними границами, как будто это не одно государство, а ряд враждебных областей.

Сам Неккер считал это устройство «варварским» и говорил, что радикальное его изменение возможно только в том случае, если Франция в отношении соляного налога будет унифицирована и таким путем будет уничтожена контрабанда соли [3]).

В другом месте Неккер говорил, что законодательство, касающееся таможенных прав, столь запутано, что с трудом можно найти одного или двух людей на целое поколение, которые знали бы его основательно [4]).

До конца старого режима не существовало во Франции ни одного сочинения, ни одного законодательного акта, который заключал бы полный перечень внутренних таможен и мог бы служить руководством при выборе маршрута коммерсантами [5]). Неожиданные сюрпризы могли ожидать их на каждом шагу. И в этом отношении чрезвычайно любопытны результаты опыта, произведенного некиим

---

[1]) Id. f. 19. Глава: Du faux saunage du sel de Provence.

[2]) Id. f. 23 и verso. De la juridiction des gabelles de la direction de Valence.

[3]) Necker. Compte rendu au Roi. 1781. p. 88—89.

[4]) Necker. De l'administration des finances de la France. 1785. T. II, p. 123.

[5]) Stourm. Les finances de l'ancien régime et de la Révolution T. I, p. 472.

Бланше, о котором аббат Бодо рассказывает в V томе своих «Эфемерид» [1]).

Бланше, полицейский комиссар над парижскими портовыми таможнями, получил от правительства специальное поручение: отправиться на юг Франции, купить в разных местах несколько бочек вина, лично сопровождать их и привезти водным путем в Париж, чтобы таким образом выяснить, что представляли собой для торговцев фискальные рогатки того времени.

В Роане сьер Бланше приобрел вино из Дофинэ и Руссильона, за которое уже была уплачена пошлина в таможнях Валанса и Лиона. При выезде из Роана он уплатил сеньериальную пошлину в Артэ, такую же и в Живордоне. При въезде в область так называемых «пяти больших ферм» в Digoin он уплатил по тарифу 1664 г. В Décise уплатил droit d'octroi, хотя барка не останавливалась в городе. В Невере с него потребовали пять различных пошлин: одну от имени герцога Неверского, другую от имени мэра и дуаенов города, две—в пользу двух сеньоров и одну в пользу епископа; сверх этого, пришлось уплатить droit d'octroi. В Poids-de fer и в la Charité пришлось уплатить три пеажа и droit d'octroi; в Cosne—2 пеажа; в Немуре—пеаж в пользу герцога Орлеанского и в пользу каноников Орлеанского собора; в Moret—пеажи в пользу сеньера и церковного старосты, в Melun—три octrois. Здесь измученный Бланше бросил свое вино, считая, вероятно, испытание достаточным...

Вопрос о внутренних таможнях был впервые возбужден во Франции еще на Генеральных Штатах 1614 г. Позднее Кольбер пытался разрешить его радикальным образом, но не мог. Неккер вернулся к нему через 100 лет после Кольбера, когда общественное мнение Франции, в лице своих публицистов и экономистов, единодушно требовало уничтожения всех внутренних рогаток.

Посмотрим, что представляла Франция в таможенном отношении при старом режиме.

В территориальном отношении границы таможенных областей Франции не совпадали с границами главных областей соляного налога.

В таможенном отношении она разделялась на три больших области. Центр и север [2]) составляли область «пяти больших откупов» (des cinq grosses fermes), называвшуюся так потому, что сбор таможенных пошлин был здесь когда-то сдан 5 откупщикам.

Вторая область, почти равная по площади первой, обнимала весь юг Франции и называлась областью «чужеземных» провинций» (provinces reputées étrangères) [3]).

---

[1]) Nouvelles Ephémérides économiques publiées par l'abbé Baudeau. Кн. V. 1775. См. Stourm. Op. cit. p. 473—474.

[2]) Ile de France, Orléanais, Bourgogne, Berry, Poitou, Normandie, Picardie.

[3]) Сюда входили: Limousin, Auvergne, Lyonnais, Dauphiné, Provence, Languedoc, Armagnac, Bordelais, Saintonge, к ним же относились, точно оторванные островки, Бретань и Франш-Конте.

Наконец, третья область называлась provinces à l'instar de l'étranger effectif. В состав ее входили: Эльзас, Лотарингия и разбросанные, точно островки, Дюнкерк, Жене, Авиньон, Марсель и Байона.

Рассмотрим теперь на основании нашего документа, каков был таможенный режим в Дофинэ.

VI.

Провинция Дофинэ, по свидетельству нашего документа, принадлежала к числу тех, которые по отношению к королевским откупам (fermes du Roy) считались чужеземными, т.-е. она была избавлена от уплаты droit d'entrée и droit de sortie, введенных сентябрьским эдиктом 1664 г. Взамен здесь взимались пошлины на все, что ввозилось, вывозилось и провозилось.

Этих пошлин было 6: 1) пошлина таможни Валанса; 2) пошлина Лионской таможни в размере 2 су с ливра; 3) так называемая foraine в размере 3 или 5 су с ливра; 4) так называемый денье Сент-Андре и 3 су с ливра; 5) новая пошлина (nouveaux droits) и 6) пошлина в 4 су с ливра.

Изэ всех этих пошлин чисто местной, дофинэйской, была только пошлина таможни Валанса.

История происхождения Валансской таможни любопытна. Валансская таможня впервые была учреждена 10 мая 1595 года коннетаблем Монморанси. Затем, в 1611 году, она была уничтожена, а 24 дек. 1621 г. вновь восстановлена. Тогда же был установлен тариф для товаров, провозившихся через Дофинэ из стран Леванта, из Испании, Италии, а также из провинций Лангедока и Прованса на север и восток: в Лион, Форэ, Божолле, Бресс, Бургундию, Маконскую область, а также обратно.

Обложены были также все товары, вывозимые из самой провинции Дофинэ или ввозимые в нее, как в пункт конечного назначения. Одновременно с этим был учрежден ряд таможенных бюро на границах провинции.

Итак, по показанию нашего документа, Валансская таможня, одна из самых важных во всей Франции, вследствие географического положения Дофинэ, была учреждена отнюдь не в готические времена средневековья, а была созданием нового времени.

Любопытна дальнейшая история таможни. Штаты провинции Дофинэ, с одной стороны, а депутаты города Лиона с другой, жаловались на ущерб, который наносила эта таможня торговым интересам.

Правительство вняло этим представлениям и 11 мая 1624 года уничтожило Валансскую таможню, дав приэтом формальные обещания никогда и ни под каким предлогом ее более не восстанавливать [1]).

---

[1]) Mss. f. 26 verso. Но для возмещения убытков казны была повышена пошлина на соль, на 7 су с бочки для Дофинэ и на 8 су для Лионской области.

Однако, «недолго пользовалось Дофинэ и город Лион свободою торговли», с грустью говорит наш документ. Через 2 года таможня в Валансе была восстановлена под предлогом необходимости покрыть военные расходы. В 1626 г., когда это право сбора торговых пошлин было сдано по контракту откупщику Бертену, было постановлено, что пошлину уплачивают и все товары, провозимые по р. Роне вдоль берега Дофинэ.

Сначала самый тариф, принятый на этой таможне, держался в границах тарифа 1621 г. Но времена для откупщиков оказались плохие: один за другим они отказывались от контрактов, и правительство решило повысить пошлины (1640 г.). Через 10 лет таможенные ставки были снова повышены, причем было постановлено, что и не внесенные в тариф товары платят пошлину, пропорциональную их стоимости (1650 г.).

В 1651 г. тариф был еще раз пересмотрен, в 1659 г. дополнен, и этот тариф оставался в силе в первой трети XVIII века, к которому относится наш документ [1]). Некоторые товары были освобождены от уплаты пошлины, между прочим «король имел право беспошлинно провозить 2 тыс. мер хлеба вниз по течению для нужд флота» [2]).

Любопытны оценки товаров, les appréciations, которые производились время от времени правительством и считались обязательными при уплате пошлины. Первая оценка, о которой упоминает наш документ, была произведена в 1542 г. и дополнена в 1543 г.; в 1581 г. последовала новая оценка, значительно увеличившая цифры первой; наконец, в 1632 г. состоялась третья частичная оценка, которая оставалась в силе (за некоторыми частными изменениями), когда писался наш документ (1726 г.).

Редкость переоценок, о которой говорит наш документ, поразительна и необычайна, тем более, что в упоминаемую эпоху (XVI—XVIII в.) в Европе как раз происходила «революция цен». Без частых сравнительно переоценок решительно нельзя было обойтись, если желательно было избегнуть произвола со стороны таможенных служащих и злоупотреблений со стороны купцов.

Провинция Дофинэ в разное время частично откупалась от некоторых пошлин. Между прочим, она получила разрешение уплачивать ежегодно 7 тысяч ливров за растительные масла и мыла, изготовлявшиеся в самой провинции Дофинэ. Только 9 июля 1726 г. было объявлено, что и все заграничные масла и мыла освобождались от «добавочного» налога, вызывавшего недовольство и жалобы иностранных купцов.

Но оказалось, что заграничные масла и мыла должны были запираться на замок в складах откупщиков таможенных пошлин, а последние при продаже этого товара французским потребителям взимали сверх стоимости товара и этот добавочный налог. Таким обра-

[1]) Id. f. 28.

[2]) Id. f. 31, в силу 272 ст. bail Carlier 1726 г.

зом, по справедливому замечанию нашего документа, иностранные мыла и масла вовсе не были изъяты из-под действия общего закона; только тяжесть обложения была перенесена с иностранных производителей на французских потребителей [1]).

Следы присущей этой эпохе покровительственной политики мы видим и в Дофинэ. Так, шерстяные материи, выделывавшиеся в Лангедоке и провозимые через Дофинэ в Италию, платили пошлины: 6 ливров 5 су за квинтал на покрытие la foraine, 2 ливра 6 су 8 денье в счет сборов таможни в Валансе и 2 ливра в пользу Лионской таможни, если товары следовали по Роне через Лионскую таможню.

Король для поощрения вывоза французских фабрикатов в Италию, заменил все эти пошлины единой—и весьма ничтожной—в размере 30 су за квинтал [2]).

К сожалению, наш документ указывает только этот единственный случай облегчения и поощрения торговли.

Система же тормаза торговли и промышленности выступает на основании нашего документа в самом неприкрашенном виде.

VII.

В заключение бросим взгляд на тариф 1657 г., который действовал в Дофинэ к концу 20-х и началу 30-х годов XVIII века, в эпоху, когда написан наш документ.

Прежде всего, под страхом смертной казни [3]), было безусловно воспрещено вывозить рожь, пшеницу, овес и всякого рода овощи. Воспрещено также вывозить быков, коров, баранов, овец, телят, свиней и «других животных» под страхом конфискации товара и 3 тысяч ливров штрафа (пост. корол. сов. 24/VI 1707). Запрещен также вывоз леса всех сортов под страхом конфискации и штрафа в 10 тыс. ливров (пост. 18/VIII 1722 г.); запрещен вывоз кое-какого сырья, необходимого для текстильной промышленности, пеньки (23/VII 1722), шелка-сырца (9/VI 1720 г.), шелковой пряжи, годной для дальнейшей фабрикации (пост. 1725 г.).

Вывоз шерсти обложен пошлиной в 25 ливр. за квинтал, шерстяной пряжи—30 ливрами за квинтал.

Запрещен вывоз оружия и военных запасов всякого рода. Безусловно воспрещался вывоз вязальных станков (ревнивое утаивание технических секретов промышленности было, как известно, азбукою меркантилистической политики).

Что касается воспрещения ввоза, то прежде всего воспрещался ввоз всех бумажных материй, в частности, ситцев (зак. 1726 г.), далее ввоз английских сукон всех сортов (пост. 1721 г.), венецианских и иных зеркал (ордон. 1687 г.), наконец, ввоз табаку (17 окт. 1720 г.)

---

[1]) Mss. f. 49.

[2]) Id. f. 47.

[3]) Id. f. 75. Marchandises dont la sortie est deffendue à l'Etranger.

Здесь сделана оговорка: дозволяется продажа табаку, снабженного печатью откупщика провинции Дофинэ.

Что же касается внутренней торговли, т.-е. товаров, вывозимых из Дофинэ в другие провинции Франции и из других провинций Франции в Дофинэ, то здесь мы наблюдаем 8 категорий товаров. К первой относились товары, обложенные пошлиной в 7 ливров 2 су за квинтал.

Таковы главные данные этого тарифа. Сколько-нибудь обременительными для торговли являлись первые категории обложения. Тариф не мог сколько-нибудь серьезно затруднить торговые сношения Дофинэ с соседним Провансом или Лангедоком, но, конечно, при путешествии купца с товаром из Дофинэ куда-нибудь в центр или на север Франции (вспомним опыт Бланше с его бочками вина!) цены должны были серьезны возрасти к тому моменту, когда товар, наконец, попадал на рынок.

Мы не могли исчерпать богатого содержания нашего документа. Но и из того, что сказано, ценность и исключительный интерес, представляемый фолиантом,—случайно уцелевшим и случайно попавшим к нам в руки—ясна. Он вскрывает перед нами уголок провинциальной Франции, позволяет во всех деталях рассмотреть бесконечную сложность и запутанность ее административно-фискальной системы. Изменить радикальным образом эту систему не мог даже гений Кольбера. Ненавистная откупная система в момент составления нашего документа расцвела махровым цветом. Последний откупной контракт, на который ссылается наша рукопись,—знаменитый Bail Carlier 1726 г., по поводу которого в ходившем по рукам мнимом завещании кардинала Флери Людовику XV было потрачено много остроумия...

С. Данини.

Самооправдания Людендорфа.

Личность Людендорфа рельефно обрисовывается им же самим в вышедшем в текущем году втором его труде: «Ведение войны и политика». Свой новый труд, в котором он ставит своей задачей проанализировать ту тесную связь, которая должна существовать между ведением войны (т.-е. стратегией в обширном смысле слова) и политикой, он начинает словами: «Я никогда не противопоставлял одно другому, т.-е. политику ведению войны, так как в действительности такого противопоставления быть не может, или, по крайней мере, не должно быть».

Указав на Клаузевица, который в свое время установил те взаимоотношения, которые должны быть между стратегией и политикой, Людендорф подчеркивает, что этот военный философ совершенно не учел ту связь, то влияние, которое оказывают внутренняя политика и экономические условия на образ и способ ведения войны. Он бросает серьезный упрек Клаузевицу потому, что эти две данные в достаточной мере говорили за себя уже и в XVIII столетии и в начале XIX-го. С присущим ему самомнением, Людендорф заявляет, что он ставит своей задачей остановиться на том, на что не обратил внимания прусский военный философ, остановиться, базируясь на данных, выдвинутых не только империалистической войной, но и предшествующими ей периодами.

Прежде всего, он категорически заявляет, что германское правительство вместе со всем народом не отдавало себе никакого отчета — как в период подготовки, так и во время войны — в той строгой зависимости, которая должна существовать между политикой и стратегией, при чем под политикой нужно подразумевать не только внешнюю, но и внутреннюю.

Во время войны, по его мнению, лица, стоявшие у кормила военной власти, как, напр., и Мольтке, и Фалькенгайн, трактовали свои обязанности с узко-военной точки зрения. Он же, Людендорф, наоборот, отчетливо понимал, что победа может быть достигнута только при том условии, если политика правительства будет находиться в соответствии или даже согласоваться с требованиями высшего командования. Нужно сказать, что тот же взгляд Людендорф развивал и в своих воспоминаниях, т.-е. в первом своем труде.

Далее он утверждает, что в период, предшествующий войне, Германия, благодаря неправильному направлению своей внутренней

политики, направлению, которое совершенно не отвечало военным соображениям, допустила ряд ошибок в развитии своего военного могущества.

Это дает ему право обвинять старое германское правительство в недостаточной подготовленности к войне. Это утверждение со стороны Людендорфа странно слышать не только нам, русским, которые находились прямо под каким-то особым гипнозом особой, долголетней подготовленности к войне, но и всему миру, кричавшему о бронированном кулаке Гогенцоллернов, кулаке, смущавшем, якобы мирное развитие культурной жизни народов. Людендорф отрицает, что Германия находилась в полной готовности ко всякого рода случайностям, утверждая, что правительство могло это сделать гораздо лучше, чем сделало.

В Германии перед войной, по его мнению, самое пагубное влияние на все оказывала социал-демократия, породившая увлечение идеями интернационала и пацифизма, виновником которого он считает прежде всего канцлера Бетмана. Оригинально, что в этом он видит всю сущность внутренней политики, которая не дала возможности правительству осуществить проекты военных мероприятий большого размаха. Он говорит, что правительство требовало только то, что оно считало «возможным внести в рейхстаг, но не то, что было необходимым».

Поступая таким образом, правительство не усиливало, а наоборот, компрометтировало нормальное развитие военной силы империи.

В 1913 — 14 г.г. правительство потворствовало общественному мнению вместо того, чтобы поддержать моральные силы нации указанием на грядущие опасности. Характерно, что, по его мнению, во Франции дело обстояло совершенно иначе, и, напр., Жорес, принадлежа ко второму интернационалу, т.-е. тому, к которому принадлежала и германская социал-демократия, выказал себя гораздо большим патриотом, чем последняя. Вот почему французские партии были одушевлены желанием войны, а это-то имело результатом, что внутренняя политика нисколько не затрудняла исполнение задач высшему командованию. Я не буду останавливаться, насколько прав в этом Людендорф, ибо современная пресса наша и литература в достаточной мере освещают вопрос, как о втором интернационале, так и о примыкающих к нему социалистических партиях. Приводя слова Людендорфа, я преследую лишь цель дать ему самому всемерно осветить свое политическое credo.

Большой Генеральный Штаб, перед войной, проникнутый якобы идеями экономического могущества, на самом деле, по мнению Людендорфа, ничего не сделал.

Прежде всего союз Германии с Австро-Венгрией был союзом исключительно политическим, в то время, как Антанта была союзом и военным. Между Германией и Австро-Венгрией не было даже выработано общего плана действий, так как

Германский Генеральный Штаб опасался, что в Вене не будет охранена секретность военных соображений.

Оставляя это на ответственности Людендорфа, я положительно с трудом заставляю себя верить этому его заявлению, так как фон-Куль, хотя и вскользь, но определенно говорит о предположениях, существовавших и в плане Шлиффена, и в плане Мольтке о действиях против России.

С началом военных действий «высшее командование совершенно не поддерживалось политическими властями, а с другой стороны политика правительства не поддерживалась командованием».

Неудачу 1914 года он объясняет тем, что высшее военное управление оказалось не на высоте своего назначения.

Бесталанность Мольтке хорошо уже известна, но Людендорф это открыто ныне подтверждает, что «не было управления в сражениях ни до Марны, ни во время ее».

Вторая Главная Квартира во главе с Фалькенгайном «не сумела заставить канцлера служить ведению войны всеми средствами».

С большим сожалением Людендорф заявляет, что третья Главная Квартира приступила к своим обязанностям только 29 августа 1916 г.

Нужно иметь в виду, что эту третью Главную Квартиру составляли Гинденбург и... сам Людендорф. Сожаление, высказываемое им, он обусловливает тем, что война к этому времени приняла настолько затяжной характер, истощая нерационально средства страны, что в сущности уже было упущено благоприятное время для того, чтобы политика могла сказать военному командованию: «Выиграй войну, остальное—мое дело». В этом-то последнем было грубое непонимание того, что ведение войны и политика вовсе не таких два государственных дела, управление которыми могло бы держаться без взаимной поддержки и помощи. Людендорф опять повторяет, что вся политика в целом должна быть в услужении ведению войны, удовлетворяя все требования военного командования. Взгляды Людендорфа и тут лишний раз убеждают нас, что это был далеко не государственный человек, так как правильнее взгляд совершенно обратный, т.-е. стратегия должна сообразоваться с тем, что могут дать все средства государства.

На этой почве возникли прения между Главной Квартирой и Людендорфом.

«Главная Квартира», говорит Людендорф, «должна была заняться теми капитальной важности вопросами, которые до сих пор ей были чужды».

Она считала необходимым вмешиваться во внутреннюю политику во всем, что касалось поддержания морального состояния нации, борьбы с пацифистскими тенденциями политических партий, с укрывательством дезертиров и потворством уклоняющимся от службы, с противодействием к изданию законов о вспомогательной службе, не останавливаясь перед соображениями избирательного характера. Главная Квартира должна была согласовать экономическую политику с ведением войны.

Канцлеры, которые были у власти с 1916 по 1918 год, обязаны были обдумать все вопросы снабжения и финансового характера, а между тем они терпели барышников и спекулянтов, взвинчивавших цены на предметы первой необходимости до анормальных размеров, а это не могло не отражаться на ведении операций. Здесь Людендорф, еще более восхваляет себя заявлением, что с целью избегнуть экономической разрухи, чтобы сломить блокаду и причинить наибольший вред союзникам, была одна только военная политика—это подводная война, которой правительство (до него?) не знало и не желало применять. В общем, он сам не замечает, как с присущим ему пафосом старается говорить о том, что только третья Главная Квартира была на высоте своего назначения.

Он, Людендорф, именно и старался добиться того, чтобы ведение войны, дипломатия и экономика шли по пути достижения одной и той же цели, но в своих усилиях он не встречал поддержки, так как правительство не предоставляло в распоряжение высшего командования необходимых средств и не отдавало себе отчета в истинном характере войны, причинив неисчислимый вред ведению операций. Конечно, член дуумвирата, т.-е. Людендорф, прав, что каждое правительство, раз оно решило силою оружия разрешить ту или другую цель, должно все предоставить стратегу, но и стратег должен быть настолько знаком со всеми рессурсами своей страны, чтобы не требовать от нее порой и невозможного.

Поражение Германии в 1918 году он целиком относит на тех, «кто работал во время мира над ослаблением Германии». Под таковыми Людендорф разумеет политиканов, виновных в военной ее капитуляции. Весьма характерно, что он совершенно умалчивает о чисто-военных причинах, заставивших Германию пойти на Версальский мир.

Стоит прочесть «документы Главной Квартиры и об ее роли, которую она играла с 1916 по 1918 г.», собранные Людендорфом, чтобы убедиться, что Германия была разбита до революции.

Ныне, по его мнению, нужно, как и после Тильзита, обновить страну. В этом обновлении должен сыграть выдающуюся роль «дух старой армии, который должен быть зерном, из которого вырастает это возрождение».

Повторяя слова Мольтке, Людендорф говорит, что борьба есть естественное явление как между отдельными индивидами, так и между государствами, и что это борьба есть составная часть установленного «божественного порядка». Трудно, конечно, оспаривать подобный взгляд при присущей Людендорфу идеологии! Вслед за этим он следует взглядам Клаузевица, что война будет всегда решительным средством политики, т. к. ничем другим германский народ не может вернуть своей независимости. Однако, проповедуя идеи реванша, он предусмотрительно замечает, «для нас сейчас—это невозможно, так как Германия разоружена, а Франция—повелитель всей центральной

Европы, основывая свое могущество на самой сильной в мире армии. Для нас возрождение—это вопрос довольно продолжительной работы».

Подводя итоги сказанному самим же Людендорфом, нельзя не придти к заключению, что во всяком случае он представляет из себя незаурядную личность. Повидимому, он был обуреваем стремлением соединить в себе и Мольтке, и Бисмарка, т.-е. и полномочного полководца, и руководителя всею политикой государства.

Людендорф не говорит о том, с какой бесцеремонностью добился отставки двух канцлеров за то, что они были несогласны или не успевали внушить правительству его диктаторские взгляды, чтобы заставить замолчать «болтунов парламента».

Людендорф в обоих своих трудах обходит молчанием приемы ведения войны, которые возбуждали против Германии цивилизованных людей всего мира.

Гинденбург, по мнению Бюа, не выдерживает никакого сравнения ни с Цезарем, ни с Фридрихом, ни с Наполеоном. В области стратегического искусства Гинденбург воспроизводил лишь идеи, которые царили в Германии.

На западном фронте пресловутая доктрина Б. Г. Ш. не имела никакой цены, ибо там не было флангов. С августа 1916 г. по 1918 год Гиндербург имел достаточно времени, чтобы обдумать план действий, однако, удар его в марте и апреле на англичан не удался, второй удар уже на французов опять не удался. Финальная идея о «всеобщем ополчении» не нашла отклика в Германии, так как народ изверился в творчестве дуумвирата, т.-е. Гинденбурга и Людендорфа. Генерал Бюа полагает, что никакой печати гения в стратегии Гинденбурга, а тем более Людендорфа, найти нельзя. Генерал Бюа полагает, что Гинденбург, как и все ученики Берлинской военной академии, смотрел на внутреннее положение государства глазами французской аристократии эпохи Людовика XIV, т.-е. что офицер должен быть связан с королем, как вассал со своим сюзереном. К монарху Гинденбург был преисполнен почтения, уважения и преклонения. В его понимании германская армия обязана всеми своими успехами исключительно Гогенцоллернам и особенно Вильгельму. Профессиональные стратеги Германии не понимали, что страна, руководимая Вильгельмом, может не выдержать воинствующих его начинаний. Приводя это мнение Бюа, я не могу с ним вполне согласиться, так как не кто другой, как фельдмаршал Мольтке, предупреждал об опасности воинственного стремления Германии, предсказывая, что искра, брошенная в тлеющий европейский костер, вызовет войну, продолжительность которой трудно предугадать, но которая может кончиться гибелью империи.

Этого не могли не знать дуумвиры Гинденбург и Людендорф, но профессиональная гордость и тщеславие второго заставляли первого смотреть на все глазами неудавшегося Мольтке.

П. Изместьев.

Мемуары А. П. Извольского

(бывшего русского министра иностранных дел и посла во Франции[1]).

Это несколько длинное название записок А. П. Извольского предрасполагает читателя думать, что он будет знакомиться с компетентным свидетельством участника и внимательного наблюдателя событий международной политики интереснейшей эпохи, охватывающей собою больше, чем сорокалетний период (1875—1917), в который А. П. Извольский последовательно проходил ступени своей дипломатической карьеры, начиная с должности чиновника особых поручений при канцелярии министра иностранных дел кн. Горчакова, выполняя позже обязанности министра иностранных дел (1906—1910 г.г.) и кончая посольским постом в Париже (1910—1917 г.г).

И действительно, по свидетельству переводчика записок с французского на английский язык, А. П. Извольский намечал обширный план для своих воспоминаний, который должен был распределить мемуарный материал по трем томам: описание внутренних событий в России в эпоху 1905—1910 года—для первого тома; изложение неопубликованных событий о взаимоотношениях между Россией и Австрией, в связи с аннексией Боснии и Герцоговины, и о заключении тройственного соглашения—для второго тома; третий том должен был охватить период времени, начиная с балканских войн и кончая мировой войной, с выяснением причин, вызвавших ее.

Болезнь и смерть (август 1919 г.) помешали автору выполнить задуманную им работу целиком, но первый том, хотя и не вполне завершенный, читается с большим интересом.

Он включает в себя, главным образом, описание бурного периода внутренней жизни России (1905—1910 г.г.) и только одна глава его из девяти непосредственно касается описания событий международной пол тики, связанных с эпизодом заключения между Россией и Германией секретного договора в Биорке летом 1905 г.

По существу А. П. Извольский не вносит ничего нового в описание этого эпизода, исключая нескольких еще неопубликованных в русской печати телеграмм Вильгельма II к Николаю II, в которых герман-

[1]) The Memoirs of Alexander Iswolsky, formerly Russian Minister of Foreign Affairs and Ambassador to France—английское издание авторизованного перевода с французского Шарля Луи Сигера. London, стр. 288. — В русском переводе мемуары А. П. Извольского выпущены издательством «Петроград».

ский император подготовляет почву для окончательного морального давления на Николая II, в целях заключения договора.

Но и эти телеграммы, и поведение Николая II, как до заключения договора, так и после его заключения, дают весьма яркую характеристику обеих «высоких договаривающихся сторон».

Импульсивный, но вместе с тем способный к методическому воздействию, Вильгельм II упрямо и настойчиво идет к своей цели, подчиняя в конце концов нерешительного и слабого Николая II своему безраздельному влиянию. На этом пути Вильгельм II не стесняется в выборе средств: он пользуется всяким удобным случаем, чтобы подчеркнуть враждебное отношение Англии к России, а если такого случая не оказывается, он не брезгает прибегать к вымышленным фактам, как бы удостоверяющим враждебность Англии.

Но, если договор и не направлялся против Франции, то во всяком случае именно IV статья договора, на которую ссылается А. П. Извольский, предполагает вхождение его в силу помимо согласия Франции, и такая формулировка этой статьи, конечно, сильно укрепляет позицию противников А. П. Извольского (графа Витте и английского журналиста д-ра Дилона), с которыми полемизирует А. П. Извольский, доказывая лойальность позиции Николая II в этом деле.

Судя по рассказу А. П. Извольского о решительном моменте подписания договора, можно предполагать, что Николай II не сумел проявить в этом случае достаточной моральной устойчивости и твердости характера перед упорством и настойчивостью Вильгельма II.

Подписание договора состоялось всего за несколько минут до отъезда Вильгельма II, на борту яхты «Гогенцоллерн».

«Когда оба государя остались одни,—рассказывает А. П. Извольский:—они поставили свои подписи в конце текста, заранее заготовленного кайзером. Последний настаивал, чтобы документ был контрассигнован. На этот случай он взял с собой в путешествие одного из высших чинов министерства иностранных дел фон-Чиршки, который впоследствии был министром иностранных дел и подпись которого должна было быть поставлена рядом с подписью его императора.

«В царской свите не оказалось никого равного по рангу и по должности этому чиновнику, в виду чего император Вильгельм настоял на привлечении к подписанию договора адмирала Бирилева, русского морского министра, который находился на борту «Полярной Звезды», в качестве гостя. Старый моряк, совершенно некомпетентный в вопросах иностранной политики, был призван в последний момент и без колебания поставил свою подпись под документом, даже не познакомившись с его содержанием.

«Одно из лиц царской свиты,—продолжает Извольский,—рассказывало мне потом, что в то время, когда адмирал Бирилев подписывал свое имя в конце страницы, верхняя ее часть была закрыта рукой императора. Когда впоследствии адмирал был запрошен графом Ламсдорфом по этому поводу, он заявил, что если бы ему снова при-

шлось оказаться в том же самом положении, он сделал бы то же самое, считая своим долгом морского офицера повиноваться приказу своего государя».

Николай II, проявив бесхарактерность в факте подписания договора, не решался сознаться в ней, и только через две недели сообщил о случившемся гр. Ламсдорфу.

И сейчас же, подчиняясь влиянию уже других людей, он дает carte blanche графу Ламсдорфу предпринять все необходимые шаги, чтобы исправить последствия только что совершенного им поступка.

Граф Ламсдорф, вместе с графом Витте, усилиям которых А. П. Извольский дает очень высокую оценку, сделали все возможное, чтобы исправить ошибку Николая II, и только после долгих хлопот им удалось достичь благоприятных результатов, несмотря на упорство Вильгельма II, который всячески старался удержать Николая II на пути, избранном им в Биорке. Помимо новых обвинений Англии во враждебной позиции ее относительно России и упреков Франции в нелойальности к своему союзнику, которая, по мнению Вильгельма II, ясно сказалась в заключении англо-французского entente cordiale, германский император пытался оказать воздействие на мистическую настроенность Николая II.

Так, уже после всестороннего выяснения инцидента у Доггер-Банк, когда ошибка адмирала Рожественского была совершенно доказана, Вильгельм II в своей телеграмме к Николаю II очень прозрачно намекает, что в создании инцидента несомненно повинна Англия, которая «содействовала появлению японских истребителей в европейских водах».

Любопытный и малоизвестный штрих дает А. П. Извольский к истории этого инцидента у Доггер-Банк.

Он сообщает, что одним из виновником этого инцидента является известный русский охранник Ландезен-Гартинг, который был одно время начальником русской тайной полиции в Париже, и провокаторская роль которого была позже разоблачена Бурцевым.

В качестве русского посланника в Копенгагене А. П. Извольский первый был осведомлен о том, что случилось в Северном море. За несколько дней до инцидента он посетил флот во время его прохода через Большой Бельт и имел случай наблюдать то нервное возбуждение, которое владело адмиралом Рожественским и многими офицерами эскадры, в виду полученного ими сообщения о том, что в европейских водах появились японские истребители.

«... Это сообщение» — говорит А. П. Извольский — «исходило от некоего Гартинга, настоящее имя которого было Ландезен... Он несколько раз приезжал ко мне в Копенгаген и сообщал о появлении японских истребителей в европейских водах. Относясь к нему с недоверием, я навел справки своими собственными средствами и вскоре получил полную уверенность в лживости его информации, единственной целью которой было получить возможно большее количество де-

нег от русского правительства. Я счел своим долгом осведомить об этом кого следует в России, но мое донесение было оставлено без последствий».

Информация Гартинга была сообщена адмиралу Рожественскому и создала то паническое настроение в командном составе эскадры, которое предопределяло возможность всякого рода панических действий.

Возвращаясь к истории заключения секретного договора в Биорке, следует отметить, что А. П. Извольский посвятил эту главу главным образом защите Николая II от нападок лиц, обвиняющих его в измене Франции.

Приводя текст секретного договора [1]), А. П. Извольский стремится доказать ссылками на ст. IV договора, что было бы абсурдом предполагать возможность приглашения Франции подписать договор, направленный против нее самой.

... «Мы соединили свои руки» — телеграфировал Вильгельм II бывшему царю [2])—«и подписали договор перед лицом бога, который слышал наши обеты».

Но Николай II был уже в новой обстановке, среди новых людей, непосредственное влияние которых действовало на него сильнее, чем влияние издалека, со стороны Вильгельма, которое, вообще говоря, было громадно.

По свидетельству А. П. Извольского, Николай II сам отдавал себе ясный отчет в этой своей слабости перед настойчивостью Вильгельма II, но не мог найти в себе твердости противостоять ей.

«Много раз»—пишет А. П. Извольский—«я имел случай наблюдать, с какой нервозностью ожидал царь встречи с германским императором. Он испытывал род страха, который не покидал его вплоть до окончания свидания».

И во всех последующих главах своих записок А. П. Извольский уделяет много внимания этой стороне характера Николая II, которая оказалась, по мнению автора записок, спасительной для монархии в

---

[1]) Полный текст этого договора следующий:

«Их императорские величества император всероссийский, с одной стороны, и император германский, с другой, в целях обеспечения мира в Европе согласились относительно следующих пунктов нижеизложенного договора, определяющего оборонительный союз:

Статья I. Если какая-либо европейская держава нападет на одну из двух империй, союзная сторона обязуется помочь своему союзнику всеми своими сухопутными и морскими силами.

Статья II. Высокие договаривающиеся стороны соглашаются не заключать сепаратного мира с кем-либо из противников.

Статья III. Настоящий договор входит в силу с момента заключение мира между Россией и Японией и может быть расторгнут только после предупреждения за год.

Статья IV. После того, как настоящий договор войдет в силу, Россия предпринимает необходимые шаги, чтобы осведомить о его содержании Францию и пригласить ее подписаться под ним, в качестве союзника. Подписано Николай. Вильгельм».

[2]) Телеграмма Вильгельма II Николаю II от 12/х 1905 г.

1905 г., когда эта его слабость побудила бывшего царя пойти на уступки, и роковой для него самого, его семьи и династии, когда та же слабость характера всецело отдала его в руки ультра-консервативной партии, безрассудная политика которой, по мнению А. П. Извольского, привела монархию к гибели.

Описанию деятельности этой партии, или, вернее, различных групп, объединенных общей ненавистью против прогрессивных элементов страны того времени, А. П. Извольский посвящает много страниц, проникнутых горечью по адресу наиболее видных реакционных деятелей прошлой России.

А. П. Извольский сам признает, что он не считает себя компетентным в вопросах внутренней политики, но даже с этой оговоркой, которую нужно признать совершенно правильной, его воспоминания, относящиеся к описанию эпохи 1905—1910 годов, заслуживают большого интереса.

По своим политическим убеждениям А. П. Извольский принадлежал к умеренным либералам, а по своему положению — к высши слоям правящей бюрократии, что окрашивает все его воспоминания в своеобразный чиновно-либеральный цвет.

В поле его политического кругозора народ отсуствует, как действительная политическая сила; народ, в представлении А. П. Извольского, является по преимуществу материалом для экспериментов со стороны правящих слоев, особенно дворянства.

Это последнее, по мнению А. П. Извольского, являлось настоящей «солью земли», единственно способной руководить судьбами русского иарода.

В дворянстве он отличал две непримиримые группы: чиновное дворянство—бюрократию и местное дворянство, из которой рекрутировались земские и вообще либеральные деятели и к которой он причислял себя.

И в представлении А. П. Извольского вся суть политических событий описываемой им эпохи сводилась к борьбе этих двух групп.

На одной стороне «баррикады» стояла чиновная бюрократия, сильная традициями власти и обладанием строго централизованного бюрократического аппарата, на другой — поместное дворянство, разбросанное по всей стране, имеющее свою опору в земствах, общественный опыт которого шел на смену устаревшим навыкам управления бюрократических кругов.

Между этими борющимися сторонами стоял царь, влияние на которого оспаривалось бюрократией и поместным дворянством.

Бок-о-бок с последним шла городская интеллигенция (кадеты), которая, благодаря своей неопытности и отсутствию политического воспитания, только мешала умеренно либеральным кругам перетянуть на свою сторону царя и своим безрассудным поведением портила все хитрозадуманные политические комбинации представителей поместного дворянства.

А дальше шли какие-то трудовики, какие-то социалисты, которые, не имея никакой почвы в стране, занимались беззастенчивой демагогией.

Были еще крестьяне-беспартийные, но они совершенно не казались А. П. Извольскому подготовленными к политической работе и шли за теми, кто им больше или выгоднее обещал земли.

Таково, по мнению А. П. Извольского, было положение в то время в стране и в Думе первого созыва, когда он сам, по странной иронии судьбы, оказался не вместе со своими политическими друзьями, умеренными либералами, а в лагере врагов, членом бюрократического кабинета, возглавляемого ярым реакционером Горемыкиным.

Убийственную характеристику этого кабинета дает А. П. Извольский, описывая заседания совета министров.

...«Горемыкин председательствовал с видом крайне скучающего человека», — рассказывает А. П. Извольский:—«с трудом удостаивая ответом критические замечания своих коллег, и всегда заканчивал дебаты заявлением, что он представит на решение императора свое собственное мнение. Если кто-нибудь обращал его внимание на тревожное положение в Думе и на плохое впечатление, которое это должно произвести в стране, он отвечал, что все это «очень наивно» и цитировал ультра-реакционные газеты, субсидируемые им самим, в доказательство того, что все население страны предано монархической власти и поэтому он не дает себе труда обращать внимание на то, что происходит в Таврическом дворце. Министры крайнего реакционного направления, кн. Ширинский-Шихматов и Стишинский, хранили обиженный вид и, высказывая какое-либо мнение по поводу дел, никогда не упускали случая прибавить, что никакая правительственная деятельность невозможна раньше восстановления самодержавной власти. Шванебах, государственный контролер, проводил время в яростных нападках на гр. Витте и на предшествующий кабинет, никогда не забывая после каждого заседания посетить австрийское посольство где он сообщал детали дебатов своему другу барону Эренталю, и на следующее утро его сообщение становилось известным Вене и, несомненно, Берлину. Адмирал Бирилев, будучи совершенно глухим, не пытался даже следить за дебатами; генерал Редигер никогда не проронил ни одного слова, Столыпин и Коковцов были единственными членами кабинета, которые старались придать серьезный и достойный характер дебатам, ясно и компетентно докладывая дела своих ведомств, но к ним едва прислушивались остальные члены кабинета. Что касается меня, я чувствовал, что мои усилия устранить пропасть между правительством и Думой осуждены на неудачу и способны только составить мне, в глазах Горемыкина и его друзей, репутацию опасного либерала, которого следует обуздать, чем скорее тем лучше».

Эта бюрократическая кунсткамера, разбавленная не только государственным контролером, но и государственным изменником Шванебахом, который сообщал государственные тайны иностранному по-

сольству, не могла внушать доверия не только Думе, но и самому А. П. Извольскому. Но связанный по рукам и ногам своим невольным «сотрудничеством» с кабинетом Горемыкина, А. П. Извольский, «недостаточно компетентный в вопросах внутренней политики», не порвал своих отношений с кабинетом, не ушел от него к своим политическим друзьям, умеренным либералам. Он считал, что он должен, оставаясь на своем посту, сделать все, чтобы привлечь на свою сторону симпатии Николая II, что казалось ему весьма значительным и действительным для установления «конституционного порядка» в России.

И вот А. П. Извольский вместе с П. А. Столыпиным задумывают план «спасения» России.

Они созывают некоторых членов Думы и Государственного Совета и вместе с ними намечают содержание доклада царю о положении вещей в стране и в Думе, передачу которого берет на себя А. П. Извольский.

Написать доклад взялся октябрист Львов (однофамилец главы первого временного правительства).

В этом докладе, характеризуя кабинет Горемыкина, как ультрабюрократический и неработоспособный, и указывая на опасность положения, создавшегося благодаря этому в отношениях правительства с Думой и страной, авторы доклада указывают царю на необходимость создать новый кабинет, который может спасти положение.

По мысли авторов доклада, этот кабинет должен был носить смешанный характер, т.-е. составляться из представителей Думы и умеренно-либеральных членов кабинета Горемыкина. Во главе нового кабинета предполагалось поставить председателя Государственной Думы Муромцева или Шипова, известного в то время земского деятеля, с включением в кабинет вождя кадетской партии П. Н. Милюкова.

Царь видимо благосклонно принял доклад А. П. Извольского и дал ему и Столыпину поручение начать переговоры о формировании нового кабинета с думскими деятелями и с либерально настроенными членами Государственного Совета. Но эти переговоры не увенчались успехом не только потому, что думцы оказались несговорчивыми, но также и потому, что Горемыкин и его группа предупредили окончание переговоров путем контр-маневра.

Горемыкин вызвал резкое столкновение правительства с Думой, в связи с дебатами по аграрному вопросу и представив царю поведение Думы, как явно революционное, добился ее роспуска.

Вот как описывает А. П. Извольский последнее заседание совета министров перед роспуском Думы:

....«Ожидая возвращения Горемыкина из Царского Села, совет министров обсуждал мелкие дела, когда, наконец, к полночи, мы услышали звонок, возвещавший о прибытии председателя совета министров. И тотчас мы увидели в раме двери его фигуру типичного бюрократа. Афишируя свои придворные манеры и стоя на пороге, он обратился

к нам по-французски со следующей фразой, которую он несомненно заботливо подготовил на обратном пути из Петергофа: «Eh bien, messieurs, je vous dirai comme Madame de Sévigné apprenant à la fille le mariage secret de Louis XIV: «Je vous le donne en cent, je vous le donne en mille, devinez ce qui se passe?». И позабавившись несколько секунд нашим недоумением, Горемыкин заявил, что он имеет в своем портфеле указ о роспуске, подписанный императором, но в то же самое время его величество соблаговолил освободить Горемыкина от обязанностей председателя совета министров, с назначением на этот пост П. А. Столыпина».

По свидетельству А. П. Извольского, решение царя не только распустить Думу, но и заменить Горемыкина Столыпиным явилось для них полною неожиданностью и было сделано по личной инициативе царя.

Здесь следует отметить категорическое указание А. П. Извольского, что царь действовал в данном случае самостоятельно; распространенное мнение о том, что роспуск Думы был решен Николаем II под влиянием не только Горемыкина, но и неудачи переговоров которые велись дворцовым комендантом Треповым с кадетами о создании чисто кадетского кабинета,—столь же категорически опровергается А. П. Извольским.

Он свидетельствует, что такие переговоры действительно имели место, но что они были предприняты по личной инициативе Трепова и без согласия Николая II, причем целью Трепова являлось создание чисто кадетского министерства, с тем, чтобы привести его к конфликту с царем и, воспользовавшись этим, объявить военную диктатуру, арестовать кадетских министров, упразднить самую «конституцию» вместе с Думой и вернуться к полному торжеству самодержавного режима.

А. П. Извольский добавляет даже, что как только Николай II узнал о переговорах Трепова с кадетами, он запретил продолжать их и что единственными лицами, уполномоченными царем для переговоров, были он, Извольский и Столыпин.

Принимая свое назначение на пост председателя совета министров, П. А. Столыпин поставил условием согласие царя на привлечение в новый кабинет так называемых общественных деятелей, и А. П. Извольский свидетельствует, что в это время Столыпин искренне придерживался умеренно-либеральной программы. Переговоры с кадетами и представителями других либеральных партий продолжались, но так и не получили успешного завершения, в виду боязни либералов связать свою судьбу с судьбой, хотя бы обновленного, но все же бюрократического кабинета.

Переговоры закончились ничем, и Столыпин был вынужден, по свидетельству А. П. Извольского, взвалить на свои плечи громадную работу по подготовке различных реформ, которые частью проводились в порядке пресловутой 87 статьи основных законов, частью должны были быть представлены на рассмотрение Думы второго созыва.

Известно, что вышло из этих «реформ», и А. П. Извольский должен был сам признать, что Столыпин уклонился от намеченного ими вместе пути, провозгласив лозунг: «Сначала успокоение, потом реформы», но интересна та обстановка, в которой приходилось работать в ту пору министрам. Он указывает, что Столыпину приходилось преодолевать не только сопротивление извне, справа и слева, но и внутри собственного кабинета, в котором, как наследие от Горемыкина, оставались еще такие крупные реакционные фигуры, как министр юстиции Щегловитов и др.

В виду этого самому Столыпину и небольшому кругу лиц, работавшему с ним вместе, в том числе и А. П. Извольскому, приходилось работать целыми днями и часто ночами, так что автору записок приходилось в течение нескольких месяцев спать четыре-пять часов в сутки.

Кроме того атмосфера, их окружавшая, становилась еще более напряженной, благодаря террористическим выступлениям, направленным против отдельных членов кабинета, причем полиция, желая показать свою осведомленность, время от времени предупреждала того или иного министра о готовящемся на него покушении, даже тогда, когда в действительности никто и не думал покушаться.

...«Я сам был предупрежден полицией» — рассказывает А. П. Извольский—«о готовящемся на меня покушении, которое должна была произвести революционерка, известная под кличкой «принцесса». И хотя я совершенно правильно думал, что это вздор, тем не менее я должен был предпринять меры, чтобы вести свои дела по министерству с расчетом не подвергать их перерыву в случае моего исчезновения. Поэтому в моем рабочем столике всегда лежал запечатанный конверт, содержащий все необходимые инструкции, способные вести моего преемника в курс дел по министерству без всякого промедления».

К чести Извольского нужно сказать, что он не переоценивал достоинств русской охранки и предпочитал не пользоваться ее услугами, полагаясь на свою «счастливую звезду».

По отношению к террористам у него нет злобно-презрительного отношения; наоборот, он отдает должное их мужеству и беззаветной преданности тому делу, ради успеха которого они жертвовали жизнью.

Такой несколько неожиданный спокойный тон А. П. Извольского по отношению даже к таким темам, как терроризм, выгодно отличает его записки и во всех других случаях.

Он спокойно и внимательно вглядывается в прошлое, и в меру своего понимания событий и своих политических воззрений, спокойно оценивает их и почти бесстрастно рассказывает о днях минувших.

Вот, например, фигура Витте, человека, к которому А. П. Извольский имел все основания питать чувство недоброжелательности, поскольку и Витте платил ему тем же.

Но и здесь А. П. Извольский остается корректным, спокойным и нелицеприятным наблюдателем и рассказчиком.

Говоря о несимпатичных сторонах этой крупнейшей политической фигуры, А. П. Извольский старательно избегает давать им резкие оценки и в конце концов, подводя итоги его характеристике, Извольский констатирует:

... «Мне кажется, что министр, который имеет на своем счету три дела: монетную реформу, Портсмутский договор и конституционную хартию 1905 г.—заслуживает быть поставленным наряду с величайшими государственными деятелями не только России, но и всего мира».

Единственное, что А. П. Извольский не может простить Витте, это то, что к концу своей жизни он прибег к помощи Распутина, чтобы попытаться вернуть к себе расположение царя.

Столь же корректен А. П. Извольский по отношению к бывшей царице.

Он, несомненно, в глубине души, строго осуждает ее и за плохое влияние на Николая II, в наличности которого он был убежден, и в особенности за распутинскую эпопею, связанную с именем царицы, но и здесь он избегает резких характеристик.

Страницы главы, посвященной характеристике Николая II, проникнуты снисходительностью и жалостью к этому человеку, которого А. П. Извольский называет: «мой несчастный государь». Но, несмотря на это явное предрасположение оправдать или сгладить отрицательные черты бывшего царя, А. П. Извольский остается строгим и безупречным судьей, когда он касается не самой личности Николая II, а его политической деятельности.

Характеристики отдельных реакционных фигур, вроде Победоносцева, которого он называет не иначе, как «зловещей фигурой», дают ясное представление о людях и нравах высших бюрократических и придворных кругов того времени.

В этом отношении особенно любопытны те страницы, которые посвящены описанию придворной жизни начала 900-х годов, когда царь, двор и высшие чиновники занимались маскарадами, стилизуя их в тонах XVII века, на которых Николай II выступал в роли царя Алексея Михайловича, а Александра Федоровна в роли царицы Натальи.

Эти забавы иногда выходили за пределы личной жизни бывшего царя и практиковались даже в сношениях с официальными лицами. Так, напр., министр внутренних дел Сипягин имел комнату в своей казенной квартире в Петербурге, которая была декорирована под стиль старых царских палат в Кремле. И во время посещения Николаем II Сипягина первый играл роль царя Алексея Михайловича, а Сипягин роль всесильного министра этого царя боярина Морозова.

«В то время, как император и его странный министр внутренних дел забавлялись таким образом невинным маскарадом»—рассказывает А. П. Извольский—«настоящие обязанности Морозова выполнялись Победоносцевым».

Характеристики различных видных фигур бывшей императорской фамилии даны А. П. Извольским в весьма беглой форме. Он не считает правильным утверждение, что некоторые из них, как, напр., б. главковерх Николай Николаевич, или б. московский генерал-губернатор Сергей Александрович, оказывали серьезное влияние на решение политических вопросов. Больше того, он категорически опровергает некогда весьма распространенное мнение о том, что бывший вел. князь Владимир Александрович, будучи ярым реакционером, являлся непосредственным виновником кровавой расправы над рабочими 9 января 1905 г. А. П. Извольский утверждает даже, что Владимир Александрович был скорее склонен к либеральным идеям и весьма сожалел о том, что его имя связывают с авторами Кровавого Воскресенья.

Большим недостатком записок А. П. Извольского являются чересчур подробные экскурсии его в область элементарных сведений по русской истории, которые, очевидно, предназначаются для иностранного читателя.

Но, несмотря на этот недостаток, несмотря на то, что А. П. Извольскому не удалось вполне осуществить задуманного им плана работы, его записки читаются с большим интересом и являются ценным вкладом в мемуарную литературу.

Александр Сперанский.

Вокруг германского разгрома.

(*Полемика по вопросу о перемирии*).

Психологическое состояние побежденной и теряющей свой суверенитет Германии лучше всего отражается в той шумной полемике на страницах газет, журналов и брошюр, которая ведется вокруг вопроса: кто же является истинным виновником страшной национальной катастрофы, капитуляции, отдавшей страну, связанную по рукам и по ногам на произвол страшного победителя. От современников и участников великой исторической драмы естественнее всего ускользают самые общие детерминанты событий; незаметные, но тем самым непреодолимые факторы и силы, которые столкнули Германию с целым миром и тем предрешили падение ее старых общественных устоев. Нервозность побежденных пытается доискаться до того, кто же первый дал роковую мысль обратиться к Вильсону за перемирием, кто первый отдал приказ о перемирии, наконец, кто же первый посоветовал кайзеру отречься от престола предков. Вопрос ставится с такою страстностью словно от того или иного решения зависит все дальнейшее существование современного демократического строя Германии. Приэтом демократы и социалисты обвиняют консерваторов и националистов, последние в свою очередь первых; военные—штатских, цивильные—военных; высшее военное командование—статс-секретариат по иностранным делам, Людендорф и Гинденбург—Макса Баденского и Гинце, последние первых и так без конца. За всеми этими страстными обвинениями кроется страшное сомнение в правильности сделанного и сказанного в те мрачные дни октября и ноября 1919 года, больше того—сомнения в законности самой революции, совпавшей с величайшим национальным позором и банкротством, наиболее подходящее историческое сравнение для которых находят только в судьбе Карфагена после 2-ой Пунической войны. Таким образом вопрос о виновниках капитуляции становится актуальнейшим политическим вопросом современной Германии, тем более что петля, затянутая на шее Версальским миром, грозит сделаться мертвым узлом. Поднимая этот вопрос почти на завтра после революции, националисты всех оттенков прекрасно сознавали, что, доказывая связь революции с Zusammenbruch'ом, нового режима с неслыханным национальным позором, они тем самым произносят в глазах немецкого народа смертный приговор революции и родившейся через

нее демократии [1]). Так «покрытый славою» (rubmbedeckte) генерал-полковник ф. Бен (Boehn) писал в Kreuzzeitung 18 марта 1919 года: «Не по вине прусской армии мы пришли к несчастному исходу войны, но благодаря коварному подкопу со стороны народа и войск тыла. Революция, вызванная ими, ударила нам в спину в тот самый момент, когда внутренняя сплоченность была всего нужнее... Не прусское войско несет ответственность за несчастный исход войны, а те, кто сделали его безоружным» [2]). В своей брошюре, зовущей народ к монархии, граф Paul von Hoensbraech не жалеет энергичных выражений, приписывая поражение не только социал-демократии, но даже либералам из «центра», вроде Эрцбергера, Порша, Шпана, Валльрафа и других: «Разложение таким образом исходило не из самой армии: оно было занесено туда извне благодаря изменнической подземной работе социал-демократии; преступление достойное проклятия» .. [3]). Напротив, Эдуард Бернштейн в своей «Германской революции» стремится опровергнуть эту легенду о революции, вонзающей кинжал в спину армии, стойко защищавшей страну (Dolchstosslegende). Он признает наличие революционной социалистической пропаганды в армии, но не придает ей сколько-нибудь крупного значения. «Солдаты отказались сражаться», говорит он, «не потому, что их подстрекали к этому, а потому, что они убедились в проигрыше войны». «Разложение армии, наконец, прорвалось» [4]). То же самое развивал на страницах Frankfurter Zeitung бывший статс-секретарь по иностранным делам фон Хинце (Hinze) [5]). Все это вынудило германское правительство, еще во время пребывания летом 1919 г. в Веймаре, опубликовать сборник официальных документов, посвященных переговорам между высшим военным комадованием (Oberste Heeresleitung) и правительством по вопросу о заключении перемирия и ликвидации войны. В этой «Новой Белой Книге» (Neues Weissbuch. «Vorgeschichte des Wafienstillstandes») правительство прямо заявляло, что оно «вынуждено» опубликовать соответствующие документы о перемирии «um den Legendenbildung entgegenzutreten», чтобы прекратить легенды на этот счет. Исторический материал «Новой Белой Книги» охватывает промежуток времени между 14 августа и 11 ноября 1918 года, между началом союзного наступления на западе и заключением перемирия в Компьене на условиях Фоша. Короткие, лапидарные телеграммы Людендорфа, пространные правительственные отчеты о заседаниях и совещаниях, донесения военных агентов рисуют

[1]) См. обсуждение этого вопроса в Kreuzzeittung, №-ра от 12, 18 и 23 марта 1919 г., а также Oberst Bauer. Konnten wir den Krieg vermeiden, gewinnen, abbrechen? Flugsschriften des «Tag» № 2; а также националистически настроенный популярный 20. Jahrhundert. 1919 Jahrg.

[2]) Этими словами Boehn хорошо формулирует мысль, которую демократы удачно назвали Dolchstosslegende. Курсив везде наш.

[3]) Graf Paul von Hoensbraech. Zurück zur Monarchie! B. 1919. S. 17.

[4]) E. Bernstein. Die deutsche Revolution. B. 1921. S. 10.

[5]) Номера от 22 и 31 июля 1919 года. См. также H. Marx. Handbuch der Revolution in Deutschland. B. 1919. S 43—46.

перед нами полную картину трагического сплетения обстоятельств, в котором запуталась Германия, откуда шел один фатальный выход к крушению фронта и сдаче на милость победителей. Чтобы разобраться в противоречивых нареканиях борющихся общественных групп, стоит немного задержаться на событиях, предваривших крушение, и представить себе, как дело обстояло в действительности. Сам Людендорф, вождь и глава партии националистов военного покроя, дает в своих мемуарах жуткую картину положения на фронте к моменту поражения на Балканах (к 15 сентября): шкурничество на фронте росло, отпускные возвращались не в срок, боевые линии заметно редели... все, что было боеспособного, было снято с востока и брошено на запад... дух армии падал с каждым отходом на новые позиции, ко всему этому прибавлялось разлагающее влияние тыла (Zersetzende Einfluss der Heimat [1]). Балканская катастрофа, вполне обрисовавшаяся уже 17 сентября, довершила моральное разложение некогда победоносных западных армий, а неудачные попытки завязать мирные переговоры через Нидерланды заставило высшее военное командование настойчиво требовать у правительства дипломатических шагов «для заключения перемирия в 24 часа» [2]). «Нервное напряжение» Людендорфа вылилось в целом ряде тревожных телеграмм с фронта, торопивших только что образовавшееся правительство принца Макса Баденского, не теряя ни минуты, обратиться к Вильсону с просьбой о перемирии. Одна из этих телеграмм недвусмысленно гласила: «Генерал Людендорф просил передать Вам (в министерство иностранных дел) свою настоятельную просьбу, чтобы наше мирное предложение было тотчас отправлено. Сегодня войска еще держатся, что случится завтра—предположить нельзя» [3]). Так пессимистически Людендорф оценивал боеспособность своих армий.

Принц Макс Баденский, ставший 2-го октября парламентарным премьером Германии, сразу оказался лицом к лицу с настойчивыми требованиями Людендорфа немедленно заключить перемирие в виду катастрофического положения на фронте. В своей записке [4]), посвященной этим бурным дням, принц говорит, что становясь главой кабинета, он был убежден, что война проиграна. Целью его было спасти положение внутри — дальнейшей демократизацией государственного строя Германии, во вне—пацифистской политикой Völkerbund'а. «Моя мирная политика была решительно разрушена, благодаря предложению о перемирии, которое встало передо мною, как только я прибыл в Берлин. Я боролся с ним из соображений практической политики. Мне казалось величайшей ошибкой сопровождать первый шаг нового правительства актом полного признания слабости Германии. Ни положение народа, ни

[1]) Ludendorff. Meine Kriegserinnerungen. Volksausgabe. B. 1921. T.T. 192—193.

[2]) Neues Weissbuch. Документы №№ 21, 22, 23.

[3]) Weissbuch № 21, а также № 33.

[4]) Eine Kundgebung des Prinzen Max v. Baden. Zonderabdruck aus dem Dezemberheft 1918 der Preussischen Jahrbücher. B. 1918.

мнение враждебных держав не вынуждало на такой шаг отчаяния. Я хотел развить полную картину целей войны в согласии с пунктами Вильсона и указать на готовность немецкого народа принести новые жертвы. Но военные авторитеты, продолжает он, возражали мне, указывая, что положение на фронте требует заключения перемирия в 24 часа» (die Lage an der Front erfordere binnen 24 Stunden ein Waffendfillstandangebot [1]). Действительно, после новых повторных переговоров с высшим военным командованием, к 3 октября была выработана окончательная редакция ноты и 5-го передана Лансингу, в Вашингтон. «А неделю спустя», говорит Макс Баденский в той же записке, «военные авторитеты объявили мне, что первого октября они ошиблись в оценке положения на фронте» [2]). Таким образом версия главы старого правительства, появившаяся еще в конце 1918 года., вполне согласуется с данными «Белой Книги» нового германского социалистического правительства, бросая яркий свет на поведение Людендорфа, фактически военного диктатора Германии, в руках которого сам кайзер был послушным орудием [3]). В этом отношении интересен рассказ гр. Карла Гертлинга, сына предшественника Макса Баденского, еще старорежимного имперского канцлера Германии графа Гертлинга: 1-го октября гр. Гертлинг беседовал с императором о своем преемнике, причем кайзер никак не мог согласиться на Макса Баденского. В комнату неожиданно входит Людендорф, и между всесильным начальником главного штаба и императором развертывается следующий диалог:

Людендорф: — Что, новое правительство еще не готово?

Кайзер (довольно грубо):—Не могу же я колдовать!

Людендорф: — Но правительство должно быть образовано немедленно, так как мирное предложение необходимо отправить сегодня же.

Кайзер: — Это вы должны были бы мне сказать по крайней мере за две недели [4]).

Эта бытовая сценка вносит свой характерный штрих в общую картину смятения умов в главной квартире, когда оборотная сторона ведения войны va banc во всей своей правде встала перед Людендорфом и К⁰, поспешивших тогда дать неожиданно задний ход зарвавшейся слишком вперед военной машине, отчего она и разлетелась вдребезги. Эдуард Бернштейн совершенно ясно представляет себе, что при сложившейся на фронте обстановке военные не могли сидеть и дожидаться, пока принц Макс будет развертывать свою военную про-

---

[1]) Eine Kundgebung, T. 4. Курсив везде наш.

[2]) Ibidem.

[3]) Такого мнения держался не только «Vorwaerts», но даже граф Чернин, австро-венгерский министр иностранных дел в своем интервью, данном представителям печати 11 декабря 1918 г. См. Schneider Vom Kaisertum zur Republik. T. 12.

[4]) Ed. Bernstein. Die deutsche Revolution. S. 11.

грамму, у них в это время «brannte das Feuer auf den Nagel», как он картинно выражается [1]).

Первым крупным возражением против версии «официальной Белой книги» были брошюры и статьи полковника Бауера (Oberst Bauer [2]). Читая их, не нужно ни на минуту забывать, что позади маленького Бауера на нас смотрит «великий» Людендорф, и Бауер только развивает мысли своего начальника. Он впрочем и не скрывает этого, говоря, что «точные данные для обсуждения этого вопроса (о перемирии) представлены ему в целях опубликования самим Людендорфом» [3]). Основная мысль Бауера не отличается сложностью—все зло явилось с тыла. «Внутреннее разложение», говорит он, «революция—заставили Германию проиграть войиу [4]). Так называемая «тревожная» телеграмма Людендорфа имела своей единственной целью ускорить образование нового кабинета и оказать давление на медливших политиков [5]). Поэтому в высшей степени неосновательно думать, что будто бы высшее военное командование сеяло панику, произносило страшные слова вроде «катастрофы», «разгрома» и т. под.: наконец, Главная Квартира хотела войны «до конца», в худшем случае «борьбу отчаяния» (Verzweiflungskampf) [6]).

После этих гасконад полковника Бауера, выраженных в общей форме и направленных против «демократов и штатских», счел необходимым выступить сам Людендорф, опубликовавший два специальных «Возражения» на «Белую книгу» (Entgegnung auf das amtliche Weissbuch: «Vorgeschichte des Waffenstillstandes». Das Friedens-und Waffenstillstandangebot). Как ни мало исторической правды в «Военных Воспоминаниях» Людендорфа, все же в них меньше преднамеренной и нарочитой лжи, чем в указанных нами «Возражениях». Если Бауер инсинуирует робко, в общей форме, в неопределенных выражениях, то Людендорф позволяет себе клеветать открыто, среди бела дня, обрушиваясь с обвинениями на бывшего статс-секретаря по иностранным делам фон Гинце (Hinze), в котором он видит чуть ли не первопричину всех несчастий, постигших Германию. Людендорф начинает свою апологию издалека, утверждая, что первый удар по фронту нанесли не союзники, а «революция сверху»—Revolution von oben, под которою он разумеет начало демократизации государственного строя Германии. «Враги», говорит он, «лучше нас знали, что та форма отставки, которую получил от его величества 29 сентября граф Гертлинг, означала первый шаг на пути к революции 9 ноября» [7]). Затем, прибытие Гинце в глав-

[1]) Ibidem.

[2]) Из них я имею в виду Der Irrwahn des Verständigungsfriedens. Flugschriften des „Tag“ № 4, а также его статью «Wie ging der Krieg verloren?» в 20. Jahrhundert № 1. Jahrg. 1919.

[3]) Oberst Bauer. Der Irrwahn des Verständigungsfriedens. S. 4.

[4]) Wie ging der Krieg verloren? S. 12.

[5]) Oberst Bauer. Der Irrwahn. S. 33—34.

[6]) Der Irrwahn. S. 44—50, passim.

[7]) Ludendorf. Entgegnung № 2. S. S. 70—71.

ную квартиру—надо заметить—по настойчивому приглашению самого Людендорфа, который почему-то забывает вспомнить об этом—его красноречивый доклад о развале внутри, требование либеральных реформ, нового правительства, мира и приостановки военных действий «вырвали» приказ о перемирии из «сердца» верховного командования [1]). Кроме того Гинце намеренно распространял тревожные слухи, употреблял в докладах опасные выражения вроде «катастрофы», и тем создал психологию паники, которую затем приписали верховному военному командованию [2]). Второй виновник Zusammenbruch'а и bête noire Людендорфа принц Макс Баденский. Если Гинце начал «Revolution von oben», то принц Макс докончил ее обращением к Вильсону с просьбой о перемирии. Но как же тогда быть с тревожными телеграммами Людендорфа, требовавшими заключения перемирия в 24 часа? Тем более, что тревожность одной из них (№ 22 Weissbuch, подписанной Гинденбургом без скрепы Людендорфа) признается им самим [3]). Все дело оказывается, в том, что ни Макс Баденский, ни правительство просто не поняли смысла телеграмм, которые отнюдь не выражали какого-нибудь страха за положение фронта, а имели целью оказать давление на политиков, медливших с образованием правительства в этот грозный для отечества час [4]). Мы видим, Людендорф нисколько не отрицает критического положения на фронте, как оно сложилось к 1-му октября 1918 г., но делает отсюда такие выводы, которые в конечном счете противоречат его же оценкам положения. Один раз как будто и он становится на историческую почву, утверждая, что вопреки версии «Белой книги» давление шло не из главной квартиры, а «давили обстоятельства, сама история, а верховное командование делало отсюда только посильные выводы» [5]). В доказательство он приводит «вопросы и ответы», которыми обменялись правительство и Главная Квартира перед тем, как решиться отправить роковую ноту о перемирии. Правительство спрашивало: «Как долго армия сможет задерживать противника до вступления на немецкую территорию». Людендорф, отвечая, выражал уверенность, что «до весны 1919 года армия, отступая, но крепко держась за территорию врага», будет защищаться до подхода к границе фатерланда.

Правительство далее запрашивало:

«Может ли произойти крушение военного положения и когда? Означает ли военный разгром конец сопротивляемости народа?»

---

[1]) Entgegnung № 2. S. S. 5, 17, 7—8.

[2]) Op. cit. S. 22, 47.

[3]) Op. cit. S. 43. Вот эта тревожная телеграмма высшего военного командования. «1 октября 1918 г. 1 ч. 30 м. пополудни. Если сегодня до 7 или 8 ч. вечера не будет существовать уверенности, что принц Макс Баденский образует правительство, я согласен на отсрочку до полудня завтра. В случае, если нет уверенности в этом, я считаю, что нота к иностранным правительствам должна быть отослана сегодня же в ночь. Подписано: Гинденбург».

[4]) Entgegnung, № 2. S. 33, 41, 61—62.

[5]) Op. cit. P. 60.

Ответ: «В общее крушение мы не верим, лишь бы были резервы».

Но всего интереснее после предыдущего 3-й вопрос правительства и ответ Людендорфа.

Вопрос: «Настолько ли положение на фронте критические, что необходимо тотчас же сделать мирное предложение?»

Ответ: «Да, высшее военное командование остается при своем взгляде, выраженном 29 сентября, что необходимо сделать немедленное предложение о перемирии» [1]).

Какой же вывод отсюда? Во всяком случае не тот, который делает Людендорф, что германский фронт обязан своим развалом Гинце и Максу Баденскому. Но на пути обвинения правительственных и партийных сфер аргументы Людендорфа неисчерпаемы. Остановлюсь на одном из самых веских. Майор Буше, командированный высшим командованием в Берлин, 2 октября на совещании политических лидеров рейхстага сделал доклад о положении дел на фронтах мировой войны. На совещании присутствовали: гр. Вестарп, фон Гамп, Штреземан, Гребер, Зейда, Фишбэк, Эберт и Гаазе. Председательствовал вице-канцлер фон Пайер. Докладчик, по словам Людендорфа, излагал только его точку зрения на вещи, говоря, между прочим, что «по человеческому разумению» не остается никакой надежды на то, чтобы принудить врагов к миру», а потому необходимо обратиться с мирным предложением к Вильсону [2]). Но этот доклад, рельефно показавший катастрофическое положение армий, имел, по мнению Людендорфа, роковое значение для Германии: военные тайны, попав в руки политических деятелей, из которых некоторые были прямо враждебны Германии, вроде, напр., поляка Зейды, сносившегося непосредственно с агентурой Антанты в Стокгольме, и создали ту атмосферу паники, которая в конце концов и привела к окончательной катастрофе [3]). Все это, конечно, могло быть, но крепость немецкого фронта едва ли зависела только от болтливости политических вождей и от измены поляка Зейды. Встречаясь с такого рода аргументами, невольно вспоминаешь подходящую сюда поговорку: Quem deus perdere vult и т. д.

Но «Белая книга», как мы видели, предъявляет Людендорфу еще более тяжкое обвинение в ошибочной, слишком пессимистической оценке фронта, которая и повлияла на решение правительства прибегнуть к посредничеству Вильсона. Это—пункт, лично мучительный для Людендорфа, ибо связан с пресловутым «расстройством нервов» (Nervenzusammenbruch), и естественно здесь ожидать самых горячих его возражений; с другой стороны, это такой тонкий психологический вопрос, что он не под силу Людендорфу, который только повторяет свои старые доводы, приводя, впрочем, письмо своих старых боевых друзей, свидетельствующее, что «у генерала Людендорфа всегда были крепкие

[1]) Neue Weissbuch. № 33. Разрядка наша. Entgegnung № 2, P. 61—62.

[2]) Entgegnung, P. 53, 56.

[3]) Entgegnung № 2. P. 57—59.

нервы» [1]. Но едва ли это и нужно доказывать после того, как 12 опустошенных французских департаментов лучше всего свидетельствуют об этом.

Характерно, что, чувствуя слабость своих общих аргументов, Людендорф начинает защищать себя на частных, второстепенных позициях. Тут он прежде всего утверждает, что с его уст никогда не срывались такие слова, как «катастрофа», «разгром» и т. п. Настойчивый тон его телеграмм имел только одну единственную цель содействовать скорейшему образованию нового правительства. «Мы желали», говорит он, «перемирия и соответствующих для этого шагов, без какого бы то ни было отказа защищаться, но спокойно и с достоинством. Для нас было ясно, что мы должны принести большие жертвы» [2].

Людендорф приэтом начисто забывает, что еще на совещаниях в Спа в сентябре месяце он проявлял признаки нервозности, доведшей его до состояния паники, слабости, до настоящего «развала нервов» в период знаменитых тревожных телеграмм с фронта. Из документов «Белой книги» видно, что Людендорф сначала под влиянием нервного потрясения, вызванного неудачами на фронте, слишком низко оценил боеспособность своих армий, затем спохватился и стал показывать в противоположном направлении [3].

Итак, и эта аргументация не солиднее первой, а благоприятное письмо старых боевых товарищей просто человеческий документ признательности и дружеской верности.

В заключение отмечу, что мемуары Людендорфа и тут несколько расходятся с появившимися значительно позднее «Возражениями». Среди самоуверенно солдатских реляций мемуариста мы находим строчки, выражающие полупризнание в той тяжелой душевной борьбе, которая выпала на долю Людендорфа в момент первых, неожиданных, а потому наиболее горьких неудач и поражений; эта борьба по времени предшествовала пресловутому «расстройству нервов» и подготовила слишком пессимистическую оценку на фронте. Тут мы читаем: «Посреди этих мыслей (о заключении перемирия), которые не явились неожиданностью, но еще с начала августа все более укреплялись во мне после тяжелой душевной борьбы с самим собою, я решил просить статс-секретаря фон Гинца приехать в Спа 26 сентября» [4].

Конечно, дело не в том, каково было состояние нервной системы начальника главного штаба западных германских армий, генерала Эриха Людендорфа, 1-го, 3-го или 5-го октября 1918 года, и не его нервы привели к крушению Германии и сдаче на милость победителей.

Замечательно, что здесь, по какой-то странной иронии судьбы, оправдалось не раз муссировавшееся в германской печати предсказа-

---

[1]) Тот же Entgegnung. Приложение. P. 75—79.

[2]) Ludendorff. Entgegnung, № 2, P. 21.

[3]) Выступления Людендорфа на заседании 17 октября для ответа на вторую ноту Вильсона, «Vossische Zeitung», Abendausgabe, 19 iuli 1919.

[4]) Ludendorff. Meine Kriegserinnerungen, P. 198.

ние, что победит в конечном счете тот, у кого окажутся крепче нервы. Конечно, шовинистическая пресса Германии ничуть не сомневалась, что нервы всего крепче окажутся именно у немецких солдат, у немецких генералов, у немецких бюргеров. Шовинистическая пресса, по своему обыкновению, не учла фатальной предопределенности великих исторических катастроф. В лице Людендорфа изможденная блокадой и голодная страна, после нечеловеческих усилий $4^1/_2$ лет, первая не выдержала напряжения национальных сил и должна была стать на колени перед победителем.

Далее последовало и еще продолжает следовать и еще долго будет продолжать следовать то, что обыкновенно бывает в таких случаях: vae victis...

Другая сторона этой катастрофы нас занимала здесь, а именно преломление ее в сознании современной Германии, ее отражение в борьбе общественных групп и классов. В этом отношении coup d'état Каппа и Люттвица знаменовал первый этап борьбы вокруг легенды о виновниках разгрома; кровь Матиаса Эрцбергера показала нам, что страсти не только не остывают, но готовы вылиться в открытый террор против тех, кто так или иначе взял на себя проклятие подписать условия позорного перемирия и мира.

И. Попов.

Тутанхамон и последние открытия в долине Нила

(В связи с осенними публикациями 1923 года).

Начало серьезной археологической работы в долине Нила датируется 1828—29 годами,— экспедицией Шамполлиона, явившегося сюда во всеоружии знакомства с языком древнего Египта. Вслед за ним в долину Нила были двинуты научные силы почти всех стран Европы. Имена Лепсиуса, Мариетта и недавно скончавшегося Масперо блистают звездами первой величины в этой плеяде ученых археологов. Почти сто лет велись работы в почве древней страны с неослабевающей энергией и, казалось, даже этот необычайный по богатству источник вещественных памятников должен наконец иссякнуть. Однако, именно последние 20—25 лет дали особенно богатый материал, хронологически восходящий далеко за пределы истории, к эпохам неолита и палеолита, а географически охватывающий весь Египет от берегов Средиземного моря до Мероитского царства в Нубии. Наибольшее изобилие вещественного материала падает на XVIII дин. Еще Тутмес I местом своего упокоения избирает узкую долину в Ливийской горной цепи, на западном берегу Нила, против Фив.

В нашей литературе эта долина носит имя «Долины царей», местные феллахи называют ее Biban-el-Moluk — «Врата царей». Тутмес 1 впервые сделал попытку отделить заупокойный храм, надземную постройку, от подземной гробницы, прежде неразрывно связанной с храмом. Впервые храм был воздвигнут в долине, ближе к жилищу живых, а могила была вырублена в мало доступном горном ущельи. После Тутмеса I в «Долине царей» погребались все цари XVIII—XX дин.

Попытка вырубать могилы здесь, в сплошной скале—блестящее достижение египетских инженеров. Долина замкнута со всех сторон, в древности была доступна лишь по узким, горным тропам и, судя по описаниям очевидцев, производит сильное впечатление абсолютным бесплодием, пустынностью, жгучим, вечно-синим небом и необычайно сухим, прозрачным, чистым воздухом. Древние инженеры прорвали каменный порог, преграждавший дорогу в долину,—было выдолблено ущелье, по которому ныне пролегает дорога. Из текстов нам известно, что еще в древности, особенно при XX династии, царские могилы подвергались беззастенчивым ограблениям, несмотря на все усилия египетских властей положить предел этому хищничеству.

Еще Страбон видел здесь около 40 вырубленных в скалах, великолепных и «достойных обозрения» могил. Позже было однако раз-

граблено то, что египетские воры не успели унести. Кладоискателями вскрыты были еще нетронутые могилы и, к началу прошлого века, большая часть могил зияла пустотой, в лучшем случае сохранив свою стенную роспись да пустой каменный саркофаг.

Горячий интерес к древнему Египту в 19-ом веке нашей эры обратил внимание археологов на «Долину царей» и, начиная с 20-ых годов прошлого века, здесь был вскрыт последовательно ряд еще нетронутых царских гробниц. В результате, вместе с могилами, ограбленными уже в древности, оказалось, по списку царствований, что почти все они, за очень малым исключением, известны. Но, именно это «малое исключение» и заставило двух энергичных исследователей положить все усилия на то, чтобы заполнить пробел и беспрерывной цепью археологического материала иллюстрировать такую же беспрерывную цепь царских имен Нового царства, известных нам из надписей. Один из этих самоотверженных исследователей—художник и археолог Ховард Картер, открывший в 1902 году могилы Хатшепсут и Тутмеса IV. Его товарищем по работе был лорд Карнарвон, трагически погибший недавно, на 57-ом году жизни.

Оглядываясь на сплетение случайностей в жизни лорда Карнарвона, невольно заражаешься суеверием египтян и их потомков—феллахов. Шестнадцать лет тому назад Карнарвон познакомился через Budge, хранителя египетского отдела Британского музея со своим будущим товарищем по работе, Картером. Budge, наполовину шутя, предложил Карнарвону, только что оправившемуся от тяжелой автомобильной аварии, заняться египтологией, и Карнарвон, пользуясь возможностями, данными ему большим состоянием, очень скоро, благодаря ряду печатных трудов и отчетов о раскопках, приобрел имя серьезного исследователя, отнюдь не дилеттантского характера. Вместе с Картером он занялся вопросом о недостающих могилах царей XVIII дин. В 1917 году Картер совместно с Гардинером основательно изучил и опубликовал план гробницы Рамзеса IV, дошедший до нас в Туринских папирусах. План этот может считаться классическим с его первой комнатой—кладовой, второй—«золотой», где помещался саркофаг с важнейшими сокровищами покойного и, наконец, третьей и последней комнатой, где хранились канопы, ушебти и т. под. Большая часть гробниц в основных частях совпадала с этим планом, но к сожалению, ни одна из них не осталась нетронутой грабителями, и сокровища кладовых, не говоря уже о «золотых» комнатах, оказывались начисто разграбленными[1]). Тем более понятны усилия Карнарвона и

[1]) Показание воров, пойманных в царствование Рамзеса IX, дошедшее до нас, гласит: «Мы вскрыли их саркофаги (царя и царицы) и их повязки, в которых они покоились, и нашли мумию царя. Там было два меча, много амулетов и золотые ожерелья были на его шее, голова его была покрыта золотом, а также вся его мумия. Его повязки были выложены золотом, серебром и всякими драгоценными камнями. Мы взяли золото, которое нашли на мумии, амулеты, ожерелья и повязки. Так же поступили мы с царицей, взяли все найденное, а повязки сожгли».

Картера разыскать единственную недостающую по спискам могилу молодого царя XVIII дин., зятя Эхнатона, Тутанхотана или Тутанхамона. Предпринято было дорого стоящее и трудное очищение почвы от песка, постоянно вторгающегося снова из соседней пустыни,—способ проектировавшейся Масперо, но оставленный им за отсутствием средств. 29-го ноября 1922 года Картер напал на вполне явственный след нетронутой могилы, вход которой был завален щебнем, осыпавшимся при вырубании гробницы Рамзеса VI, на половине высоты скалистого подъема, как раз над вновь найденной могилой. Картер немедленно вызвал из Англии Карнарвона. Одновременно ряд ученых Америки и Англии взялись помогать при раскопках. Тщательно был удален щебень, под которым было обнаружено 16 ступеней, ведших к замурованной и запечатанной двери. Печати, осторожно снятые и прочтенные Брестедом, оказались печатями некрополя Фив, эпохи Харэмхеба, первого царя XIX дин. Дверь носила следы взлома, произведенного в древности, понятно поэтому волнение, с которым Карнарвон и Картер приступали ко вскрытию ее. С большими предосторожностями в пролом были введены лампы,—первая комната оказалась вполне соответствующей плану гробницы Рамзеса IV—это была кладовая, сверху донизу заставленная всевозможными вещами. Ложа и кресла, колесницы, ларцы и ящики, свертки провизии, алебастровые вазы, походные стулья, букеты цветов были нагромождены друг на друга, едва давая возможность войти в комнату. С великими предосторожностями приступили к извлечению вещей, их описанию, нумерации и сохранению их до момента отправки в место их постоянного хранения. Приэтом в боковой стене была обнаружена вторая замурованная дверь, имевшая внизу пролом. Поверхностное ознакомление с помещением за нею показало, что весь его инвентарь в целости. Вообще более детальное рассмотрение первой комнаты показало, что грабители, побывавшие здесь в древности, успели крайне мало унести, были очевидно застигнуты врасплох администрацией некрополя, причем разроняли свою добычу как попало в первой комнате. Чиновниками некрополя наскоро было подобрано и приведено в порядок все ими разграбленное, входная дверь была замурована и запечатана.

Особенный интерес археологов привлекала дверь в глубине комнаты, тщательно замурованная и запечатанная. По сторонам ее стояли две великолепные статуи темного дерева, инкрустированные камнями и дорогими металлами. По удалении большей части вещей из первой комнаты, приступили к снятию печатей с этой второй, или даже третьей двери. Картуши с именем Тутанхамона лишний раз подтвердили то, что стало ясно при беглом осмотре вещей, т.-е. что найденная могила принадлежит несомненно Тутанхамону, предпоследнему царю XVIII дин. Необходимость крайней осторожности при извлечении вещей из первой комнаты, вызванная этим медленность работы, привели к тому, что к моменту вскрытия этой двери наступил период сильных ветров из пустыни. Тучи песчаной пыли мешали работать, вызывая

временные перерывы. Поэтому решено было лишь бегло осмотреть следующие за дверью помещения, а затем запечатать их до осени. Исследователи принялись собственноручно за трудную работу—ведь по предположению следующая комната была т. н. «золотая»—хранилище саркофага и царских сокровищ. Сняв печати, они ввели в пролом электрическую лампу. Беглый осмотр показал, что надежды их не обмануты,—перед ними сверкнула позолота и голубая фаянсовая инкрустация великолепного саркофага. По удалении последней преграды в образовавшийся пролом первым проник Карнарвон. Саркофаг заполнял собою почти всю комнату, оставляя вокруг лишь узкий кулуар в 18 вершков ширины.

В вышину саркофаг имел 13 футов, 13 футов в ширину и 18 футов в длину. Сделанный из дерева, он был великолепно вызолочен и покрыт инкрустациями из голубого фаянса. В восточной стенке саркофага были вделаны дверцы, закрытые бронзовые засовом. Карнарвон вскрыл их,—в первом саркофаге оказался второй, меньших размеров, золоченый, с рельефными изображениями окрыленных богинь и с дверцами также на восточной стороне. Дверцы были запечатаны царской печатью с именем Тутанхамона, так что получалась полная надежда, что мумия царя окажется нетронутой после погребения. В промежутке между первым и вторым саркофагом был найден целый ряд мелких вещей—амулеты, скарабеи из сердолика, лапис-лазули и малахита, золотая статуэтка сокологолового Гора, деревянный лебедь, черный с желтым клювом, небольшая алебастровая ваза, необычайно тонкой работы, сквозящая, украшенная рельефными изображениями лотосов.

Обилие найденных вещей заставляло ожидать, что при вскрытии второго саркофага, вероятно, будет найдено много предметов из драгоценных металлов и камней, что так. обр. „золотая“ комната оправдает свое название. По сравнению с богатством саркофага странное впечатление производила небрежная стенная роспись. Объясняется это, может быть, недолгим царствованием Тутанхамона, потому что цари обычно с первого же года царствования приступали к оборудованию усыпальницы.

После беглого осмотра комнаты с саркофагом, исследователи проникли в последнее помещение, в точности соответствовавшее комнате для хранения ушебти и каноп со внутренностями покойного. И здесь также был произведен лишь беглый осмотр, ввиду наступления неблагоприятного времени года. Был между прочим отмечен ларец, обшитый золотыми листами, с рельефным изображением окрыленной Изиды,—вероятно ящик для каноп, заупокойные ладьи, вазы, ларец с ушебти, или, может быть, ценностями; в одном ящике был найден веер из страусовых перьев, с ручкой слоновой кости и картушем царя из цветных камней, около лежал шест с изображением шакала—Анубиса—в натуральную величину, очевидно для ношения его в заупокойной процессии. После осмотра всех помещений, входная дверь была тщательно запечатана и к ней приставлена стража, а работы непосредственно в мо-

гиле были приостановлены до наступления осени. Перерыв было решено использовать для тщательного описания извлеченных вещей первой комнаты и для подготовки их к перевозке в музей.

Многие из них, наиболее хрупкие, надо было, путем обработки различными составами, сделать нечувствительными к влияниям атмосферы. Задача была немалая, ввиду огромного количества найденных вещей. Достаточно сказать, что только в одной первой комнате было найдено 167 предметов особенно важных, не считая бессчисленного количества мелочей. Среди прочих вещей находились 4 колесницы. Одна из них, очевидно парадная, имела кузов внутри и снаружи вызолоченный, покрытый рельефами и инкрустациями из лапис-лазули, малахита, сердолика и голубого фаянса. Поручни обтянуты красной кожей.

Настоящим чудом искусства является трон царя и царицы, также густо вызолоченный, ручки и ножки которого представляют головы и лапы львов, а резная спинка дает изображения царской четы; все детали выложены сердоликом, золотом и серебром. Тут же найдены «походные» стулья, инкрустированные черным деревом, слоновой костью и золотом. Ножки одного из них кончаются головками уток, а сиденье изображает шкуру животного, с хвостом, висящим сбоку и золотыми бляхами вместо пятен шкуры. Золоченые, инкрустированные полудрагоценными камнями ложа украшены: одно—головами коровы—Хатор, другое—головами фантастических животных, помесью льва и гиппопотама.

Для истории искусства в высшей степени ценны великолепные деревянные статуи, фланкировавшие двери в комнату с саркофагом. Они представляют молодого царя, опирающагося на посох в позе торжественного явления. Головной убор, ожерелье, браслеты, булава, посох, препоясание и сандалии вызолочены, контуры глаз и брови выложены золотом, глазное яблоко сделано из арагонита, а зрачек—из обсидиана. Статуи, даже на фотографиях, производят впечатление удивительной жизненности, несомненной портретности, а также громадного сходства с уже известными портретными статуями Тутанхамона и с бюстом молодого бога Хонса из Фив. В первой комнате найден был, кроме того, женский бюст в натуральную величину из дерева, покрытый по слою штука раскраской—желтой на лице, белой на одежде, На голове ее—корона того же типа, как в Тель-Амарнских росписях корона царицы Нефертити. Слегка утомленное и болезненное выражение нежного, молодого лица сильно напоминает Эхнатона, особенно полихромный бюст его в Берлине, и имеет большое фамильное сходство с мумией Тутмеса IV и помянутыми выше портретными статуями Тутанхамона. Бюст изображает, вероятно, Анхеспаатон—дочь Эхнатона, жену Тутанхамона.

Большое восхищение археологов вызвал также крупный ушебти отличной работы с лицом Тутанхамона. Под ложами, по одной стене было нагромождено 40 яйцеобразных ящиков с мясными запасами покойного. Weighall уверяет, что мясо на вкус еще приятно, однако в

этом заявлении чувствуется больше увлечения археолога, чем объективной оценки,—мы знаем, что продукты перед упаковкой их в ящики обрабатывались горячим асфальтом, в целях предохранения от разложения.

Под одним ложем было найдено несколько больших алебастровых ваз первоклассной художественной ценности. По сторонам их, образуя ручки, подымаются стебли лотосов и папирусов—геральдических растений Севера и Юга. Туловище одной из них покрыто рельефными лепестками, превращающими его в крупный цветок лотоса, с несовсем раскрывшейся чашечкой, — мотив, характерный для XVIII дин.

Бесчисленно было количество найденных ящиков и ларцов. Один, дивной работы, деревянный, выложенный золотом и серебром, с картушами Тутанхамона и священными животными—символами царя, содержал очевидно, драгоценности, но оказался пустым. Может быть, из него были похищены найденные у входа, оброненные древними грабителями, два золотых скарабея отличной работы. Не перечисляя всех ларцов, найденных в первой комнате, укажу на деревянный, расписной: в центре его даны картуши царя—Тутанхамон Неб-хепрура, по сторонам—андросфинксы, попирающие врагов. Композиция характерна еще для XII дин. (пектораль Сенусерта III)) и повторяется в композиции орнамента с андросфинксами на кузове колесницы Тутмеса IV. Наконец, ценен ларец слоновой кости с изображениями царской охоты и всевозможных животных. Ящики содержали самые разнообразные предметы царского обихода: в одном были найдены одежды царя из плотной ткани, в другом пара парадных сандалий,—верхняя дужка их, проходящая между большим и вторым пальцем, инкрустирована камнями и украшена цветком лотоса, по сторонам которого видны головки уток; другая пара сандалий украшена пуговками из цветного, лигированного золота. В ящике с андросфинксами лежали два предмета, являющиеся до сих пор униками и совершенно необъяснимым явлением: детская, полотняная, длинная перчатка и детский капор с пелериной из тонкого полотна с нашитыми золотыми бляшками. Принимая во внимание, что детей в Египте обычно изображают совершенно нагими, этот капор, надо сказать, проливает несколько неожиданный свет на историю детского костюма в Египте, не говоря уже о перчатке, единственной в своем роде. В одном из ящиков, судя по надписи, хранится «локон юности» царя — прядь волос, обычно оставляемая над правым ухом ребенка и сбриваемая по наступлении зрелости. Среди посохов ценен один, ручка которого, художественной работы, изображает коленопреклоненного пленника-азиата из золота. Ожерелья царя и кольчужный пояс снизаны из чередующихся звеньев золотых и разноцветного «фаянса», характерного вообще для Египта, и особенно для эпохи Телль-Амарны. Одно из ожерелий, янтарное, имеет особый интерес, благодаря крайней редкости янтаря в египетских поделках и благодаря тому, что оно еще раз подтверждает воз-

можность проникновения янтаря с берегов сев. Европы до самого Египта уже в эту отдаленную эпоху, т.-е. наличность товарообмена между Севером и Югом.

Среди набора оружия, луков, наконечников стрел, булав и т. под., найдены бумеранги, инкрустированные «фаянсом» и позолоченные, по форме вполне схожие с бумерангами, знакомыми нам уже из росписей древнего царства. Для истории музыки важен набор музыкальных инструментов, среди них—один, в форме флейты, из чистого золота. Роскошью отделки поражает деревянный наос, обтянутый золотыми листами с рельефными изображениями царя и царицы, стреляющими из лука. Выпуклая крышка украшена изображением богини—коршуна, осеняющей картуш царя. Внутри—пьедестал для статуэтки, вероятно, царя, но она, очевидно, была унесена грабителями, так как до сих пор не найдена. Заслуживает упоминания также набор бронзовых шандалов в форме знака «анх» — символа жизни. В одном из них еще торчал кусок светильни, наглядно иллюстрируя египетский способ освещения. О букетах упоминалось уже, — они оказались свитыми из лавра, остролиста, кажется, бука, египетской акации и цветов мальвы, сохранивших нежно-лиловую окраску лепестков.

Уже это простое перечисление находок показывает, какие археологические и художественные богатства хранила могила Тутанхамона, Понятна станет забота о помещении всего найденного, в виду того. что Каирский музей не может принять сразу все обилие вещей. Флиндерс-Петри высказал правильную мысль: инвентарь гробницы такой сохранности не должен быть разрознен, давая единственно полную и яркую картину погребения, и вполне уместно было бы сооружение на месте, в районе древних Фив, нового небольшого музея, который должен принять полностью всю гробницу Тутанхамона. За рациональность такого музея говорит также необычайно чистый, сухой воздух Верхняго Египта, более благоприятный для сохранения таких ценностей, чем влажный воздух Каира. Вопрос этот, однако, остается пока открытым, ввиду невыясненности дальнейшей судьбы работ.

Выше говорилось о странной случайности, сделавшей из лорда Карнарвона археолога. Такая же случайность, непредвиденная и роковая, прервала в самом разгаре и его работу, и его жизнь. Едва был закончен сезон раскопок, как газеты принесли весть о тяжкой болезни и смерти лорда Карнарвона от заражения крови вследствие укуса москита. Помимо того, что в лице его Картер терял товарища по работе, смерть Карнарвона нанесла удар материальной стороне дела: раскопки велись на его средства, а наследники его отказались субсидировать предприятие дальше. На помощь пришла Америка, взяв на себя всю материальную сторону раскопок. Но, в связи с этим, снова был поднят вопрос о передаче дублетов вещей в собственность того, кто ведет раскопки... Был период, когда казалось, что не только материальная, но и научная сторона перейдет в руки Америки,—было

получено известие, что Картер, укушенный также москитом, находится при смерти.

Однако последние известия из Египта гласят, что он не только жив и здоров, но за это время открыл две новые царские гробницы— царя Камеса XVII дин. и Ярмоса I, родоначальника XVIII дин. Таким образом можно надеяться, что осенью во главе работ станет Картер и доведет до конца работу, начатую им вместе с Карнарвоном.

Каково же аначение найденной могилы? Оценить его в полной мере можно будет только, когда все будет извлечено, изучено, сфотографировано, издано. Но, уже в настоящее время, ясно значение находки английских археологов. Это—первая царская усыпальница, сохранившаяся вполне нетронутой. По ней, с ее скромным, сравнительно, инвентарем, можно составить ясное представление о тех сказочных богатствах, художественных и материальных, которыми владели цари и которые сопровождали их в могилу. Впервые сможем мы в полном объеме восстановить картину заупокойного ритуала одной из наиболее блестящих эпох древняго Египта. Громадное обилие найденных вещей даст нам неисчерпаемый источник новых историко-художественных сведений, особенно в области прикладного искусства и техники. Обогатятся наши знания по истории костюма, известного нам пока главным образом на основании росписей, бытовой обиход знатного египтянина во многих отношениях будет освещен во всей полноте. В виде небольшого примера важности найденных вещей, укажу еще раз на янтарное ожерелье, материал которого, несомненно балтийского происхождения, мог проникнуть в Египет или через Крит, или через Малую Азию. Особенное внимание историков египетского камня должен привлечь малахитовый скарабей, найденный в саркофаге.

Вещи из «мафека» — малахита, ценившегося наряду с лапис-лазулью так же дорого, как наши прозрачные самоцветы—исключительно редки в музеях, в частности скарабеи из «мафека», постоянно фигурирующие в надписях, в коллекциях Зап. Европы отсутствуют. Это заставляло предполагать, что под «мафеком» подразумевался какой-то другой материал, чему однако противоречило нахождение малахита в пределах египетских владений на Синайском полуострове. Малахитовый скарабей Тутанхамона заставляет вернуться опять к отожествлению «мафека» с малахитом, редкость же его объясняется просто тем, что при разграблении могилы такая ценность неминуемо уносилась грабителями.

Особняком стоит вопрос о письменных памятниках. Предположения Видемана о возможности нахождения папирусов пока не подтвердились. Поэтому все внимание приходится сосредоточить на описях содержимого ящиков, приложенных к ним. Они обогатят наш словарь, давая возможность установить точные названия для разных вещей; прискорбной, поэтому, является небрежность чиновников Некрополя, посовавших как-попало подобранные за грабителями вещи,—инвентарь некоторых ящиков в полном беспорядке. Некоторые надписи

дадут возможность интересных исторических выводов: так, на крышке одного ларца имеется имя Эхнатона, его старшей дочери, Мерит-атон и ее мужа, соправителя и первого наследника Эхнатона, царя Сакара. Печати и надписи на различных вещах очень характерно приводят имя покойного владельца гробницы в двух редакциях: Тутанхатон и Тутанхамон.

Таково значение этой находки, поскольку возможно судить о ней на основании газетных отчетов. Летом 1923 г. до нас дошла весть о произведенном местными жителями разграблении гробницы, несмотря на стражу. К сожалению, не было в точности указано, в какой мере она повреждена. Ввиду отсутствия дальнейших сообщений, надо думать, что если грабители и проникли в могилу, то они не успели много унести, и газетное сообщение несколько раздуло самый факт в целях поддержания интереса к работам в «Долине царей».

В связи с раскопками интерес приобретает самая личность Тутанхамона—«живого подобия Амона». Вместе со своим эфемерным предшественником, Сакара, и непосредственным преемником, царем Эи, Тутанхамон заполняет промежуток времени в 10 лет между царствованием Эхнатона и первого царя XIX дин. Харемхеба. Эхнатон, как известно, сыновей не оставил. Муж второй его дочери, Сакара, повидимому был его соправителем в последние годы царствования, наследовал ему и через год, примерно, уступил место второму зятю Эхнатона, Тутанхатону, царствовавшему около шести лет. Под давлением жречества юный Тутанхатон отрекается от культа Амона, возвращается в Фивы, восстанавливает культ фиванской триады — Амона, Мут и Хонса—и принимает имя Тутанхамона, подобно своей супруге, ставшей из Анхеспаатон—Анхесамон. И Сакара, и Тутанхатон, и его наследник Эи впоследствии считаются незаконными, их имена не вносятся в царские списки, несмотря на отступничество Тутанхатона. Однако некоторые памятники от него сохранились. В Фивах он продолжает постройку Луксорского храма, в Карнаке большая стела в третьем лице повествует о заботах царя по восстановлению старых культов. Имеется несколько скарабеев с именем его и его супруги, фрагмент алебастровой вазы с их картушами, в Metropolitan Museum (Нью-Іорк) хранится массивный золотой перстень с его именем. Известны статуи молодого царя в Каирском музее. Поражает приэтом очень большое сходство его с портретами Эхнатона и его семьи, сходство не только стилистическое, но фамильное сходство черт. Масперо относит к числу несколько идеализированных портретов Тутанхатона статую юного Хонса в Каирском музее. Обычай изображать царя в виде сына Амона и Мут известен, и с ним вполне вязалось бы желание молодого царя подчеркнуть свою полную лояльность по отношению к фиванскому богу.

Кроме этих прямых памятников у нас есть еще стенная роспись гробницы вельможи Хеви, «принца Куша», изображающая его представляющим Тутанхатону данников Нубии и Сирии [1]).

[1]) См. Meyer „Geschichte d. alten Agypens", стр. 242.

Т. обр. a priori было ясно, что, наряду с бесцветным царствованием Сакара и Эи, царствование Тутанхамона оставило по себе определенный след. После Эхнатона вскоре был совершен поход в Сирию и, судя по росписям гробницы Хеви, именно при Тутанхатоне сношения с Сирией были очень оживленны. Из Нубии, среди прочей богатой дани, привозится единственное в своем роде подношение царю—бассейн, окруженный растениями, с плавающими в нем рыбами—древнейший в мире аквариум. За возобновление сношений с Нубией говорит найденный на горе Баркале каменный лев с надписью, гласящей, что «царь В. и Н. Египта, Неб-хепру-ра, сын Ра, владыка сияний, Тутанхамон, владыка Фив, возобновил памятники отца своего, царя В. и Н. Египта, Неб-маатра, сына Ра, Аменхотепа (III), владыки Фив». Памятник этот интересен указанием на сыновство Тутанхамона по отношению к Аменхотепу III, на что в свое время указывал Loret [1]). Вполне возможно, конечно, что молодой царь, стремясь всеми силами заставить забыть свое родство через жену с «негодяем из Ахетатона», искусственно связывал свое царствование непосредственно с царствованием Аменхотепа III, именуя его «отцом» лишь в этом условном смысле слова. Но, с другой стороны, явное фамильное сходство Тутанхамена с Эхнатоном, его женой Нефертити и его дочерьми говорит за возможность теории Loret и Масперо, согласно которым Тутанхамон был родным сыном Аменхотепа III от его брака с неизвестной нам женщиной, может быть иноземкой. „Jeune homme poitrinaire“ именует его Масперо, и действительно в лице молодого царя мы видим те же черты болезненности, может быть, вырождения, которые так ярко запечатлевают облик Эхнатона.

Последние раскопки Борхардта в Телль-Амарне обнаружили ряд памятников, на которых тщательно было уничтожено имя Нефертити, жены Эхнатона и заменено именем ее старшей дочери. Вполне понятно было бы уничтожение имен вообще всех членов семьи Эхнатона, замена же имени его жены именем дочери указывает на наличность мотивов к преследованию ее памяти лично. Мы знаем, что Эхнатону, помимо его гонения на древние, национальные культы, могли инкриминировать также его безразличие к вопросам внешней политики, державшейся старым престижем Аменхотепа III. Брак его с Нефертити, митаннийской царевной, возбудить неудовольствия не мог, потому что и предыдущие цари, начиная с Тутмеса IV, родственными связями старались закрепить добрососедские отношения с растущей мощью митаннийской державы. Чем-то совершенно необычным, однако, было бы для Египта вступление на престол царя чуждой крови. Эхнатон умирает, не оставив по себе сына. В известную связь с этим можно, может быть, поставить текст переписки между хеттским царем Subbiluliumas'ом и вдовой египетского царя Bibphururias'а, впервые приведенной Hrozny [2]) в 1915 г. и в настоящее время опубликованной

[1]) „Recueil d. Travaux“ т. XI, стр. 212.

[2]) Mit. d. D. O. G. 1915 № 56 стр. 35—37.

Zimmern'ом в транскрипции, с переводом и комментарием [1]). Херттский царь продвигается победоносно к Кархемишу. В это время умирает в Египте царь Bibphururias и жена его шлет к хеттскому царю письмо, где она пишет: «Муж мой умер, сына у меня нет. О тебе же говорят, будто ты имеешь многих сыновей. Если бы ты дал мне одного из них, он мог бы стать моим супругом. Не взять же мне раба и не сделать же мне его супругом?!»... Хеттский царь, после совещания с вельможами, посылает в Египет за достоверными сведениями. Тем временем его войска принуждают к сдаче Кархемиш, некогда крайний предел египетского владычества. Царица вторично шлет гонца к хетам, указывая царю на то, что она не вступала еще ни с одной державой в переговоры, что муж ее действительно скончался, и нет у нее сына, Subbiluliumas посылает ей одного из царевичей, но, согласно сообщению Forrer'a [2]), царевич этот по дороге был убит египетскими вельможами. Schäfer и Ranke полагали, что Bibphururias мог быть Тутанхатоном. И действительно, с этим совпадала бы форма второго имени Тутанхамона — Neb-ḫepru-ra. Но, с другой стороны, как мне кажется, такую же полную вероятность имеет за себя имя Эхнатона в его форме, употребленной в Телль-Амарнской переписке—Napḫururija, на что указывает Zimmern. Это подтверждается заменой имени вдовы этого самого Napḫururija—Эхнатона—именем его дочери на памятниках Телль-Амарны. Царица-митаннийка, с презрением говорящая о «рабе», которого она не желает делать своим супругом, отвергла исконный египетский обычай, в силу которого женщина, имеющая право на престол, фактически передает его своему супругу, обычно члену одной из знатных египетских семей; законной наследницей престола была ее старшая дочь, как родившаяся от царя. Т. обр., с точки зрения египетского обычая, правы были египетские вельможи, убийством устранившие совершенно незаконную узурпацию престола чужеземцем и не имеющей на него права вдовой покойного царя, также чужеземкой по крови, что она и доказала упоминанием о «рабе» и пренебрежением к обычаю.

Если принять предположение Масперо и Loret о том, что Тутанхамон был младшим сыном Аменхотепа III, то понятно станет быстрое устранение Сакара в пользу его, а также полный отказ нового царя от всех начинаний еретика — Эхнатона. Ставленник легитимной партии, истый наследник Аменхотепа III, которого при Эхнатоне, может быть, стремились обезвредить путем брака его с Анхеспаатон, он возвращается не только в области религиозной к Фиванским традициям, но и в области внешней политики не без успеха пытается возродить былую славу оружия Тутмеса III и блеска двора Аменхотепа III, и не его вина, если кровь вырождающегося рода так рано сводит его в могилу.

Н. Флиттнер.

---

[1]) Zeit. f. Assyr. 1923 I Heft.

[2]) Mit. d. D. O. G. 1921 № 61 стр. 32.

За кулисами Французского штаба в эпоху мировой войны.

(J. de Pierrefeu. G. Q. G. Secteur l (trois ans au Grand Quartier General par le rédacteur du «Communiqué») 2 vol.: VIII + 227 + 249 pag. Paris. L'Edition Française illustrée).

Автор книги «Три года в Главной Квартире» Пьеррфе, известный во Франции публицист, занимал в последние 3 года ответственный пост редактора «Бюллетеней Главной Квартиры», что дало ему возможность войти в самую гущу жизни армии и видеть многое из того, что было недоступно простому смертному. В воспоминаниях Пьеррфе многие факты и события приобретают совершенно иную окраску, чем сделанная в свое время в сообщениях Главной Квартиры. Автор подробно описывает внутреннюю жизнь Штаба с ее интригами, борьбой самолюбий и постоянными пререканиями и недоразумениями с правительством. Невольно напрашивается сравнение «их» с «нами» и приходится признать, что и у «них» далеко не все было благополучно и многое напоминает наши порядки времен войны. Автор в своих воспоминаниях собрал богатый и разнообразный материал, так что его труд должен несомненно занять видное место среди уже многочисленной литературы о войне.

Воспоминания дают яркую картину жизни Главной Квартиры, характеристику Главнокомандующих и окружающих их лиц и описание важнейших событий и боевых операций.

К сожалению, за недостатком места, дать исчерпывающее изложение 2 томов не представляется возможным и приходится ограничиться сообщением лишь тех фактов и событий, которые остались неизвестными русскому читателю или получают в описании Пьеррфе новое освещение.

В конце 1915 г. автор приехал в Главную Квартиру, окруженную в глазах населения особым ореолом. Ее местонахождение из стратегических соображений тщательно скрывалось в приказах, и военная цензура старалась не пропускать даже намеков на то, где находится Главная Квартира. Дорогой автор убедился, как строго соблюдались приказы в армии: все встречавшиеся ему офицеры на вопросы автора отзывались полным неведением местонахождения Главной Квартиры и советовали ему, если он это знает, скорее забыть об этом! На самом же деле, благодаря нескромности некоторых газет, несмотря на строгости

цензуры, местонахождение Главной Квартиры было для страны «секретом Полишинеля»..

Главная Квартира представляла из себя стройный и сложный организм, в главе которого стоял Главнокомандующий—«нерв энергии». Отделы и управления, подчиненные ему, с одной стороны снабжают его необходимыми сведениями, которые дают ему знание обстановки, необходимое для осуществления его планов; с другой стороны эти же органы передают его распоряжения («импульс»). И это двойное течение туда и обратно идет непрерывно.

Вокруг Главнокомандующего группируется его Штаб с начальником штаба и его помощниками во главе (вначале войны помощников начальника Штаба было—2, а с 1916 г.—5). Все важнейшие функции Гл. Штаба были распределены между ними. При Главной Квартире состояла группа офицеров связи Президента Республики, бывшие «оком» главы правительства. Среди них наиболее известным был полковник Пенелон. Из отдельных учреждений Главной Квартиры наиболее интересными были: 3-е бюро—операционное, в ведении которого были все вопросы по разработке боевых операций, 2-ое бюро—осведомительное (разведочная часть), Информационное бюро и Т. О. Е.

3-ье бюро играло первенствующую роль среди других учреждений Штаба, часто действовало вразрез с мнениями других бюро, даже не считаясь с важными сведениями 2-го бюро. Такая политика 3-го бюро не раз оказывалась гибельной для дела (например: в боях под Верденом, неудачное наступление на Шемен-де-Дам и др.). Благодаря этому горькому опыту, назначенный в 1916 г. Главнокомандующим, генерал Петен стал более считаться со сведениями 2-го бюро, сообщая по фронту наиболее интересные из этих сведений—«о силах и намерениях неприятеля».

Совершенно новым органом, неизвестным в практике других войн, во французском Штабе было «бюро Информации». Информационное бюро было организовано с целью освещения боевых действий в желательном для Главнокомандующего направлении. Бюро мало-помалу обратилось в настоящее «информационное агентство» для прессы, стремившееся, по мысли генерала Пелле, Начальника Штаба, создавать желательное для Главной Квартиры настроение в прессе, творить личную политику Главнокомандующего; оно стало как бы его оффициозом. Нужно отдать справедливость, что французская Главная Квартира первая учла значение морального сочувствия нейтральных государств и первенствующую роль прессы в деле создания общественного мнения. Около информационного бюро постепенно создался ряд органов: бюро союзной прессы, бюро прессы нейтральных государств и др. В 1916 г. при Петене Информ. бюро развернулось в широкую организацию с разветвлениями по всем армиям в лице особых офицеров-осведомителей (корреспондентов). К нему были прикомандированы лучшие журналисты Франции из числа мобилизованных. К концу войны чисто практические цели бюро осложнились задачей составления

оффициозной истории войны, для чего собирались и систематизировались материалы и пр.

Бюро было маленьким штабом среди большого Главного Штаба. Этот орган был вызван к жизни необходимостью объединить экономические мероприятия союзников против Германии и с этой целью объединить их действия на всех фронтах, претворяя таким образом в жизнь излюбленную идею Ар. Бриана «об едином фронте». Организаторы Бюро между прочим указывали, что разрешение, данное Англией своим доминионам торговать с нейтральными странами, свело почти на нет блокаду Германии. Так, по сведениям французских агентов,—Дания, Голландия и Швеция ввезли в декабре 1915 г. провианта почти в 20 раз более, чем в 1914 г. Ясно, излишек шел в Германию. В целях усиления блокады Германии заведующий экономической секцией при 3-ем бюро предлагал ряд более или менее фантастических мер, так, например: «скупить весь хлеб в Румынии; задержать все американские ценности, хранящиеся во французских банках, так как на эти деньги Германия несомненно закупала себе хлеб в Северо-Американских Штатах» (?). Работа Бюро с первых же шагов натолкнулась на противодействие большинства Гл. Штаба, державшегося чисто военной точки зрения:—«Нужно победить оружием. Поскольку мы не сломим военной мощи Германии—придётся начинать сначала».

Это большинство также было против распыления сил по разным фронтам, считая это вредным для дела: «Нужно аттаковать главные силы противника — таков принцип Наполеона I. К чему создавать внешние фронты». С этой точки зрения противники «штатских» новшеств возражали против Салоникской экспедиции, имевшей целью закупорить южную отдушину Германии. Настроение этих военных кругов ярко обрисовывается в характерном споре офицеров Информационного бюро с полковником Пенелоном в дни разгрома Румынии:

— Что вас заботит, господа?—спросил полковник.

— Все, что сейчас происходит, г. полковник, разгром Румынии!

— Ба! какое это может иметь значение? Вы думаете, что это что-нибудь изменит? Никогда! Все эти немецкие победы, поверьте, господа—сущий вздор!..

И мы были ошеломлены такой уверенностью, но потом дружно на него накинулись: «А взятие Букареста?»

— Вздор!

— А огромное количество захваченного провианта? Хлебный урожай Румынии? Нефть?

— Вздор, повторяю вам. Ведь приэтом гибнут немцы! А западный фронт держится твердо—на нем немцы ничего не выиграли, а здесь решаются судьбы войны! Величие Франции и честь нашей армии требуют, чтобы победа была одержана здесь и именно нашей армией—этого не понимают в Париже, но я объясню им все!

Но бравому полковнику, для которого гибель тысяч людей была «сущим вздором»,—ничего не удалось добиться в Париже. Там он посетил министра А. Тома, с которым у него разыгралась следующая сцена: «Полковник явился к министру рано утром, когда последний пил еще кофе. Министр встретил его с чашкой кофе в руке, с крошками бисквита в бороде и с блестевшими из-под очков глазами. А. Тома со скучающим видом подошел к полковнику и прошипел: «Пф, пф»...

«Смущенный полковник пытался ему что-то объяснить, но министр продолжал на него наступать и мычал свое: «пф, пф»...

«Рассказывая об этом полковник безнадежно разводил руками и повторял: «Что же я мог еще сделать?»

Действительно в такой обстановке вряд ли можно было чего-нибудь добиться и решать какие-нибудь серьезные вопросы!

Автор попал в Главную Квартиру, когда уже наступили «сумерки» старого «Арманда» Жоффра, звезда которого после неудачи под Хартманом уже склонялась к закату. На автора повеяло духом «кастовой привилегированности», который был усвоен большинством офицерства еще в военных школах. Автор подробно описывает нездоровую атмосферу в штабе Жоффра. Его окружала группа блестящих офицеров-карьеристов, прозванная «младотурками» и имевшая на него исключительное влияние. Большинство «младотурок» принадлежало к 3-му Бюро. Относясь с недоверием и враждебностью к Парижу, они подогревали и разжигали в самом Жоффре и во всей Главной Квартире недовольство правительством. Сам Жоффр был хитрый крестьянин из Жиронды, с властным и твердым характером, но с болезненно развитым самолюбием. Играя на его слабостях, можно было у него добиться многого. Он всюду видел интриги и соперников, и, боясь немилости Парижа, политиканствовал, в чем выказал недюжинные способности. Тардье, заведующий Информ. бюро, сам депутат, искушенный в политике, говорил: «Жоффр прирожденный политик, словно родившийся депутатом парламента». Самоуверенный Жоффр импонировал окружающим и умел создавать себе популярность, которую очень любил. Как «победитель на Марне», Жоффр был окружен ореолом спасителя Франции и не потерял еще своей популярности, хотя он весь был в прошлом. Годы и усталость уже сказались на его способностях.

Начальником его Штаба был генерал Пелле, самый молодой из бригадных генералов, человек выдающегося ума, всесторонне образованный и удивительной трудоспособности. Говорят, что план сражения на Марне был составлен им. Пелле пользовался в Главной Квартире большим авторитетом.

В самом начале 1916 г. Начальником Гл. Штаба был назначен генерал Кастельно, в котором видели вероятного преемника Жоффра. В самый разгар войны в Главной Квартире вспыхнули с новой силой интриги, направленные против нового Начальника Штаба; особенно

усердствовали «младотурки», раздувая недоверие Жоффра к Кастельно. Пользуясь тем, что назначение Кастельно еще не было декретировано правительством, все дела фактически остались в руках генерала Пелле. С новым начальником никто не считался и ему ничего не докладывали. Слухи о таком отношении дошли до Парижа, и сам премьер Ар. Бриан запросил Кастельно по телефону,—«доволен ли он свои положением?» Скромный и тактичный Кастельно умолчал обо всех интригах и, кажется, даже уверил Бриана, что все обстоит благополучно. По крайней мере такое впечатление вынес г. Симон, присутствовавший при этом разговоре в кабинете Бриана; заключительная фраза премьера была такова: «Отлично, отлично! Я всегда доволен, мне только это и хотелось знать». Между тем в Главной Квартире все оставалось попрежнему, как это можно видеть по случаю, рассказанному автором.

Получивший свежие новости о начавшихся боях под Верденом г. Пьеррфе спешил к себе для составления сообщения в прессу. Попавшийся ему навстречу генерал Кастельно спросил его:

— Куда вы так спешите?

— Генерал, разве вам неизвестны последние известия из Вердена?

— Нет, нет, друг мой! Мне ведь ничего не докладывают!..

Перед самыми боями под Верденом в Главной Квартире шли пререкания между 3-ьим и 2-ым бюро о месте предстоящего наступления немцев. 2-ое бюро настойчиво указывало на Верден, как на место предстоящего наступления; но третье бюро упорно не соглашалось с этим, скептически относясь к сведениям 2-го бюро и обвиняя его в драматизации положения... 3-ье бюро наоборот ожидало наступления немцев в Шампаньи, или где угодно, но только не на Верден! Даже настойчивые указания на опасность местного командования не поколебали упорства 3-го бюро... Тогда местное командование обратилось с жалобой в Париж. Удивленное правительство запросило Главную Квартиру. И только после долгих переговоров и по категорическому требованию правительства, незадолго до наступления немцев, Главная Квартира согласилась принять кое-какие оборонительные меры в Вердене. Требования правительства вызвали глухое недовольство 3-го бюро, офицеры которого ворчали: «Хотя бы немцы поскорее нас где-нибудь аттаковали—это заставит замолчать этих полоумных депутатов и министров!»...

Но когда удар последовал и именно на Верден, все в верхах Главной Квартиры, как по мановению волшебной палочки, изменилось, явилась уверенность, что под Верденом все готово и его будет легко отстоять. Когда же на Верден посыпались удары невиданной силы и уверенность в его неприступности поколебалась, в Главной Квартире заговорили, что Верден простой географический пункт, очищение которого не имеет стратегического значения! Но правительство требовало, чтобы Верден не был очищен. Сам Бриан приезжал в Главную Квартиру и указал Жоффру, что падение Вердена будет непоправимым

моральным ударом для армии и страны. Жоффр с этим согласился, и от мысли оставить Верден в Главной Квартире отказались.

Бои под Верденом шли при полном расстройстве командования. Связи между армиями почти не существовало, и соседние армии не знали, что делается друг у друга. Верденская неразбериха между прочим иллюстрируется «геройским» падением форта Дуамон.

«В один из моментов перерыва боя и перегруппировки войск, Дуамон остался под защитой нескольких солдат и дежурного артиллериста. Никто из высшего командования не позаботился об его защите!.. Отряд бранденбуржцев, случайно проходивший мимо форта, увидел, что ворота Дуамона открыты, вошел туда и взял форт. Вскоре французы, расположенные на высотах перед фортом, с ужасом заметили, что в них стал стрелять их собственный форт!»

Такая небрежность обошлась дорого, так как обратное взятие Дуамона генералом Невиллем стоило французам больших потерь!..

Верденская операция, едва не закончившаяся для французов катастрофой, была освещена в оффициальном сообщении, как продуманное и заранее подготовленное сражение:—«После объединенных наступлений в Шампаньи и в Артуа Главнокомандующий решил выжидательно расположить наши силы так, чтобы остановить всякое наступление противника. В этих целях местные резервы были приготовлены для контр-аттак, а резервы армий и групп армий были расположены так, чтобы их можно было тотчас двинуть в угрожаемый пункт. Что же касается собственно Верденской операции, то здесь все было приготовлено для сосредоточения войсковых масс. Эта организация, примененная в феврале 1916 г., принесла ценные результаты».

Так-то пишется казенная история!

Еще во время Верденской операции французское командование подготовляло наступление на Сомме. Это операция была проделана Фошем с мастерством истинного таланта и не развернулась в широкое наступление лишь потому, что Главная Квартира запоздала с присылкой подкреплений. Несмотря на свой блестящий успех, генерал Фош был вскоре отчислен от командования в распоряжение военного министра!

«Фош достиг ореола славы и ему нужно подрезать крылья»,—говорили об его отставке «младотурки» Главной Квартиры. Причинами ее было, вероятно, недовольство Жоффра успехами Фоша, что отчасти выясняется из приведенного автором рассказа одного из приближенных к Жоффру офицеров:

«Как-то во время одной из прогулок в лесу Шантильи Жоффр спросил офицера: «Кажется, Фош опасно болен?»

Офицер рассмеялся и с обычной фамильярностью, так нравившейся Жоффру, заметил: «Как, генерал, и вы в это верите? А мне казалось, что в эту болезнь верят только в кабинете генерала Кастельно»!..

Жоффр загадочно улыбнулся и промолчал.

Через несколько дней после этого разговора появился приказ об отчислении Фоша, подписанный Пелле. Явившийся для личных

объяснений к Жоффру, Фош ничего не добился: «Сегодня вы вышли в тираж», заметил ему Жоффр, «а завтра выйду я, так мы все будем сданы в архив».

Неискренность Жоффра видна из того, что в это же время был вручен такой же приказ об отчислении генералу Невиллю, но тот отказался ему подчиниться и угрожал жаловаться в Париж; тогда Жоффр взял приказ обратно и похоронил его у себя в бюро.

Но дни самого Жоффра были сочтены: в конце 1916 г. он был отставлен вместе со своим начальником штаба Пелле. Главнокомандующим был назначен «герой Дуамона», генерал Невилль, а начальником штаба сначала генерал Пон, замененный вскоре генералом Петеном.

В это время в Главной Квартире царила твердая уверенность в превосходстве союзных сил над силами противника. Эту уверенность разделял даже бывший начальник штаба «осторожный» Пелле, говоривший, «что через несколько недель неразумно растрачиваемые немцами силы станут слабее союзных».

И нужны были тяжелые неудачи 1916 и 1917 г.г., чтобы союзники отказались от своей иллюзии. Эту уверенность разделял также новый Главнокомандующий, генерал Невилль, мечтавший о крупном успехе, который затмил бы Марну. Генерал изменил отношения Главной Квартиры к Парижу, стараясь всегда ладить с правительством, и доходил в этом направлении почти до угодливости. При Невилле Главная квартира перебралась из Шантильи в Бове без всякой надобности, из одного его желания угодить Парижу, как выясняется из разговора генерала Невилля с сенатором Жерве:

«— Итак, генерал, вы переезжаете из Шантильи?—спросил сенатор.

«Невилль подробно объяснил ему, что для переезда нет никаких оснований с военной точки зрения.

«— Может быть, —согласился Жерве,—но этот переезд будет иметь большое моральное значение».

И переезд Главной Квартиры был решен.

Чтобы затмить «Марну», генерал Невилль задумал свое наступление на Шемен-де-Дам, вопреки мнению начальника штаба генерала Пона. Друг последнего генерал Мишель публично высказал его соображения премьеру Клемансо, но последний резко его оборвал:

«Подчиненный должен беспрекословно исполнять приказания! Если он этого не делает, то его призывают к порядку! Кто этого не делает, тот не командир».

Английское командование в лице Хега было также против этого наступления, что вызвало охлаждение между ним и генералом Невиллем.

Также всем было известно, что 3-ье бюро не одобряет этого наступления, о чем счел своим долгом в письменной форме сообщить генералу Невиллю заведующий 3-ьим бюро полковник Ренуар, чтобы снять с себя моральную ответственность. На его письмо не последовало никакого ответа. После же неудачи наступления подлинник письма исчез из дел Главной квартиры.

Тем не менее широко рекламированное наступление, «авантюра генерала Невилля», началось и закончилось незначительным продвижением на отдельных участках фронта, стоившим огромных жертв.

Невиль был вскоре смещен и заменен начальником Штаба генералом Петеном, принявшим командование в один из самых критических моментов войны. Ему досталось тяжелое наследие после Невилля. Повторные неудачи, неспособность Штаба и командующих, и в особенности моральный удар последней неудачи, повлекли за собой упадок духа во французской армии.

В некоторых частях проявилось революционное и анти-военное брожение, появились случаи неповиновения и неисполнения боевых приказов. Отдельные части выступали даже с красными знаменами и требованиями мира, в других был смещен командный состав и были избраны Советы Солдатских Депутатов. Одна из частей с орудиями двинулась даже на Париж... Брожение затронуло до 16 корпусов. Волнения передавались от одного к другому.

Петену удалось «умиротворить» брожение: десятком-другим расстрелов, бесчисленным количеством речей (лично главнокомандующий посетил 90 дивизий), обещанием улучшить довольствие и материальное положение армии, а главное обращением к патриотическому чувству солдат. Для выяснения нужд и настроения войск Главная Квартира установила целую систему переписки с армиями. Она обратилась к войскам с предложением откровенно писать в Гл. Штаб о всех своих нуждах. Главная Квартира была засыпана солдатскими письмами. Эти меры свели брожение на нет, и в армии восстановилось спокойствие.

Генерал Петен временно отказался от широких наступлений, но не вернулся к старой пассивной тактике Жоффра «война на истощение». Подготовляя генеральное наступление, Петен пока занялся частичными «пробными» наступлениями. Последние имели своей целью выпрямить союзный фронт, срезая многочисленные клинья, вбитые в него немцами при своих успехах. Наиболее удачным из этих малых дел было наступление под Мальмезоном армии генерала Антуана. Эта победа отдала в руки французов все плато Шемен-де-Дам, что отчасти загладило поражение генерала Невилля. Эти удачи подняли упавший дух французской армии и вернули ей веру в конечную победу.

Петен еще во время войны приступил к восстановлению разрушенных войной районов. С этой целью были организованы рабочие отряды из жителей освобождаемых от неприятеля местностей. Эти отряды работали под руководством военных властей, от которых пользовались полным довольствием.

Английское наступление во Фландрии в ноябре 1917 г., в особенности бои при Камбрэ—показали, что силы немцев далеко не были исчерпаны, и что их численное превосходство оставалось постоянной угрозой дальнейшим успехам союзников. Благодаря этому результаты наступления были менее значительны, чем от него ожидали. Англичане,

несмотря на напряжение всех своих сил и помощь французов, едва избегли поражения.

В 1918 г. выход из войны России дал возможность немцам перебросить на западный фронт огромные силы. Благодаря этим подкреплениям, немцы нанесли союзникам ряд ударов, которые едва не повели к серьезной затяжке войны. Но вмешательство в войну Америки ускорило победу союзников.

Весной 1918 г. немцы впервые применили на западном фронте «таран Людендорфа», ударный кулак, с таким успехом ими использованный в Галиции, Румынии и Италии. Союзники считали, что «таран Людендорфа» неприменим на западном фронте, где позиции укреплены по последнему слову военной техники. Но в первые же месяцы немцы, пользуясь им, нанесли союзникам такие удары, что пришлось отказаться от этой мысли. Старый метод борьбы—«лишь бы не поддаваться противнику»—оказался несостоятельным. Контр-аттаки союзников вели к огромному расходованию сил и были всегда менее удачны, чем немецкое наступление. «Мы», пишет г. Пьерфе, «систематически проигрывали пространство и истощали свои резервы».

Чтобы выиграть войну, союзникам нужно было вырвать инициативу у немцев, а для этого требовались многочисленные резервы, каковых у них не было. Американская армия дала союзникам возможность, наконец, перейти в генеральное наступление!

Кампания 1918 г. началась мартовским Уазским наступлением немцев, вбившим новый клин в линии союзного фронта в месте смычки французских и английских сил. И на этот раз целью наступления немцев был Париж. Немцы докатились до Компьена, из которого Главной Квартире пришлось перекочевывать в Провен. Нужно было, во что бы то ни стало, задержать их наступление до прибытия первых американских войск. И искусство Петена «спасло Францию». В роковую минуту он бросил на победоносные немецкие войска бесчисленную эскадру аэропланов (весь свободный наличный состав). Эта воздушная аттака приостановила победное шествие немцев, которое было окончательно локализовано подоспевшими вскоре свежими американскими силами.

Но, остановленные в одном месте, немцы изменяли направление своего удара и с обычной своей настойчивостью шли к намеченной ими цели: разорвать связь между английскими и французскими войсками. Такая настойчивость немцев в достижении своих планов и стройное единство их действий вызывали необходимость противопоставить им такое же единство действий в лице единого союзного командования.

Верховным Главнокомандующим всеми союзными силами был назначен генерал Фош, Петен остался Главнокомандующим французскими армиями, а Хэг—английскими. На этот раз англичане охотно согласились на единое командование, так как их силы были поколеблены последним ударом немцев, от которого они еще не опра-

вились. Они опасались новых сюрпризов со стороны немцев, которых они могли бы уже не выдержать.

На долю Фоша выпала ответственная задача ликвидировать 2-ую фазу этого многодневного боя, начавшегося еще 21 марта и перекатившегося теперь на север к Амьену. Со своей обычной решительностью Фош для прикрытия Амьена снял с севера с линии Лилль-Ля-Фер английские, а с юга французские войска. Об их стену 4 и 5 апреля разбились все усилия немцев.

9-го апреля немцы вновь изменили направление своего удара и обрушились всей своей массой на ослабленную для защиты Амьена—линию англичан на участке Армантьер—Бассе. Здесь «таран Люндендорфа» вбил новый клин в союзный фронт. Но 14-го апреля наступление немцев было задержано и в этом направлении у Ипра.

Наступила временное затишье. Союзники поджидали прибытия главных американских сил, которые пополнили бы их истощенные резервы.

Но немцы в свою очередь подготовляли свой последний удар, который едва вновь не вырвал окончательную победу из рук союзников.

Союзное командование ожидало повторения, Людендорфом его попытки разорвать связь между союзными силами. Но на какой именно пункт последует удар, союзному командованию угадать не удалось: более вероятно было предположение, что нападение последует опять на северный фронт, где англичане еще не оправились после апрельских боев.

Г. Пьеррфе указывает на два плана, которые могли по его мнению, отразить немецкое наступление. «Первый — распределить более или менее равномерно резервы в главных центрах тыла так, чтобы их можно было бросить в любой угрожаемый пункт. Второй план состоял в сосредоточении всех резервов в одном угрожаемом пункте, в данном случае на северном фронте. Если же удар последует в другом месте, то в нужный момент обрушиться всей своей массой во фланг растянувшейся линии наступающего противника, и прорвать ее. В этом случае при благоприятно сложившихся обстоятельствах таким фланговым ударом можно было бы добиться решающего успеха, который повлиял бы на весь дальнейший ход войны». Но опасность этого плана, по мнению г. Пьеррфе, заключалась в том, что наступающий противник мог добиться решающего успеха, прежде чем представится случай для флангового удара.

«Блестящий, пламенный, стремительный и уверенный в себе гений Фоша чувствовал, что успех всегда носится в воздухе, для чего нужно только суметь найти в создавшейся обстановке счастливую и нужную случайность. Фош слишком верил в свою звезду, чтобы даже с большой дозой риска не пытаться создать обстановку, нужную для появления такой случайности. Для него, человека вдохновения, нужен был внешний толчок (в данном случае немецкое наступление), чтобы

его дарование развернулось в полном блеске». Поэтому он остановился на втором плане. Соображения Фоша по поводу предстоящего наступления немцев были следующие: «Если Людендорф аттакует нас на севере, то я встречу его там со всеми своими силами; если же он аттакует где-нибудь в другом месте, — не беда: лучше быть застигнутым врасплох в любом месте, чем там, где поражение будет катастрофой. Все что угодно, только не потеря связи с английской армией!..»

Конечно на его решение повлияли также настойчивые просьбы англичан—«готовых уже впасть в отчаяние».

Фош сосредоточил все свои силы на севере, в районе Соммы и Лилля, не оставляя «осторожному» Петену, несмотря на его просьбы, никаких резервов.

Место, куда именно будет направлен удар немцев, оставалось для союзного командования загадкой до конца. Наступление обрушилось на Шемен-де-Дам, туда, где его меньше всего ожидали. Местное командование совершенно не подозревало готовящегося удара. Слишко свежа было в памяти французов неудача Невилля, наступление которого разбилось об естественные трудности местности. Французам казалось, что немцы не решатся подвергать себя такому же риску. В самом Штабе после Петена, при новом начальнике генерале Антуане, не все было благополучно. Генерал Антуан был неспособным администратором, мелочным человеком без инициативы, не терпевшим проявления какой-либо самостоятельности.

При нем работа Штаба шла спустя рукава, прежняя связь и спайка между бюро разрушились. В этих условиях ответственная работа 2-го бюро по разведке шла из рук вон плохо. Бюро не знало сил противника и не могло раскрыть его намерений. Вот благодаря каким причинам немцам удалось сохранить тайну своего наступления.

Разразился майский удар немцев на Шемен-де-Дам, который г. Пьеррфе называет «днем испытаний».

«Я», пишет автор, «никогда не забуду ужасных первых часов 27-го мая, начала германского наступление. Еще с вечера 26-го пункт нападения немцев выяснился для французской Главной Квартиры, которую охватило отчаяние, так как все резервы были во Фландрии. Первые подкрепления могли подойти только дня через два. Ничего не могло быть трагичнее положения французской Главной Квартиры, которая уже знала план противника и не имела средств для его парирования!»

Продвижение немцев началось с головокружительной быстротой: в первый же день они прошли более 20 километров и овладели линией реки Эн. Прибывающие одна за другой из Фландрии дивизии сокрушались немцами, продолжавшими свое наступление. Был момент, когда дорога перед ними оказалась открытой. Кронпринц быстро продвинулся за Марну, достиг почти Компьена, где помещалась французская Главная Квартира. Вторично поднимался вопрос об ее эвакуации, а опасность надвигалась вновь на сердце Франции, Париж!

Казалось, война была бесповоротно проиграна!.. Прибытие долго жданных, главных американских сил остановило продвижение немцев. Положение было спасено...

Опасность на этот раз миновала, но она не была еще ликвидирована. Наступательный порыв немцев не был сломлен. Остановленные в одном месте, немцы обрушились всей своей массой в новом направлении, выискивая наиболее слабые места противника.

Их наступательная энергия была окончательно сломлена мастерским ударом Фоша в районе Реймса 15-го июля.

Этот успех Фоша был поворотным моментом войны, инициатива была окончательно вырвана из рук немцев и перешла к союзникам. Это было для немцев началом конца. С этого момента началась медленное, но неуклонное наступление союзников, подкрепленных многочисленными, свежими американскими силами..

Но многим еще казалось, что силы немцев неистощимы и их энергия несокрушима. Во французской Главной Квартире были уверены, что немцам удастся долгое время продержаться на «линии Гинденбурга», а затем отойти на сильную линию реки Мааса, так и пройдет вся зима...

Действительно, немцы отходили с упорным боем, проявляя стойкость войск, сохранивших всю свою энергию и боеспособность.

Только 18-го сентября, т.-е. через два месяца после начала союзного наступления, англичане подошли к «линии Гинденбурга», 30-го сентября выбили немцев на этом участке, и лишь к 15-му октября им удалось очистить весь район Сен-Кентена.

Свое наступление на 200-верстном фронте Фош вел с удивительно энергией и железной настойчивостью, не давая немцам времени для подготовки контр-наступления, что они всегда делали с таким успехом в России, Галиции и Румынии. Немцы едва успевали кое-как затыкать многочисленные дыры, пробиваемые ежедневно в их фронте союзниками.

«Изумительная 3-месячная оборона немцев была возможна», по мнению г. Пьеррфе, «потому, что немцы были обильно снабжены боевыми материалами, вывезенными ими за 3 года из оккупированных французских областей».

29-го сентября 1918 г. Болгария выбыла из строя, и Германия оказалась отрезанной от востока. За Болгарией вскоре последовали Турция и Австрия, и Германия осталась одинокой. Судьба ее была решена!

Пьеррфе высказывает предположение: «Если бы Людендорф, в конце августа, убедившись, что можно держаться только на линии Гинденбурга, своевременно отошел на нее, а не растратил бы бесцельно свои силы в безнадежном отступлении с боем, то положение Германии было бы лучше».

«Тогда, при помощи подошедших подкреплений, Людендорф мог бы с успехом прикрыть свою границу, и Германия могла бы добиться для себя более приемлемых условий мира».

Но это сделано не было, и Германия оказалась в безвыходном положении.

«Навсегда для меня останется памятным день», говорит г. Пьерфе, «когда стало известным, что Германия просит перемирия. Это было 2 или 3 ноября 1918 г».

«Я шел в 3-ье бюро за сведениями, когда встретившийся мне генерал Дюваль сказал: «Сейчас я сообщу вам ошеломляющую новость. Смотрите, бодритесь!»... Я с недоумением посмотрел на генерала. Его глаза сияли, руки немного дрожали.—«Получена телеграмма из Берна—Германия просит перемирия»...

Вскоре новость облетела весь город... Никто не мог скрыть своей радости.

Немедленно Фош собрал совещание для выработки условий прелиминарного перемирия. С первых же шагов наметилось два течения: одно крайне шовинистическое с широкими империалистическими мечтами, другое более умеренное, настаивавшее на предъявлении приемлемых для Германии требований. Оба безусловно настаивали на немедленном очищении неприятелем оккупированных территорий, в остальном несколько расходились между собой. Более умеренное течение удовлетворялось возвращением Эльзас-Лотарингии, а более империалистическое настаивало на занятии линии Рейна и предмостных укреплений на правом берегу реки. Проекты обеих групп предоставляли немцам известный срок для эвакуации занятых ими территорий, после которого вся невывезенная ими материальная часть передавалась союзникам, но оружие и багаж безусловно оставлялись германской армии. В это время еще не поднимался вопрос о полном разоружении Германии. Главная Квартира вполне разделяла мнение Фоша:

«Немцы храбрые солдаты, которые превосходно сражались; им нужно сохранить армию».

По каким соображениям остановились на более суровом проекте, г. Пьерфе неизвестно. Но это относительное «мягкое» отношение к Германии изменилось, когда там вспыхнула революция; страх перед социальной революцией заставил союзников добиваться полного удушения Германии, с которой разделались по-свойски.

Интересно то, что и в 1917 г. страх перед русской революцией заставил французскую Главную Квартиру мечтать о союзе с Австрией, о новом тройственном союзе Франции, Австрии и Англии.

Петен был одним из сторонников этой идеи и говорил: «Так как Россия лет на 20 погрузилась в анархию, а Франции нужен союзник на востоке, то союз с Австрией нам диктуется заботами о безопасности родины».

В заключение нашего изложения отметим, что Пьерфе дал наиболее подробную характеристику одного только Петена, к которому питает особенные симпатии.

Петен был человек мягкий, простой в обращении и очень застенчивый.

Свою застенчивость он скрывал под внешней холодностью. Его окружала атмосфера товарищеского почтения и дружелюбия. С союзниками он был в наилучших отношениях; в особенности дружественны были его отношения с американцами. Петен был теоретик, с философской складкой ума, чем он отличался от большинства военных, «людей чувства и вдохновения». Он верил в силу человеческой воли и благость труда, если то и другое идет в ногу с происходящими событиями, течение которых люди бессильны изменить. Он легко разбирался в событиях и различал в них существенное от несущественного, хотя бы последнее затемняло истинный смысл происходящего.

Петен был человек удивительной трудоспособности, работавший по 12 часов в сутки, и находил еще время заниматься огородничеством. Он мечтал после отставки заняться сельским хозяйством. Он много читал и был всесторонне образованным человеком,—большим ценителем и знатоком изящной литературы. Его критическое чутье видно в его отзыве об Ан. Франсе: «Отчего он, так много обещающий и захватывающий вначале, никогда не выполняет этих надежд? Я всегда увлекаюсь у него началом, но разочаровываюсь концом!»

Александр Ивов.

Брюссельский интернациональный конгресс исторических наук.

Ровно через 10 лет после IV-го Лондонского, собрался в апреле 1923 года в Брюсселе V-й исторический конгресс. Тогда, весной 1913 года, мы присутствовали, сами не зная того, на одной из последних манифестаций братства и сотрудничества европейских народов, накануне страшной мировой бойни. Как мало прожито с тех пор и как страшно много пережито; огромность этого пережитого не могла не отразиться и на нашем ученом собрании. Правда, внешние формы его во многом остались прежними, хотя вместо грандиозной, но тяжелой в своем туманном величии английской столицы нам оказывала теперь гостеприимство более миниатюрная, изящная и приветливая бельгийская, на которой трехлетняя иностранная оккупация не оставила никаких приметных следов. Формы европейской жизни как будто остались те же: прекрасно замощенные и освещенные улицы, блестящие магазины, комфортабельные гостиницы, изысканные блюда и вина на званых завтраках, фраки мужчин и декольтированные яркие туалеты женщин на вечерних раутах.

Да, все как будто то же, но лишь на поверхности; внимательный же наблюдатель легко обнаружит, именно при сравнении Лондонского конгресса с Брюссельским, пройденный Европой кровавый этап и оставленные им на ней тяжелые следы.

Пять лет прошло со времени заключения мира, и только на пятом мирном году удосужились вспомнить о научном международном деле, которое все откладывалось в долгий ящик. Ведь весна 1918 г. была в свое время назначена сроком созыва V-го конгресса, а С.-Петербург—местом собрания его.

В Лондоне на первом плане везде были немцы: многочисленные, деятельные, они охотнее и громче других говорили, произносили тосты, приветствия, ведя себя порой довольно вызывающе с подчеркнутым шовинизмом. С ними конгресс был оживленнее, обмен мнениями менее объективен, споры горячее. Отчасти ту же нотку, но с отсутствием шовинизма, вносили и русские: (Виноградов, Тарле, Ростовцев, Ардашев, Бубнов, Любименко, В. Грабарь, Фармаковский, Митрофанов и другие); их было относительно много, хотя, конечно, гораздо меньше немцев, и предложение их собраться в следующий раз в Петербурге было принято охотно.

В Брюссель немцам приглашения не было послано вовсе, да и трудно было бы именно бельгийцам принимать их теперь, как гостей. Выбор Брюсселя заранее предрешал исключение немецких историков. С другой стороны, в какой-либо нейтральной стране трудно было бы собраться из-за высокой валюты. Ведь ученые везде, даже в Америке, стали уж очень небогаты.

Австрийцы в Брюссель не поехали, ссылаясь на свое тяжелое экономическое положение, но в душе, вероятно, солидаризируясь с немцами, по этой же причине были очень малочисленны скандинавы, представители немецкой части Швейцарии и голландцы; последние пользовались всяким удобным случаем, чтобы публично протестовать против неприглашения немцев.

Огромный численный перевес получили французы, почти отсутствовавшие в Лондоне. Правда, инициатива выбора Брюсселя исходила от англичан, но с тех пор возникли Рурские события, спаявшие Бельгию именно с Францией, и несомненно французские ученые своею многочисленностью стремились отчасти подчеркнуть солидарность обеих стран. Впрочем, война привела, наконец, французов к сознанию необходимости поддерживать свой международный престиж и культивировать симпатии других народов.

Таким образом V-й исторический конгресс не был в полном смысле слова интернациональным; и тем не менее он оказался самым многочисленным из до сих пор собиравшихся. Число членов его перевалило за 1000 человек, а докладов было объявлено до 350 (в Лондоне их было около 200). Ни крайне несносные компликации паспортов и виз, ни дороговизна отельной жизни с одной стороны и обеднение ученого сословия с другой, не оказались достаточно серьезными препятствиями для многолюдства. Так велика была у ученых жажда общения, сознание необходимости международного сотрудничества.

Чтобы дать представление о сравнительном участии различных народов, я приведу обработанную мною статистику докладчиков по национальностям:

1) французов	116	11) румын	5
2) бельгийцев	65	12) греков	4
3) англичан	28	13) шведов	3
4) американцев	18	14) датчан	3
5) поляков	15	15) норвежцев	2
6) итальянцев	14	16) чехов	2
7) голландцев	10	17) португальцев	1
8) испанцев	8	18) эстонцев	1
9) швейцарцев	8	19) египтян	1
10) русских	7		

Но были, кроме того, делегации и от других неевропейских стран, как-то: Бразилии, Канады, Австралии, Японии.

Из этой таблицы мы видим, что французы составляли примерно около $^1/_3$ конгресса. Следует также отметить относительно большое число бельгийцев; правда, они были у себя, но в такой маленькой стране с четырьмя университетами наличность 65 историков-докладчиков весьма примечательна.

Англичане были представлены слабее, чем в Лондоне, что вполне естественно, за то усилилось значение американцев, и особое отделение было посвящено истории Америки. Довольно заметными были и представители опекаемых Антантой народностей: чехи, румыны и особенно поляки.

Нас, русских, было мало, всего 7 человек, если не считать тех, которые, как Виноградов или Ростовцев, являясь официальными представителями англо-саксонских стран, утратили, по европейским понятиям, право считать себя русскими. Правда, русские эмигранты числили их все-таки в своих представителях, ибо иначе белая эмиграция была бы уже слишком печально и скудно представлена всего четырьмя представителями, из коих только один Б. Нольде с именем. Такие центры русской эмиграции, как Берлин или Прага, не прислали никого.

Из Советской России ожидали официальных представителей Академии, но официальный делегат Академии, проф. Тарле, почему-то совсем не приехал, хотя Бельгия выслала ему визу во-время; проф. Оттокар, благодаря волоките с визой, опоздал на три дня, так что в начале вся Советская Россия была представлена лишь академиком Бартольдом и мною, и это жаль.

Большое число докладов заставило разбить работы конгресса на массу секций и подсекций. По мере роста древа познания, оно ветвится все сильнее, и если в Лондоне мы имели 9 секций, из которых лишь некоторые были разделены на подсекции, так что в общем образовалась группировка докладов по 13 отделениям, то в Брюсселе число этих отделений было доведено до 23. Таким образом каждый член не мог фактически заслушать более $^1/_{23}$ части всех докладов хорошо еще, что почти все группы заседали в одном здании—«Дворце искусств»—и не приходилось, как в Лондоне, терять время на поездки с одного конца города на другой. Несмотря на то, что в таком перегруженном аппарате всегда есть балласт, глаза буквально разбегались на все то интересное, что хотелось бы услышать. Пропуски в таких случаях всегда неизбежны, но мне думается, что в Брюсселе переборщили. С одной стороны, доклады принимались без всякого выбора и какой-либо цензуры, хотя уже предварительные резюмэ обнаружили явную вздорность некоторых из них. Так, один из русских эмигрантов преподнес нам в социологическом аспекте русскую историю от Рюрика до революции, и все это в $^1/_2$ часа, которые предоставляются каждому докладчику. Другой—поляк—обвесил всю аудиторию какими-то замысловатыми таблицами для того, чтобы прийти к глубокомысленному выводу, что хлеб из плодородных мест-

ностей неминуемо попадает в неплодородные; он же утверждал, что все города, и в частности русские, вырастают только в неплодородных местах.

С другой стороны, научной части было безусловно отведено слишком мало времени, от 9 ч. утра до 1 ч.; в Лондоне мы заседали до 4-х и благодаря этому можно было сделать значительно больше; в Брюсселе же, кроме двух дней публичных заседаний, с момента завтрака время отводилось на экскурсии, развлечения и светские приемы, которые должны были бы играть второстепенную роль; к тому же в Лондоне эта светская сторона была куда привлекательнее и разнообразнее, да это и понятно, так как большая страна имеет больше культурных рессурсов.

На торжественном открытии конгресса присутствовали королевская семья, некоторые дипломатические представители, члены правительства и депутаты. Министр Наук и Искусств произнес небольшое приветствие, в котором обращался к историкам, как к «судьям человечества». Затем выступил профессор Пиренн, главный организатор конгресса. В эпоху социального перелома, сомнений и неизвестности, говорит он, взоры естественно устремляются на тех, кто сделал своей специальностью изучение истории человечества. Нельзя не признать, что мир не дал Европе ни спокойствия, ни уверенности в завтрашнем дне, а создал в ней моральный кризис совести, интеллектуальный кризис ума и полное нарушение социального и экономического равновесия. Многие ученые понесли на войне тяжелые потери, как родственниками, так и учениками, и даже по окончании ее наука везде ощущает недостаток средств.

Но самым тяжелым затруднением для исторической работы являются не эти моральные и материальные лишения, а серьезная опасность потерять объективность, без которой нет и не может быть науки. Перед установленным научным фактом ученый обязан покорно склонить голову, подчинив ему самые дорогие свои предрассудки, самые твердые убеждения, самые естественные чувства.

К двум наукам прибегали больше всего во время войны: к химии и истории, но если первая от этого выиграла, то вторую, напротив того, слишком часто заставляли, во вред себе, играть довольно печальную роль. Уже Людовик XIV и Фридрих II требовали от нее подыскания оправдательных мотивов для своей завоевательной политики. Но в те времена, по крайней мере, обманывали лишь нескольких дипломатов, тогда как теперь аргументы, вымученные у истории, подносили, при посредстве прессы, всей массе граждан. Пиренн зовет историков выйти из тесных рамок национальной и локальной истории, мешающих, по его мнению, развитию объективности. Только с выходом на более широкую обще-историческую арену, с высоты всемирно-исторической точки зрения, они узрят правильные перспективы.

Заседание, открывшее конгресс, было, в сущности. единственным интересным общим собранием, ибо программа других была составлена

чрезвычайно неудачно; руководились лишь выбором именитых докладчиков, совершенно не вникая в темы их докладов, не имевшие никакого общего интереса. Таким образом, боевые доклады попали в секции, что лишило многих возможности их выслушать.

Число докладов в секциях суммируется следующим образом:

I.	История востока	12 докладов.
II.	История Греции и Рима	19 "
III.	Византия	14 "
IV.	Средние века	18 "
V.	Новая история	47 "
VI.	История религии и церкви	27 "
VII.	История права	29 "
VIII.	Экономическая история	19 "
IX.	История цивилизации	42 "
X.	История искусства и археология	49 "
XI.	Исторические методы и вспомогательные науки	17 "
XII.	Документация по мировой истории эпохи великой войны	17 "
XIII.	Архивы и издание исторических текстов	10 "

Мы видим, что число докладов по секциям колебалось в пределах от 49 до 10. Наиболее перегруженными оказались: секция истории искусства (49 докл.), новой истории (47) и истории цивилизации (42). Они были разбиты на 3—4 подсекции, другие на 2, и только совсем слабо нагруженные остались неразбитыми.

Выловить в этом перегруженном аппарате то, что представлялось каждому, в соответствии с его интересами, наиболее нужным, было нелегкой задачей, и вряд ли кто-нибудь из нас справился с нею вполне удовлетворнтельно. По счастью, осведомительная сторона была поставлена хорошо, бюро конгресса, где крайне деятельным членом был секретарь, молодой бельгийский ученый Ganshof, заранее разослало всем членам не только программу занятий, но и напечатанные на отдельных листках резюмэ всех докладов, из которых ныне составился толстый том (более 500 стр.) трудов съезда.

Характер докладов был очень разнообразен. Рядом с чересчур узко-специальными, особенно у французов и англичан, поляки и отчасти русские эмигранты обнаружили большую слабость и чрезмерный интерес, уклон в сторону социологии и сравнительного метода. Были ценные сводные рефераты, как например Олара, Driault, Fish, а также доклады на общие методологические темы, как, например, Козловского «Роль идеи в истории» или редактора «Revue de Synth. Hist.» H. Berr «О синтезе в истории».

Некоторые доклады приняли боевой характер благодаря известности или таланту докладчиков; таков был, например, доклад Виноградова по истории английского права и оба доклада профессора

Пиренна. В других случаях успех являлся неожиданным, вызванным интересом или злобоневностью содержания. Таков был, например, доклад Huvelin «Плохие студенты-юристы». Имя им, говорит докладчик, Петрарка, Тассо, Кальвин, Декарт, Монтескье, Гете, Гейне, Флобер, Метерлинк и многие другие. Можно подумать, что было что-то в юридических науках, что отвращало от них наиболее талантливых, крупных людей. Впрочем, автор полагает, что современный прогресс юриспруденции отодвинул это явление в область прошлого.

Чрезвычайно любопытным оказался доклад Реннского проф. Deprez «Об экономических и социальных последствиях 100-летней войны». В экономических и социальных потрясениях этого далекого периода автор вскрыл любопытные аналогии с современным состоянием Европы.

Через 12 лет после начала войны мы наблюдаем в XIV ст. в обеих воюющих странах резкий подъем заработной платы и быстрый рост цен, скрывание товаров купцами и общее деклассирование. Раздаются жалобы, что низшие классы чрезмерно повысили свои требования; сеньоры негодуют, что жены рабочих желают одеваться, как знатные дамы, что иного рабочего-металлиста не отличить по одежде от сеньора.

Государственные финансы воюющих стран претерпевают также большие перемены, благодаря чрезмерным военным расходам и порче монеты, игравшей роль нынешнего выпуска бумажных денег; но и нейтральные страны, накопившие у себя все золото, испытывают большие экономические затруднения от избытка его. Попытки французских королей и английского парламента таксировать продукты, регулировать заработную плату, запрещать вывоз и т. п.—бессильны справиться с результатами войны, доводящими обе стороны до революционных вспышек.

В читаемых автором отрывках из документов звучат для всех нас странно знакомые нотки, несмотря на 6 столетий, отделяющих их от нас.

В экономической секции вообще было немало интересных докладов. Проф. See вскрыл любопытную преемственность экономических идей от Тюрго к социалистам XIX ст. Заслуга Тюрго в том, что он впервые указал на роль капитализма в классовом расслоении общества. Проф. Пиренн пытался проследить в мировой экономике последовательную смену периодов свободы и регуляции.

Проф. Marion, изучая моменты резкого подъема заработной платы, обратил внимание на прочность этого подъема в эпоху великой французской революции, окончательно консолидированного в годы консулата.

Интересны были также доклады по истории революции. Дижонский проф. Mathiéz, разбирая характер оппозиции между Жирондой и Горой, находит, что мотивы ее были главным образом не политические, а экономические и религиозные. Жирондисты защищали собственность от временных покушений на нее монтаньяров (сокращение свободы торговли, принудительный заем и т. п.) и настаивали на полном отделении церкви от государства с невмешательством последнего

в‘дела первой, тогда как монтаньяры отказывались лишиться поддержки красного духовенства, учитывая пользу для революции от расслоения церкви.

Мы, конечно, не можем охватить здесь, даже в общих чертах, занятий всех секций. Много интересных докладов было в секции истории искусств; очень оживленно велись занятия в секции истории религии, число аббатов на конгрессе было довольно велико, были и монахини, и почему-то я видела трех из них на докладе проф. Олара.

Огромный интерес вызвал перенесенный, по общему требованию, из секции в общее собрание доклад консерватора королевских музеев в Брюсселе Capart о замечательных раскопках, произведенных в Египте по инициативе лорда Carnarvon, о чем см. статью Н. Флитнер в этой же книге „Анналов“.

Результаты работ конгресса выразились в ряде пожеланий и резолюций, вынесенных отдельными секциями:

III секция выразила пожелание о создании интернационального журнала по изучению Византии;

VIII-ая о создании интернационального органа, главным образом информирующего характера, по экономической истории;

IX-ая обращала внимание редакторов существующих исторических журналов на необходимость быть лучше информированными своими сотрудниками о появлении новых статей и книг в различных странах;

XI-ая выразила надежду, что следующий конгресс отведет больше места вопросам исторического метода, теории истории и исторического синтеза;

XII-ая подчеркнула необходимость координировать усилия отдельных стран в вопросе создания и охранения архивов великой европейской войны и широко применять сотрудничество для создания интернациональных трудов по истории войны, причем область эта понимается очень широко, как история всех сторон жизни европейских народов в эпоху войны.

Наконец XIII-ая секция выразила пожелание, чтобы при передаче архивов, вызванной изменением границ, были приняты во внимание не только административные, но и культурные надобности заинтересованных стран.

Обыкновенно, на каждом конгрессе назначался срок и место для следующего. Но решить этот вопрос в современной ненормальной обще-европейской обстановке было нелегко, и потому предпочли отсрочить решение его, создав интернациональный комитет, которому и поручено, путем переговоров с различными странами, установить к весне 1926 года место и срок созыва VI-го интернационального исторического конгресса.

Пожелаем, чтобы он был в полном смысле слова интернациональным и чтобы русские ученые заняли на нем подобающее им место.

Инна Любименко.

Автобиография Марго Асквит.

Эти мемуары [1]), богатые всеми свойствами наиболее удачных из аналогичных женских произведений, блеском непосредственного наблюдения с одной стороны, и полным отсутствием обобщений, а часто и объективности, с другой, сразу останавливают внимание новизною, чтобы не сказать экстравагантностью подхода. Как известно, помимо всех своих достоинств по существу, Руссо стал «epochemachend» откровенностью изображения своего собственного «я». Миссис Асквит нашла возможным обращаться с такой же бесцеремонностью отнюдь не сама с собою, а с теми лицами, которых она касается в своей книге. Себя она не дает взять невзначай: даже записывая в дневник самые горестные или радостные и интимные переживания—смерть отца, встречу с любимым человеком, известие о гибели пасынка на французском фронте,—она помнит, что она «отошла от окна и стала за креслом мужа», «покрыла лицо руками» и т. д. Но эта способность смотреть на все со стороны, или, выражаясь ее любимым словом, с полным «disengagement», становится поистине своеобразной, когда, говоря о людях часто еще живых, и в большинстве случаев видных государственных деятелях, она прикалывает их, как бабочек, к своей коллекции и спокойно отчеканивает: мой друг, лорд такой-то (следует полное имя и титул), ростом выше 6 футов, глаза у него такие, а рот такой, в уме его интересно то-то а того-то недостает, поступил он в таком-то случае так-то, и это было дурно, смешно или восхитительно. Вот ее благоразумные и чопорно-бесстрастные пометки: «войди вы в комнату в купальном костюме или в бальном платье, Асквиты все равно не обратили бы на это внимания, и уже во всяком случае не позволили бы себе никаких замечаний» (I, 268). Вот секретарь Гладстона, сэр Алджернон Вест: «Я не помню времени, когда Алджи Вест не считал, что он уже старик и не желал бы умереть; но, хотя ему сейчас около девяноста лет, он все еще молод, отлично выглядит, и что еще более поразительно—убежденный либерал» (I, 184); вот лорд Мидельтон: «Семья его первой жены была совершенно неспособна оценить его индивидуальность» (I, 181) или лорд Элко: «Он никак не мог понять идею управления страной одной партией, так как считал, что раз хотя бы трое лиц жертвуют своими убеждениями настолько, что приходят к известному компромиссу и составляют кабинет, то они

---

[1]) Autobiography of Margot Asquith. London. 1922—1923. Два тома.

тем самым лукавят перед своей совестью и совершают нечестный поступок» (I, 186). Героя своего первого романа, оставшегося в ее памяти человеком весьма мало привлекательным, миссис Асквит всюду называет Питером Флауер (по английски «цветок»), но дабы непосвященный читатель не подумал, что это имя вымышленное, она спешит объяснить (I, 216), что это—брат покойного лорда Баттерси. Неудивительно, что такая книга имела успех скандала. Она, конечно, усилила неудовольствие, как политических врагов мужа миссис Асквит, так и ее собственных. Но, в общем, ей удалось избежать немало Сцилл и Харибд. Tout compris, ее характеристики незлостны, и если объект их обладает хоть малой долей юмора, он нередко улыбнется и согласится с ними.

Для нас, далеких от многих хитросплетений, связывающих между собою и политическими, и личными звеньями целый ряд действующих лиц, книга эта имеет значение с точки зрения, о которой автор явно не думал и не мог думать. Она бросает яркие блики на специфические стороны быта современной Англии, отличающие ее от ее соседей на континенте.

Ни происхождение, ни политическое мировоззрение, ни богатство, как Асквитов, так и семьи Марго, Теннентов, строго говоря, не ставит их в ряды высших кругов. В детстве она была окружена большой деревенской простотой: первое впечатление о культурной жизни зародилось в ней при лицезрении двух нарядных платьев, одного, сшитого в Лондоне, а другого—няней (I, 21). В палате общин, в галлерее почетных гостей, дамы ульстерской аристократии отстранялись от нее точно так же, как в детстве, в Шотландии, от ее либеральной семьи отстранялась вся местная аристократия. И все же, король и королева, их дом, переживания, судьбы, представляют собой для Асквитов нечто близко знакомое, почти родное и любимое, несмотря на все недостатки. «Конечно», записывает Марго Асквит в дневнике, «в гостях у Эдуарда VII в Виндзоре, в 1908 г., короли всегда расходятся в мнениях с влиятельными представителями своего народа, и постоянно вынуждены придерживаться безопасных и избитых аксиом. Для них, умные мужчины—«педанты», умные женщины—«слишком передовые», либералы—«социалисты», люди скучные—«приятные», действительно интересные—«интриганы», а мечтатели—«сумасшедшие», но в конце концов наш король безропотно отдает большую часть времени исполнению долга. Он жертвует громадные суммы инвалидам, раздает награды морякам, делает парады солдатам, открывает мосты, базары, памятники, туннели... Он безупречно лойялен в отношении всех своих друзей,—поклонниц и еврейских финансистов... Он пользуется большим престижем, у него много смелости и простоты»... (21, 115). Болезнь и смерть короля переживается, как личное горе, она не может уснуть и лежит в кровати вся холодная, точно в столбняке. В 12 час. ночи раздается стук в дверь, входит старший курьер: «Его величество скончался в 11 час. 45 мин.»—Миссис Асквит разражается рыданьями

(II, 138). Молоденькой барышней она весело флиртует с принцем Уэльским, а в 1918 г., в день объявления мира, записывает в дневнике стилизованную картину короля и королевы: несмотря на проливной дождь, они сидят на открытом сверху балконе дворца, освещенные двумя сильными рефлекторами, и целые сутки отвечают на шумные приветствия народа, заполняющего двор. На следующий день, в палате общин речь Асквита: «Посреди всеобщего крушения тронов, построенных на бесправии, на хрупком здании искусственного договора, на призрачных претензиях о «Божьей милости» или, как то было у Габсбургов и Гогенцоллернов, путем натравливания общественных сил друг на друга и тиранизирования, наш престол стоит ненарушимо, крепко закрепленный на прочном фундаменте народной воли» (II, 190). Отношение миссис Асквит и ее семьи к церкви также национально: это смесь веры, свободомыслия, этичности и практичности. Она ни минуты не закрывает глаз на несовершенства государственной церкви. Больше того, в разговоре с лордом Сельсбери, она заявляет, что по ее глубокому убеждению (I, 157) следующая схватка внутри страны сосредоточится именно на этом вопросе: вечная стройка новых церквей идет чересчур вразрез с нищенским окладом священников; очень мало порядочных людей может позволить себе выбор такого призвания; к тому же искусственность церковных речитативов так действует на нервы, что церкви замирают и пустеют с каждым днем. Друг и наставник Марго Reverend Джоует, знаменитый профессор греческой философии в Оксфорде и стоящий во главе (Master) Баллиолского университета, выражается еще резче. Он сам сильно пострадал от церковных властей и порядков: не доверяя его направлению, с него, известного ученого, потребовали подписания заново его показания о приверженности к символу веры англиканской церкви и дополнили контроль сокращением жалованья за то, что, по его мнению, библия подлежит критике наряду с другими книгами (I, 109). Он считает, что церкви потускнели от светскости и преданности интересам высших классов. Разделение церкви от государства неминуемо, потому что школа везде и всюду захватывает ее место, но стране это отнюдь не грозит потрясением. Надо просто стараться превзойти уровень своей церкви. «Надо верить в бога, несмотря на то, что говорят священники» (I, 136). В разговоре с миссис Асквит, Хексли восторженно вспоминает слова их общего любимого героя, генерала Гордона, о том, что если он будет неожиданно убит на улице, то в его судьбе изменится только то, что он перейдет в ведение более крупного центра (a wider sphere of government) (I, 134). В связи с такими воззрениями вот еще характерная встреча в вагоне: Марго Асквит едет выбирать лошадей (она большой спортсмэн). Ее сосед—седовласый старец—«спасать души». Затевается спор, он ее обвиняет в том, что она скользит по верхам общества и жизни, она его за то, что он вмешивается в чужие переживания, а это неделикатно. Спор заканчивается молитвой: старик, его секретарь и Марго становятся на колени тут же

в вагоне и он импровизирует вслух. Оказывается, что это генерал Бутс, основатель «армии спасения» (I, 227). Еще более определенные задания дает церкви, и на этот раз с полного одобрения Марго, лорд Китченер. Он был убежденным противником принудительного набора, но именно в качестве такового, старался не пропускать ни одного удобного случая пропаганды записи в добровольцы. И вот прекрасный случай представился: в день годовщины войны, в 1915 г., в соборе св. Павла должна состояться поминальная служба по павшим воинам. Лорд Китченер обсуждает с местным духовенством текст гимнов и проповедей. Но «нет на свете людей более консервативных, нудных и лишенных всякого воображения, чем священники... Я им предлагал подходящие гимны, вроде: «Вперед, христианские солдаты»... а они меня слушать не желали. Я хочу использовать эту службу для набора рекрутов. Архиепископ мог бы сказать краткую проповедь, которая вызвала бы подъем у всех присутствующих» (II, 228, 229). И миссис Асквит с огорчением прибавляет: «Несмотря на громадное скопление солдат и моряков и на присутствие министров, послов и короля, служба не удалась. Прекрасный случай был пропущен».—Неудивительно, что эта «упрощенная» церковь не страшна миссис Асквит. Пусть архиепископ Кентерберийский ex cathedra громит ее и ее «Мемуары»,—она ведь знает, что это говорит друг ее семьи и детства, крестивший и причащавший их всех, товарищ Асквита по введению конституции в Траансвале, свой человек, Рандольф Давидсон, с которым можно считаться как со всяким почтенным человеком, но не больше.

Раз высшие институты государства, монархия и церковь, «приручены», то неудивительно, что среди партийных деятелей и интересов Марго Асквит тем более чувствует себя, как рыба в воде. Она вращается среди верхов либеральной партии, но от ее отношения к ним веет провинциализмом былых помещиц в недели дворянских выборов: «В эпоху раскола нашей партии по поводу бурской войны, когда мы были в оппозиции» (I, 163)... «В то время нас, либералов, очень беспокоил призрак протекционизма» (I, 156)... «Последнюю неделю 1909 г. мы провели в разъездах, всюду выступали с речами и в результате неудовлетворительной, но все же посредственной кампании, мы были выбраны» (II, 131)... Но и здесь проскальзывает дух английской индивидуальности. Марго Асквит действует в открытую. Она—дочь либерала и выйти замуж за тория, будь то герцог Бофорский, кажется ей попросту нелепым (II, 169). Во время выборов в Шотландии, она «с ловкостью карманного воришки» прикалывает либеральные значки к фалдам сюртуков ничего не подозревающих приезжих торийских фермеров, а в другой раз позорно изгоняется за еретическое мнение о гомруле! Тут характерна, при наличии совершенно самостоятельной и беззастенчивой политической деятельности—(дочь Асквита выступала на митингах, пропагандируя избрание отца в парламент),—естественная подчиненность традиционным, почти что

кровным интересам. Это участие Марго в жизни либеральной партии представляется окружающим до того понятным, что они сплошь да рядом сосредоточивают на ней все свои претензии. «Боже мой, Марго», кричат ей в палате 30-го июля 1914 г., «разве вы не понимаете («Вы»—читай: либеральная партия), что если Вы не примете мер, у нас будет гражданская война с ирландцами» (II, 161), так же, как вопили в свое время: «Марго, да неужели вы побили буров для того только, чтобы вернуть им свободу?» (II, 296) или в 1918 г., когда либералы остались за бортом накануне Версальских переговоров: «Вы храбрая женщина, будьте спокойны. Это продолжаться не может: ведь это позор, это обман!» (11, 297). Роль жены премьера представляется политическому миру Англии делом таким ответственным, что когда разносится слух, что Марго выходит замуж за Асквита, то на обеде у Кампбель-Банерманов миссис Гладстон и другие дамы читают ей целую проповедь об ее будущих обязанностях, «повидимому», жалуется она, «принимая меня не то за жокея, не то за балерину, и умоляя меня отказаться от танцев и охоты» (I, 267). В сущности, они не были так неправы, как может показаться с первого взгляда: выходя замуж, Марго пришлось отказаться от многих удовольствий: пока она была барышней, она перебила себе обе ключицы, нос, ребра и коленную чашку, вывихнула челюсть, у нее был перелом черепа и пять сотрясений мозга (I, 295).

Нет никакого сомнения, что Англия миссис Асквит, ее «home» — Англия высших кругов настолько далеких от будней, что они и не умеют и не желают притворяться, что интересуются ими. «Низкие оклады, пьянство, эпидемии, эксплоатация, скученность населения, оставляли Бальфура совершенно равнодушным», говорит миссис Асквит и объясняет: «он занимался проблемой национальной обороны» (I, 167), а лорд Сальсбери иронизирует о Чемберлене: «Дайте вспомнить..... о чем он говорил? О каких-то австралийских прачках ..»

Но вместе с тем пропасть отчасти заполнена какой-то общей солидарностью, страхом обидеть кого-либо (hurt somebody's feelings), уважением к чужой личности, гласностью, ощущением qu'on se coudoie точно на площади, и что хотя общество разделяется на разные ступени, оно все же составляет одну общую лестницу. В детстве Марго Асквит ее водят с подарками в приют глухонемых. Впоследствии и ее собственная тактика, как дамы-благотворительницы, настолько своеобразна, что пройти мимо нее невозможно. Марго Асквит, тогда еще Теннент, заходит к фабриканту и просит его разрешения навещать его рабочих. «Неужели вы думаете помочь им?!»—насмешливо спрашивает он ее. Она отвечает прямодушно: «Я это делаю для себя». Договор заключен, — главное условие: никогда не запаздывать после обеденного перерыва. И вот Марго в кабаке, присутствует при общей драке из-за одной опекаемой ею девушки. Она бросается в самую гущу, дерется кулаками, бьет направо и налево и все спасено..... Обручение Марго с Асквитом вызывает агитацию среди безработ-

ных; раздраженные последними выступлениями Асквита, они посылают ему полу-шутливое послание, выражая надежду, что жена его окажется сущей ведьмой, и что бремя домашней жизни заставит его отказаться от общественной деятельности..... А когда в начале войны дамы собираются шить на раненых, то первая их забота — придумать такое, что бы не являлось конкуренцией для рынка (II, 101)... Однако на фоне общей благожелательности к миссис Асквит, она не прощает двум врагам: суффражеткам и Ллойд-Джорджу. «Война имела полный смысл хотя бы по тому, что избавила Англию от суффражеток», повторяет она одобрительно мнение одного своего друга из либералов и жалуется, что суффражетки преследовали ее мужа и ее с чисто-женским и однообразным коварством (II, 114). Миссис Асквит объясняет свою непримиримость к их взглядам несовместимостью парламентской деятельности с выполнением материнских обязанностей. Но это мало-оригинальное суждение, конечно, в свою очередь исходит из вышеупомянутого отсутствия способности обобщений. Под женщинами она подразумевает себя и своих знакомых, которые, конечно, все были связаны с выборами настолько тесно, через мужей, братьев или сыновей, что ни в каком праве голоса не нуждались.

Мы сказали, что помимо досадливых суффражеток миссис Асквит не может примириться лишь с одним Ллойд-Джорджем («пусть его бог простит, но—я не могу» (II, 222). Но судьба этого человека, занявшего место Асквита 7-го декабря 1916 г., так тесно переплетена с судьбой его бывшего патрона, что в интересах читателя мы не будем отделять их, описывая и характеризуя три момента, которые в передаче миссис Асквит нам кажутся заслуживающими наибольшего внимания: 1) падение Асквита в 1916 году, в связи с предшествующей деятельностью его и Ллойд-Джорджа, 2) общие парламентские выборы 1918 г.; 3) английское представительство в Версале.

Асквит был премьером с 5-го декабря 1908 года по 7-ое декабря 1916 г. и сам помог выдвинуться Ллойд-Джорджу, предоставив тому, кого миссис Асквит называет в своих мемуарах «змеей» и «предателем», место канцлера казначейства в своем кабинете.

Сообщение, появившееся в печати в конце 1923 года, о возможности нового политического сближения этих двух политических деятелей, как нам кажется, снова подчеркивает, что разногласия, разделяющие их, никогда не были непримиримыми, но в первый и во второй год войны, под впечатлением тяжелых поражений Антанты и явной неподготовленности армии и артиллерийского снабжения Англии, взоры страны обратились к энергическому создателю министерства снабжения, Ллойд-Джорджу. Миссис Асквит полагает (II, 69), что для Англии было великим счастьем, что в момент объявления войны во главе правительства стоял ее муж. В его пацифизме никто не сомневался, и то, что именно он счел нужным выступить против Германии, несмотря на вызванную этим отставку целого ряда его ближайших

сотрудников радикального крыла, в том числе лорда Морлей и Джона Бернс, внушило стране полную уверенность в необходимости войны. Он провел неслыханный по тому времени кредит в 100 миллионов фунтов, усилил армию на 500.000 человек, но это было все, что он мог сделать. Миссис Асквит сваливает всю вину за дальнейшие печальные события на Китченера и Френча, и в доказательство своего мнения приводит весьма убедительные документы, из которых явствует, что в апреле 1915 г. они оба считали, что снарядов у них больше, чем надо (II, 181). Она дает очень меткую характеристику первого, указывает на две его непоправимые ошибки, на полное игнорирование территориальных сил и на нетактичный отказ ирландцам мобилизовать свои собственные полки, и объясняет их полной неподготовленностью Китченера, привыкшего действовать среди цветных рас, к масштабам и условиям европейской войны. Но она не останавливается на том, что ответственность за их действия косвенно все же ложилась на Асквита, как на премьера, и что его нежелание защищаться за счет военного командования (Китченера он пригласил на пост военного министра по собственному почину) выявило его великодушие, но делу помогло мало. Это было учтено за нее Ллойд-Джорджем. Против Асквита поднялась целая кампания. Его слова «подождите и увидите» были перефразированы в ироническом смысле, и вся печать заполнилась обличениями за неподготовленность, ненужные проволочки и апатию. Ллойд-Джордж публично заявлял что «позорное пренебрежение самыми элементарными правилами ведения войны и бесчисленные грубые ошибки правительства поставили отечество в опасность». К этим серьезным обвинениям присоединились клеветнические и скандальные слухи. Миссис Асквит, верная традициям не смешивать личные отношения с политическими, довольно некстати нашла нужным нанести 2-го августа 1914 года прощальный визит своим старым друзьям, германскому послу в Лондоне Лихновскому и его жене. Это послужило толчком к созданию целого ряда легенд, которые миссис Асквит концентрирует в словах, полных горького юмора: «Елизавета (дочь) обручена поочередно то с немецким адмиралом, то с немецким генералом; часть Крупповских акций принадлежит Генри (муж), я кормлю прусских пленных всевозможными лакомствами и деликатессами, а затем играю с ними в теннис в их лагере (между прочим, я даже понятия не имею, где он находится) (II, 221)». Перед лицом общего возбуждения Асквиты были бессильны: «Не могла же я ходить по Трафальгарскому скверу и по улицам, звеня колокольчиком, чтобы опровергать этот вздор». Оставались два исхода: один из них был — диктатура, но Асквит считал (II, 202), что она всегда приводит к катастрофе. Волей-неволей он остановился на другом, и, под общим давлением некоторых членов его же кабинета, но объединившихся вокруг Ллойд-Джорджа, он подал в отставку. Голые цифры говорят за то, что не это событие решило судьбы Англии: Асквит подал в отставку 7-го декабря 1916 г., а 12-го декабря того же года, т.-е.

пять дней спустя, были получены первые серьезные предложения мира центральных держав (II, 249).

Производство и доставка снарядов на театры военных действий были к этому времени давно налажены. Если у Асквита не хватало авторитетности, инициативы и проницательности, чтобы провести их раньше, т.-е. до войны, то он во всяком случае ни чем не мешал своему министру снабжений, Ллойд-Джорджу, при введении необходимых преобразований, а главное к 1916 г. ясно определилось, что участие Англии в этой войне, как и всегда, выразится преимущественно в действиях флота и в финансовом субсидировании,—что в обоих этих отношениях она вполне на высоте, и что поэтому вопрос о том, кто занимает пост премьера, пока не имеет решающего значения. Но с окончанием войны, когда мировые проблемы вернулись в русло политики дипломатии, вопрос о премьерстве вновь занял преобладающее место. Тем временем в 1918 г. произошли общие парламентские выборы, окончившиеся неслыханным поражением либералов и оставившие за бортом даже Асквита. Миссис Асквит считает, что они были все равно, что подтасованы, потому что происходили в момент, когда на войне еще не была поставлена точка, когда «сердца утомились, умы запутались, а цвет нации еще не вернулся с фронта» (II, 293) и верит, что если бы в Версаль попал ее муж, а не Ллойд-Джордж, то победила бы соответственная неагрессивная идеология с подлинной Лигой наций на знамени. Имея в виду, как дела обернулись в действительности, трудно указать, права ли она, остался ли бы Асквит верен себе в Версале и не был ли бы он вынужден, под влиянием условий, совершенно непохожих на трансваальские, еще раз изменить своим принципам, как он уже изменил им в 1914 г. Может быть, на счастье его репутации, победила логика вещей: Англии в ту пору «нужен» был человек гибкий до беспринципности, охватывающий потребности английского рынка в самом империалистическом масштабе и способный, ради удовлетворения их, на самые неидеалистические послабления Франции. Таким человеком л Ллойд-Джордж, поэтому все те погрешности, за которые его клеймит миссис Асквит,—с «государственной» точки зрения, безразличны. Она говорит, что «его испытанный талант в обращении с людьми не дал ему ни времени, ни случая изучать иностранные дела, да к тому же он очень мало путешествовал. Международное право было его слабым местом» (II, 301). Но она забывает, что если он в школьные годы и недостаточно тщательно изучил турецкие вилайеты или итальянские провинции, то желательные водоразделы между Англией и Францией он усвоил превосходно, что Англия посылала Ллойд-Джорджа в Версаль отнюдь не в качестве эксперта, а в качестве одного из „Big four“, которые должны были перекроить мир согласно своим интересам, и что если ему удалось вместе с Клемансо превратить Совет Четырех в Совет Двоих, то Британская Империя с точки зрения империалистических интересов от этого только выиграла. Оплакивая результаты того, что она называет версальской «воровской кухней» и подводя им итог,

как смесь «алчности, грабежа и интриг» (greed, grab and intrigue), миссис Асквит рассказывает очень любопытную встречу своего мужа с Ллойд-Джорджем. «Когда пронесся слух», говорит она, (II, 301), «что в Версале не будет представлено ни наше министерство иностранных дел, ни военное министерство, ни адмиралтейство... и когда стало известно, что ни один из знатоков по международному праву или по финансам не получал предложения участвовать на конференции, представители всех партий стали осаждать моего мужа, умоляя его пренебречь личными чувствами и предложить свои услуги».—Под влиянием таких настроений, Ллойд-Джорджу было, очевидно, неудобно представлять дело в таком виде, будто Асквит будирует правительство, и, пригласив его к себе в кабинет в палате общин, он предложил ему занять правительственный пост. Однако, когда на это Асквит высказал свое пожелание ехать в Версаль, мотивируя его тем, что ни Вильсон, ни Клемансо не изучали ни международного права, ни финансов, столь существенных для разрешения вопросов о будущих границах и стабилизации бирж, Ллойд-Джордж, взглянув на часы, ответил, что обдумает его предложение. На этом интервью закончилось, и разговор больше никогда не возобновлялся. Конечно, невозможно объяснить отказ Ллойд-Джорджа одним легкомыслием или тщеславием. В Версале действительно не было места для этих обоих деятелей. Выступая вместе, каждый из них вероятно лишь укрепился бы в том, что было полярно противоположного в их мировозрении, и они явили бы собою новую, несовместимую друг с другом пару, вроде Лансинга и Вильсона, и подобно Америке Англия поплатилась бы всем своим престижем.

Появление книги миссис Асквит увенчало большим шумом жизнь, настолько счастливую и богатую впечатлениями, что, читая ее, многие из ее старых друзей, может быть, вспомнят слова Бальфура, который на вопрос: правда ли, что он собирается жениться на Марго Теннент, ответил (I, 162): «Нет, это не так. Я думаю сделать свою собственную карьеру».

М. Гринвальд.

Апология европеизма[1]).

«Символом писателя наших дней остается образ того телеграфиста, который на безнадежно погружающемся в пучину «Титанике», в захлестываемой волнами кабинке, не отходил от своего беспроволочного аппарата, рассылая в пространство, может быть, пустое, весть о гибели и призыв к спасению». Такими словами заканчивает автор «Сумерек Европы» свой отважный анализ начала конца европейской культуры. И, конечно, это он, Григорий Ландау, привилегированный пассажир фешенебельного парохода, исполняет своим блестящим пером последний долг, долг «европейца» и писателя, перед погружающейся в океан прошлого европейской культурой.

Книга была задумана еще тогда, когда немногим дано было прозревать, что Европа в смертельной опасности, и писалась, когда обозначались только первые признаки предстоящего крушения.

Теперь, когда сумерки действительно спустились над Европой, пора, быть может, прислушаться к голосу европейца с ног до головы, каким нам представляется Гр. Ландау, любовь и скорбь которого в отношении европейско-буржуазной культуры достигает большого и неподдельного пафоса.

Более полувека назад, когда культура Западной Европы находилась еще в становлении, когда та «ново-европейская» ее стихия, о которой говорит Ландау, едва лишь складывалась, нужно было много смелости и дальновидности, чтобы тогда уже выступить, воздавая должное ее величию, с критикой против нее и предсказать ей неминуемую гибель от собственной руки,—это было сделано Фр. Энгельсом. «Милитаризм господствует над Европой и поражает ее—писал он. Но этот милитаризм таит в себе и начало собственной гибели.

«Взаимное соперничество отдельных государств принуждает их, с одной стороны, тратиться все более и более на армию, флот, пушки и проч., все более и более ускорять финансовую катастрофу, а с другой—все серьезнее и серьезнее применять всеобщую воинскую повинность, и тем самым освоить народ с употреблением оружия и, таким образом, дать ему возможность в известный момент осуществить свою волю... На этой ступени развития государево войско превратится в народное; оно откажется служить, и милитаризм погибнет под действием собственного диалектического развития». С тех пор протекло

---

1) Григорий Ландау. «Сумерки Европы». Берлин. 1923 г.—373 стр.

не мало времени, оружие критики сменилось критикой оружия, и культура, выковавшая это оружие и создавшая способных носить его людей, доказала, что она сама неспособна «возвести условия своего классового существования в высший закон, управляющий всем обществом». Теперь-то настало время оглянуться назад, подвести итоги и оценить, быть может, «оплакать» те достижения, которые погребены под тяжестью ее собственного падения. Кончилось время критики, настала пора апологий. И кто же в состоянии выполнить это лучше, чем тот, кто стоит на том берегу «европейского» прошлого, затопляемом вышедшими из берегов волнами предстоящего миру будущего. Верный рыцарь «ново-европейской» культуры, Григорий Ландау—ее страстный апологет и чрезмерный ценитель.

Европейской культуре недавней современности принадлежит, по мнению Ландау, непререкаемая гегемония в жизни народов, хотя громаднейшее большинство человечества не участвовало в ее созидании и не жило в ее рамках. Собственно миром и была до недавнего времени Западная Европа: остальная часть земной поверхности была нетронутым пустырем или колонией, местом приложения европейских сил, источником благ, или внеисторическим пространством. Индию и Китай открыла маленькая Европа и вернула человечеству; Америку она, так сказать, изобрела и взрастила. Через Западную Европу пролегал для всех народов путь к жизни и творчеству: «западничество», т.-е. собственно европеизация, для всех народов было лозунгом воскресения новой жизни. Воцарялся новый своеобразный быт, в котором паровозы, автомобили и пароходы заменили степного коня. Сквозь различный быт проходили схожие, иногда тождественные формы, и в творчестве каждого казался утрамбованым опыт всех стран.

Культура новоевропейская сложилась в законченную картину небывалой полноты и насыщенности, она создала твердыни творчества и труда, которые обойти человечество никогда не сумеет. Ее заботой был человек, и человек был ее критерием (недаром в начале ее стоит Кант,—замечеет в другом месте Г. Л.).

Культура самодовлеющей человечности, она всегда останется в памяти людей, как законченная индивидуальность. Но живая действительность ее будет погасать и разлагаться, но гегемония ее будет поколеблена; но из мировой и всечеловеческой она обречена становиться провинциальной и частичной. «Сумерки опускаются над Западной Европой». Так писал Ландау в 1914 г., в статье, давшей название всей книге.

Сложившийся из ряда статей, писавшихся в разное время на протяжении восьми лет, труд этот имеет свое глубокое обоснование в последней его части, где автор «Сумерек Европы» излагает свою философему культуры; между прочим, глава третья этой части книги («Культура комплексного мотива») является отрывком из широко за-

думанного им и изложенного в сжатой статье плана отвлеченно-схемного учения о философемах «систематической философологии» [1]). Поэтому, чтобы уяснить подпочву всех дальнейших построений и утверждений Ландау, следует сначала ознакомиться хотя бы вкратце с этим последним отделом «Сумерек».

Ново-европейской культуре ставят в упрек, пишет Гр. Ландау, что она внутренно-противоречива, но ведь внутренняя противоречивость есть конститутивное явление всякой жизненности, всякой органичности [2]). Ландау мыслит культуру, как живой организм, хотя и не в специфически-биологическом смысле слова; он рассматривает ее, как организацию функционирующую «из себя, в себе и для себя». Понятно, организму, взятому в широком смысле слова, неизбежно присуща противонаправленность внутренних сил, которая, таким образом, и осуществляет его жизнь. «В этом смысле можно сказать, что организм есть согласование внутренних противодействий». То же происходит и в обществе, где отдельные лица, классы, учреждения, взаимно связанные и вступающие в конфликт друг с другом, живут своей жизнью и тем самым осуществляют жизнь целого. Организм, пребывающий в некоей среде, согласован с нею лишь самым общим образом; он приспособлен не к определенному функционированию, но к функциорованию вообще. В этом смысле организм есть организация возможностей. Поэтому его фактическое функционирование и не исчерпывает всех возможностей. Такая сверхнапряженность функций—неотъемлемый признак организма, как целого. «Органическая устойчивость есть результат взаимного ограничения и противодействия сил, взаимно сверхнапряженных». Подобно биологическому организму, жизнь общества, жизнь культуры, протекает в противоречиях и полна их. Поэтому всякий социальный оптимизм, стремящийся к разрешению общественных противоречий и к установлению общей гармонии, лишен истинного понимания жизни и обречен на бесплодие. «Как противоречие есть основополагающая форма жизни органической, так неудовлетворяемость есть ее закон. Таким образом; оказывается, что все, что служит к сдерживанию частичных устремлений, частичной сверхнапряженности, к примирению с неудовлетворяемостью—все это служит здоровью целого, а косвенно, следовательно, и здоровью частей; если только эта функция подавления в свою очередь не разрастается чрезмерно, в ущерб бытию целого. Признаком именно более сильной культуры является, когда в ней функций, приходящих в противоречие, больше, и они более настоятельны, а, следовательно, и целое такой культуры представляет большую опасность распада.

Выводы ясны: противоречия культуры не есть противопоказание, и признак слабости ее. Напротив, угроза смерти заложена в самой жизни

---

[1]) «Логос» Междунар. ежегодник по филос. культ. 1913 г. Кн. III—IV. Ст. Григория Ландау: «Объективные мотивы философских настроений».

[2]) Курсив Г. Ландау всюду отмечается звездочкой.

и она тем сильнее, чем значительнее живое содержание культуры. «То, что внутренние противоречия подтачивали европейскую культуру, и даже то, что она в своих противоречиях потерпела крушение, еще не служит ей в осуждение, не есть свидетельство ее негодности, неприспособленности или обреченности. Так обречено смерти все живущее, так непригодно для вечности все органически цельное... Не то для культуры характерно, что она была противоречива и погибла, а то, что она создала и тщилась создать».

Ландау различает два типа культур в зависимости от преобладания в них либо центральной функции объединения и сохранения целого, либо—частичных сверхнапряженных функций. Он согласен с классическим определением первой из них, как органической, и второй, как критической, с тем однако отличием, что одна не выше и не ниже другой, а обе порознь внутренне противоречивы; причем обе равнозначны в том смысле, что одна не является переходом к другой. В органических культурах характерна их сплоченность и согласованность; их самоограничение и законченность; в них больше постоянства, единства, универсализма; они имеют тенденцию к оскудеванию, к омертвению и мумификации, закостенению. «Критические» культуры совсем напротив. Нетрудно усмотреть, что к этим последним относится культура ново-европейская, вся основаная на динамике, на партикуляризме, на идее и факте свободы, на личности и ее инициативе. Наибольшая производительность—таково основное устремление эпохи; сверхнапряженность сгущена и все функции устремлены к своему проявлению. Бешеный темп жизни и работы—таков стиль нашей эпохи. Ни одна культура не была столь глубоко конгениальна с темпом и полетом капитализма, как эта.

Рекорд—таков лозунг недавнего времени. Игры были свойственны и эллинскому миру, но ему чужда была идея рекорда. Чистый волевой нажим, чистое волевое сверхнапряжение. Это волевое устремление в неизведанное, своего рода авантюризм викингов, конквистадоров, изобретателей, летчиков, рекордсменов, водителей неисчислимых армий, строителей каналов и туннелей—это все то же напряжение мореплавателя, устремляющегося в даль океана. К началу XX века оказались подготовленными небывалые скопления духовных и материальных богатств, открывшие возможность того сверхфункционального напряжения, который привел к ускоренному творчеству, но и к нарастанию неразрешимых столкновений.

«Пафос ново-европейской культуры—безрелигиозный». Теперь человек не приспособляется к природе, не ограничивается использованием ее, а создает ее, творит в природе вторую природу. Он оказывается строящим самое объективность, творцом абсолюта, или претворения его. Отсюда, на ряду с небывалым самоутверждением личности, и небывалая тяга к строительству. Человек, созидавший культуру нового времени, рисуется автору «Сумерек Европы» в виде Атланта, взвалившего на свои

плечи претворенный им земной шар. «Дрогнет напряжение и внимание—и обрушится шар, а с ним человечество».

Эта вторая природа, созидаемая человеком на основе собственных размышлений и деятельности, многими называется—говорит Г. Л.— с пренебрежением материальной культурой. На защиту ее и становится Ландау в заключительных главах своей книги. Он глубоко несогласен с обвинением европейской культуры в материальности и материализме.

От того, что материальный уровень повысился, от того, что человек едет не в рыдване, а в экспрессе, не на парусном судне, а на океанском пароходе, подымается не по лестнице, а на лифте, освещает комнату электричеством, а не свечкой,—он не становится менее одухотворенным. Как раз напротив,—рост материальной культуры делает его над природой господином. Не он приэтом погружается в материю, а материю пронизывает собою. Неизмеримо расширяется сфера доступного. Преодолеваются пространства, сокращается время, умножаются альтернативы и возможности. Бесконечно возрастает емкость жизни и сознания, бесконечно умножаются подлежащие восприятию ценности. Не только Европа не погружалась в материализм, на самом деле она по всей линии уходила от него.

Характерной чертой ново-европейской культуры Ландау считает также массовое творчество, эту наиболее плодотворную сторону демократизма. Широкое распространение просвещения, начального и специального, быстрая распространяемость идей, сравнительный подъем благосостояния, возможность пробиться, — таковы условия, благодаря которым использовывались все творческие зачатки.

Другой типичной чертой той же «материальной» культуры Ландау считает ее моральное творчество.

Те, кто думали, что моральный момент является второстепенным в наше время, были поражены проявленным на войне героизмом; между тем как тут только нашел новое приложение «исконный героизм эпохи». Эта мораль была моралью неуклонного долга, ответственности и солидарности. Она, правда, не имела катехизиса и учебников, зато ее вырабатывала сама жизнь. Само собою все только разрушается. Жизнь же техники есть жизнь бодрствующего за нее духа, непрерывно восстанавливающего, следящего, проверяющего. Без доверия к другим, к человеку,—нельзя было бы ни разу спуститься в копи, сесть в вагон железной дороги, пустить в ход ротационную машину. Конечно, и ново-европейское человечество грешило бесконечно и беспросветно. Но оно грешило на высоком уровне морального напряжения и греховно падало на высоте, едва ли доступной другим.

«Такова эта мнимо-материалистическая и безыдейная культура, будто бы погрязшая в корыстных интересах и в поверхностной жизни».

Ради того, чтобы завершить приведенную выше характеристику того положительного и своеобразного, что внесла ново-европейская

культура, необходимо привести соображения автора «Сумерек» относительно роли еврейства в этой культуре, с которой он считает еврейский народ глубоко конгениальным.

Еврейство, по определению автора «Сумерек» не только народ рассеяния (социальной пустыни), но и преимущественно городской жизни (социальных оазисов) и может процветать только в море широкого империализма. Мелкая государственность его дробит, между тем масса для него особенно важна, т. к. у него отсутствуют два другие момента сцепления: территория и государственная организация. В обширном государстве—более просторное поле для приложения его специфически городских—торговых и интеллигентских—функций. Отсюда эта тяга еврейства к организациям имперского характера, процветание его в Римской империи, в эпоху Каролингов и т. п. «Органические» эпохи, культуры законченной жизни чужды еврейскому народу. Напротив «критические», эпохи безоглядного строительства и победоносного напора, с ним глубоко конгениальны: таковы эпохи арабская и ново-европейская, и в обе вложилось своей работой и устремлениями еврейство.

Однако, не только в процессе производства, но и в процессе социальной жизни сыграло оно свою роль. Находясь постоянно в положении претерпевающего угнетение и преодолевающего его, оно не могло не сблизиться с Европой демократической, протестующей, борющейся против угнетения масс. Итак, участие еврейского народа в ново-европейской культуре выразилось: во-первых, в высших формах капитализма (финансовый капитал); во-вторых, в империализме (прим. Дизраэли); в третьих в демократической борьбе (Лассаль). Эта культура осуществляла задания, которые были и заданиями еврейства самого: натиск волевого строительства, всемирно-городскую жизнь, демократический разлив, империализм. Так сложилось, что народ, тесно связанный с европейской гражданственностью и культурой, с державностью и буржуазным строем, им обязанный и сам им содействовавший, ныне оказался ответственным и себя «компрометировавшим» их распадом.

Обращаясь после вышеизложенного к первым двум третям книги Ландау, в которых устанавливается конкретная картина гибели ново-европейской культуры и выясняются исторические причины ее, а также намечается современное состояние Европы и возможные перспективы, мы сможем теперь легко вскрыть основной мотив всех ниже приводимых построений и утверждений автора «Сумерек». Если при этом обнажить ход его суждений, то он будет приблизительно таков: ново-европейская культура есть культура победоносная и империалистическая. Антанта—представительница культуры империализма охранительного, осуществленного; Германия—империализма прогрессивного, имевшего осуществиться. Вывод следующий: если бы победила Германия,

ново-европейская культура еще увидала бы небывалый расцвет; но победила Антанта, и культура «рухнула» под давлением собственного «сверхнапряженного» усилия.

Война явилась тем пунктом, с которого началось опускание ново-европейской культуры. Оно пошло по трем направлениям — материального разрушения, уничтожения живой силы и потускнения морального. К идеологии мировой войны обращается мысль автора «Сумерек». Если индустриализм идентичен империализму, то им противостоят «слабости демократии». Чтобы втянуть массы в войну, надо было ступить на путь идеологии максимализма. И вот военный максимализм нашел свое выражение в лозунгах воинствующего миротворчества.

Вечный мир—таков был первый лозунг Антанты. Германия—единственная милитарная и империалистическая держава среди мирных демократических государств мира; она вызвала войну и след. она должна понести за нее кару. Точно так же и Австрия, которой кроме того вменялось в вину нарушение другого священного принципа—самоопределения национальностей. Так пацифизм стал союзником Антанты,—война велась не против Германии будто бы, а против воплотившихся в ней предпосылок всякой возможной войны. Во имя предельной цели, вообще во имя чего-то мыслимого, пацифизм вовлекал в реальные жертвы, в подлинную гибель. Такое оправдание войны максимализмом конечных целей, по мнению Ландау, не может быть допустимо. Войну оправдывают не предельные задачи, а лишь предельная необходимость[1]). Священна лишь та война, которая ведется за неотъемлемые условия жизни народа. Максимализму воинствующему противоставляется минимализм, как единственно оправдывающий дело войны. Отчасти максимализм находит объяснение в свойственной ново-европейской культуре «гордыне неограниченных преодолений», том самоощущении, когда все кажется возможным и достижимым, когда человек чувствует себя в уровень со всякой задачей, когда поставить проблему для него уже значит и разрешить ее. Этот максимализм творческих преодолений вызывал подражание в массах, и не подозревающих о трудностях, лежащих на пути к осуществлению. Так воинствующий, а позже и социальный максимализм получил силу благодаря массам, воздействуя на них через аппарат демократии.

Но действительно ли Антанта одна была в союзе с демократией, Германия же напротив—враждебна ей? Это верно только в отношении демократизма политического; демократизм же культурный не менее был свойствен средне-европейской коалиции, со всеми его характерными чертами: общностью культуры, ее благ и требований, и участием всех в ее созидании. Но не этот культурный демократизм оказался особенно чувствительным, по мнению Ландау, для Европы,

[1]) Курсив Г. Ландау.

а политический демократизм Антанты; именно в нем крылась опасность скатиться к демагогии.

Так как государственные задачи идут вразрез с личным интересом, то для того, чтобы вызвать участие масс в государственной жизни целого необходимо личный интерес единиц перегнать в коллективный, следовательно, апеллировать к стихии. Приэтом не обойтись без демагогии, без «культуры словесной лжи» и обольщения. Но, раз вызвав стихию, ее уже не остановить. Наивное сознание полу-культурной среды—благодарная почва, на которой взращивается всяческий максимализм, в том числе и военный. «Скачек к предельному есть политический примитив».

Далее Г. Ландау дает анализ максималистских «лживых» идей, которыми питалась воинственность Антанты. В отношении занятых приэтом воюющими сторонами позиций символическим оказалось столкновение—на почве договора, приравненного к «клочку бумаги». С одной стороны, как будто, обнаружилось приэтом пренебрежение к священному институту договора, с другой—джентльменство в отношении данного слова. «Бетман-Гольвег был правдив, но он высказал правду, о которой молчат; английский посол дипломатически прав, но ответ его был нормой, которую не соблюдают».

В инциденте между германским канцлером и английским послом Ландау усматривает противопоставление юридической форме социально-культурного исторического содержания[1]. Таким образом Антанта свела государственные отношения к той форме частных, гражданско-правовых, которая является давно устаревшей в этой области. Международные отношения на деле не устанавливались на правовой почве, а на почве отношений силы. Они являлись облекаемыми правом фактическими отношениями силы. «Но почему же в таком случае вчерашнее отношение силы имеет преимущество перед сегодняшним?»

Курьезно оправдывается в глазах автора «Сумерек» почин Германии в мировой войне. Правонарушение не только может быть разрушительным, говорит он далее, но и созидательным. К тому же разве демократизм Антанты не опирался на идею революции? Почему даже социалисты всех стран нападали на Германию, когда их собственная цель—социальный переворот? Итак, позиция творческая, в смысле движения, занята была Германией, позиция охранительная, в смысле застоя,—Антантой. Этой активной позицией и необходимостью привести высокий уровень своей культуры с уровнем государственности в гармонию—оправдываются, по убеждению Г. Ландау, все «формально правовые» нарушения Германии. Это была ее революция.

Возвращаясь к другому лозунгу Антанты—самоопределению национальностей, автор реферируемой книги вскрывает ту же

---

1) Курсив Г. Ландау.

культуру словесной лжи, какая обнаружилась в идее вечного мира. Тут он различает два рода самоопределения, друг с другом стоящие в противоречии: 1) самоопределение национальностей и 2) малых государств. Если второе находится в видимом согласии со ссылками на положительное право, то первое стоит в кричащем противоречии с ним. Ведь тут провозглашается святость права нации опрокинуть всякое международное право с целью создать новую государственность. Наступательная позиция,—это признает Ландау,—действительно была у Германии; у Англии с Францией—оборонительная, защищавшая уже прежде добытое и созданное. Но дело не в этом, а в том, что Германия представляла будущее Европы, и она оказалась побежденной европейским прошлым. Гр. Ландау необычайно высоко ставит выраженно-комплексную культуру Германии и усматривает в ней источник не осуществившегося сполна прогресса. Германия до войны стояла во многих отношениях впереди; и хотя она многое и заимствовала, однако, германский синтез давал во многом образцовое, общеевропейское. Сказать про народ, что он в нашу эпоху являлся наилучшим организатором,—а это именно следует признать за народом германским,—значит признать его передовым «культуроносным» народом времени. Чисто европейская держава должна была стать мировой; империализм Германии должен был стать империализмом Европы; но ему некуда было расти. Кругом Германии имелись только или занятые территории и рынки, или претензии народов, ранее пришедших. Так оправдывает и обеляет Ландау германский почин; выходит, что именно она воевала по необходимости, минималистически, т.-е. так, как это единственно, по мнению автора «Сумерек», допустимо.

Какая же обстановка создалась в Европе по окончании войны? Гр. Ландау рисует установившийся порядок, как «организацию беспорядка и дальнейшего разрушения». После мира общая ситуация резко изменилась. Война велась не отдельными государствами, а коалициями государств. С одной стороны, это была коалиция почти европейская, даже «средне-европейская», с гегемонией Германии в ней; с другой—«европейски-внеевропейская» или мировая, одно участие Англии в коей делало ее такой; этим предопределился—и все это чувствовали с самого начала—исход войны. Ибо европейская коалиция очутилась целиком под ударом европейски-мировой. Европа была доступна миру, но мир был недосягаем для Европы. Воевали коалиции, а после победы лицом к лицу в Европе остались лишь побежденные и часть победителей. «Сдвинулась ось мировой политики, протянулись силовые линии уже не по европейскому, а по мировому полю, переместились центры сил». Цель Англии—обессилить сильнейшую из европейских держав—достигнута сполна; мирная заинтересованность Америки Европой значительно слабее военной; Австро-Венгрия распалась и исчезла, Россия также (?). Одна Франция остается лицом

к лицу с Германией на континенте. Правда, выросла Италия, но она теперь плохая опора для Франции, соперницей которой на Средиземном море собирается стать. В общем и целом мировая коалиция, разумеется, была могущественнее средне-европейской. Но оставшаяся в результате войны победоносная Франция – потенциально слабее побежденной Германии (!). В этом парадоксе—победитель слабее побежденного—усматривает автор «Сумерек Европы» ключ к современному европейскому положению. В этом видит он «трагедию» современной Франции и ее тягу к реваншу во что бы то ни стало, между тем как у побежденного врага сознания собственных дефектов нет, и жажда реванша поэтому отсутствует. Ибо тут было не поражение, а органический срыв.

После победы три крупнейшие из союзных держав приняли три совершенно различных линии направления. Франция, в лице Клемансо, заняла позицию определенно-реалистическую, готовая отбросить весь нанесенный войною «словесный хлам», в целях обеспечения своих жизненных интересов. Это была позиция откровенной и жестокой самозащиты. Противоположною ей была позиция Америки. Ее эгоистический государственный интерес совпал с общечеловеческим, гуманитарным. Ее президент, Вильсон, оказался носителем военной идейности, загипнотизированный ее формулами и не понимающий европейской действительности. Если Клемансо воплощал насильственные устремления военного времени, то Вильсон—его устремления идеологические.

Напротив, Ллойд Джордж, представлявший в Лиге Наций интересы Англии и практически настроенный, одинаково был свободен и от задач военного самообезпечения, и от мирового осчастливления, но он был связан настроениями своих избирателей, слагавшимися под знаком военной идейности. «Так определялся мир инерцией войны». Эта инерция была двоякой—дел и слов. Каждая была разрушительной, но особенно разрушительным оказалось их сочетание.

«Вселенское единство народов», т.-е., Лига Наций, должна была воплотить все тот же фактически неосуществимый максимализм военной эпохи. Автор «Сумерек» видит три возможных пути, на каких реально осуществимо, в той или иной степени, объединение человечества. Империализм—один из этих путей к сближению народов и сейчас он—задача на целую эпоху. Другой путь объединения лежит через частичные общечеловеческие функции управления и законодательства, как-то: всемирный почтовый союз, Красный Крест, международную торговлю, научные организации. Третьим—является путь организованных соглашений. Такая организованность охватывает только народы, непосредственно в данном крупном вопросе заинтересованные, но это не исключает попыток решения в мировом масштабе. На этот путь вступила Америка, вступает Англия.

Когда наступила пора возмездий, обнаружилась оборотная сторона антантского демократизма. Решающим массовым человеком в странах

Антанты был мещанин. То была духовность крестьянина, обносящего свой участок частоколом,—лавочника, подсчитывающего убытки, духовность рантье, стремящегося к пожизненному обеспечению. И эта-то духовность мещанина с его собственническими инстинктами оказалась перенесенной на государственность. Напротив, германская духовность была скорее духовностью приобретателя, купца, выходящего в плавание, рискующего имуществом, чтобы его приумножить. Здесь приобретатель стал против приобревшего, предприниматель против рантье, строитель будущего против оберегателя прошлого, творчество против охранения. Эта психология мещанства во Франции обострилась до крайности. «Устроить так, чтобы уже навсегда быть государственно обеспеченным». Отсюда стремление до конца обкарнать бывшего врага репарационными требованиями.

Победитель несомненно пострадал больше побежденного (речь идет об одной Франции), поэтому он так яро стремится к возмещению понесенных убытков и к укреплению своей позиции. Путь расчленения Германии оказался недоступным, и Франция пошла по пути отторжения ее частей. Так, Эльзас и Лотарингия отошли к Франции, кое-что к Бельгии, многое—к Польше. Часть германской территории временно оккупировалась французскими войсками. Если политика Англии сводилась к тому, чтобы искусственно сделать сильных слабыми, то политика Франции к этому добавляет новый принцип: слабых делать сильными[1]) Новый гегемон над Европой—Франция—представляется германофилу Ландау в виде «тюремщика», лишь немногим более свободного, чем заключенный, которого он сторожит.

Каковы же дальнейшие судьбы и перспективы Европы, что ее ждет? Ясно, что раз для Ландау Германия стояла в центре новоевропейской культуры, и падение Европы ощущается им, как падение Германии прежде всего, то и в центре восстановления, если таковое возможно, становится, следовательно, та же Германия». Либо Европа в искусственно удерживаемых развалинах, либо сплетение средне-европейской близости «около и в связи с Германией». Империализм это—единственная форма государственности, в которой впервые накопленные «залежи культуры и опыта» получают общезначимый смысл в пределах человечества. В настоящее время Германия представляет в частности такие залежи в Европе, и именно она в состоянии воссоздать империализм Европы. Приэтом Германия непосредственно заинтересована в восстановлении России, в противоположность «союзникам», которые опасаются грядущего военного союза восстановленной России с оправившейся Германией. Этот интерес к России вызван главным образом тем, что Германия оказалась отрезанной от морей. Единственный остающийся источник—сухопутная граница, Россия. Все

---

[1]) Курсив Ландау.

нуждаются в русском сырье, но те, кто боятся русской государственности, мирятся с его отсутствием. Германии, напротив, нужна единая Россия. Приэтом иностранный капитал должен неизбежно принести стране ту или иную степень зависимости от себя. Напротив, если придет к нам Германия, то она принесет не капитал, а продукты труда, которые Россия сумеет компенсировать.

Итак, кончилось культурное и державное руководительство Европы миром. Великая война положила этой эпохе предел. Будущее Европы заключено либо в дальнейшем ее разрушении, либо в частичном воскрешении, как Европы средне-восточной, германо-российской. Все же и в этом случае мировой и всечеловеческой ново-европейской культуре предстоит, по мнению Ландау, стать провинциальной и частичной. Наше поколение так или иначе закончит свой земной путь среди развалин и зачатков. Автор «Сумерек» ощущает европейскую культуру, как законченную индивидуальность, которая не только не стояла на склоне лет, но напротив полна была непочатого края возможностей, действенности, порывов и непосредственности. Она стояла не в конце, а в начале новой, полной обещаниями и неожиданностями, эры; в этом смысле она была моложе многих отсталых стран и сравнима только с культурой первобытной. Спираль истории привела нашу культуру к той же точке, только на несравнимой высоте. Как в первобытную эпоху человеческое творчество развивалось на почве извне данной природы, так ново-европейское начинало расти на почве культуры самосозидаемой. Культура европейская в своем новом слое строилась на предпосылках, не извне данных, а создаваемых самим человеком.

Любопытная в некоторых отношениях, обильная мыслями, парадоксальная, но лишенная объективности—такова книга Григория Ландау, убежденного германофила и апологета империалистического европеизма. Это—характерное явление нынешней публицистики.

В. Славенсон.

Промышленный магнат новейшей Германии.

(По поводу смерти Гуго Стиннеса).

Умер Гуго Стиннес, исчезла с горизонта колоритнейшая историческая фигура, выдвинувшаяся особенно в последнее время, как своеобразный организатор мирового капитала. Деятельность его широко развернулась на почве разложения и распада Германии. «Стиннес роняет марку, Стиннес выехал в Голландию для совещания с Вильгельмом; Стиннес скупает земли, Стиннес приобрел еще новую газету» — вот что приходилось читать про него. Стиннес всюду поспевает там, где есть выгодная комбинация. В Руре среди рабочих популярна следующая песенка: «Наш Стиннес все поглощает в своем капиталистическом желудке, от железа до газеты, от Гильфердинга до Носке, правых и социалистов он соединяет в один стиннесовский комбинат».

И это не только перлы немецкого тяжеловесного остроумия, это констатирование факта. Стиннес выступал в современной Германии в роли сверхкапиталиста.

Если Америка знала вертикальные комбинаты, объединявшие в себе производство от первой стадии до последней, напр., стальной комбинат, где сосредоточено производство от железной руды до стальных машин, локомотивов и рельс, то Стиннес в Германии комбинировал и вертикально, и горизонтально, и немецкая рабочая песенка очень хорошо подметила этот факт.

Сам Стиннес, как называет его Vorwärts в статьях своих, является представителем экстра-концентрированного капитализма. Толчек к развитию Стиннесирования, — так называют теперь высшую форму комбината, — дал Матвей Стиннес. Он положил начало угольному тресту в Германии, поразительно хорошо уловив момент. Его операции с углем, в которых был, говорят, заинтересован и экскайзер, — были очень удачны. Гуго Стиннес — наследовавший от отца коммерческие способности, развернул дело шире. Момент был удачен, Германия готовилась к войне и поживиться было чем.

Умерший Гуго Стиннес был очень оборотистым дельцом, совершенно не стеснявшимся никакими принципами, что доказывают его последние комбинации с немецкой маркой. С 1906 года он начинает особенно усиленно операции в Германо-Люксембургском обществе, образует Рейнско-Вестфальский союз, комбинат, объединивший, мало-по-малу,

до 40 каменно-угольных рудников и до 18 заводов. Недостаток угля, который ощущался в Германии в результате Версальского договора, был широко использован Стиннесом, зарабатывавшим на бедствии страны большие деньги. Рурские события были на руку Стиннесу, и весь рурский инцидент, собственно говоря, заключался в торговле Стиннеса с французскими акционерами из-за процентов участия в предприятиях Рура. За свои предприятия в Руре Стиннес ухитрился получить и с французских акционеров, которые вошли в соглашение с ним, и с германского правительства. Последнее выдало ему большую субсидию.

Кроме угольного комбината Стиннес интересовался стале-железным комбинатом. Здесь он использовал опыт американских стальных трестов. К каменноугольному тресту он присоединяет стальной комбинат. Горнопромышленное и сталелитейное общество, организованное им, заключало в себе сначала шесть рудников и три больших завода. Мало-по-малу Стиннес присоединяет сюда путем соглашения рельсопрокатные заводы и заводы вагоностроительные. Это общество, втянувшее в район своего действия и Швецию и др. страны, играет решающую роль в германской тяжелой индустрии.

Соединение каменноугольного и стале-железного комбинатов давало Стиннесу точку опоры для дальнейшей «стиннезации». Чутко следя за новейшими открытиями, Стиннес угадал ту колоссальную роль, какую будет играть электричество после войны 1914 года. Поэтому у него возникает мысль о новом комбинате — электрическом. Свои предприятия он пытается слить с электрическим концерном. В последнее время он работал над большим соглашением мирового типа. Комбинируя около электрического концерна «дочерние общества»—т.-е. акционерные предприятия меньшего размера и типа,—он протянул свои нити в Америку. С последней он подготовлял мировой электрический концерн, где бы произошло электрическое разделение мира Всемирной компанией электричества. Подготовлялось соглашение с другими электрообществами, в частности со шведскими. Шла большая вражда с Бельгией, которая до войны 1914 года «путала планы стиннесовской гидры». Очень характерно, что план уничтожения бельгийской промышленности, осуществленный немцами в 1914 г.,—проходил, если не под руководством Стиннеса, что очень вероятно, то во всяком случае при его непременном участии. Стиннес был вхож в германский генеральный штаб, где у него были свои агенты. Отсюда понятны инспирации Стиннеса в деле разрушения бельгийских предприятий, что обошлось Германии так дорого после заключения мира. За то конкуренты Стиннеса на время войны были выведены из строя и после войны долго не могли оправиться. В электрический концерн Стиннеса входят заводы Сименс-Шуккерта и после войны стиннесовский электрический концерн присоединяет к себе заводы в Нюренберге и Сименс-Гальске в Берлине. Опираясь на это ядро, Стиннес присоединяет ряд электро-станций в Германии,

затем входит в соглашение с рядом трамвайных обществ и, используя электричество, как силу для передвижения, Стиннес втягивает в свои предприятия и автомобильные заводы, строящие авто с электрическими двигателями. Используя электричество на освещение, Стиннес присоединяет к своим предприятиям общество Осрам с годовым производством более ста миллионов электрических лампочек. Затем он присоединяет стекольные заводы, поскольку они нужны для производства лампочек.

К электро-концерну Стиннеса примыкает электро-трест в Мангейме, насчитывающий до тридцати электрических предприятий. Интересуясь электричеством в смысле снабжения энергией заводов, Стиннес входит в соглашение с обществом в Дессау, работающим в области передач токов высокого напражения. Не забывает он и роль электричества, как средства сношений, присединяяя к своему корцерну объединения слабого тока. Наконец, для полноты картины Стиннесовского электро-комбината надо упомянуть о стиннезировании заводов, специализировавшихся по беспроволочному телеграфу и телефону, и заводов радиосообщений.

В этот комбинат входят заводы по добыче азота и цианистых соединений.

Вот главные стержни стиннесовских предприятий: каменный уголь, железо-сталь, электричество. В своем „промышленном герцогстве"—Стиннес удивительно хорошо распоряжался. Трудно представить себе, как далеко тянулись нити его влияния. Некоторые предприятия, работающие как будто самостоятельно, на самом деле всецело зависят от того, в чьих руках сходятся нити важнейших двигателей промышленности. Иногда Стиннесу выгодно и удобно оставлять временно самостоятельность того или другого промышленного предприятия. Очень широко использована им система временных соглашений, которая в большом масштабе стала применяться им после войны. Перед смертью Стиннес сосредоточил свое внимание на областях по Рейну. Он захватывает сердце и мозг германской промышленности, пользуясь тем кризисом, который переживала Германия после Версальского мира. Экономический распад Германии широко использован Стиннесом.

В последнее время концерн Стиннеса вошел в соглашение с обществом Саксонских силовых станций. Сеть мощных электростанций с многоверстными передачами в руках Стиннеса.

После Рурских событий Стиннес стал мало-по-малу по глубоко обдуманному плану поглощать транспорт. Нити последнего были в его руках, поскольку уголь, железо, электричество были уже стиннезированы. Прежде всего в руки Стиннеса переходит транспортирование угля по Рейну, потом уж и все судоходство по этой реке. Затем он стал расширять свое влияние в автотранспорте: к заводам, специализировавшимся по постройке автомобилей, главным образом с электрическими двигателями (фирма Прютос)—Стиннес присоединил акцио-

нерные заводы в Шарлотенбурге фирмы Леба, выработавши один из самых удачных типов грузовиков. Интересуясь транспортом, Стиннес в один из тяжелых моментов Германии, когда надо были вносить репарационные платежи, пытался через подставные акционерные объединения захватить железные дороги страны, почту, телеграф и телефон. Его попытка кончилась неудачно, так как встретила отпор и в финансовых сферах Германи, разгадавших его игру, и среди рабочих, организовавших митинг протеста. Тем не менее — вопрос о переходе железнодорожного транспорта Германии в руки объединения, перешедшего теперь к преемнику Стиннеса—его сыну,—решился утвердительно. В руках Стиннесовского концерна находятся рельсо-прокатные заводы, а главное каменный уголь. Поднимая цены на сталь, железо и уголь, Стиннес убивал одни производства и поднимал другие. В последнее время, он завоевал голландский рынок сталью и железом, пуская последние по очень дешевой цене. Цена эта была ниже, чем те цены, которые он ставил для германского рынка, где он властвовал вполне. Он употреблял тут знаменитый американский прием Форда, которым тот завоевывал рынки для своих автомобилей, подрывая своих конкурентов тем, что пускал автомобили по себестоимости, чего более мелкие заводы делать не могли.

Если Стиннес потерпел неудачу в железнодорожном транспорте, то в морском транспорте его успехи были велики. Пользуясь тем, что Германия отдала по Версальскому миру более 80% транспортных средств, Стиннес бросает свои силы на морской транспорт. Он поглощает Гамбург-Американскую линию, соединяет ее с Гамбургском обществом сообщений, устраивает самостоятельное сообщение с Америкой, входит в соглашение с Северо-Германским Ллойдом. Кроме сношений с Америкой он интересовался африканскими сношениями: в самое последнее время перед смертию шло объединение Западно-Африканского общества и Восточно-Африканского. Торговый флот Стиннеса довольно значителен. Кроме верфей у него имеются свои пароходы типа трансатлантических; особенно хорошее качество обнаружили пароходы «Людендорф» и «Бисмарк».

В самое последнее время Стиннес, пользуясь крахом промышленности в Германии, стал поглощать предприятия, как будто бы внутренне не связанные друг с другом.

По газетным сообщениям видно, что он приобретал все и притом очень удачно—от химических заводов до заводов минеральных удобренний, от заводов взрывчатых веществ, до заводов анилиновых и др. красок, от Рейнско-вестфальских заводов медных соединений, до заводов карбида. Он комбинирует и текстильные фабрики, и деревообделочные заводы. В большом хозяйстве годится все. Поэтому Стиннес интересуется и рыбными промыслами, и поместьями разорившихся аграриев. Он занял командные высоты германской индустрии и транспорта, он двигается на Голландию, через подставные общества он оперировал во Франции. Он практически доказал, что политика есть концен-

трация экономики, так как и Носке, и Шейдеман, и канцлер Маркс сознательно или бессознательно подчинялись тем директивам, которые он давал.

Большую роль в стиннезировании Германии играла печать, которая, кроме рабочих и партийных газет, была в его руках.

Очень характерен метод овладения печатью, который показывает нам, как планомерно и обдуманно действовал Стиннес в своих операциях. Недаром его называют хорошим стратегом и тактиком индустрии.

Он не сразу скупал газеты, какие должны были помочь ему в деле овладения индустрией и транспортом. Он начал со скупки бумажных фабрик, которые и концентрировал. Затем он вошел в соглашение с типографскими объединениями Германии более сильного типа: так как бумага была стиннезирована, то сговориться с типографскими концернами было легко. После Стиннес принялся за издательства и бюро печати, а после этого ему уж не так трудно было овладевать теми или другими газетами в порядке их постепенной важности для предприятий Стиннеса. Первой было поглощена Германская Всеобщая газета, затем Торгово-промышленная газета, затем главные политические газеты Берлина и Франкфурта. Потом он скупает оптом провинциальные газеты. Неизвестно, какие планы роились в его «комбинирующей» голове, когда он хотел стиннезировать экскайзера или вступал в переговоры с кронпринцем.

Этот некоронованный король Германии был крайне интересной фигурой концентрированного капитализма. Несомненно, что и фашистские организации питались стиннесовкими деньгами, как это показал недавно процесс «Стальной каски»—самой яркой фашистской организации. Он субсидировал и Каппа, он был вдохновителем монархических заговоров. Экономика была сильно переплетена с политикой, и та и другая в руках Стиннеса были средствами все большего и большего концентрирования капитала. Смерть Стиннеса не приостановила этого движения.

Стиннес был истинным политическим могуществом современной Германии, и никакой историк в будущем не сможет миновать этой большой фигуры. Еще можно понять многое в XVI веке, не зная Фуггеров; но почти ничего не поймешь в XX веке, не зная Стиннеса и других вождей и представителей новейшего индустриализма.

С. Фарфоровский-Переславцев.

Некрологи.

Игнатий Викентьевич Ягич.

1838—5 августа—1923.

С именем покойного академика И. В. Ягича тесно соединяется представление о широком развитии и подъеме славяноведения с половины прошедшего столетия и до наших дней. Судьба одарила его не только не часто встречаемым трудолюбием, упорством в достижении поставленной цели, талантом, но еще долголетием, которое позволило ему выполнить весьма сложные и разнообразные работы. Рядом с ним и также на нашей памяти выступают имена известных славистов: Григоровича, Срезневского и Ламанского, которые также участвовали в поступательном движении славянской науки, собирали камни для того же огромного здания, как и Ягич, но которым не дано было его долголетия. Собрано громадное количество материала, выступила новая научная область, с именем славистики успевшая в настоящее время завоевать себе твердое положение в мировой науке.

В семидесятых годах Ягич становится русским ученым, именно переходит из Загреба в Одессу профессором вновь возникшего здесь университета. Но он оставался в Одессе недолго, в 1874 г. перешел в Берлин, где получил кафедру в университете, а потом в Академии. С 1880 по 1885 г. он был профессором Петербургского университета и тогда же избран в члены российской Академии Наук. В русских ученых кругах много и с неодобрением говорили о переходе Ягича из Петербурга в Вену в 1886 г., где ему была предложена университетская кафедра и звание академика, и где он оставался до смерти. Весьма важное значение в ученой карьере Ягича и в той широкой известности, которая соединяется с его именем, имеет начатый им изданием в Берлине с 1876 г. славянский журнал—«Archiv für slavische Philologie“, доведенный до 37 томов в 1918 г. и представляющий неисчерпаемый источник драгоценных сведений по славистике.

Ставши доцентом одесского университета в 1874 г., я уже не застал в нем Ягича, но память об нем была еще жива, и мои товарищи по университету не без сожаления говорили об его в некотором смысле измене: «променял нас на немцев». Скоро я лично познакомился с Игнатием Викентьевичем при поездках моих за границу, и беседовал с ним неоднократно как в Берлине, так и в Вене. Там объяснилась для меня та черта в его характере, которая влекла его к Западу. Независимо от всего прочаго—воспитание, привычки — в Берлине и Вене он легче мог организовать свой журнал и обеспечить для него сотрудников и средства на издание, но кроме того, нигде нельзя было найти более удобного места для устройства так хорошо обставленного и так умело поведенного учреждения, каков был славянский семи-

нарий Ягича. В него стекались искавшие специальной подготовки по славистике молодые люди изо всех стран Европы: северные и южные немцы, южные и западные славяне, русские, венгерцы и мн. другие народы, у которых славистика начала постепенно приобретать право гражданства в учебных заведениях.

Честь и славу профессора создают его ученики. Ученики и почитатели Ягича находятся всюду в образованных странах, куда нашли доступ славянские изучения. Нечего и говорить, что у нас имя Ягича весьма популярно не только между славистами, но и между всеми, кого интересуют соприкасающиеся со славянскими вопросами изучения.

В разнообразных и несравненных по глубине мысли и творческой силе произведениях Ягича со славянской науки снят долго покрывавший ее налет узкой специализации, какая могла быть доступна лишь немногим избранникам. Славистика приобщилась к методу, выработанному в нынешней филологии, и вошла в союз с европейским научным движением, в котором ей не угрожает опасность одиночества. Мне хотелось бы в нескольких чертах наметить общие культурно-исторические темы, которые находят себе точку отправления в заданиях Ягича, черпая в них свою реальную силу и обязательность для решения многих историко-литературных и филологических проблем.

Ягичу принадлежат больше 650 печатных работ. Читатель поймет, что разобраться в этом громадном материале не так легко, и что в настоящей поминальной заметке можно лишь наметить основные линии, характеризующие ученую деятельность покойного академика. Главная тема, занимавшая Игнатия Викеньтьевича, относится к изучению коренных условий происхождения славянской культуры. Древнейшие памятники славянского языка и письма сохранились в двояком виде, одни писаны *кириллицей*, другие *глаголицей*. Происхождение тех и других, письменные памятники кирилловского и глаголического письма—вот вопросы, от которых он не отходил с конца семидесятых годов и почти до самой смерти. И легко понять, что во всем, что соприкасается с древнейшей историей славян — с их разделением на на племена, комментарии к изданным им текстам составляют твердую почву, на которой строится славянская филология. В первый раз в науке там выставлены оригинальные положения, которые возбуждают пытливость и поощряют к дальнейшим изысканиям. Таково его воззрение на сравнительную древность глаголицы перед кириллицей. Кстати заметим, что древнейший памятник кириллицы имеет надпись 993 г. — В истории славян крупным фактом нужно считать обращение их к христианству проповедью греческих монахов Кирилла и Мефодия и распространение письменности на так называемом церковно-славянском языке. Историей памятников, написанных на этом языке, Ягич занимался настойчиво и с особым вниманием. Большое его сочинение Entstehungsgeschichte der kirchenslavischen Sprache издано было несколько раз.—В последние годы жизни, в связи с научными предприятиями Рос. Акад. Наук, он посвятил много труда Энциклопедии славянской филологии (СПБ 1910), на которую можно смотреть как на синтез всей его многолетней работы над памятниками славянской и в частности русской письменности. Труды Ягича шевелят чувства племенной и народной научной гордости. Память его не умрет в летописях науки.

Ф. Успенский.

Владимир Степанович Иконников.

26-го ноября 1923 г. в Киеве скончался старейший из русских историков профессор Вл. Ст. Иконников. Всего один месяц не дожил он до полных 82 лет. Он родился в Киеве 9-го декабря 1841 года, происходил из коренной киевской семьи, воспитывался в Киевском кадетском корпусе (1852—1861), прошел историко-филологический факультет Киевского университета (1861—1865) и был оставлен при университете для приготовления к профессуре. Таким образом все детство и юность Вл. Ст. были связаны с родным городом. По обстоятельствам привелось ему провести одну зиму (1866—1867) в Харькове, где он был приват-доцентом, и одну зиму (1867—1868) в Одессе, где он защитил свою магистерскую диссертацию («Максим Грек»). Получение ученой степени повело к избранию Иконникова доцентом по русской истории в Киевском университете. С осени 1868 года он начал преподавание в родном университете и навсегда основался в Киеве, связав все свои интересы с этим городом и покидая его лишь на короткое время для служебных и ученых поездок или для летнего отдыха.

Эта связь с родным краем не была для Вл. Ст. простою случайностью или косной привычкой. Он любил свою родину и считал своей обязанностью служить ей в тех сферах общественности, в каких был специалистом. Куда бы ни призывало его университетское или общественное избрание, он шел послушно, почитая за долг исполнение поручаемого ему дела. Поэтому мы видим этого кабинетного исследователя в различных должностях по университету: он—заведует нумизматическим кабинетом университета; он исполняет обязанности секретаря, а затем декана факультета; он—председатель библиотечной комиссии в уннверситете; он, наконец, в течение 40 лет редактор университетских „Известий“. От университета он делегируется членом в попечительный совет Киевского учебного округа и председательствует в комиссии для рассмотрения юбилейных изданий Округа. По избранию он дважды был председателем исторического общества Нестора-летописца при университете и состоял в попечительных советах различных средних учебных заведений Киева. На всякого рода торжественных киевских актах и собраниях он не раз выступал с учеными речами, которые всегда носили характер серьезных научных обзоров или изысканий. Словом, киевская общественность в Иконникове имела ревностного выразителя и деятеля, считавшего работу на пользу края своим внутренним долгом. Эта работа отрывала его от ученого труда и не давала ему никаких житейских и служебных выгод. Исполнив свое дело, он обычно возвращался к своим ученым темам, пользуясь безусловным уважением коллег, но не снискав благодарности и признания в более высоких сферах. Характерный факт, что министерство народного просвещения до своих последних дней не имело надлежащего понятия об исключительных качествах Иконникова. Между прочим, оно отказало ему в выдаче своего юбилейного издания («Исторический очерк деятельности министерства нар. просвещения» 1802—1902) по тому соображению, что экземпляров этой книги у него не хватит для рядовых провинциальных профессоров.

Несмотря на постоянное тяготение к общественной деятельности и на щедрую трату своего рабочего времени, Иконников в научном отношении сделал необыкновенно много. В длинном списке его ученых работ находится ряд капитальных исследований, поражающих своею

библиографической полнотою и вместе с тем глубиною самостоятельных изысканий. Его магистерская диссертация о Максиме Греке (1866) не потеряла значения с годами. В 1915 г. она была вновь переработана и издана автором в виде обширной монографии. Докторская диссертация „Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории“ была встречена суровою критикою В. О. Ключевского; но сам же критик впоследствии «с развитием ученой деятельности проф. Иконникова считал потерявшими значение» свои критические замечания. А развитие ученой деятельности Владимира Степановича сказалось в ряде монографий, показавших громадную эрудицию автора на всем пространстве его специальности от древностей первобытных славян до XIX века. Кто из русских историков не пользовался исследованиями Иконникова о новгородских Борецких, о Смутном времени и, в частности, о первом самозванце и о Скопине-Шуйском, об Ординых-Нащокиных, о Екатерине II-й и деятелях ее эпохи, об адмирале Н. С. Мордвинове, о русских университетах „в связи с ходом общественного образования“, о Болтине и скептической школе в русской историографии и т. д. и т. д. Но исключительное значение и громкая известность принадлежат колоссальному труду Иконникова „Опыт русской историографии“. В напечатанных двух томах (четырех книгах) этого труда около 4.400 страниц; третий том, соответственного объема, находится в рукописи в Академии Наук. Благодаря изумительным историческим и библиографическим познаниям автора и его трудолюбию, его «Опыт» отличается исключительной полнотою и служит основным капитальным пособием для всех специалистов. С появлением «Опыта» окончательно определилось положение Иконникова в ряду первенствующих представителей его специальности: он стал как-бы общим руководителем в деле изучения исторического материала и специальной литературы и признавался авторитетнейшим и виднейшим представителем русской историографии. Учитывая такую роль маститого ученого, некоторые члены Русского Исторического Общества ко дню его столетия (9 декабря 1911 г.) думали исходатайствовать Иконникову звание историографа, которое носили Г. Фр. Миллер в XVIII веке и Карамзин в XIX-м и которое как нельзя более подходило, по роду занятий и ученых заслуг, к Иконникову. Однако министерство двора, куда попало это ходатайство, сочло В. С-ча недостойным такого рода признания...

Иконников не был одарен талантом повествователя; не любил он в своих работах и отвлеченных построений. Его сознательной целью было возможно полный подбор фактического материала, его критическая оценка и точное восстановление событий и отношений. Эта первичная стадия исторического изучения его удовлетворяла, и дело художественного творчества или философского обобщения он предоставлял другим. От Шлецера заимствовал он свой девиз: „ne quid falsi historia dicat“ и служил ему всю жизнь. Поэтому он казался сухим и был неинтересен и недоступен широкой публике. Но для людей знакомых и близких он являлся в ином свете. Не легко было сблизиться с ним до интимной короткости, потому что В. Ст. был очень сдержан и скромен. Его чрезвычайная благовоспитанность и душевное благородство удерживали его от резких отзывов и безответственной откровенности. Но если он удостаивал собеседника своего доверия и расположения, то обнаруживал всю свою живость и впечатлительность и очаровывал своею добротою, ясным умом и моральной определенностью и твердостью. Отдав себя науке, он был далек от политики;

но он с молодости интересовался ею, чутко переживал русскую современность, имел определенные симпатии и антипатии и являлся строгим критиком для всего того, что считал злом русской жизни. К житейскому успеху он не стремился, так называемой карьеры не искал и нередко с презрением относился к тем, от кого она зависела. Общение с В. С. Иконниковым было не только приятно, оно имело большую внутреннюю цену, потому что могло облагораживать и воспитывать.

С. Платонов.

Памяти Лависса [1]).

Еще один ушел из круга «бессмертных» Французского Института, ingressus viam universae carnis. 25 июля скончался в возрасте восьмидесяти лет и нескольких месяцев Эрнест Лависс.

Опустевшее место будет, конечно, замещено авторитетным историком, исследователем глубоким и тонким, какими, даже после утрат понесенных в войне, богата французская наука. Но, несомненно, на этом месте не явится никого, кто похож был бы на Лависса.

Тот тип ученого и деятеля, какой он воплотил в себе, не повторится в близких к нему поколениях. Нужны были особые условия для его образования. Нужны были несокрушимое здоровье Лависса, связанная с ним необычайная работоспособность, органическая цельность простой и сильной натуры, твердая традиция патриархальной семьи и даже—старого классического французского образования, с его в столь многом дурной системой, но строгими трудовыми навыками, дисциплиной работы. Нужно было, чтобы на этом фоне, и именно в хорошем и сильном возрасте (Лависсу было 27 лет в 1870 году) им пережито было трагическое потрясение «разгрома» родины и старого уклада жизни и школы, чтобы период бури и натиска обновляющих идей пришелся к свежей силе восприимчивости. Нужна была вера в свои силы, неразлагаемая скептицизмом или обостренной требовательностью мысли, героическая готовность взяться за многое, работать не останавливаясь, не опуская рук, не зная ни возбуждения, ни уныния, ни сомнений. Таким был Лависс.

Многое в науке и жизни, несомненно, ему представлялось грандиознее и проще, чем оно явилось его ученикам, и на Пилатов вопрос об истине он отвечал так, как они, им же воспитанные в атмосфере еще более высокой требовательности мысли, отвечать не могли. Тоньше, сложнее—в своей духовной организации пристальнее, с сильнее изощренной критической мыслью, с более строгими пределами ответственности в более узких специальностях,—явилось уже ближайшее поколение. Даже самые близкие, ныне семидесяти- и шестидесятилетние товарищи и ученики Лависса, севшие рядом с ним на креслах Института, формировались в иной научной обстановке; из нее они и вышли другими, чем он. Еще более от него далеким по своему научному облику будет — нужно думать — тот „молодой“ 40 или 50-тилетний „академик“ который займет его кресло. В науке истории, как и в самой истории, все движется, и ничто не возвращается. Так,

---

[1]) Эта краткая памятка — первый отзыв на смерть Лависса, в ожидании, пока более обстоятельный этюд в «Анналах» даст всестороннюю оценку умершему историку.

О. Д.

убеждены мы, не повторится Лависс, разве что осуществятся комбинации, которые вновь вызовут к жизни подобный образ. Но и тогда он будет отличаться существенно новыми оттенками.

Особенности его личности — в следующих поколениях с возрастающим трудом вмещавшиеся в одну жизнь, тогда как Лависс сочетал их легко и естественно,—заключались в том, что под его профессиональными свойствами и привычками в нем жили сильные инстинкты государственного деятеля и государственного мыслителя очень широкого размаха. К нему любили применять слова, сказанные им о Дюмоне: «Именно потому, что он способен был выполнить долг более трудный, он превзошел себя в исполнении того скромного, который на него возложила судьба. Есть люди, которым она дает платье не по их росту. Но и в нем они сохраняют величавую осанку, данную им природой... и дают величие всему, что делают». Особенности Лависса, далее, заключались в том, что в области своей профессии он был не только выдающимся ученым, но и редким педагогом, внесшим громадную энергию и настоящий талант в практические постановки и теоретические проблемы школьного дела; что, как историк, он имел интерес к жизни разнообразных эпох и различных культурных типов, а в пределах одной эпохи и одного народа — различных стихий исторической жизни, умея находить какой-то их синтез (глубину которого в отдельных случаях можно оспаривать; но это—положение почти неизбежное при таком большом размахе). Один из редких на европейском западе и в частности во Франции ученых, Эрнест Лависс был в такой же мере историком внешне-политического процесса, как и социального и культурного движения. Он был «всеобщим историком».

Русская широкая публика знает Лависса (в комбинации с Рамбо; но навряд ли можно говорить о какой-либо равнозначимости этого двуединства), как редактора «Всеобщей истории Европы» [1]), переведенной в свое время на русский язык и сыгравшей заметную роль в нашем историческом преподавании. Круг историков ценит в нем редактора «Истории Франции» (Histoire de France), дополненной в последние годы «Историей Франции современной».

Отправляясь от безымянных и «безовременных» рас на ее многотысячелетней исторической земле, эта «история» охватила жизнь Франции до наших дней, изучив и изобразив ее в разнообразных ее аспектах, с большой полнотой содержания и строгостью критического изыскания, с богатой документацией и свежей осведомленностью. Она осуществлена была кругом первоклассных ученых историков, чью работу редактор сумел подчинить, на протяжении многих томов, одному стройному плану.

Эта многотомная историческая книга, созданная его волей в короткий период восемнадцати лет (первый том, «География Франции», появился в 1904 году, последний IX-й том современной истории Франции—в 1922 году)—достойный шедевр французской исторической мастерской, плод той обновившейся, конкретно-фактической и критически-требовательной, точной науки, в развитие которой так заметно вложилось жизненное усилие Лависса.

К этому жизненному усилию Лависс любил возвращаться. Его очень ясная и четкая память—национально-французское свойство это в высокой мере отличало Лависса—сказалось и как качество точного личного воспоминания, когда он, в связи с мыслями о реформе, к участию в которой был призван, — оглядывался на педагогическое

---

[1]) Histoire générale de l'Europe du IV siècle à nos jours.

прошлое Франции. (Его книги Questions d'enseignement national, 1885, Etudes et étudiants, 1890; A propos de nos écoles, 1895; Un ministre, Victor Duruy, 1895) и дал, сливающуюся с личными мемуарами, картину этого прошлого, среди которого он рос, и с которым призван был покончить. С личным чувством теплоты вспоминая своих «добрых учителей» и иногда отмечая те или иные почтенные традициии и трудовые навыки старой школы, Лависс хорошо знает ее отрицательные стороны. И если, будучи человеком от природы благожелательным и благодарным, с известной признательностью говорит о «великих риториках» лицея Карла Великого (где он учился), сформировавших его литературный и ораторский талант, то он лучше всякого другого понимал мертвящее действие—на движение сознания в стране—общественной и научной риторики, закона поверхностной условности формы, в какой и доныне — часто уже несправедливо упрекают французскую мысль.

Когда в шестидесятых годах его поколение завершало свое образование (Лависс кончил в 1865 году 22 лет от роду Ecole Normale, чтобы затем более чем на десять лет стать учителем подростающей молодежи в различных лицеях. В эти годы вложилась его деятельность в качестве воспитателя сына Наполеона III-го), французская школа пользовалась на всех своих ступенях особенно плохой репутацией среди стран, где начиналось сильное движение в жизни школы, как в смысле гораздо более широких слоев, которым она открывалась, так и—еще более—в смысле обновления всего строя преподавания. Две черты, казалось бы, совершенно несходные, ставили ему в упрек: с одной стороны чисто формальный, реторически-поверхностный характер гуманитарного образования, с другой—сведение школы, главным образом высшей, к узко-прикладным задачам, лишение ее широкой научной базы—то положение дела, которое Кавелин характеризовал словами, что в жизни мысли и школы страна «проживает свой капитал и более не капитализирует». Положение гуманитарного и в частности исторического преподавания так описывает сам Лависс в письме к Габриелю Моно [1].

«Молодые люди даже не знают, чем тебе обязаны. Чтобы это знать, нужно было быть учеником в мое и твое время.

«Помнишь ли ты наше обучение, курсы, которые мы слушали, наши работы, наше чтение? В Ecole Normale наши учителя вынуждены были мчаться, перескакивая огромные периоды истории. Один из лучших в один год довел нас от начала человечества до Римской Империи, и в этой дух захватывающей скачке едва успевал он бросить нам указания на 2—3 документа. Другие об этом даже не думали. В Сорбонне мы слушали один или два курса. Профессор, читавший большой курс (Grande leçon) говорил в неопределенно расплывчатой аудитории, где руки автоматически хлопали при входе и выходе лектора. На «малом курсе» мы были почти одни, затерянные в унылом и банальном амфитеатре, похожем на брошенный сарай. Проще всего было бы, если бы профессор подозвал нас поближе к себе и разговаривал с нами. Но это было не в обычае...

«Помнишь ли ты ту массу поверхностных знаний, которые мы должны были проглотить? Мы знали только корешки фолиантов, где скрывались памятники. Никогда никто из нас не проделал точной студии над ними. Один из нас написал работу — он хранит ее до-

---

[1]) Предисловие к сборнику статей, посвященному Monod по поводу его юбилея «Etudes d'histoire du Moyen Age» etc. P. 1896.

ныне — о варварских правдах, не прочитав текста ни одной из этих правд. Да он бы их и не понял».....

Отсутствие научной школы — такова была в обоих направлениях болезнь высшего образования во Франции, которая была глубоко сознана в настроении резиньяции, охватившем более сознательные общественные круги после катастрофы 1870 года. С именами Гастона Париса, Моно и Тевенена связывают то течение во французской науке, которое перенесло в университет «методы немецких семинариев» и создало в нем свободную лабораторию научного исследования, Ecole pratique des Hautes Etudes. Справедливость требует, однако, заметить, что в самой Франции, в Париже, был источник, около которого могла обновиться духом точного исследования и обычаем прикосновения к подлинному материалу французская наука. Это была Ecole des Chartes, учениками которой была поддержана и осуществлена реформа научной школы. Но если эти здоровые традиции, укрывшиеся в скромном и слишком специальном очаге, смогли лечь в основу обновленной высшей исторической школы—этим французское преподавание обязано той, от верхов и до низов перестроившей школу реформе, которая осуществилась, как радикальная мера государственной власти, и как энергичная организационная и пропагаторская работа умело избранных ее агентов. Ими были, наряду с самим министром народного просвещения Duruy,— Albert Dumont, несколько позднее— Ch. V. Langlois, но более всего, быть может, — находившийся в ту пору в самом расцвете научной и педагогической деятельности Эрнест Лависс.

Недостаточно было декретировать реформу. Для нее надо было завоевать общественное мнение, перевернуть сознание французского профессора и французского студента, столь упорно-консервативного в своих умственных привычках. Лависс вел это завоевание, осуществлял эту пропаганду всю жизнь, в книгах, посвященных реформе, в публичных лекциях, в ежегодных (а может быть, и ежедневных) обращениях своих к студенчеству. В качестве директора—с 1886 г. Нормальной Высшей Школы и руководителя — (directeur des études historiques) исторических студий в университете, этот неутомимый апостол научно-педагогического обновления Франции «вечно повторял одно и то же» (je redis toujours les mêmes choses, говорил он о себе), с тою постоянно-новой внутренней силой и свежестью, которые дает только убеждение. Лависс располагал в этом завоевании еще одним оружием: редким даром слова, ясного без элементарности, красивого без реторики, сильного без резкости, проникнутого каким-то спокойным благородством и согретого теплым юмором. По мере того, как с годами тяжелела его высокая, маститая фигура, в урочный час осеннего открытия Сорбонны появлявшаяся на кафедре ее амфитеатра, чтобы ввести в академический год многочисленную молодежь,—по мере того как все больше серебрилась сединою его крупная голова, спокойные тоны старческой мудрости и ласковой благожелательности все больше смягчали громы его внушительных аллокуций. Но его мысль и его вера оставались все те же. И в этой неизменности была его сила.

Одним из наиболее деятельных стимулов реформы должна была, конечно, стать личная научная и профессорская работа Лависса. Как преподаватель, он должен был (при широте своих интересов он, очевидно, охотно подчинился этому долгу) перейти от преподавания истории средних веков, в которой с 1875 г. он сменил в Сорбонне Фюстель-де-Куланжа, к истории нового времени, где он занял место Валлона. Как исследователь, он выдвинулся с середины 70-х годов

работами по истории Германии, где с замечательной, для свидетеля великого разгрома, объективностью ищет причин, обусловивших сложение и мощь Пруссии и Германской империи (Etude sur l'origine de la monarchie prussienne; Etudes sur l'histoire de la Prusse; Essai sur l'Allemagne impériale) и чертит портреты ее императоров (Trois empereurs d'Allemagne). Лависс был один из редких французов, хорошо и интимно знакомых с Германией, тонко чувствовавших и ценивших положительные особенности ее культуры, звавших к примирению и взаимному познанию. Большое множество более мелких его этюдов в области средневековой и новой истории Франции и Германии не может быть даже упомянуто в краткой заметке[1]). Но самым крупным памятником его оригинального исследовательского таланта, конструктивного искусства и прозрачного изложения являются те два солидных (в совокупности более 800 стр. in 4°) полутома, которые он посвятил царствованию Людовика XIV-го.

Верный основному плану «Истории», Лависс со строгой систематичностью, с всеобъемлющей многосторонностью перебирает одно за другим колеса огромного механизма, все осложняющегося в век «великого короля», и насилием доминирующей воли притягиваемого в своем функционировании к одному, фальшиво поставленному центру. Картина грозного разрушения уже намечается в этом очерке, и через видимость стройного порядка глядят слепые глаза хаоса. «Ибо король поглощен был одною заботой: обеспечить максимум повиновения. Он думал только о себе. Так шаг за шагом, уменьшая силу и ценность всего, что не было он сам, он расшатал устои собственной власти... Людовик XIV-й привел монархию к совершенному вырождению средствами, которые готовили ей гибель».

Маститому историку еще дано было в самые годы войны и последовавшего затем мира осуществить под своей редакцией задуманную в тех же кадрах, как и Histoire de France—«Историю современной Франции от Революции до мира 1919-го года» [2]).

Последний IX-й ее том, посвященный войне (La Grande Guerre) вышел в 1922 году, за несколько месяцев до смерти Лависса. Том этот, написанный Сеньобосом, французская критика [3]) оценивает, как стоящий во многих отношениях ниже остальной серии. Сбиваясь более на сухой учебник, нежели на синтетический очерк, он представляет только полезное справочное пособие для внешней истории войны. Зато заключение к нему написано Лависсом.

Оно должно служить послесловием ко всей серии и «полно—как замечает рецензент Revue historique—свежих мыслей, проникнуто бодрым оптимизмом, светлой искренностью. Его следует причислить к самым глубоким созданиям знаменитого историка».

Высказав сожаление о том, что в самой книге о войне ее автор Сеньобос не коснулся внутренней жизни страны: — ни экономических процессов, совершившихся в ней, «ни жизни коллективной души нации», рецензент кончает: «Не можешь не вспомнить по этому поводу о великих замолкших голосах; о том, что могли бы сказать на эту тему Мишле, Жорес и сам Лависс»....

---

[1]) Как и длинный ряд популярных и руководящих очерков, книг и статей, направленных к взрослым людям и школьной молодежи разных ступеней.

[2]) Ernest Lavisse, Histoire de France contemporaine dépuis la révolution jusqu' à la paix de 1919.

[3]) Мы не имели возможности с ним ознакомиться. См. о нем заметки в R. H. 1923, Juillet-août p. 83.

Говоря о замолкших голосах, рецензент имел в виду лишь первых двух. Его статья была в наборе, когда круг завершился. Он оказался пророком. Голос Лависса также угас.

«Войну и мир»—вторую войну и второй мир с Германией — Лависс встретил, несомненно, с более сложным и тяжелым чувством, чем большинство его современников. Его позиция в 1870—1914 г.г. была позиция примирения и забвения, отказа от «реванша», сближения с Германией. В новой яростной схватке вчерашний апостол мирного сожительства культур, старик, вступавший в восьмой десяток жизни, не мог не ощущать разочарования, быть может, даже жуткого одиночества. В аллокуциях, с которыми теперь он в свою очередь, подобно другим бессмертным и смертным своим коллегам, обращается к более широкой, чем амфитеатр Сорбонны, аудитории—«A tous les français», среди кипящего энтузиазма или страстного задора других трибунов войны, звучат тоны, преимущественно отражающие психику старого гуманиста, профессора мирных трудовых аудиторий. Они говорят о необходимости веры в свои силы, о терпении, о работе: Effort, Patience, Confiance — такова их тема и рефрен.

Эти призывы — годятся столько же для мира, как и для войны.

Они были девизом жизни и, на ее закате,—заветом Лависса новым поколениям, в ту тяжелую и смутную эпоху войны и мира, похожего на войну, которую ему еще пришлось доживать, и напряжения которой не выдержало его восьмидесятилетнее сердце.

О. Д.-Р.

Критика и библиография.

Последний том книги Теодора Шимана о Николае I.

(*Theodor Schiemann.* Geschichte Russlands, unter Kaiser, Nikolaus I, Band IV. Kaiser Nikolaus von Höhepunkt seiner Macht zum Zusammenbruch im Krimkriege. 1840—1855. Berlin und Leipzig. Verlag wissenschaftlicher Verleger XII + 435 p.p.)

В очень интересном и по моему мнению очень правдивом некрологе, который проф. Е. В. Тарле посвятил Теодору Шиману во второй книжке журнала «Дела и дни» (Пг. 1921), автор с сожалением говорит о возможности, что самый крупный труд Шимана «История России при Николае I» остался неоконченным. С удовлетворением мы можем теперь сказать, что этого не случилось. Работа была дописана и после более чем двухлетней задержки несколько экземпляров 4-го и последнего тома «Истории России при Николае I» занесены теперь в Россию.

Из предисловия к книге видно, что материалы для нее были уже собраны в 1914 г. к моменту начала войны. Шиман с благодарностью говорит о той готовности, с которой весной 1914 г. были открыты двери Лондонского «Record office». К этому времени в его руках уже были также обширные извлечения из переписки государя с женой, императрицей Александрой Федоровной, почерпнутые из рукописного отделения собств. е. и. в. б-ки. Писалась книга, как говорит сам ее автор, «в годы мировой войны и была закончена в тяжелые дни падения. Я старался спастись от невыносимой тяготы событий посредством углубления в прошлое, которое представляет замечательные аналогии с настоящим». Если книга была написана Шиманом во время войны и после падения германской империи, то невольно приходит на ум вопрос, в какой мере переживаемые события отозвались на его труде. Долг беспристрастия велит прежде всего отметить, что внешние события не отозвались на тоне изложения и на отношении автора к стране и людям, историю которых он изучает.

Взгляды Шимана на Россию хорошо известны, их нет нужды напоминать: интересующиеся найдут их веское и беспристрастное освещение в уже названном его некрологе, принадлежащем профес. Е. В. Тарле. Здесь же достаточно отметить, что взгляды эти нисколько не изменились сравнительно с тем, что мы находим в первых трех томах истории Шимана, и что война не изменила их ни в какой мере. Несколько иначе, может быть, обстоит с источниками, которыми пользовался автор. Возможно, что ненормальная обстановка, в которой автору пришлось писать свою книгу, заставила его черпать материал из круга источников более узкого, нежели он первоначально предполагал. Из новых, ранее не использованных первоисточников им

привлечены донесения английских дипломатов, аккредитованных при Николае I, и фамильная переписка между Николаем и его женой и между ними обоими и их берлинскими родственниками, главным образом, с королем Фридрихом-Вильгельмом IV и принцем, впоследствии королем Вильгельмом I, т. е. использованы документы лондонские, берлинские и петроградские,—первые очень интенсивно, вторые бывшие у Шимана под рукою—в меру его собственных взглядов и потребностей, третьи—только отчасти, ибо за исключением интересной семейной переписки, дающей очень много, он вынужден опираться исключительно на печатный материал, который он берет из приложений к известному труду А. М. Заиончковского «Восточная война 1853 — 56 г.г,», из «Lettres et Papiers» гр. Нессельроде, из напечатанной переписки Николая I с Паскевичем и, наконец, из различных воспоминаний и записок, рассыпанных на страницах русских исторических изданий. В последнем случае, он особенно охотно пользуется записками сенатора К. Н. Лебедева, отдавая им исключительное предпочтение перед другими аналогичными произведениими. Записки К. Н. Лебедева, несомненно, очень правдивый и добросовестный источник, однако такое исключительное пользование ими, какое мы находим у Шимана, может навести на мысль, что ему просто не было времени и возможности расширить эту сторону своей информации.

Ведь Лебедев—не единственный в своем роде, и если бы Шиман, в такой же мере как Лебедева, использовал Никитенко или привлек к своему исследованию хотя бы, например, записки С. М. Соловьева или дневник В. С. Аксаковой. не говоря о многих других произведениях, то освещение событий русской жизни и взглядов русского общества очень выиграло бы в его книге. Печатными извлечениями из чужих работ автор, по собственному его признанию, пользуется по отношению к Венским и Парижским архивам. Для этого ему, главным образом, служат работы Фридъюнга с одной стороны, сочинение Бапста «Les origines de la guerre de Crimée» с другой стороны. Пользование источниками может уже дать нам некоторое представление о содержании книги и об ее ценности. Последняя неодинакова: там, где автор привлекает новый материал, это дает ему возможность расширять свое поле зрения и рассказ его становится чрезвычайно интересным и в то же время ценным: там, где он пересказывает старые источники, в особенности те, которые русскому читателю хорошо известны, там его рассказ бледен и краток; русскому читателю он представляется недостаточным, а читателю иностранцу, который о России и о Николае I узнает только из книги Шимана, дает ложное представление об отсутствии источников, в особенности источников русского происхождения. Я допускаю мысль, что обстоятельства, при которых Шиман писал последнюю часть своего труда, могли повлиять на его объем.

Первый том его Истории в сущности вводит и описывает жизнь Николая I до его вступления на престол, второй занят всего лишь пятью первыми годами его правления, третий обнимает еще 10 лет, доводя изложение до 1840 г.; четвертый же доводит исследование сразу до конца, захватывая столько же лет, сколько второй и третий томы вместе, т.-е. целые 15 лет и притом таких, когда Николай I, как европейский деятель, развернулся во всю свою ширь, и когда постепенно подготовлялась катастрофа Крымской войны. Если мое предположение верно, то и оно со своей стороны может содействовать объяснению, почему не все места книги одинаково выдержаны, одинаково ценны и одинаково интересны.

Для тех, кто знаком с первыми тремя томами труда Шимана, я не сообщу ничего нового, если скажу, что и четвертый том представляет не столько историю России в царствование Николая I, сколько биографию Николая I на фоне событий общеевропейской и на втором плане русской истории. В сущности главное содержание четвертого тома есть история Николая I, как деятеля общеевропейской политики. Шиман внимательно следит за всеми перипетиями отношений Николая к Пруссии и к его шурину Фридриху-Вильгельму IV, подробно рассказывая, как под завесой теплых родственных связей слабели старые узы, как Николай проникался пренебрежением к слабому и либеральному шурину, как взывал о возврате к прежним временам bien aimé papa, как он старался, чтобы не менялась старая Пруссия Фридриха Вильгельма III и как, будучи таким образом более рьяным охранителем заветов прусской старины, он становился постепенно настолько несносным для пруссаков, что доброму шурину не под силу было после 1848 г. удержать общественное мнение своей страны на уровне симпатии к Николаевской России. Не менее ценен внимательный анализ его отношений к Англии, от попыток соглашения и союза приведших к войне, которая создана была, главным образом, Англией, так как ей одинаково чужд и несносен был Николай I—и когда он казался возможным соперником, и когда он настойчиво домогался английской дружбы. Не менее интересно и не менее подробно освещен облик Николая I, с высоты своего величия простирающего руку помощи молодому Францу-Іосифу, ведущего во имя уже всем, кроме него одного, ставших постылыми принципов, непопулярную в России Венгерскую войну и пытающегося диктовать свою волю Австрии и в позднейшие годы, за что в ответ тяжелый опекун и надоевший всем диктатор средней Европы получает один из первых мастерских ударов изысканного в своем почти вековом коварстве Франца-Иосифа. Я бы сказал, что вообще Шиману удалось изображение Николая I, как средне-европейского диктатора, который силился стать диктатором всей Европы. Николай ненавидел поляков горячей, личной, непрощающей ненавистью, а между тем после Петербурга более всего и чаще всего он жил в Варшаве и жил потому, что в ней он чувствовал себя не русским, а средне-европейским государем; отсюда он разъезжал в Вену, Берлин и другие места Германии и Австрии на свидание с германскими государями, в которых он неуклонно желал видеть, даже против их желания, почитателей и послушных исполнителей своей воли; сюда он вызывал их на совет для того, чтобы делать им внушения. Вот этого-то Николая, резидирующего не столько в Петербурге, сколько в Варшаве, Николая, навязывающего свою волю Европе и постепенно становящегося несносным не только гражданам европейских государств, но и их правителям, лучше всего рисует Шиман. Это наиболее ценная сторона его последней книги, ибо она обрисовывает действительно одну из сторон личности Николая I. Для Николая Россия, как живой, мыслящий, имеющий волю организм, не существовала.

Та Россия, какою он себе ее представлял, была вещью, механизмом, действовавшим по единой его, Николая, указке. Вооруженный этим механизмом, внешним олицотворением которого была армия, дрессируемая парадами, он из своей средне-европейской столицы Варшавы повелевал Европе и боролся с революцией, видя революцию во всяком проявлении сознания и самостоятельности народа, считая единственными и непререкаемыми отжившие взгляды и принципы священного союза 1815 г. Его энергия и его ярость в борьбе особенно уси-

лилась в 1848 г., когда он, этот громадный, красивый и громоздкий Дон-Кихот реакции, стал настоящим пугалом и страшилищем Европы и когда волной реакцией он постарался задушить остатки самостоятельной духовной жизни в России. Он был вполне искренен, когда верил в свою мощь и в совершенства своей механической России, но он не видел и не понимал жизни и был первый удивлен, когда вместо того, чтобы спасти Европу от революции сделался предметом общей ненависти всей Европы, остался совершенно изолированным и в своем падении увлек за собой не только ту видимую, механическую Россию парадов и шагистики, которую он олицетворял, но и истинной, им самим угнетаемой России нанес тяжелые раны, от которых она никогда не могла оправиться. В своей очень верной концепции Николая I, как европейского государя, Шиман не раз, и по моему совершенно правильно, подчеркивает искренность и убежденность императора в своей правоте, или точнее, может быть, в своей слепоте. Он резюмирует свои мысли на последней странице книги так: «er starb in der Uberzeügung das bei grossen Parade, die der liebe Gott anstellen werde, er gut bestehen würde».

В мастерской картине, изображающей 15-летнее стремление Николая в бездну, есть и темные, и светлые пятна. К первым я склонен отнести изложение его отношений к Франции; оно бледно и неясно, быть может, потому именно, что в этой области он дает не самостоятельное исследование, а пользуется материалом из вторых рук. Ко вторым без сомнения относится рассказ об его путешествии по Италии, описание его свиданий с королем неаполитанским Фердинандом II, с папой Григорием XVI и с герцогом Тосканским Леопольдом II, которого он в письмах к жене называет мокрой курицей, наконец рассказ о посещении им Вены на пути из Италии домой; эти места принадлежат к лучшим страницам книги. Впрочем, здесь заслуга принадлежит не одному Шиману, а в значительной мере самому императору Николаю, ибо основным источником для Шимана здесь являются письма императора к жене. Написанные резким, отрывистым, но очень живым слогом, они обличают в нем оригинального стилиста и очень хорошего наблюдателя. Очень интересно также повествование о Венгерской кампании, которое дает чрезвычайно ясную и живую картину внешних событий лета 1849 года.

В сравнении с образом Николая I, как деятеля общеевропейского, тот его облик, как русского государя и деятеля, который Шиман дает в последнем томе своего труда, стоит неизмеримо слабее; что же касается России 40-х г.г., отдельно от императора существовавшей, то о ней по книге Шимана нельзя составить почти никакого понятия. Русский читатель во всяком случае почерпнет из нее мало нового. Несколько характеристик государственных деятелей, несколько страниц, уделенных московским кружкам славянофилов и западников, петрашевцам, делу Кирилло-Мефодиевского общества и правительственной реакции, наступившей в 1848—1849 г., вот почти и все, на чем Шиман бегло останавливается, упоминая о внутренних делах России. Нельзя не отметить, однако, некоторого особого интереса, который автор уделяет делу о Кирилло-Мефодиевском обществе: хотя он о нем говорит мало, но нет никакого сомнения, что в его уме оно тесно соединяется с тем малорусским сепаратизмом, который Германия столь искусно эксплоатировала во время войны, т.-е. как раз когда Шиман писал свою книгу. Лишь одна сторона внутренних русских дел неизменно привлекает его внимание: сам балтиец, он делам Балтийского края дает в своей книге непропорционально большое место.

Политическое значение личности Шимана в русско-балтийских делах достаточно хорошо известно, чтобы догадаться, под каким углом он склонен рассматривать русскую политику в балтийских губерниях и отношения балтийских немцев к Империи. С нескрываемыми несочувствием он говорит о движении, которое в 40-х г.г. обнаружилось в среде латышей и эстов в сторону православия; кара, постигшая Самарина за его письма из Риги, вызывает в нем чувство удовлетворения. Германофильская деятельность кн. А. А. Суворова привлекает все его симпатии. С гордостью говорит он о верности и патриотизме, обнаруженном балтийским дворянством в 1854—1855 г., как бы подчеркивая, что именно в немецком дворянстве Курляндии, Лифляндии и Эстляндии руссские государи имели наиболее преданных слуг престола, пока позднейшая обрусительная политика не бросила их в оппозицию. Не может не рассказать он и о страданиях, мимолетно постигших в годы реакции его друга Виктора Гена, такого же балта и ненавистника России, как и он сам.

Четырехтомный труд Т. Шимана является в настоящее время единственной законченной сводной работой о Николае I и его царствовании, если не считать первоначально предназначенного для Русского Биографического словаря сжатого очерка М. А. Полиевктова.

В этом главное значение работы Шимана, которая, надо думать, сохранит его довольно долго, ибо вряд ли для исторической науки представится в скором времени возможность дать полную научно-безпристрастную историю царствования Николая I. Не только разбираемый здесь 4-й том, но и вся работа Шимана построена так, что преимущественное внимание автора направлено на изучение Николая, как общеевропейского политического деятеля. В этой области за Шиманом стоит большая заслуга привлечения большого количества ценных неизданных материалов, добросовестного и беспристрастного сведения их в одну общую картину, к тому же систематически расположенную и хорошо выполненную. За это русская историческая литература должна быть признательной историку-немцу, и признательность свою сохранит вероятно надолго. Что же касается внутренней истории царствования императора Николая, то Шиман, видимо, и не ставил себе целью дать ее систематическое и исчерпывающее изложение. Это задача, выполнение которой целиком ляжет на плечи будущих русских историков того времени, когда отшумевшие страсти позволят с чувством полного спокойствия изучать тридцатилетие 1825—55 г., в котором таятся немало корней позднейших бедствий и горьких испытаний нашей родины.

Книга издана тщательно, но не лишена некоторых недостатков, которые обычно редки в немецких изданиях. Может быть, винить в этом надо трудные обстоятельства, при которых она писалась и издавалась. Отмечу один. На стр. 67, говоря об отъезде Николая из Неаполя, Шиман пишет: «aus Neapel fuhr er am 12 dezember in Begleitung des Königs über Aquila, Trapani, Caserta nach Rom». С удивлением спрашиваешь себя, каким образом Трапани, древний Дрепанум, находящийся на Западном берегу Сицилии, мог встретиться Николаю на пути из Неаполя в Рим. Разгадку можно найти в приложении, где в письмах Николая к императрице от I/18-1845 г. читаем: «partis hier à 9 h. du matin avec le Roi, Aquila, Trapani par le chemin de fer... (стр. 369). «Aquila» и «Trapani»—не что иное, как титулы братьев короля Фердинанда II, которые совершенно непонятно превратились в изложении автора в название местностей, лежащих между Неаполем и Казертой. Кое-где в книге есть мелкие неточности, обычные, впро-

чем, для нерусского автора; так, иногда перепутаны имена и отчества русских деятелей, Александр Иванович Тургенев помянут в числе профессоров Московского Университета (стр. 130) и т. п. В общем, однако, все эти неточности незначительны и на оценку книги влиять не могут.

К книге приложены многочисленные извлечения из первоисточников (стр. 365—435). Среди них, кроме уже отмеченных писем Николая к императрице, где изложены его впечатления от поездки по Италии, выделяются некоторые места его переписки с королем Фридрихом-Вильгельмом IV и некоторые из донесений английских дипломатов.

Ю. Готье.

По поводу окончания исследования Отто Зеека о гибели античного мира.

(Geschichte des Untergangs der antiken Welt, von Otto Seeck. Sechster Band. Stuttgart. 380 стр.).

Редакция журнала «Анналы» надеется в одной из ближайших книг увидеть критический отзыв о последнем, написанном еще в 1920 г., но лишь сравнительно недавно добравшемся до России, томе большого труда Отто Зеека по истории падения Западной римской империи. Пока хотелось бы лишь просто отметить появление этого тома и поделиться кое-какими только читательскими впечатлениями. Этот монументальный труд, поглотивший половину жизни талантливого ученого, начат был около четверти века тому назад, и в первых его томах звучат победные тона германца, который гордится предполагаемыми бранными подвигами своих предков, выступивших на арену истории во времена падения римского государства; шестой, лежащий пред нами том, посвящен памяти сына автора, «тщетно отдавшего свою молодую, счастливую жизнь для спасения Германии», и скупо и нерадостно говорит уже историк о роли германцев. Тень разгрома Германии легла на конец работы.

В книге Зеека, с первого ее тома до последнего, напрасно было бы искать сколько-нибудь полного анализа социально-экономического положения в последние годы империи, а следовательно, напрасно было бы надеяться найти попытку общего и систематического выяснения основных причин излагаемых событий. Человек, который будет изучать гибель Римской империи т о л ь к о по книге Зеека, едва ли окажется удовлетворенным в самых законных своих запросах; но, с другой стороны читатель, который прочтет даже значительную часть основной литературы по истории данного события,—из этих шести томов Зеека непременно узнает кое-что новое и неожиданное, чего нет ни у кого, кроме Зеека. Так можно вкратце формулировать впечатление от книги. Это новое и неожиданное даже не столько в новизне фактов, сколько в оригинальнейшей их трактовке, внезапных, непривычных ассоциациях, в которых они представлены читателю. Отто Зеек, кроме того, излагатель, рассказчик, в самом деле, замечательный Если взять хоть этот, шестой, том, то придется признать, что главы об Аттиле, об Аэции и Гейзерихе, об Эфесском соборе—читаются, как интересный роман, хотя (или, вернее, потому что) автор обладает артистическою простотою и трезвостью слова и уменьем с наименьшими стилистическими уси-

лиями достигать максимальной силы воспроизведения исторической действительности. В сущности, каждый том является собранием небольших, художественно отделанных монографий о людях и событиях IV и V веков. Отсюда и недостатки всей обширной работы, произведенной автором, - и прежде всего его неохота (или неуменье) давать анализ социальной структуры общества, безотносительно к индивидуальностям, приковывающим к себе его внимание, т.-е. отказ от существеннейшей и труднейшей задачи историка.

Ограничиваясь в этой беглой заметке сказанным,—мы хотели бы только прибавить несколько слов о главе шестого тома, касающейся блаженного Августина. Взгляд Зеека резко расходится с набившими оскомину слащавыми и умиленными восклицаниями, которые так характерны, почти неизбежны в литературе, посвященной знаменитому африканскому иерарху. Эта глава типична для исследовательской манеры Зеека. Материал у него был такой же точно, как у его бесчисленных предшественников по работе,—а вышло совсем иное. И всякий, прочитавший, тоже удивляется: как же сам-то он, читатель, не вычитал из Confessiones и De Civitate Dei того, что там нашел без малейшего, повидимому, труда Отто Зеек, и что (как теперь кажется) прямо бросается в глаза?

Отто Зеек признает Августина человеком, для своего времени выдающимся и в умственном, и в нравственном отношениях. Но он энергично протестует против повадки конанизировать его также в современных научных книгах, где Августин нередко провозглашается образцом абсолютной моральной чистоты и умственной глубины. Прежде всего Зеек настаивает на лживости Августина и, особенно, на его неискренности и умышленных умолчаниях в Confessiones. Принципиально осуждая реторику, Августин насквозь риторичен, хочет явно рисоваться и блистать пред читателем. По существу же «вся книга есть тщеславное самолюбование в форме самообвинения».

При всех мнимых самоуничижениях он никогда не забывает подчеркнуть собственные дарования и добродетели, прибавляя лишь еще более возвышающую его в глазах тогдашних читателей лукавую оговорку, что все эти достоинства не его-де заслуга, но милостивый дар божий. Что касается признания в грехах, то „оно очень своеобразно", по мнению Зеека. За Августином водились настоящие серьезные поступки вплоть до сурово караемых даже тогдашним снисходительным кодексом; но он лишь очень бегло о них упоминает (да позволено будет не назвать их). И тут же, рядом, Августин («с многословным покаянием») повествует подробно о таких своих преступлениях, как, напр., о лакомстве чужими сливами (когда был мальчиком 15 лет); о том, что увлекался «Энеидой», что любил ходить в театр, что будучи грудным младенцем, он позволял себе криком жадно требовать молока, и т. п. Результаты такого искусного раскаяния были блестящие: даже новейшие исследователи утвердились в мысли, что как же безукоризненно свят должен быть человек, если он так патетически и горестно кается в совершенных пустяках! Зеек видит тут очень тонко рассчитанное и вполне сознательное (и удавшееся) извращение перспективы.

Наш автор, вообще, утверждает, что Августин даже к манихейству (пока был молод) примкнул также потому, что манихейство снисходительно смотрело на удовлетворение страстей. Зеек приводит молитву молодого Августина к господу: «Дай мне целомудрие и воздержание, но только не сейчас!» Нужно заметить, что кое-где Зеек допускает натяжки. Напр., он склонен преувеличивать рассудочность и рассчетливость Августина. Так, он утверждает, что Августин, уже принявши

решение уйти в монашество, откладывал три недели, до наступления каникул, исполнение этого решения, „очевидно“ затем, чтобы получить полностью причитавшееся ему учительское вознаграждение. Никаких оснований для этой догадки в тексте нет, и самая догадка производит впечатление придирки.—Зеек настаивает, что его характеристика Августина направлена не к тому, чтобы унизить Августина, которого автор все-таки считает лучшим человеком того времени, но чтобы показать, как необычайно низко пал общий уровень тогдашнего человечества, если даже лучшие люди были таковы. Как писателя, Зеек расценивает Августина не очень высоко, с точки зрения оригинальности идей и, вообще, способности к самостоятельной критике и самостоятельному мышлению (Зеек, между прочим, утверждает, как и некоторые исследователи уже до него, что понятия о царстве божьем и царстве диавола Августин позаимствовал у донатиста Тихония). Основной труд Августина (De civitate Dei) Отто Зеек считает книгою «плоскою и несамостоятельною», но признает колоссальное ее влияние на все средневековье и позднейшее время, причем объясняет это явление разнообразием и пестротою содержания, ее энциклопедичностью, ее доступностью для понимания, тем, что она была всем по плечу: «Если бы (эта книга) была не такою плоскою, то она вовсе и не могла бы иметь такого влияния».

Большое впечатление производит и глава об Аттиле. Ни Феликс Дан, ни Ходгкин, не говоря о других, не давали такой яркой характеристики завоевателя. Очень интересно (к сожалению, вскользь брошенное) замечание о гибельных для империи экономических последствиях похода Гейзериха с вандалами в Африку. Несколько разочаровывает избалованного автором читателя глава „Кодификация права“. На этом закончим беглые замечания, вызванные чтением последнего тома большого исследования Отто Зеека. Прочтя его, хочется начать перечитывать.

Т.

Книга А. А. Васильева „Византия и крестоносцы“.

(А. А. Васильев. История Византии. Византия и крестоносцы. Эпоха Комнинов (1081—1185) и Ангелов (1185—1204). „Academia“. Ленинград 1923. Стр. 120).

История Византии, несмотря на интенсивную ее разработку у нас и заграницей, попрежнему составляет предмет необходимого и неотложного исследования, как в общем ее построении, так и в детальных разветвлениях и уклонах. Чем дальше углубляются исследователи в изыскание исторических судеб Византии, тем яснее и отчетливее определяется разностороннее международное значение государства греческих василевсов и многогранное культурное взаимообщение его с Востоком и Западом. В тех широких обще-исторических построениях синтетического характера, которые ныне составляют очередную задачу науки, Византии, несомненно, должно быть отведено одно из первых мест по всеобъемлющему и нередко исчерпывающему воздействию на факты и явления мирового масштаба. С другой стороны, внутренние отношения, сложившиеся в Византии путем взаимообщения эллинизма, романизма, восточных и славянских элементов и выразившиеся в своеобразной культурно-исторической системе византинизма, далеко

еще не изучены сполна и в детальных своих проявлениях и по прежнему возбуждают глубокий научный интерес не только в среде специалистов исследователей. Вот почему всякая новая работа по истории Византии, произведенная по установившемуся научному методу, составляет крупное научно-литературное явление и заслуживает внимательного к себе отношения.

Известный византолог, профессор А. А. Васильев, восполнил длинную серию своих специальных трудов изданием новой книги о «Византии и крестоносцах». Внешним образом новый труд проф. Васильева примыкает к первому тому его «Лекций по истории Византии» (Петроград 1917), обнимающему время до эпохи крестовых походов—до 1091 года. Здесь обозревается эпоха двух византийских династий Комнинов и Ангелов (1081—1204) г., представляющая в истории византинизма глубокий и разносторонний интерес. Книга написана по плану простому и естественному и состоит из введения и трех очерков.

Указанные исторические очерки написаны профессором Васильевым с большим мастерством. Прекрасное знакомство с источниками и научной литературой предмета, яркая и совершенно верная характеристика отдельных представителей дома Комнинов и Ангелов, глубокое проникновение в задачи византийской политики и в многосложные внутренния ее переплетения с современной западно-европейской политикой, живость и рельефность изображения отдельных фактов государственной жизни на Востоке, и, наконец, красочный и выразительный язык—все это является истинным украшением нового труда нашего известного византолога.

В третьем очерке труда профессора Васильева (стр. 90—117) обозревается внутреннее состояние Византийской империи в эпоху Комнинов и Ангелов. После обстоятельной характеристики церковных отношений, речь идет о внутреннем управлении империей, о финансах, войске, флоте. В этом отделе наш автор ограничивается лишь краткими и отрывочными замечаниями, вследствие вообще малой разработанности внутренней истории Византии, особенно начиная с эпохи Комнинов. Тем не менее и здесь профессор Васильев отметил характерные особенности внутреннего византийского строя, например, значение варяго-английской дружины в Византии XII века. С большею подробностью профессор Васильев говорит о просвещении, науке и литературе в эпоху Комнинов и Ангелов. Эта эпоха называется автором „временем первого в истории Византии эллинского возрождения“ и характеризуется как „живое культурное движение, подобного которому Византия не знала в предшествующие эпохи“. При Комнинах и Ангелах в Византии наблюдалось крупное увлечение античною литературою и интесивное изучение и подражание классическим писателям, особенно в языке, история которого в это время представляет большой интерес в отношении как литературного своего разветвления, так и развития народной и разговорной речи. Писатели эпохи Комнино и Ангелов высоко ценили византийскую культуру и верили в превосходство ее пред культурой народов Запада, «этих темных и бродячих племен,—по выражению историка Никиты Акомината,—большую часть которых Константинополь, если не родил, то вырастил и вскормил», «у которых не находит приюта ни одна харита или муза» и для которых приятное пение кажется тем же, что «крик коршунов или карканье вороны». Расцвет византийской науки и литературы в эпоху Комнинов и Ангелов засвидетельствован длинным рядом писателей различного направления—историков и хронографов (Анна Комнина, Иоанн Киннам, Никита Акоминат, Георгий Кедрин, Иоанн Зо-

нара, Константин Манасси, Михаил Глика), поэтов (Иоанн Цеци, Федор Продром), философов (Иоанн Итал), ораторов (Михаил Акоминат) и т. д., а господствовавшая культурная струя охватила все слои византийского интеллигентного общества.

И. И. Соколов.

Исходя из оглавления книги проф. А. А. Васильева, читатель ждет характеристики 1) Византии, 2) крестоносцев и 3) более всего— того взаимодействия этих явлений, которое намечено союзом „И".

О выполнении первого пункта мы могли бы говорить только методологически. Кроме того, отзыв по существу дается в том же номере „Анналов". В России, да и в Европе, мало специалистов византологии. Автор—один из авторитетных знатоков ее. Немного тех, кто бы мог здесь судить его.

Мы затронем некоторые темы, ближе связанные с средневековым Западом. Прежде всего, в связи с вышеупомянутым „И". Оно дает право ждать, кроме изображения того, как в известные века жила Византия и как в ней действовали крестоносцы, картины тех взаимодействий, в особенности культурных, к каким привело их столкновение и сожительство.

Автор с убедительностью настаивает (стр. 7, 88 и 104) на двух тезисах: 1) в политическом отношении Византия, в результате «крестоносных» на нее воздействий, перестала существовать, как единое целое, и не вернула никогда своего блеска и влияния, 2) в торговом отношении, утратив роль посредницы между Востоком и Западом—с момента, когда они вступили в прямые сношения друг с другом, она потеряла свои экономические преимущества, в пользу, более всего, Венеции. Однако, у читателя книги встает ряд вопросов о других сторонах этих отношений, и ему хотелось бы просить у автора многих разъяснений. Его затрудняет та слишком «объективная» и осторожная позиция, которую сохраняет за собой автор, как бы воздерживаясь произносить суждение от себя и ограничиваясь цитатами из источников и научной литературы, без их дальнейшей оценки. Следует ли из численного соотношения этих цитат сделать вывод, что культурное влияние Запада было абсолютно отрицательным и разрушительным? Кроме цитаты, в этом смысле, из Викеласа, на стр. 33-й, автор цитирует Шаландона, который «считает возможным приложить отчасти (?) ко всем крестоносцам слова Гиббона о первой их волне: «разбойники эти были дикими зверьми, без разума и человечности». Из того, что на стр. 111 автор цитирует (для того, мы полагаем, чтобы с ней согласиться?) оценку Никиты Акомината, данную Ф. И. Успенским («его воззрения на западных крестоносцев, на отношения Запада к Востоку отличаются глубокой правдой и тонким историческим смыслом») можно думать, что он отождествляет свои мысли с мыслями этого автора XII-го века, высказанными в такой (стр. 104) квалификации западных народов (иных, более тонких суждений Никиты автор не приводит): «темные... бродячие племена, у которых не находит приюта ни одна харита или муза... для которых приятное пение кажется тем же, что крик коршунов или карканье вороны» (это в век готического зодчества, поэзии трубадуров и упоений диалектики). Однако, этим цитатам, о мере значимости которых автор не высказывается, противостоят цитаты Ф. И. Успенского (стр. 89), где последний говорит о «наплыве западного культурного влияния, которого не мог предотвра-

тить страх перед напором западных народов», о том, как «незаметно менялся (под этим влиянием) порядок жизни, и против этих перемен не мог устоять стареющий византизм». Мы не сомневаемся, что автор имеет свою формулу разрешения этих противоречий. Но он не дает ее читателю.

Дело, конечно, не столько в факте воздействия, сколько в его содержании, притом на обе стороны. Тут читатель не может не пожалеть о крайней сдержанности книги, отмечающей культурные явления в их внешней стороне, но не дающей их содержания. Чем была сущность тех церковных течений, еретических движений, которые перечисляет автор? В чем содержание «опасного для церкви» учения Итала, о внешнем впечатлении которого он сообщает цитаты из Успенского и Марра? Почему можно сопоставлять его с Абеляром? В каком смысле западная схоластика могла быть в зависимости от Византии? Вообще, во внутренней стороне комбинации «Византия и крестоносцы» автор сильно дразнит любознательность своего читателя, возбуждая вопросы, которые остаются без ответа.

Еще больше вызывает их (для нас) тема самих «крестоносцев». Чтобы не задавать слишком многих вопросов в краткой рецензии, мы коснемся более простого. Он возбуждается недооценкой (с нашей точки зрения) ни более, ни менее, как... Готфрида Бульонского, как «далеко не идеалистически настроенного феодала» и т. д. (стр. 31) и вопросом об «идеальных» мотивах походов. Мы опасаемся, как бы читатель из публики, с юных лет запомнивший рассказ о том, как «вскипел Бульон, течет во храм» не рассердился бы на нас, историков, за то, что мы все еще не можем договориться об этом Бульоне, вскипел ли он «идеально» или не так уж идеально. Нам казалось, впрочем, что со времени Рерихта на этом вопросе поставлена точка, и собранный им материал достаточно убедителен, чтобы очертания этой фигуры представлялись ныне ясными. Для нас, поэтому, непонятно, почему уважаемый автор, который сварливого и жадного Раймунда Тулузского, своими раздорами с Боэмундом вечно нарушавшего единство и мир в крестоносной армии, вызвавшего протест всех трезвых людей — даже в доверчивой массе первого похода — своими грубыми религиозными подлогами (история со св. копьем), выбравшего себе в Сирии одну из лучших сеньорий и довольно холодного в отношении к Иерусалиму, называет «искренно-религиозным человеком», а Готфрида характеризует как «феодала, желавшего в походе вознаградить себя за потери, понесенные в своих государствах».

Конечно, следовало бы условиться, что понимать под «идеалистическим» настроением в историческом вожде. Мы полагали бы, что если у известного деятеля порыв к большому и ответственному усилию, освещенному для его сознания некоей высшей мыслью, и где ставится, вдобавок, ставка жизни и смерти, поддержан личными мотивами (в данном случае, вероятно, несознанными: Готфрид потерял многое в своих сеньориях, а остальное распродавал, в целях похода; ему, поэтому, легче было уйти на Восток), это еще не отменяет его идеалистической квалификации. Важно, чтобы затем он, при всяком повороте корыстных соображений, не предавал им своих «идеалов», т.-е. этой большой мысли. Этого как раз не делал Готфрид, единственный кажется, из вождей первого похода. Он неповинен в мелких ссорах из-за завоеванных городов, в которых запятнали себя почти все бароны. Он не хватал на своем пути выгодных сеньорий, и во всяком случае плохо «вознаградил себя», приняв охрану Иерусалима, на который, по его бедности и изолированности, никто не претендо-

вал, удовлетворился скромным званием защитника (advocatus) гроба господня. «Церковная традиция», о которой говорит автор, действительно, впоследствии подняла особенно высоко ореол главы иерусалимской династии, и живой человек был, несомненно, проще и ниже. Но от первого похода мы имеем, кроме поздней традиции, современные ему дневники. В них репутация Готфрида—единственного из всех—чиста от нареканий. Мы не видим причин, почему мы отказали бы ему в квалификации одной из самых «идеалистических» фигур первого похода.

Еще несколько слов по поводу общих вопросов. Автор, цитируя Зибеля, различает в причинах первого похода «общее религиозное настроение» и «мирские интересы», в ряду которых, однако, стоит... «избавление от грехов» (стр. 30). Мотивы деятельности пап он разделяет на идеальные, к которым относится (стр. 29) стремление пап помочь восточным христианам и освободить святую землю, и на не идеальные: «стремление распространить влияние на ряд новых стран и возвратить в лоно католической церкви схизматическую Византию». Мы, например, убеждены, что стремление вождя церкви, как и вождя школы, как и вождя партии, расширить влияние представляемой им организации и вернуть в ее лоно отколовшихся — есть стремление «идеальное». Вообще в трудном вопросе о разграничении религиозного, идеального, политического и мирского мы очень много хотели бы поспорить с уважаемым автором.

В ряду более мелких наблюдений: в книге, отличающейся столь характерной для проф. Васильева безупречностью внешнего аппарата, хотелось бы видеть устойчивую систему и определенную выдержку в формах собственных имен, либо систематическое употребление (для людей XI и XII веков) латинской формы (тогда—почему Гюискар?) либо национальных форм (тогда—почему Вальтер и Гуго, а не Готье и Гуг). Гюискар (Васильевский писал Гвискард) не удовлетворяет ни тому, ни другому принципу, ибо это—итальянский, а не французский князь.

В заключение, если книга проф. Васильева возбуждает некоторые недоумения и много вопросов, во всяком случае нельзя не приветствовать ее появление. Всякий вопрос—стимул к его разрешению. Это разрешение, надо надеяться, мы получим современем от самого автора или его учеников.

О. Добиаш-Рождественская.

Томас Карлейль.

Н. И. Кареев. Томас Карлейль. Петроград. Издание Брокгауз-Ефрон 1923 г.

Эта монография пополняет значительный пробел. Помимо слащавой и тенденциозной книги В. И. Яковенко, в свое время сыгравшей свою роль, но обращенной к чуждому нам поколению (изд. Павленкова 1891), и нескольких статей, русское общество мало в чем проявляло интерес к Карлейлю. Трудность чтения произведений этого «недоразвившегося поэта» (Кареев, 8), конечно, не служит объяснением этого факта. Ведь дешифровали же в свое время у нас и Фихте, и Гегеля с усердием неменьшим, чем у них на родине. К тому же и обычное представление об этой трудности несколько преувеличено.

Слог Карлейля весьма разнообразен. В некоторых своих произведениях он действительно и витиеват, и туманен (например, Sartor Resartus), другие (история французской революции) требуют значительной подготовки читателя, но именно те, которые, как нам кажется, не только не утратили современного значения, но наоборот обрели его в усиленной мере, написаны много проще и во всяком случае вполне удобопонятно. Между тем, даже соотечественники Карлейля читали его мало, а ценили его среди современников люди, во многих отношениях являющиеся прямой противоположностью ему, и противники его взглядов—Милль, Биконсфильд, Диккенс, Толстой, Бисмарк. Внимательное рассмотрение этих оценок, взаимоотношений и расхождений лучше всего пояснило бы его место и значение.—Книга Кареева дает очень верное описание не только жизни, но и миросозерцания и деятельности Карлейля, и чересчур скромная цель, чтобы читатель «без скуки, а тем более с интересом» ее прочел, вполне достигнута. Если автора в чем-либо и можно упрекнуть, то это, так сказать, в «эксцессе бесстрастия», в эпичности, которая при наличии полноты фактов, должна несколько затруднять незнакомого с Карлейлем читателя, для которого она предназначена. Мы хотим сказать, что нам кажется, что в труде, носящем не только справочный характер, желательно было бы больше выделить основные линии, более выпукло провести радиус, который соединяет Карлейля с сонмом «образов человечества». Мы, конечно, понимаем, что это особенно трудно, так как касается философа, у которого не продумана гносеология (Кареев, 152), историка, работающего без архивов и, наконец, писателя «без стиля», так же как учитываем, что всякое абстрагирование поневоле суживает представление о живой личности. И все же, если подойти к ней с узкой точки зрения интересов одной какой-либо науки, хотя бы исторической, как мы сейчас попробуем только наметить на страницах «Аннал», то выводя Карлейля только хотя бы как исторический национальный тип, отыскивая в его произведениях зачатки политического учения, можно было бы дать попытку объяснения, как непопулярности Карлейля при его жизни, так и мотивов, ставящих изучение его в порядок дня.

Со времени революции 1642 года в Англии выявились два национальных типа: с одной стороны, представитель «merry England», член половинчатой англиканской церкви, и во всех других областях охотно принимающий всякий компромисс, традицию, «золотую середину», «кавалер» и другой тип, Кромвель в понимании Карлейля, «грядущего взыскующий» (см. Кареев, 147), отвергающий полуправду, является ли она под видом парламента (см. толкование Карлейлем роспуска парламента, декретированного Кромвелем и споры Карлейля с Миллем по поводу избирательного права). Кареев проводит (159) целый ряд аналогий между Карлейлем и Толстым, и действительно во всем, что касается ригористических оценок и нарочитого требования упрощения, они оба прошли один путь. Но этим и ограничивается сходство между ними. Тогда как в процессе истории Толстой умаляет, сводя на нет значение великих людей и весь свой анархизм, всю движущую энергию переносит на безыменные неорганизованные массы, делая их таким образом носителем хотя и одной воли, как бы одного индивида, но воли анархической, разбивающей все устремления политика, официального представителя государственной власти,—рассуждения Карлейля идут прямо с противоположного конца, не от массы к личности, а от личности к массам. История, по его мнению, творится волей, миросозерцанием, творчеством отдельного „героя“, но будь он Магометом, Данте или Кромвелем, он все равно лишь мнимый раз-

рушитель (Heroes, 182). Подлинная его миссия,—порядок, организация; он нападает на установленные формы исключительно для того, чтобы заменить их лучшими. Магомет собирает кочевые племена, Кромвель борется с роялистами не для того, чтобы отменить государство, а чтобы влить в массы свое учение, чтобы самому стать государством. Прогресс обусловливается преимущественно государственным вмешательством,—вот политическая идея Карлейля, вот вывод этого поклонника героического, и вот как нам кажется основная причина его одинокого положения в публицистике Англии средины XIX века.

Для Карлейля конституционные формулы не имели значения. Пусть слепые педанты пристают к узурпатору с несущественными вопросами, предъявляя ему иск в невыполнении их и спрашивая: «Как вы сюда попали? Представьте нам нотариальные документы, свидетельствующие о вашем праве на власть»—ответ им готов: «Да, конечно, нам дала власть та же сила, которая в свое время сделала вас парламентом». (Hero as king, 210). Современная Карлейлю Англия пошла не за Кромвелем, а по проторенному пути компромиссного парламентаризма, и весь 19-ый век углублял и расширял этот путь. Но бессилие парламентаризма справиться с социальными бедствиями с одной стороны, потребности мировой войны, поставившие сначала во главе каждой отрасли управления, а потом во главе всего правления временного диктатора Ллойд-Джорджа, все это может пробудить живой интерес к мыслителю, оправдавшему Кромвеля за нарушение основных законов Англии и за заключительные слова речи, обращенной к распускаемому парламенту: «Возьмите вы в руки ваши конституционные формулы, а я мою... борьбу, цели... и действия... (209) и да судит нас бог».

Книга И. И. Кареева отчетливо напомнит русским читателям эту своеобразную писательскую индивидуальность.

М. Г.

Политические идеи во Франции в XVIII веке.

(H. Sée. Les idées politiques en France au XVIII s. Paris. 1920. Hachette).

Писать в настоящее время о политич. учениях во Франции XVIII в. представляется делом величайшей трудности. Исследователю вечно приходится лавировать между Сциллой и Харибдой—либо повторять то, что уже сказано раньше, либо потонуть в мелочах и деталях. Анри Се счастливо избегнул и той, и другой опасности. Большой знаток своего предмета, автор нескольких этюдов о политич. учениях XVII—XVIII в.[1]), Се дает стройную эволюцию политич. идей с самого начала XVIII в. до съезда депутатов генеральных штатов 1789 г. По характеру доктрины автор делит свое изложение на три части. Первая половина XVIII в. представляет расцвет либерализма в лице Монтескье, д'Аржансона и Вольтера; вторая половина есть торжество демократич. концепции—это Руссо, Дидро, Гольбах и Гельвеций; несколько особняком держатся физиократы со своим учением о просвещенном деспотизме. Различие публицистов первой половины века от их младших

---

[1]) Les idées polit. à l'époque de la Fronde (Rev. d'hist. mod. 1889—1900); Les idées pol. de Fénelon (ib. 1900); L. id. p. de S.-Simon (Rev. hiot. 1900); L. id. p. de Voltaire (Rev. hist. 1908); L. id. p. de Diderot (ib. 1897).

современников Се видит и в том, что вторые оставляют историч. метод, столь ярким представителем которого был Монтескье, и усваивают себе метод чисто рационалистический. Наконец третья часть посвящена предреволюционной доктрине в лице Мабли и Кондорсе. Заключение вводит нас в самый водоворот политич. мечтаний 1789 г. Автор сумел найти несколько новых памфлетов из эпохи созвания генеральных штатов и дал весьма образное представление о том хаосе вожделений, которые появились у франц. интеллигенции под влиянием успеха американской революции и полного банкротства старой власти. Вместе с Байе и Альбером[1]), автор не находит ничего оригинального в этих построениях,—это амальгама из всего сказанного раньше. Вольтер, Монтескье, Руссо и др.—все это причудливо и иногда противоречиво сплетается между собой и в свою очередь, как плющем, обвивается еще какой-нибудь мыслью, взятой неведомо откуда. Торжество модных идей замечается повсюду, даже консерваторы и те не могут отделаться от их назойливого влияния. Одна идея безусловно господствует над ними—это идея неотъемлемых, прирожденных прав человека. Потому-то издания Декларации прав и требуют и предреволюционные брошюры, и наказы 1789 г. Временами всплывают коммунистические тенденции, вдруг проскользнет призрак социальной революции.

Таково приблизительно содержание этой интересной книги. Но в ней есть еще одно достоинство. Автор—противник чисто юридических построений, у него политические идеи излагаются на широком фоне социальных идей в широком смысле; политическая доктрина того или иного публициста не является самодовлеющей, а органически выростает из всего учения разбираемого автора. Я бы сделал работе Се только два упрека. В начале своего труда он чересчур резко присоединяется к традиционному объяснению роста оппозиционных идей при Людовике XIV: все было спокойно, пока Франция или вернее правительство Людовика XIV не наделало ошибок на рубеже XVII и XVIII в. Напротив с конца XVII в. сначала эмигрировавшие за границу протестанты, потом сами французы выступают с критикой и современной власти, и абсолютизма вообще. Это построение надо сдать в архив[2])—оппозиционная публицистика во Франции существовала все время правления короля-Солнца, правда, временами ослабевая, но никогда не потухая окончательно. Второй упрек—игнорирование автором социалистических идей в публицистике XVIII в.; ведь сочинения Морелли, Мелье и др. существовали задолго до 1789 г. Без них непонятны и социалистические выпады в публицистике бурных предреволюционных годов, которые отмечены самим автором.

Н. И. Радциг.

История письма в средние века.

О. А. Добиаш-Рождественская. История письма в средние века. Руководство к изучению латинской палеографии. С приложением 4 таблиц. Петроград. Издательство Брокгауз-Ефрон. 1923. Стр. 197 + IV табл. + 3 нен. стр.

Книга О. А. Добиаш-Рождественской является весьма приятным сюрпризом для всех лиц, интересующихся латинской палеографией.

---

[1]) Bayet et Albert. Les écrivains polit. du XVIII s. Paris. Colin. 1904.

[2]) Ст. Савина в Журн. Мин. Нар. Просв. 1913 № 11. Политич. оппозиция во франц. литературе великого века.

Автор давно и упорно работает над данной дисциплиной теоретически, неоднократно избирал ее предметом своих университетских чтений, и практически изучал громадное количество рукописей для своих ученых трудов по средневековой истории. Поэтому в числе причин, заставивших не откладывать издания книги, О. А. Д.-Р-ая с чувством самоудовлетворения приводит и следующую: «слишком мало надежды, чтобы она (книга) была написана другим».

Как и следует ожидать от всесторонне образованного автора, он принял все меры к тому, чтобы поставить изучение палеографии возможно шире, сблизить ее со средневековой культурой вообще. Поэтому в книге имеется и сжатый пересказ данных, заключающихся в известном труде Ваттенбаха «Das Schriftwesen im Mittelalter», а, кроме того, и живой и любопытный очерк истории палеографии.

Затем в высшей степени отрадно, что О. А. Д.-Р—ая основывает свое изложение преимущественно на рукописном материале Российской Публичной Библиотеки, к сожалению, мало еще исследованном и во всяком случае относительно свежем.

Конечно, автор сам признает, в силу тяжелых условий переживаемого времени, известную отсталость своей книги от современного уровня науки. При этом, повидимому, О. А. Д.-Р—ой известны лучше научные достижения французов, чем немцев. К сожалению, эта отсталость у автора даже значительно больше, чем это можно было бы ожидать. Так, не говоря уже о том, что мне не встретилось ссылок на какие-либо труды после 1914 г., даже упомянутая книга Ваттенбаха цитуется не по последнему изданию 1896 г., а, вероятно, по 2-му (1875). Равным образом, и свое настольное пособие, «Латинскую палеографию» Стеффенса, автор, повидимому, знает только в первом издании. Далее, отдавая должное трудам и заслугам незабвенного Людвика Траубе, О. А. Д.-Р—ая не упоминает ни одним словом о достойном продолжателе его работ, английском ученом В. М. Линдзэе, хотя наиболее существенное для ее темы исследование «The old script of Corbie» (термин, придуманный Траубе) появилось во Франции (Revue des Bibliothèques, 1912, № 10—12). Впрочем, даже и работы Траубе не все известны нашему автору. Так, на стр. 52 он с совершенно ненаучной точки зрения относит т. н. римский кодекс Виргилия к III в. нашей эры, тогда как Траубе уже в 1900 г. (Strena Helbigiana) считал его написанным в VI столетии. В главе об истории бумаги О. А. Д.-Р-ой не известна статья H. Omont'a, La plus ancienne charte sur papier (1109 г., Bibliothèque de l'Ecole des chartes 1910 г.), хотя эта дата принята уже во втором издании «Греческой палеографии» Гардтхаузена (1911 г.). Из работ немецкого филолога Т. Бирта автор знает только его старую книгу (1882 г.) и не упоминает ни про «Buchrolle in der Kunst» (1907), ни про «Abriss des antiken Buchwesens» (1913). Если бы эти труды были известны О. А. Д.-Р—ой, она не писала бы, что пергамен появился на Западе в III в. (стр. 23), вм. нашей эры, и что «мы не имеем... никаких данных утверждать, будто папирус ... обходился дороже пергамена» (стр. 25—26).

Лучшей частью книги, как и следовало ожидать, надо считать характеристику типов письма. Эти главы смело могут стоять наравне с соответствующими отделами в немецком руководстве Стеффенса и во французском—Пру (Prou). В главе о сокращениях, основанной в общем на Траубе, заслуживает внимания любопытная цитата из Христиана из Ставело, хотя слово comprehensive там не может значить «прикровенно», а «сжато» или «вкратце».

Но в общей обработке книги, особенно в начале ее, имеется ряд больших или меньших обмолвок.

Вот примеры. Стр. 16. О. А. Д.-Р—ая, выдавая источник своей цитаты, называет латинского поэта в немецкой форме «Properz. Eleg. III, 22» (вм. 23). На стр. 19 автор указывает, будто загадка Альдгельма о восковых табличках издана в „Poetae aevi Carolini“, не называя, впрочем, ни тома, ни страницы. Это неверно. Альдгельм писал и прозой и издан в M. G. отдельно (т. XV) в 1913 г. На стр. 21 не только не различаются греческие термины byblos и biblos, но второй даже и не упоминается. На стр. 24 и дальше имеем слово «дифтер», но по-гречески diphthera (женск. р.). На стр. 27 овец = arietes (вм. баранов), также и на стр. 81 etiam = прежде всего (вм. «также»), что меняет смысл. На стр. 36 взятая у Ваттенбаха ссылка написана так: „Varro, Ap. Non. II. 212“. В этом ее виде не знающий будет отыскивать какое-то сочинение Варрона, которое сокращенно называется Ap. Non. Между тем это значит: Варрон в цитате у Нония (Varro apud Nonium), у Ваттенбаха (стр. 235) цитата приведена правильно. Стр. 57. П. П. Дубровский никогда не был «русским послом в Париже». На стр. 152 приведен важный текст Исидора Севильского о тиронских знаках неизвестно по какому изданию, так как у Линдемана, напр., есть существенные варианты. На стр. 187 даты печатания Гуттенберговой Библии отнесены к 1456—1460 г.г. вм. 1450—1456 г.г. Подобных мелких промахов можно было бы набрать и еще. Опечаток также очень много, особенно в латинских словах, не говоря уже про греческие. Можно, конечно, мечтать об исправлении всех этих погрешностей во втором издании, а пока поблагодарим искренно издательство «Брокгауз-Ефрон» за то, что оно решилось опубликовать столь полезную для русской науки специальную книгу и еще приложить к ней таблицы. Кстати в объяснении к снимку № 17 (табл. III), неправильно разрешено сокращение: надо писать не quisque, a quisq(uam). Подобные мелкие описки встречаются и в объяснении к другим снимкам (ср., напр., № 15 на той же III табл.), что не может не смущать учащихся.

А. Малеин.

Континентальная система.

(The Continental System. An economic interpretation. By Eli Heckscher. Oxford, 1922. (Publications of the Carnegie Endowment for international peace).

Книга профессора стокгольмского университета Гекшера представляет собою общий очерк истории континентальной системы, основанный отчасти на печатных источниках, особенно же на литературе. В архивах автор не работал, и писал свой труд, как сам говорит, не выезжая из Швеции.

Он дает, главным образом, историю установления блокады и в общих чертах характеризует ее последствия.

Литературу предмета он изучил обстоятельно. Особенно щедро он воспользовался книгами Е. В. Тарле: «Континентальная блокада» и «Deutsch-französische Wirtschaftsbeziehungen», больше всего первою, которую он ставит, судя по его отзыву, очень высоко. Ссылки на эту книгу встречаются у него беспрестанно. Он признает материалы, привлеченные Тарле к исследованию, «исчерпывающими» (exhaustive

studies, 377). Но он утверждает, что вышел только один том книги Тарле, не зная, что еще в 1916 году вышел второй том, посвященный специально Италии. А у Гекшера как раз об Италии в эпоху блокады нет ничего. Интересна, но слишком кратка глава об Англии (всего 50 страниц). Но весь труд написан очень сжато: истории блокады во всех странах посвящено всего 386 страниц.

Если его выводы не претендуют на особенную новизну, то следует, все-таки, признать, что он написал интересную общую книгу по этому важному вопросу европейской экономической истории.

В заключительной главе Гекшер проводит параллель между континентальною системою, направленной против английского экспорта, и недавней блокадой (во время мировой войны), направленной англичанами против германского импорта. Он указывает, что вторая цель была гораздо легче осуществима, чем первая. Английский флот мог, действительно, осуществить блокаду Германии и сделал это.

«Нейтральное» происхождение шведского историка заставляет его с особым вниманием отнестись к положению нейтральных наций. Оказывается, что нейтральные страны были обижаемы при обеих блокадах. С их интересами никто никогда не хотел считаться.

Судя по предисловию, книга издана особым издательством, устроенным на средства Карнеджи после мировой войны. Цель этого издательства—распространение знаний «для упрочения идеи мира». Этим, очевидно, объясняется очень внимательное отношение автора к вопросам международного права в описываемое время.

Ник. Щепкин.

Открытия в области истории древнего мира.

(В. П. Бузескул. Открытия XIX и начала XX века в области истории древнего мира. I. Восток, «Academia». П. 1923, in 8°, стр. 222).

В своей классической «Истории древнего Востока» покойный Б. А. Тураев не мог, не нарушая общей экономии своего труда, подробно и обстоятельно говорить о великих открытиях, сделанных в странах древнего Востока в течение XIX и начала XX в. Этим открытиям Б. А. Тураев мог посвятить лишь несколько страниц в первом томе своего труда (стр. 30—44). Точно так же и в переведенной на русский язык книге Михаэлиса Востоку отведена очень незначительная роль. Между тем, именно древний Восток-то более, чем какая-либо иная страна древнего мира, и воскрес пред нами, благодаря тем изумительным открытиям, какие были сделаны во время археологических экспедиций, обыкновенно сопровождавшихся и раскопками.

Историю этих открытий и их результаты для науки, главным образом, исторической, и излагает В. П. Бузескул в своей книге, справедливо указывающий, что такого общего обзора нет ни в русской, ни в иностранной литературе. В. П. Бузескул перечитал, пересмотрел огромное количество книг, и старых, и новых, и, отчасти, новейших—поскольку последние были ему, как и всем нам, доступны, — дал многочисленные библиографические указания.

Уж и ранее, как в своих монографиях о Перикле и об Афинской политии Аристотеля, так и в своем замечательном «Введении

в историю Греции» В. П. Бузескул обнаружил неподражаемый талант, на основе самого тщательного и обстоятельного изучения многочисленной и сложной литературы, давать на немногих страницах удивительно ясные, убедительные, исчерпывающие обзоры такого большого материала, какой для иного, менее, чем В. П. Бузескул, искусного писателя, потребовал бы не отдельных страниц, а целых книг. И приэтом другая столь же поразительная черта: давая в руки читателя огромный материал, материал иногда мелко-фактический, В. П. Бузескул умеет так живо, наглядно и увлекательно его изложить, что читатель не только не чувствует, при чтении книги В. П. Бузескула, какого-либо утомления, тем менее скуки, но с неослабным вниманием читает страницу за страницей. И не только читает, но и прекрасно усваивает читаемое, ибо В. П. Бузескул не отвлекает внимания читателя ничем второстепенным, к делу не идущим; если В. П. Бузескул и сообщает мелкие подробности, то он сообщает их потому, что они характерны для излагаемого им и резко запечатлеваются в уме читателя. И при всем том, какая простота, какое спокойствие, какое беспристрастие, какое—я бы сказал—благородство во всем тоне изложения! Счастлив писатель, которой может так писать свои книги.

Все эти свойства проникают и новую книгу В. П. Бузескула. Излагать подробно ее содержание значило бы испортить самую книгу и лишить читателя удовольствия прочитать ее самому. Достаточно будет отметить, что книга состоит из трех основных частей. Первые две из них, самые обширные, посвящены, одна—Египту (стр. 11—110), вторая—Ассиро-Вавилонии (стр. 111—185); третья часть охватывает и остальные страны Передней Азии» (стр. 186—222), т.-е. Персию, Аравию, Палестину, Финикию, Сирию, страну хеттов, Ван, Фригию, Лидию, Ликию, Карию. Изложение в первых двух частях дается в хронологической, примерно, последовательности сделанных в Египте и в Месопотамии открытий; изложение третьей части более суммарное, но все же достаточно полное.

Читатель, прочитавший и усвоивший книгу В. П. Бузескула, воочию проникнется сознанием, как разносторонне, плодотворно и бескорыстно работала наука—в лице и ее отдельных представителей, и ученых обществ и организаций, и целых государств—в области изучения древнего Востока в минувшем и в сменившем его веке до мировой войны. И горькое чувство охватит его при мысли, что последняя нанесла такой удар этому прогрессу научного знания! В. П. Бузескул говорит в предисловии, что работа над его книгою давала ему душевную бодрость и забвение. Читатель, прочитавший его книгу, поблагодарит его за те часы, какие он испытал, когда его книгу читал.

С. Жебелев.

Мировая война и война Пелопонесская.

(W. Deonna. L'Eternel présent. Guerre du Peloponnèse (431—404) et Guerre Mondiale (1914—1918). Revue des études grecques, tome XXXV, № 160 (Janvier—Mars (1922), № 161 (Avril—juin 1922), Paris 1923).

Женевский ученый Деонна в обширной (почти 8 печатных листов) статье поставил себе задачею подвергнуть сравнительному рассмотрению две «мировые» войны: одну, которая происходила очень давно,

и другую, которую человечество только что пережило, хотя далеко еще не изжило. Мировая война, бывшая очень давно,—Пелопонесская война, описанная Фукидидом. Мировой характер—конечно в применении к пониманию мира, или вселенной, в древности — Пелопонесской войны прекрасно понял ее знаменитый историк, назвав ее на первой же странице своего труда «войною важною и самою достопримечательною из всех предшествовавших». Заключал он это из того, что обе воюющие стороны (т.-е. Афинская держава и Пелопонесский союз) вполне к ней подготовлены, а также из того, что прочие эллины, как он видел, стали присоединяться то к одной, то к другой стороне, одни немедленно, другие после некоторого размышления. Действительно, война эта вызвала величайшее движение среди эллинов и некоторой части варваров да и, можно сказать, среди огромного большинства всех народов». Если вдуматься, как следует, в эти слова, то, mutatis mutandis, они смело могут быть отнесены и к общей характеристике недавней войны. Однако, сходство не ограничивается одною только этою общею характеристикою, нет, и в частности Пелопонесская война и мировая война 1914—1918 гг. представляют много любопытных, а иногда и поразительных аналогий.

Эти аналогии стремится отметить в своей работе Деонна. Многое им отмечено правильно и бесспорно, другое—неправильно и далеко не бесспорно. Излагать, в чем Деонна прав, в чем он ошибается, не входит в мое намерение. Да его и трудно было бы осуществить в краткой заметке, имеющей целью обратить внимание читателя на интересную, в общем, работу, помещенную в очень специальном журнале (имеется в университетской библиотеке). При установлении аналогий автор был далеко не в одинаковом положении в отношении к обеим сопоставляемым им величинам. В самом деле: история Пелопонесской войны, значительной, по крайней мере, ее части, превосходно, со всею обстоятельностью, изложена Фукидидом, современником войны; история Мировой войны еще не написана, не могла быть написана, да и вряд ли скоро будет написана так объективно, как это сделано для Пелопонесской войны Фукидидом. Последнего Деонна мог использовать и использовал, в качестве своего источника и руководителя, с вполне спокойною совестью. Для приводимых им аналогий из истории Мировой войны у Деонна, разумеется, такого руководителя не было и быть не могло, и ему приходилось довольствоваться либо ссылками на случайный, бывший в его распоряжении материал—в виде газетных известий или тех или иных книжек и брошюр общего характера, или, еще чаще, теми общими сведениями и общими впечатлениями, какие о Мировой войне сложились у каждого мыслящего человека, ее пережившего. В частности, конечно, очень трудно было проводить аналогию между обеими войнами при разборе тех или иных военных операций отдельных битв и вообще всего того, что касается внешней, фактической стороны недавней войны; здесь в распоряжении у автора не могло быть надежного материала, который, насколько известно, не только не систематизирован, но даже и нет попыток к его систематизации, хотя бы в виде какого-нибудь конспекта или хронологической таблицы. Легче, конечно, было проводить аналогии между обеими войнами при рассмотрении их причин и следствий, как государственно-политических, так и социально-экономических. Нетрудно отметить, но труднее было бы обосновать, с внутренней стороны, аналогии между победителями и побежденными. Победители — Пелопонесский союз и Антанта, побежденные—Афины и центральные державы; аналогией Аргосу является

Италия, аналогией Соединенных Штатам — Македония. Об участии России Деонна почти не говорит. Вообще Деонна слишком усиленно стремится во всем и всюду искать и находить аналогии между обеими войнами. В этом отношении вопрос, затронутый им, о параллелизме Пелопонесской и Мировой войн, далеко не может и не должен считаться исчерпанным и решенным. Лишь когда для истории Мировой войны у нас будет хотя бы нечто вроде истории Пелопонесской войны Фукидида, возможно будет со всею обстоятельностью и надежностью взяться за обсуждение той же темы, которую, в качестве первой ласточки, работа Деонна лишь наметила.

Деонна пишет не только о прошлом и настоящем; он отчасти заглядывает и в будущее. Этому посвящено заключение его работы, и из этого заключения я позволю себе привести несколько мест. «Пелопонесская война ниспровергла не только каждую из воюющих сторон, но и всю Грецию в ее целом, которую с тех пор стала истощать анархия, пока Греция не попала в чужеземное рабство. Пелопонесская война была решительным поворотным пунктом в истории развития Греции. Война обнажила человеческую душу, показала ее такой, какова она есть—примитивная, животная. В великих социальных катаклизмах легкий налет цивилизации издает резкий треск, и тогда обнаруживается грубая основа человечества. Мировая война имела аналогичный катаклизм. Она была также регрессом человечества; она повела за собою развал материальный, духовный и моральный. Она изменила умонастроение. И она оставляет нас в неизвестности пред лицом будущего... На пороге 1923 г. будущее темно. После четырех лет мира государства не могли найти для себя морального и материального равновесия, и они бьются в экономических и политических затруднениях, для которых никто не находит никакого определенного средства. Нищета повсюду. Богачи раззорены, бедные страдают. Торговля и промышленность в опасности. Разруха выбросила на улицу миллионы людей всех категорий; число недовольных растет, а их содержание увеличивает финансовые муки государств. Налоги—подавляющие, и, несмотря на это, бюджеты государств не могут прийти в равновесие. Цвет населения—в приниженном положении, сократился. Умственный труд обесценен; ученые не имеют возможности мирно заниматься своим трудом, так как они вынуждены прежде всего заботиться о своем существовании. Книга, этот проводник мысли и культуры, испытывает кризис из-за кризиса в рабочих руках и в необходимых материалах для печатания. Отвыкают читать и учиться. В свою очередь народ, как это было в Риме в эпоху упадка, с жадностью предается самым зверским зрелищам... Герои дня—не ученые, даже не те, кто освободили мир от тирании. Нет, герои дня—боксеры, кинематографические фильмы... Классовая вражда—самая горячая; никогда еще так не чувствовалась угроза, не слышались глухие раскаты бури, стремящейся все опрокинуть вверх дном... Найдутся ли в государствах Европы, усталой и одряхлевшей, силы сопротивления против этих сложных, внутренних и внешних, ферментов разрушения? Вот мысли волнующие ум и находящие себе громкое эхо в современных книгах и статьях... Глухая тоска овладевает умами; ищут забвения в удовольствиях, но с ужасом, в то же время, задаются вопросом: а что будет завтра? Будет ли это нечто, чему западные государства должны будут уступить, не будучи в силах его отбросить. Какая-то общая расхлябанность овладела нами... Европа, истощенная материально и морально, подобно Греции в исходе Пелопонесской войны, впадет ли она на некоторое время в анархию, пока не найдется владыка,

новый Наполеон, новый Филипп, который возродит ее, реорганизует и заставит покориться своим намерениям?» Являются ли теперешние бедствия необходимою прелюдией к новому подъему, как это было в первые века нашей эры? Будущее скажет об этом историку. Он не смеет приподнимать его покров и, зная, в какой сильной степени его провидение зависит от всякого рода случайностей, вторгающихся в ткань событий, которую ткет время, для того, чтобы изменить ее рисунок, историк предпочитает быть «пророком, обращающим свои взоры к прошлому» (Сент-Бев). Но симптомы там, в этом прошлом.

В таком настроении пишутся теперь ученые статьи учеными, непосредственно войною не затронутыми. И помещаются эти статьи в журналах, издающихся в странах, вышедших из войны победительницами.

С. Жебелев.

Новое издание писем и сочинений Маркса и Энгельса.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Под редакцией Д. Рязанова и И. Степанова. Т. I.

К. Маркс. Статьи и письма 1837—1844 г. Под редакц. и с прим. Д. Рязанова. Москва. 1923. Стр. XXIV+563. Т. I.

К. Маркс и Ф. Энгельс. Письма. Теория и политика в переписке Маркса и Энгельса. Перевод, статья и примечания В. В. Адоратского. Москва. 1923. Стр. IXII+355.

Вышедший недавно в Москве первый том собрания сочинений К. Маркса и Ф. Энгельса представляет собою начало осуществления давно задуманного и давно готовившегося издания по возможности полного собрания всего литературного наследия этих двух мыслителей. «Одна из причин,—говорится в предисловии редактора,—почему мы до сих пор не имеем на русском языке собрания сочинений Маркса и Энгельса, заключается в том, что такого не существует даже в Германии». Д. Б. Рязанов дает попутно любопытную справку о всех имевших до сих пор место попытках издания сочинений Маркса и Энгельса. Из них наибольшего внимания заслуживает, конечно, Меринговский трехтомник, известный под названием «Литературного наследства» (Aus dem literarischen Nachlass von K. Marx, F. Engels, F. Lassale, Stuttgart, 1902) охватывающий хронологически период от 1841 до 1850 г. Однако и в этих рамках меринговское издание оставляет желать много лучшего. «Поскольку речь идет об издании не только полного собрания сочинений Маркса и Энгельса, но даже наиболее важных, издание Меринга не может служить основой и руководством уже просто потому, что оно не удовлетворяет основному условию редакционно-издательской работы: оно не дает подлинного текста»,—так резюмирует Д. Б. Рязанов свои критические замечания по поводу «Литературного наследства».

Но и настоящее издание сочинений Маркса и Энгельса не претендует на исчерпывающую полноту. «Мы отказываемся заранее—пишет Рязанов—от пока невыполнимого плана издания полного собрания сочинений Маркса и Энгельса на русском языке. Мы можем только обещать, что приложим все усилия с нашей стороны, чтобы сделать его по возможности полным, поскольку речь идет о сколько-нибудь

значительных, уже раз опубликованных произведениях Маркса и Энгельса на различных языках».

Итак, перед нами издание, все научное и общественное значение которого трудно переоценить. Выполнение первого тома служит залогом того, что редакция «Собрания» и в будущем останется на занятой ею сейчас позиции строго научного и объективного подхода к делу и тщательной проверки печатаемых переводов. План всего издания, в целом, основан на сочетании хронологического и систематического принципа в подборе отдельных произведений Маркса и Энгельса. Согласно этому плану, первые два тома должны охватить литературную деятельность обоих авторов до начала их сотрудничества, т.-е. до осени 1844 года.

Пока что, вышел только первый том, посвященный молодому Марксу. Он открывается докторской его диссертацией: «Различие между натурфилософией Демокрита и Эпикура». За диссертацией следуют «Заметки о новейшей прусской цензурной инструкции», затем статьи (всего 16) из «Рейнской Газеты» и статьи из «Немецких Летописей», «Немецко-Французских Летописей» и «Вперед». В особом отделе «Приложений» напечатаны письма Маркса к отцу, к Д. Оппенгейму, к Руге, замечания Маркса на постановление цензуры от 21 января 1843 г. касательно «Рейнской Газеты» и т п.

Настоящий том окажется, конечно, совершенно незаменимым для всякого, кто пожелает заняться юным Марксом и проследить самые глубокие корни его мировоззрения. На основании материалов этого тома может быть особенно детально прослежен генезис марксизма, поскольку он в своих истоках восходит к германской идеалистической философии. Особенно важно подчеркнуть, что настоящее собрание является более полным, чем Меринговское. Увеличено число статей из „Rheinische Zeitung“, впервые перепечатывается также статья Маркса из „Deutsche Jahrbücher“. Конец тома посвящен комментариям, представляющим для читателя особый интерес там, где оспариваются или дополняются мнения, высказанные по поводу тех или иных работ К. Маркса Фр. Мерингом. Так, любопытны замечания комментариев по поводу известной статьи Маркса о прусской цензурной инструкции (стр. 504 и след.). Попутно сообщается ряд сведений исторического, историко-литературного и историко-философского характера, помогающих читателю ориентироваться в марксовских произведениях.

Переводы 1-го тома, в общем и целом, выполнены вполне удовлетворительно, но издание искалечено большим числом безобразных опечаток, подчас искажающих смысл текста. (Так, напр., пострадала на стр. 539 цитата из письма Маркса к Руге). Отметим еще одну частность: VII-ое письмо Маркса к Руге помещено под датой 25-ое декабря 1842 г. Это явная ошибка, которую легко исправить, обратившись к примечаниям, где показана правильная дата 25 января 1843 года (стр. 539).

Иные цели преследует изданный недавно в Москве сборник писем Маркса и Энгельса. Мысль составить сборник принадлежит, по словам его редактора В. В. Адоратского, В. И. Ленину. В. В. Адоратский использовал приэтом переписку Маркса с Энгельсом, изданную Эд. Бернштейном, а также письма этих последних к Николаю-ону, к Кугельману, к Зорге, к Лассалю и др. Письма расположены в хронологическом порядке, причем, однако, этот порядок не везде вполне выдержан. Издание снабжено примечаниями и вступительной статьей Адоратского на тему «Теория и политика в переписке Маркса и Энгельса». Перевод, в большинстве случаев выполненный специально

для настоящего издания, вполне удовлетворителен. Но самый сборник, построенный по типу хрестоматии, конечно, не исчерпывает задачи систематического подбора и перевода всей переписки Маркса и Энгельса, задачи, которая должна найти осуществление в рамках Рязановского собрания.

П. П. Щ.

Морис Баррес.

(Ernst Robert Curtius. Maurice Barrès und die geistigen Grundlagen des französischen Nationalismus. Verlag von Friedrich Cohen in Bonn. 1921. S. III—VIII+1—255).

Появление этой книги, первой монографии о Морисе Барресе, вызвано возникшим за последние годы в Германии острым интересом к этому писателю. Таково свидетельство самого автора. До этих последних лет „Барреса в Германии читали мало...» «Еще десять лет тому назад это имя нечто значило только для посвященных: для маленького круга немецких любителей и знатоков, чье отношение к французскому гению определялось через Стендаля и Бодлера». Когда же Баррес отошел от проблемы культа своего «я» и вступил на путь политической борьбы, когда литература стала в его руках одним из орудий этой борьбы, тогда «в Германии он никого уже не интересовал—и его больше не читали» (стр. IV). «Тем шумнее врывается нам сегодня в уши его имя» (IV),—признается Курциус: теперь Барреса в Германии знают очень многие, но уже с другой стороны—не как страстного индивидуалиста, всей душой преданного культу своего «я», а как «газетного и парламентского агитатора современной французской политики на Рейне» (IV). И автор рассматриваемой нами книги задается целью выяснить условия возникновения и формы выражения современного французского национализма в лице его творца—Мориса Барреса. Таким образом, Баррес привлекает к себе внимание Курциуса, как создатель современного французского национализма, понимаемого двояко—как система политического мировоззрения и как политическая партия.

Писать в 1921 г. монографию о деятеле, тогда еще здравствовавшем и находившемся тогда в расцвете сил и в зените своей известности, — деле нелегкое. В данном случае задача во многих отношениях еще осложняется тем, что немец пишет о французе, к тому же о яром французском националисте. Каким матерьялом располагает для своей работы Курциус? Из примечаний к его книге мы видим, что единственным источником для него служили произведения самого Барреса, все, доступное ему из того, что в течение своей жизни Баррес написал. Этот матерьял обширен и разнообразен; для будущего биографа Барреса он непременно должен будет лечь во главу угла его работы, но конечно, это далеко не все, о чем может мечтать исследователь, и, говоря теперь о книге Курциуса, мы не должны забывать это обстоятельство: Курциус не в силах дать нам больше того, что ему сообщает сам Баррес. Взять этот матерьял и объяснить его—такова единственная возможность, предоставляющаяся ныне Курциусу, и он идет по этому пути.

Его труд не биография Барреса: фактических данных о жизни этого писателя мы в нем почти не находим. Это скорее история его творчества, история развития его мировоззрения. Освоившись с глав-

нейшими произведениями Барреса—начиная с его «идеологических романов» («Sous l'oeil des barbares», «Un homme libre» и «Le jardin de Bérénice»—1888—1891 г.г.) и кончая романом «La colline inspirée» (1913), а также книгой под заглавием «La grande pitié des églises de France», (1914)—Курциус пытается проследить по ним этапы, пройденные Барресом в его внутреннем развитии,—«от иронического скептицизма через эстетический культ личности и политическую проповедь к обращению к угрожаемой извне силе религии» (211). В глазах автора Баррес является истинным сыном XIX в., века его породившего и воспитавшего. Все идеи этого века нашли себе в его душе живой отклик, и в результате этого «молодой интеллигент 1890 г. увидал себя среди развалин, созданных наукой XIX ст. Историческая критика разрушила связи с религией, материалистическая психология разрушила душу, дарвинизм разбил идею человека» (38)—и молодому интеллигенту осталось таким образом только собственное «я», как единственная ему данная реальность. За этим же «я»—ничто, пустота, «нигилизм».—Такова отправная точка развития Барреса. Культ «я» и его «идеологические романы», интерес к социализму и анархизму (роман «L'ennemi des lois)», космополитические стремления его юности («Du sang, de la volupté et de la mort»), затем перелом, произошедший в нем связи с делом Дрейфуса и его «Roman de l'énergie nationale», созданная им система национализма, постановка вопроса об Эльзасе и Лотарингии и связанные с этим романы и многочисленные брошюры, наконец, религиозный вопрос в трактовке Барреса («La colline inspirée» и «La grande pitié des églises de France»)—таковы основные темы глав, посвященных Курциусом рассмотрению Барреса.

Читателям, незнакомым с произведениями Барреса, книга Курциуса дает общее понятие как об их фабуле (где эта фабула налицо), так и об их идейном содержании: чрезвычайно обстоятельно и в общем правильно, Курциус сообщает нам о том, что Баррес написал и что он думает по целому ряду вопросов. Эти главы, посвященные истории его литературной деятельности, являются наиболее ценными во всей книге Курциуса. Но в них мы отмечаем один крупный недостаток: на всем протяжении этой книги Баррес, как живое лицо, совсем не чувствуется. Характеристике его личности посвящена зато целая глава—последняя, в которой автор подводит итоги и делает оценку личности и деятельности Барреса, но мы должны сознаться, эта глава в наших глазах является наиболее слабой частью этой книги: если Баррес - человек в первых главах отражения себе не находит, то эта последняя глава дает о нем, как о личности, совершенно ложное представление.

Приступая к характеристике индивидуальности Барреса, а также к характеристике созданной им системы национализма, Курциус исходит из мысли, с которой мы готовы вполне согласиться: «национализм Барреса следует рассматривать, как излучение и распространение культа „я“ (214)—культа, которому Баррес в свое время посвятил столько горячих и дерзких строк». Но с выводами Курциуса из этого положения мы совершенно не можем согласиться. По его мнению, источником этого культа «я», а значит, и национализма Барреса, является то основное чувство, с которым Баррес подходит к жизни. Это чувство страха, слабости и пустоты. Его «я», требующее целой системы ухода, не имеет в себе достаточно сил для жизни. Ведь «здоровый и сильный росток развивается и крепнет на свободном воздухе без каких бы то ни было искусственно регулирующих его жизнь условий» (214—215). Конечно, в романах Барреса (Le culte du moi) мы находим большое очарование, но его творчество, отягощенное «усталостью позднейших ла-

тинян» (237), болезненно, слабо и перед лицом современности совершенно бессильно. Таким образом, и культ «я», и национализм Барреса не что иное, как самозащита,—сначала перед теми, кого в юности он называл «варварами», теперь перед немецкой опасностью, а также перед всем тем новым, что несет с собою современная жизнь. Культ силы и энергии Барреса—это только искусственное «подстегиванье» себя и других: источником его является страх и сознание собственной слабости. Из этого чувства страха Баррес стремится уйти в прошлое, и там в традициях предков ищет опоры и силы для борьбы с вечной опасностью. Его романы «Les Bastions de l'Est» свидетельствуют о его желании всю Францию окружить китайской стеной (217), всю ее замкнуть в тесный и душный круг интересов, продиктованных им этим страхом. Глаза Барреса смотрят назад, в прошлое, современности он понять не может, и вся его социальная и политическая программа дышит тем же духом узости, боязливой осторожности, застоявшейся силы жизни, как и вся атмосфера вокруг мелкого французского мещанства и крестьянства (218). Что же находим мы у него за этой системой узкого и душного национализма? Ничто, пустоту, «нигилизм». И это все: такова, по мнению Курциуса, идейная подпочва системы национализма Барреса. В его глазах Баррес вовсе не политик: «если бы Баррес действительно хотел заниматься политикой вместо того, чтобы о ней только говорить, то сила самих обстоятельств должна была бы заставить его разбить узость его... системы» (220). Его душа алчет культуры во всех ее проявлениях. Он жадно вбирает в себя и посвоему перерабатывает мысли и впечатления, идущие к нему из жизни, и на этом основании Курциус определяет литературный тип Барреса словами «творящий критик»—характеристика, в общей сложности несколько неожиданная для лица, на первых страницах той же книги названного агитатором в пользу современной хищной французской политики на Рейне!

Такова в общих чертах характеристика Барреса, которую мы находим в последней главе книги Курциуса. На страницах ее встречается много интересных замечаний, спорить с которыми мы не будем,—таковы, например, указания на крайнюю узость и нетерпимость национализма Барреса, на „нигилизм“ и аморализм этой системы и на некоторую ее идейную близость к столь для Барреса ненавистному германскому национализму. Но согласиться с этой характеристикой Барреса в ее основных чертах мы совершенно не можем. Знакомство с его главнейшими произведениями—с матерьялом, над которым работал Курциус—приводит нас к совершенно иным выводам. Из него мы делаем заключение, что личность Барреса и его литературная деятельность становятся вполне понятными только взятые на фоне его политической работы. Что бы Курциус об этой работе ни говорил, Баррес политическим деятелем был, его жизнь это цепь активных политических выступлений—с парламентской трибуны, в политических памфлетах, в целом ряде речей, а также и на улице, рука об руку с Деруледом. Мало того, каждая книга, вышедшая из-под его пера, всегда была активным выступлением—даже наиболее дерзкий и «эгоцентричный» изо всех его романов, «Un homme libre», судя по словам его посвящения [1]), был попыткой реальной «помощи». Барреса вряд ли можно ярче всего охарактеризовать словами «творящий критик». В наших глазах он раньше всего деятель, борец, и быть им никогда, верно, не переставал. И вряд ли в душе своей он носил то чувство слабости, о котором

[1]) «A quelques collégiens de Paris et de la province j'offre ce livre»...

столько говорит Курциус. Каково отношение Барреса к современной ему действительности, вопрос чрезвычайно сложный: решать его сейчас, быть может, еще слишком рано. Во всяком случае факты говорят нам о том, что современная действительность с Барресом как-то связалась. Как бы мог он иначе стать агитатором современной французской аггрессивной политики на Рейне и с таким ли шумом дошло бы тогда его имя до ушей его немецкого истолкователя?

Таковы достоинства и недостатки книги Курциуса о Морисе Барресе. В данный момент для немецких и русских читателей она может быть очень интересна и в некоторых своих частях полезна. Для тех, кто с Барресом знаком, она любопытна, как попытка современного немца разобраться в одном из типичнейших представителей современной нам Франции. А самому Морису Барресу — кто знает? — она может быть показалась бы доказательством того, что «варварам из-за Рейна» никогда не будет понятной «сложная душа» современного нам «позднейшего» латинянина? [1]).

Н. П.

Образы человечества

«Образы человечества». Издательство Брокгауза и Ефрона. Серия очерков по всеобщей истории: Перикл — Аннибал — Абеляр — Кастиллионе — Шлиман — Карлейль [2]). Ленинград.

Русская издательская продукция всегда была богата биографиями. В последние годы издательством Гржебина планирована обширная программа биографических очерков. Идея брокгауз-ефроновской серии отличается от нее.

Она не ставит себе требования програмной полноты. Ряды «образов человечества» навряд ли будут исчисляться сотнями (как в сериях Павленкова или в плане Гржебина). Оба плана имеют свои качества и недостатки. В плане «Образов» есть неизбежная случайность. В нем читатель не должен ждать последовательного изображении всех «более замечательных» или даже «исключительно великих людей». О такой роскоши всего меньше может мечтать современное издательство—и по двум причинам: 1) ее материальной неосуществимости: века оставили слишком много величия; современность раздвинула широко его пределы, 2) внутренней недостижимости: под шорох интенсивно движущегося времени многое из прежних величий переоценивается; старые его планы перестраиваются в иные связи, которые не всегда еще возможно оценить. Кроме того, в нынешних, крайне ответственных условиях издательского дела, необходимо, чтобы книга— популярная книга, была написана не только вполне компетентным автором, но чтобы она нечто говорила нынешнему требовательному, полному разнообразных новых вопросов, читателю. Отсюда для издательств—единственно возможный выход: в сериях, подобных указанной, не мечтая о «полноте», побудить к воссозданию продуманных образов тех из компетентных авторов, которые действительно имеют что о них сказать.

«Не беда, если в ней нет Шекспира и Цезаря, Колумба и Ньютона. Зато здесь есть (или будет) «Иоанн Грозный» Платонова,

---

[1]) 8 декабря 1923 г. Баррес скончался от разрыва сердца.

[2]) Мы не коснемся в настоящей рецензии книжки Н. И. Кареева, «Карлейля», о которой «Анналы» дают специальный отчет.

«Мольер» Бенуа, «Данте,» Гревса, «Петр Великий» Богословского, «Александр I» Преснякова, «Нестор» Приселкова, «Наполеон» и «Бисмарк»—Тарле и т. д. и т. д.

И более скромные авторы привлечены, поскольку они в своей научной работе и мысли выносили ту или иную тему.

Стесненные местом, мы скажем немного о каждом в отдельности из вышепоименованных очерков. Детально их мог бы оценить только специалист данной культуры и эпохи. Несколько слов, следующих здесь, вытекают из того интереса, который они вызывают в лице из публики и в историке вообще. Менее всего решились бы мы входить в детальную оценку того «образа», который—в данной серии—уводит нас глубже всего в даль веков и написан одним из самых маститых наших ученых историков (В. П. Бузескулом): героя Аѳин V века, Перикла. Наше поколение училось греческой истории на книгах В. П. Бузескула. И в данном выпуске этой истории, в отчетливом и твердом абрисе фактов и отношений Аѳин до и в век Перикла, мы узнаем классические приемы его, хорошо нам знакомой, простой и достойной манеры. «Образа» Перикла в том смысле, как его ждет читатель, особенно читатель современный, воспитанный в привычках литературного импрессионизма, он здесь, может быть, и не найдет. Автор, очень сдержанный и объективный ученый определенной школы, не позволяет себе идти за пределы очертаний этой фигуры, намеченных Плутархом, с его условно-стилизирующим выражением. В изображении социальных отношений эпохи, как и ее литературных и художественных проявлений, сложные категории и термины, в каких их воспринимает и изображает современная мысль, повидимому, сознательно устранены автором. Об этом можно скорее пожалеть.

Но читатель, желающий знать существенные факты и отношения Периклова века, получит их из источника надежного и авторитетного.

Следующие (хронологически) два очерка принадлежат авторам, имеющим определенную репутацию в ученых кругах, но довольно мало еще известным широкой публике. Это прежде всего, в изображении Кончаловского — финикийский вождь, Аннибал, величайший из патриотов Карѳагена и врагов Рима, живое «олицетворение единственной, поглотившей всю душу страсти». Задача автора притягательна и нелегка. Уложить в тесное пространство небольшой книжки жизнь, которая развернулась на таком огромном кругу, как «знойные плоскогорья Испании, равнины южной Галлии, снежные вершины Альп, могучие реки севера, ущелья Аппенин и сирийский восток», найти меру и форму для отчетливого изображения пестрого и сложного мира деяний, над которым бодрствует страстная и сильная воля, схватить в метких характеристиках сущность тех разнообразных, то крайне примитивных, то очень сложных культур, среди которых движется ее действие, заставить понять тогдашний Карѳаген и тогдашнюю Италию и перед ее лицом, в титаническом его одиночестве, финикийского вождя, пытающегося поднять и организовать тогдашний мир против Рима, таковы задачи, осуществление которых вместилось в пространство 123 небольших страничек. За теми, большею частью внешними или условными показаниями, которые дали ему тексты, автор решается много тонко угадывать. Он восстанавливает внутренний мир Аннибала с той силой проникновения, которое дает глубокое знание изображаемой эпохи и живое чувство человеческого мира вообще, в частности и мира современного. Сжатая конструкция, изложение, полное движущихся образов и красок, кованый, сильный язык—все притягивает в книжке Кончаловского.

Совершенно в иной мир переносит книга Г. П. Федотова «Абеляр». Здесь вместе с растущим, по мере ее чтения особенным подъемом, какой дают только прекрасные вещи, испытываешь также растущее чувство сожаления о том, что автор оказался в необходимости сжать в общедоступный очерк свое, в большинстве страниц, совершенно оригинальное произведение. На это положение дела, быть может, не посетует читатель, для которого предназначена книга. Он получит свободную от громоздкого аппарата, захватывающую характеристику не только «судьбы, человека и мыслителя» (между такими рубриками очень удачно распределен сложный материал об Абеляре), но всего облика того замечательного века, в каком, «не в эмпирической случайности, но в культурно-исторической обусловленности» («Абеляр» стр. 63) определились в глубоком средневековьи, но «на путях к Ренессансу» удивительная судьба и фигура Абеляра. Но ученый не может не пожалеть, что не все дано и не все открыто читателю из того, что проработано и продумано автором. Безупречно изящный (в смысле конструкции и литературной формы) очерк, где «словам тесно, но мыслям просторно», зовет к большому усилию и вместе, благодаря наполняющей его жизни, делает это усилие незаметным. Самое удачное, что можно сказать о нем читателю, это—посоветовать прочесть оригинал.

Книжка А. И. Хоментовской—попутное отложение от ее большой, еще неизданной работы, посвященной людям и мыслям Возрождения. Этот большой фон чувствуется в маленькой книжке, и через фигуру второстепенного, сравнительно, деятеля, глядит Италия Ренессанса, с ее многообразием и противоречиями мысли и быта. Быть может, о выборе данного «образа» в первую очередь можно было бы спорить. Можно поставить вопрос: большое, продуманное знание эпохи, ее своеобразное понимание и тонкое чутье, которые сказываются в каждой странице, не нашли бы разве (на предмет чтения для широкой публики) в кругу Ренессанса темы более захватывающей и полноценной, нежели тонкая и интересная, но слишком хрупкая фигура его «царедворца»? Из чтения этой прекрасно написанной книжки выходишь со впечатлением, что автор стремится вложить в Кастилионе больше, чем он может дать, как представитель своей эпохи, что это «большее» ему приходится заимствовать со стороны, отчего естественные пропорции «образа» нарушаются, и значение вкладываемого не стоит в соответствии с тем, что должно его символизировать и воплощать. Выбор темы, повторяем, не вполне в интересах широкой публики, как ни понятны мотивы научной требовательности и даже изысканности, заставившие автора предпочесть этот столь тонко им очерчиваемый (подчас суховатый) силуэт лицам, поддающимся красочному жизненному снимку.

Мы могли бы с известным правом поставить в начале, как и поместить в конце хронологического ряда «образов»—искателя и воскресителя гомеровской Греции, сына мекленбургского пастора, калифорнийского золотоискателя, российского коммерсанта, доктора Генриха Шлимана, в изображении Д. Н. Егорова. Можно только поздравить издательство с этой оригинальной и свежей, в высшей степени современной идеей. Книжка задумана и выполнена превосходно, читается с большим увлечением, ставит и осуществляет трудную и смелую задачу — приблизить вплотную читателя из широкой публики к очень глубоким и деликатным проблемам исследования и воскрешения старины по ее подлинным следам, к думам, исканиям, разочарованиям и радостям искателя, заставить его расценивать и судить эти радости,

осудить фальшивые, иллюзорные достижения и склониться перед строгим образом науки. Этот путь проделал Шлиман, и потому, в своем полном восстановлении, он весь живой урок. От детских грез пасторского сына о гомеровской Трое, через черные дни отрочества, придавленного беспросветным трудом, через раннюю юность с ее гениальными и варварскими усилиями «самообучения», автор ведет читателя к «конквистадорской» деятельности своего героя поры ранней зрелости с ее расцветом практической гениальности и упоением счастливого обогащения. Дальше отречение от «золотого» счастья, мечты о высших упоениях, скитания в поисках воскрешенной детской сказки, дерзкие и тоже «варварские» раскопки первых лет, головокружительные находки, фальшивый мир «гомеровской действительности», мираж которого постепенно рассеивается, чтобы дать место не менее поразительному, но менее блестящему откровению строгой истины истории и археологии, проникновение Шлимана этой суровой истиной, самоотречение и работа в кругу и в темпе подлинной науки. Главой «Шлиман—ученый» и прекрасно написанными страницами о его смерти заканчивается книжка, которую читаешь, не отрываясь, притягиваемый увлекательными содержанием и искусством изображения. Книжка дышит сильным чувством Шлиманова лица и Шлиманова века и обвеяна какими-то освежающими вихрями «современности». Последнее, впрочем, уж чересчур. Это, нужно думать, единственный, но серьезный упрек, который можно поставить книжке, более всего, упрек ее стилю, или его отдельным стихиям. Он **не** выигрывает от «безоговорочных признаний», «старого боевика», «научника», «заитоживанья» «разрубов», «смычек» и «спаек» и т. п. особенностей современного словаря, очень выразительных на своем месте, но портящих книгу о Шлимане тем более, что в общем, она богата не только внутренними но, и стилисти ескими вдохновениями, особенности эти проникают иногда и глубже стиля, но распространяться об этом навряд ли интересно. Мы не поняли, в частности, почему биография Шлимана есть коллективная биография.

Возвращаясь к более общим вопросам: тема о Шлимане, столь удачно обогатившая серию образов, естественно перебрасывает мост к образам других скитальцев и искателей человечества, выходящих за пределы чисто гуманитарных интересов, пробивавших новые пути не только в истории, но и во вселенной. Этими образами пока еще не богата обещанная серия. Очевидно, издательству придется подумать о них. И если вначале мы высказались в том смысле, что нет большой беды, если **пока** не имеется **именно** Колумба и Ньютона, то это относится к вопросу **внешней** програмной полноты. Но в **направлении** этих тем, мы полагаем, нечто должно быть сделано издательством. Без них серия не будет иметь полноты внутренней.

О. Добиаш-Рождественская.

Первая книжка «Образов человечества», касающаяся русской истории, принадлежит перу С. И. Тхоржевского и характеризует Стеньку Разина. Характеристика строится на широком фоне всего разинского движения и его обстановки. Книжка основана на тщательном изучении, как печатного, так и некоторого нового архивного материала. До труда Тхоржевского существовали, кроме ученых обозрений фактической истории разиновщины, и исследования, дающие цель-

ный взгляд и на движение, и на его вождя. Я имею в виду Соловьева и Костомарова. В очень ценных трудах их многое для настоящего времени устарело, так как их взгляды на предмет несколько отвлеченны: для Соловьева Разин выразитель начала анархии, которое борется с началом государственным; для Костомарова он представитель исконного удельно-вечевого начала. Для обоих историков он олицетворение страшного, могучего, жестокого, первобытного богатырства. Позднейшая небольшая работа Фирсова очень кратка и дает мало нового по сравнению с Соловьевым и Костомаровым. Разин является в ней типичным представителем казачьей «голытьбы», или «воровских казаков», личная его характеристика строится Фирсовым в сильной зависимости от старых историков. С. И. Тхоржевский, считаясь все время в своей работе с литературой вопроса, подходит в то же время к теме свежо и совершенно самостоятельно, пристально исследуя обстановку и ход бунта. Специальные занятия по истории донского казачества дали ему возможность хорошо выяснить быт и социальный строй казаков. Весьма важно, что исследование Тхоржевского показывает нам Разина не в числе голутвенных казаков, а в числе казаков старых, низовых, и автор совершенно отрицает то, что в программу Стеньки входило осуществление имущественного равенства. Разин является не богатырским представителем анархического начала, а человеком с огромным властолюбием и честолюбием, но в то же время трезвым политиком с проницательным умом и природным даром внушения. Автор сопоставляет разиновщину с восстанием Хмельницкого, считая, что в обоих движениях был готовый образец политической организации—казачье войско. Хорошо обосновано и заключение автора, что разиновщина не была движением анти-религиозным. Разин относился к церкви, как «реальный» политик. Очень ценные сопоставления двух восстаний, великорусского и малорусского, вызывают впрочем некоторые возражения. Совершенно верно, что основным стержнем обоих восстаний была социальная борьба крестьян с землевладельцами-крепостниками, но религиозно-национальные лозунги в восстании Хмельницкого сыграли большую роль, чем думает Тхоржевский. Эти лозунги заслонили до некоторой степени социальный смысл движения и помогли новому крепостническому слою из казачьей старшины сесть на опустевшие места землевладельцев «ляхов». Этот религиозно-национальный оттенок движения тянул значительную часть малороссов в сторону Московского государства. Религиозно-национальные лозунги закрывали отчасти те социальные противоречия, которые были в среде восставших малороссов, а в разиновщине мы видим эти противоречия обнаженными. Ведь, Стенька был предан казачьей старшиной, теми старыми казаками, которые сначала с ним «в злом замысле были». Программа старшины была не равнозначащей программе голутвенных казаков, и положение Стеньки, вышедшего из этой же старшины, между двумя слоями казаков было труднее положения Хмельницкого, необходимость бороться с ляхами временно смягчала социальный раздор.

Инородцев Стенька привлекал в войско, действуя через их верхи. Могло получиться опять трудное положение вождя между разными слоями инородческого населения. Всех таких трудностей у Хмельницкого было меньше по указанной причине. Очень правдоподобно соображение, что малорусские симпатии Никона и его репутация в Малороссии, как противника бояр, привели к мысли использовать его имя в движении, в котором видную роль играли запорожские казаки. Нельзя отказать в правдоподобии и предположению, что Ни-

кон мог по своему душевному складу и темпераменту пытаться завязать сношения с Разиным. В общем, надо признать, что автор проявил большое мастерство, как в освещении социально-экономических отношений, так и в освещении хода восстания и в личных характеристиках. Своеобразная жизнь вольного Дона, социальные контрасты нижнего Поволжья, хозяйничанье бунтовщиков в побежденных городах, фигуры Разина, Корнея Яковлева, Никона живут в строках небольшой но очень содержательной книжки. Пожелаем ей самого широкого распространения.

М. Островская.

Австрия в эпоху мировой войны.

(Von Cramon. Unser oesterreich-ungarischer Bundesgenosse im Weltkriege. Berlin, 1920).

За последнее время русский читатель получил возможность ознакомиться с обширной немецкой мемуарной литературой (работы Вильгельма II, кронпринца, Гинденбурга, Людендорфа, Тирпица, Гельфериха, Эрцбергера, Носке и др.), но очень мало до него дошло работ, посвященных Австро-Венгрии [1]). Тем интереснее труд генерала Крамона, который с 27 января 1915 г. был представителем германского командования при австро-венгерском штабе сначала в Тешене, затем в Бадене. Будучи много лет начальником австрийской секции германского генерального штаба, он проявляет поразительное знакомство с австрийской политической жизнью и ее сложными проблемами.

В разных местах своей книги он обнаруживает широкую эрудицию в области дипломатии, истории, политич. экономии. По своим убеждениям это типичный прусский консерватор, полонофоб и враг славянства, с весьма цельным миросозерцанием. Начинается книга описанием операций на Западном фронте, в которых он участвовал до своего назначения в Тешен. Следующие 3 главы посвящены австро-германскому наступлению на Россию летом 1915 г. По соглашению автора с Конрадом командование ударной фалангой было вверено Макензену, который более других был способен служить двум господам: Берлину и Вене. Крамон находит, что Гинденбург был бы на этом месте слишком самостоятелен, Фалькенгайн слишком раздражителен, Людендорф отталкивал бы своей резкостью. Макензен был самый популярный из германских генералов в Австрии [2]).

Крамон, оценивая операции 1915 г., указывает, что вступление Италии в войну нисколько не облегчило Россию [3]); удивительная стойкость русского солдата и искусство русского командования при руководстве отступлением от Карпат, из западной Галиции и Польши вызывают восхищение Крамона. Успехи союзников явились результатом участия немцев в галицийских боях; поэтому возросло влияние Крамона в австрийской главной квартире, что вызвало скрытое недовольство Конрада, разработавшего весной 1915 г. первый проект сепаратного мира с Россией на следующих условиях: Россия получает Гали-

---

[1]) Кроме мемуаров Чернина, можно назвать только Graus Die Ursachen unserer Niederlage, Wien, 1920 и С. А. Котляревского—Австро-Венгрия в годы мировой войны. Москва, 1922 г.

[2]) Начальником его штаба был фон Зект, который в настоящее время занимает пост германского министра обороны.

[3]) Причиной чего он считает трусость и нерешительность ген. Кадорны.

цию вплоть до реки Сана и верховенство над проливами, в ее «сферу влияния» входят Румыния и Болгария; Австро-Венгрия получает Сербию, Албанию и Черногорию. Такой проект ставил германское командование и само правительство перед дилеммой: Вена или Стамбул.

Надо признать, что подобный план был несомненно выгоден для Австро-Венгрии, которая в случае его осуществления: 1) избавилась бы от вынужденного подчинения Берлину, 2) избегла бы участи Германии в случае ее поражения, 3) освободилась бы от руссофильских элементов Галиции, 4) приобрела бы гегемонию на Адриатике.

Германские успехи на Востоке помешали выполнению австрийского проекта.

Крамон доказывает, что Брусилов начал свое наступление ранее, чем это предполагалось; луцкий прорыв предотвратил падение Венеции и Вердена: 4 июня начались атаки Каледина, Сахарова, Щербачева и Лечицкого, 7-го Конрад через Крамона просил помощи Германии, 8-го кронпринц стал сокращать фронт своих атак на Верден, а 11 началась перевозка австрийских дивизий из Тироля в Галицию.

Немцы были крайне недовольны неуменьем австрийцев обороняться на востоке и потребовали смены бездарных командиров; эрцгерцога Иосифа сменил ген. Терщинский, был уволен ненавидимый солдатами Пфланцер-Балтин, утомлявший части бесцельными переходами с места на место.

Начались нападки на Конрада, сначала в венгерском парламенте, а затем и в венских правящих кругах: австрийского полководца упрекали не только за военные неудачи, ему ставили в вину, что он только что женился на разведенной жене и позволил супруге и женам своих офицеров жить в ставке.

Описывая борьбу за единство командования, Крамон подчеркивает, что это удалось провести лишь благодаря содействию Фердинанда и Энвера; Конрад грозил выйти в отставку, но его удержал Франц-Иосиф.

Молодой император Карл считал первой задачей своего царствования дать мир своим подданным. Неудача германского мирного предложения в конце 1916 года внушила Карлу стремление достичь сепаратного мира. Крамон рисует его, как бесхарактерного человека, на которого оказывала сильное влияние его супруга, императрица Зита; враждебность Зиты к Германии Крамон объясняет ее католическим фанатизмом и наивной верой в то, что война приведет к восстановлению во Франции династии Бурбонов, из которой происходила сама Зита.

20 января 1917 г. состоялось в Вене совещание по вопросу о подводной войне под председательством Карла: за подводную войну высказались Конрад и командующий флотом адмирал Хауз, против нее были оба премьера Клам-Мартиниц и Тисса и мин. иностр. дел Чернин. Все же Австрия стала вести подводные операции, как этого требовала Германия.

Вскоре Карл перенес ставку в Баден против воли Конрада, в феврале он сменил Конрада на Арца.

Далее идет интересная характеристика гражданских вождей двуединой монархии: Кербера, Клам-Мартиница и Зейдлера, которые по словам Крамона, недостаточно оценивали германскую помощь на восточном фронте. Крамон резко критикует Карла за амнистию Крамаржа и других чешских лидеров, которая возмутила австрийских немцев и преданное Габсбургам офицерство; он уверяет, что, когда осенью 1917 г. Карл возмущался изменой некоторых офицеров в

Тироле, ему ответили: «Изменники уверены, что ваше величество их амнистируете». Желая охарактеризовать Карла, Крамон приводит еще интересный факт: осенью 1917 г. Карл жаловался Крамону на то, что Эрцбергер [1]) разгласил секретное его письмо к Вильгельму, и упрекал германское правительство за неуменье сохранять тайну; впоследствии выяснилось, что Зита принимала Эрцбергера и передала ему случайно в пачке других документов черновик злополучного письма.

Курьезен взгляд Крамона на русскую революцию: он считает ее прямым последствием военных неудач, вызвавших стремление к миру в широких народных массах. Правительство Штюрмера пошло навстречу народным желаниям, тогда английская дипломатия произвела февральскую революцию, которая только затянула войну; в результате власть перешла к той партии, которая сумела дать мир измученному народу; так трактует Крамон обе революции 1917 г.

Далее он переходит к польскому вопросу и излагает проект Чернина, по которому Польша и Галиция образуют германское государство, а Эльзас-Лотарингия отходит к Франции (апрель 1917 г.), затем останавливается на германо-австрийских спорах о Польше летом 1917 г.

Последние 30 страниц посвящены описанию непродолжительной агонии Дунайской империи. В августе Арц потребовал немедленного заключения мира и послал соответствующий доклад Гинденбургу. Карл заявил Крамону, что в случае упорства Германии он будет искать сепаратного мира; приэтом он не понимал, что Австро-Венгрия должна распасться, несмотря на то, что 17 октября он издал манифест о преобразовании Цислейтанской Австрии и назначил 10 дней спустя премьером известного пацифиста, проф. международного права Ламмаша. Революция в Австрии и Венгрии описана подробно и интересно.

Заканчивается книга пожеланием, чтобы немецкая Австрия соединилась с Германией.

Общие выводы можно свести к следующим:

1) Между Германией и Австро-Венгрией существовали серьезные разногласия, обострившиеся со смертью Франца-Иосифа;

2) Карл стремился к миру, хотя бы и сепаратному, думая этим спасти свое государство от гибели;

3) Только военные неудачи привели к распаду Австро-Венгрии.

Книга Крамона является превосходным пособием для изучения истории Австро-Венгрии в 1915—18 г.г. и дает много интересного материала для исследования хода мировой войны.

С. Сигрист.

Пуанкарэ о происхождении мировой войны.

(Raymond Poincaré, de l'Academie Française — Les origines de la guerre. Conférences prononcées à la «Société des Conférences» en 1921. Paris. Plon. 1922. 282).

Книга бывшего президента Французской республики и главы нынешнего правительства Раймонда Пуанкарэ представляет цикл лекций, читанных им в Париже в 1921 году в промежуток между президентством и премьерством. В том же году эти лекции были опубликованы в виде книги, вышедшей в большом количестве экземпляров и тотчас же переведенной на английский язык.

[1]) Эрцбергер в своих „Erleibnisse“ ничего не говорит об этом случае.

Острый интерес все еще не стареющей темы, личность самого автора—одного из «виновников войны»—естественно приковывают внимание к книге. Само собой разумеется, что прежде всего ищешь в новой книге новых данных, новых фактов, могущих пролить свет на те или иные предвоенные события. Пуанкарэ, стоявший в самой гуще, мог, как никто, ответить на ряд недоуменных вопросов. Но он вовсе не задается целью отвечать на невыясненные вопросы, он вовсе не пишет личных воспоминаний, хотя мемуарный характер (и в этом-то главная ценность книги) дает себя на каждом шагу знать.

Нет, в качестве «бессмертного» он по доброй старой традиции академиков выступает с курсом лекций, посвященных истории возникновения мировой войны. Пуанкарэ широко пользуется как опубликованными, так и неопубликованными материалами и документами и обширной существующей литературой. Его начитанность весьма значительна, и не только в области одной французской литературы. Он часто цитирует и удачно полемизирует с немецкими писателями. Но, конечно, главный интерес книги представляют вкрапленные то там, то здесь, а затем широкой волной хлынувшие личные воспоминания, сопровожденные новыми документами. Здесь академическое беспристрастие, довольно, впрочем тщетное, окончательно уступает место защите своей линии поведения опытного и ловкого политического деятеля.

Драпируясь в тогу историка и выдерживая соответствующий стиль, Пуанкарэ начинает издалека. В первой главе он останавливается на франко-германских отношениях после 1870—71 года. Здесь его основной задачей является доказать, что после неудачного исхода кампании Франция не думала готовиться к новой войне, что ей чужда была идея реванша. Все создавшиеся по этому поводу представления Пуанкарэ считает результатом немецких наветов и происков. Зато, Германия, по его мнению, явно стремилась к новому обескровлению Франции. Особенно не любит Пуанкарэ Бисмарка, который является для него источником всех зол. Довольно трафаретно изображает Пуанкарэ развитие германского империализма, колониальной экспансии и попутной роли пангерманизма. Ядовиты его реплики по адресу Вильгельма II, который, в оценке Пуанкарэ, является фальшивым и двоедушным интриганом. И в этой чисто-исторической главе встречается налет личных воспоминаний. Как раз в начале главы повествуется о последних выступлениях германского посла в Париже фон-Шена.

Вторая глава трактует о франко-русском союзе и тройственном согласии. Здесь Пуанкарэ рисует основные моменты развития франко-русских отношений, опубликовывая попутно знаменитую военную конвенцию. Каких-либо особенно новых фактов тут нет. Интересно, что выступления России и Англии в 1875 г. в защиту Франции, которую Германия провоцировала на разрыв, дают автору возможность видеть начало тройственного согласия. Небезынтересны данные о франко-германском конфликте 1887 г. Любопытны указания на роль Фрейсинэ в деле подготовки и закрепления франко-русского союза.

Первые две главы, в сущности, представляют преисторию войны. Третья глава «Марокко и Балканский кризис» уже вводит в исторические пределы. Подробно освещен автором Агадирский инцидент, причем Пуанкарэ не скрывает своего негодования по поводу немецких авантюр в Африке. Негодуя на германский империализм, Пуанкарэ отнюдь не отказывается от соответствующих французских колониальных устремлений. Правда, все это у него скрыто тонкой дипломатической логикой.

Весьма интересны данные, которые приводит Пуанкарэ относительно Балканского кризиса и той позиции, которую занимала в нем Франция. Начав повествование с аннексии Боснии и Герцеговины, Пуанкарэ подробно характеризует тогдашнюю политическую конъюнктуру. Особенно он останавливается на Германии, взявшей повелительный тон, и на России, являвшей картину полной неподготовленности к войне и поэтому вынужденной признать аннексию. Пуанкарэ ядовито замечает, что Франции и Англии не оставалось сделать ничего другого, как последовать ее примеру. «L'Angleterre et la France,— пишет он,—qui n'avaient pas encore donné leur adhesion au coup de force de l'Autriche, ne purent se montrer plus serbes que la Serbie et plus russes que la Russie» (p. 115).

Чрезвычайно подробно описывает Пуанкарэ историю образования Балканского союза, характеризуя тогдашние роли России и Австрии. Очень ценны и его указания на то охлаждение между Россией и Францией, которое падает на начало 1912 г. Железнодорожные концессии в Анатолии, вопрос о международном консорциуме в Китае, недовольство в петербургских сферах французским послом Луи — все это создавало некоторую напряженность в отношениях между союзными державами. Об образовании Балканского союза и о договорах между славянскими государствами русское правительство ничего не сообщало Франции. Это взволновало тамошние политические круги. Пуанкарэ, бывший, в то время министром-президентом и министром иностранных дел, предпринял свою первую поездку в Россию для улажения всех инцидентов. Поездка, как он скромно признается, вполне удалась. Острые углы были сглажены, дипломатические тайны открылись. Сазонов познакомил Пуанкарэ с балканскими проектами и с этого времени держал его в курсе дел. По возвращении Пуанкарэ в Париж, к нему явился австрийский представитель и указывал на опасную конфигурацию балканских дел. Пуанкарэ с большим красноречием повествует, как он принялся за ближне-восточные дела, стараясь предотвратить кризис, грозивший вызвать мировую войну. Как он сам говорит, его задача была придать балканским вопросам не только русский, но и обще-европейский характер; решение вопроса в пределах только русско-австрийских отношений грозило большими осложнениями. И вот Пуанкарэ убеждает заинтересованные стороны (Россию и Австрию главным образом) решить вопрос в пределах европейского концерта. С гордостью рассказывает Пуанкарэ, как его политику поддерживала Германия, как его формулы хвалили германский канцлер и министр иностранных дел. Великим союзником в умиротворении страстей была Англия. И здесь Пуанкарэ, принося комплименты по всем правилам академического искусства своей теперешней союзнице, ретроспектирует настоящее в прошлом.

Несомненно, Пуанкарэ, слишком преувеличивает свою роль мудрого посредника. Далеко не гладкое разрешение Балканского кризиса вряд ли свидетельствует о блистательных результатах политики преемника Талейрана. Но во всяком случае то, что сообщает Пуанкарэ о мерах к предотвращению мирового пожара, представляет значительный интерес. Здесь автором пущены в оборот еще не опубликованные данные французского министерства иностранных дел.

Глава четвертая, «Драма в Сараеве», доводит балканские дела до кровавой развязки в Сараеве, где убит был австрийский наследник престола и его жена.

Значительный интерес представляет глава пятая, под заглавием: «Трагические дни», и глава шестая: «Последние попытки мира, война».

В этих главах личный элемент берет окончательный перевес; история отходит на задний план. Прежде всего и главным образом Пуанкарэ «La Guerre» старается доказать свою полную непричастность к войне. Очень искусно и тонко, детально повествуя о каждом роковом дне, показывает он, как принимались Антантой все меры к мирному разрешению нависавшей катастрофы. Весь срыв мирных начинаний исключительно принадлежит Вильгельму II и Германии. Пуанкарэ всю силу своего недюжинного полемического таланта направляет на неудачливого германского императора. Надо сказать, что способ изложения фактов французским ех-президентом куда удачнее жалкой и надуманной самозащиты Вильгельма в его недавних мемуарах. Пуанкарэ, основываясь на ряде авторитетных данных, свидетельствует, что уже 5 июля в Потсдаме состоялся чрезвычайный совет под председательством Вильгельма, на котором война была решена.

В доказательство «непредвидения» войны Пуанкарэ приводит свою поездку в Россию, куда он выехал вместе с премьером и министром иностранных дел Вивиани. Пуанкарэ дает понять, что его отсутствие пагубно сказалось на развитии конфликта. Недаром ультиматум Сербии, как устанавливает Пуанкарэ фактически, был послан с таким расчетом, чтобы быть полученным в Белграде после отъезда президента из России. Описание самого пребывания в России также не лишено интереса, хотя страдает некоторой ненужной краткостью. К Николаю II Пуанкарэ относится более, чем сдержанно. Никакой характеристики его он не дает, ограничиваясь указанием на его слабость и нерешительность. Беседы, какие вели царь и президент, как будто мало касались сараевского инцидента и его последствий. Пуанкарэ усиленно повествует, что он главным образом старался устранить англо-русские трения в Персии, возникшие в связи с сатрапским поведением русских консулов. Николай II с своей стороны просил президента передать шведскому королю об отсутствии у русского правительства каких-либо аггрессивных намерений против Швеции. О Швеции Пуанкарэ даже два раза говорит, как и о случайном инциденте с Англией. Очень подозрительно, что почти не упоминается о текущих боевых событиях. Ведь ясно, что общая линия поведения не могла не быть намеченной. Здесь своими умалчиваниями Пуанкарэ как будто перехитрил самого себя. Любопытно, что Пуанкарэ упоминает и о рабочих беспорядках, бывших в Петербурге во время его пребывания. Приводится им версия о германской агитации этих беспорядков. Надо думать, что у Пуанкарэ это от Палеолога.

Подробно описывает Пуанкарэ и дальнейшее путешествие, во время которого радио сообщало о быстром нарастании конфликта. Нарушив прежний план поездки, Пуанкарэ и Вивиани поспешили вернуться домой. С большим пафосом повествует Пуанкарэ о том энтузиазме, который охватил всю Францию в ожидании развязки роковых событий. Вот как описывает он настроение столицы:

«Faites tout encore, nous disait Paris pour nous épargner les horreurs d'une guerre; mais si Vous n'y reussissez pas, ayez confiance en nous. Tous, tous que nous sommes, nous saurons remplir notre devoir» (p. 228).

Заключительная глава говорит о днях 29 июля—4 августа. Шаг за шагом, час за часом прослеживает Пуанкарэ перипетии переговоров. Все время он указывает, что Франция совместно с Англией принимала все меры к улажению конфликта. Позиция Германии была непримирима. Пуанкарэ подчеркивает тон Вильгельмовских телеграмм

к Николаю, мало делающих чести русскому суверену. Любопытен текст писем Пуанкарэ, направленных к английскому королю.

В общем, книга Пуанкарэ, внешне занимательно написанная, интересна и по настроению автора, и по его трактовке событий. В литературе о мировой войне она не затеряется и займет свое определенное место.

И. Бороздин.

Мировой кризис и Англия.

(«If Britain is to live». London, 1923).

Норман Энджель, на ряду с М. Кейнсом, В. Бевериджем, проф. Стерлингом и некоторыми другими, принадлежит к той группе английских буржуазных публицистов и экономистов, которые ясно видят опасный кризис, разразившийся после войны над капиталистической Европой, и имеют смелость открыто говорить об этом. Русская читающая публика достаточно знает Н. Энджеля, так как два его произведения переведены на русский язык, а именно «Великое заблуждение» (The great Illusion), написанное до войны и содержащее критику милитаризма, и «Версальский мир и экономический хаос в Европе» (The Peace Treaty and the Economic Chaos).

Отправным пунктом для всех послевоенных произведений Н. Энджеля является экономический и политический распад, переживаемый в настоящее время почти всем человечеством. Паралич кредита и торговли, голод, понижение мирового производства в особенности в области добычи сырья—таковы основные факторы, грозящие ввергнуть культурное человечество в хаос. Действительно, со времени перемирия мы видим длительный экономический кризис. Население Европы нуждается в зерне и др. сельско-хозяйственных продуктах, производство которых пало на 30—40%, а в то же время фермеры Западной Америки жгут свое зерно и пищевые продукты, хотя корабли, которые могли бы перевезти их в Европу, без дела стоят на якоре. Ту же картину мы видим и в области металлургии, в текстильной промышленности и т. д.

Последняя книга Н. Эднжеля: «Будет ли жить Британия» (If Britain is to live), как показывает ее название, посвящена не мировому экономическому распаду, а тому глубочайшему кризису, который уже 5-ый год переживает Англия. У нас обычно царит представление, что Англия сравнительно благополучно вышла из мировой войны и пережила лишь те потрясения, которые являются неизбежными при демобилизации миллионной армии, при переходе от военного к мирному режиму и т. д. Ценность книги Н. Энджеля заключается в том, что он обнаруживает иллюзорность этого представления и доказывает, что Англия переживает перманентный кризис, грозящий будто бы даже ее существованию. Ход мыслей Н. Энджеля чрезвычайно прост. Благодаря, необычайному росту английской индустрии на британских островах живет вдвое больше народа, чем то количество, которое может прокормить их почва. Это индустриальное население жило до войны, благодаря ввозу излишков сырья и продовольствия, добываемых заморскими странами. Взамен они получали английский уголь, мануфактуру, а также дешевый транспорт. И вот после войны мы видим, как вся эта устойчивая система окончательно поколеблена. Основой английской промышленности был всегда дешевый уголь. Но после

войны значительно сократилась его добыча и в огромной степени возросли издержки производства. Если мы обратимся ко второму прото-элементу современной индустрии, к железу, мы увидим, что в 1921 году английское производство чугуна было наименьшим за последние 70 лет. Этот экономический кризис не может не отразиться на английской торговле, которая сейчас равняется всего двум третям того, что она представляла до войны. Сокращение же торговли означает—соответствующее уменьшение ввоза сырья и пищевых продуктов, которые как мы видели, необходимы для поддержания физического существования населения британских островов.

Дальнейшему разложению экономической мощи Британии способствует еще один фактор, явившийся прямым результатом мировой войны, а именно „балканизация" Европы. В самом деле, в результате Версальского, Сен-Жерменского и др. мирных договоров—Средняя и Восточная Европа покрылась сетью новых государств. Каждое из них, под воздействием империалистического гегемона—Франции, проводит ультра-шовинистическую политику, а в сфере экономики осуществляет самый безоговорочный протекционизм. Вот эти политические загородки, таможенные рогатки, транспортные барьеры и делают почти невозможным широкий товарообмен в Европе, и конечно, сильнее всех от этого страдает Англия, добрая половина населения которой всегда работала на европейский экспорт.

Какие же пути открываются Англии для выхода из этого тупика? Обыкновенно, панацеей от всех бед представляется эмиграция. Ведь кажется таким легким переселить 2—3 миллиона безработных английских рабочих в пустующие области Старого и Нового Света, где они найдут и землю, и работу. Но, говоря об эмиграции, забывают обыкновенно, что: 1) экономический кризис носит не узко локальный, а мировой характер, и 2) земной шар уже в последнее десятилетие XIX века страдал от относительного перенаселения.

Но если эмиграция в большом масштабе невозможна, тогда для англичан остается другой выход: замкнуться в рамках огромной Британской империи и направить всю внешнюю торговлю в имперское русло. Как известно, эта идея междуимперского развития, при котором колонии доставлялось бы сырье в обмен на фабрикаты метрополии, и составляла центр программы юнионистов с Чемберленом, а ныне Болдуином во главе.

Но Н. Энджель в конец разрушает и эту экономическую теорию. Слабым пунктом ее является то обстоятельство, что две трети английского вывоза всегда направлялось не в колонии, а в чужие страны. План втиснуть весь английский товарооборот в новые каналы является будто чистейшей фикцией. Но здесь есть и другое обстоятельство, на котором Энджель, к сожалению, мало остановился. Во время мировой войны, в результате сокращения английского ввоза, почти все колонии успели создать собственную обрабатывающую промышленность, которая ныне вполне успешно борется с английской. И Канада, и Австралия, и даже Индия так же стремятся к экономическому самодовлению и к протекционизму, как какая-нибудь Чехо-Словакия или Польша. Несомненно, что именно здесь заключается смертельная опасность для всего здания Британской империи, построенного на умышленном парализовании промышленности колоний, с целью превращения их в огромные капиталистические фермы, вырабатывающие хлопок, зерно, коконы и т. п. сырье. Почти совершенно обходит Энджель и другую грозную опасность—стремление ряда колоний к полной политической автономии, к выделению из со-

става Британской империи. В этом нет ничего удивительного и ничего случайного. Ведь, несмотря на все свое мужество в вопросах экономики, Энджель все же остается чистокровным англичанином, приверженцем Greater Britain. Чрезвычайно характерно, что он просто замалчивает существование британского империализма, наличность сложной колониальной организации, с ее администрацией, войсками, английскими государственными и частными капиталами, определенной системой управления и т. п. Самый империализм он довольно туманно характеризует как проблему взаимоотношений народов «слабых и беспорядочных» и «сильных, умеющих поддерживать порядок». Игнорируя существование Британской империи, умышленно ограничивая свою проблему территорией британских островов, Энджель не находит нужным касаться тех национально-освободительных движений, которые потрясают сейчас все здание британского могущества и в Азии, и в Африке. Правда, он говорит мельком и довольно энигматически, что «огромная часть Британской империи—все население Британской Индии—на практике считает себя не принадлежащими к совокупности британских доминионов», но мы имеем здесь скорее фигуру умолчания, нежели стремление охарактеризовать важное политическое явление. Несомненно, что этот умышленный «провинциализм» Энджеля, подмен Английской империи Британскими островами, составляет самую слабую сторону его книги.

Но чем же объясняется, что при наличии бесспорного кризиса, подтверждаемого бесстрастными цифрами, Англия в лице своего правительства ведет прежнюю политику, увеличивающую европейский хаос и отягчающую собственное положение?

Ответ, который здесь дает Н. Энджель, сводится к жесточайшей критике западного парлементаризма, желтой прессы и т. п., что в его устах представляет значительный интерес. Метод политики, проводимой после окончания войны, правительствами великих держав, он называет «политикой лакеев», за четыре года почти разрушившей Европу. Ответственные государственные деятели Антанты прежде всего заняты погоней за избирательными голосами, благодаря чему они сплошь и рядом, вопреки своим истинным убеждениям, защищают взгляды, присущие влиятельным слоям капиталистического общества. Вторым мощным орудием для фальсификации действительного положения вещей—является пресса с ее единственной заботой об увеличении тиража. Короли буржуазной прессы, вроде лорда Норсклифа в Англии или Хирста в Соединенных Штатах, умышленно замалчивают ряд бесспорных фактов, руководствуясь интересами связанных с ними финансово-индустриальных кругов. «Массовое производство газет, фильм, беспроволочной телеграфии, выполняемое мощными трестами, делает «массовое мнение» все более неодолимой силой»—такова красноречивая общая характеристика, которую дает Энджель режиму.

Но каковы же меры спасения, предлагаемые для Англии самим Энджелем? Тут мы легко нащупываем ахиллесову пяту Энджеля, так же как и всех подобных ему экономистов и публицистов. Положительная часть его книги необычайно слаба и отличается таким же иллюзорным характером, как и критикуемые им взгляды его идейных противников. Совершенно забыв им же высказанное правильное положение, что «движущие силы политики находятся вне самой политики, они лежат под поверхностью событий», Энджель начинает провозглашать необходимость «определения прав и обязанностей каждой нации в силу общего кодекса» (?!), внесение морали в политику и т. п.

В сфере практических мероприятий он проектирует заключение Англией соглашений с Россией и Германией, взаимное ограничение державами на определенный срок тарифов, принцип открытых дверей в колониях и т. д. Легко убедиться, что почти все эти мероприятия являются или палиативами, или таким же мертворожденными конструкциями, как пресловутая Лига Наций, которую совершенно справедливо критикует сам же автор. Бессилие Н. Энджеля указать надежный путь для выхода Европы и в частности Англии из терзающего ее кризиса вполне понятно. Распад всех связей экономических и политических, наблюдаемых сейчас в Европе, является следствием не чьих-либо политических ошибок, а результатом кризиса, который переживает вес мир.

В. Гурко-Кряжин.

Вудро Вильсон.

(Вудро Вильсон. Мировая война. Версальский мир. По документам и запискам председателя американского комитета печати на Версальской Конференции Стэпнарта Бекера. Перевод А. Н. Карасика. Предисловие Мих. Павловича. (I т.) Госуд. Изд. 1923 г. Woodrow Wilson. Memoiren u. Dokumente über den Vertrag Zu Versailles 1919 г. Herausgegeben von R. N. Baker in autorisierter Übersetzung von Curt Thesing. B. I и II. Paul List Verlag Leipzig 1918).

Рей Степнарт Бекер, в качестве председателя американского комитета печати на Версальской Конференции, еженедельно беседовавший с президентом Вильсоном, хорошо знал его личные воззрения и знакомился со всеми перипетиями переговоров. Кроме того он пользовался богатым материалом, собранным президентом и предоставленным ему последним для настоящего труда. Эти документы, опубликованные в III т., Бекер разделяет на три группы: 1) Протоколы «Совета Четырех», «Совета Десяти» и совета министра иностранных дел (все впервые изданные). 2) Доклады американской делегации Вильсону, отчеты англичан и французов, отчеты и протоколы различных комиссий и различные проекты Лиги Наций. 3) Разнообразная корреспонденция: петиции, резолюции и письма, обращенные к Вильсону. Автор пользуется таким богатым материалом, что невольно ожидаешь сообщения данных, проливающих новый свет на весь этот период; но приходится разочароваться—ничего существенно нового здесь нет. Правда, для читателя, мало знакомого с событиями этого момента, книга Бекера является удобной сводкой всего происшедшего, но—составленной под известным углом зрения. Б., хотя и не слепой поклонник Вильсона, все-таки его апологет, он опять и опять подчеркивает добрую волю и бескорыстие президента—частые повторения утомляют при чтении—и его работа не отличается ни глубоким анализом, ни проницательной критикой. Но во многих случаях она является интересным подтверждением того, что уже известно из других источников, а в некоторых частностях и мелких штрихах дает и нечто новое.

В I томе характеризуется «новая» и «старая» дипломатии. В центре стоит личность президента Вильсона и его борьба за осуществление Лиги Наций. Этот первый период Конференции, до 14 февраля, т.-е. до отъезда Вильсона в Америку, Б. называет «великим, полным радостных надежд периодом». Вильсон приехал в Париж не

только с новыми идеями, но и с новым методом работы. Он придавал исключительную важность показаниям экспертов; не раз он говорил Ллойд Джорджу или Клемансо: «Переубедите моего эксперта, если вы желаете изменить мое мнение» (стр. 140). Экспертов и их ассистентов было несколько сот человек, целая библиотека материалов для изучения различных проблем мира была привезена на пароходе «George-Washington». Другой новой чертой дипломатии Вильсона было требование гласности. Благодаря его настояниям, корреспонденты были допущены к большинству общих заседаний совета, и по его поручению было организовано американское бюро печати. Но любопытно, что Бекер, выдвигая эти два момента «новой дипломатии», одновременно и критикует Вильсона. Он, хотя и пользовался широко показаниями экспертов, но не совещался с ними, и те часто не знали сущности дела, которое обсуждалось. Он, сторонник гласности, не вступал в личный контакт с корреспондентами; даже с членами американской делегации он не был вполне откровенен. А так как на заседания «Совета Десяти» и «Совета Четырех» корреспонденты не допускались, но тем не менее сведения хронически попадали во французскую печать, то весь мир узнавал о них во французском освещении, и американский народ не имел представления, с какими трудностями приходилось бороться его президенту. Вообще, Вильсон, по изображению Бекера, как-то не умел общаться с людьми в частной беседе. Он никогда не принимал лично никаких делегаций, обращавшихся к нему в большом количестве, а только письменное изложение их жалоб и просьб. Б. глубоко сожалеет об этом. Он не умел далее внушить вполне свои идеи даже своим ближайшим сотрудникам; Б. полагает, что именно по этой причине полковник Гауз не сумел во время отсутствия Вильсона отстоять его позиции. Все эти особенности Б. объясняет страшной перегруженностью президента, состоянием его здоровья, и свойствами его природы. Он называет его отшельником. Он даже подмечает в нем известную склонность к мистике. Так, напр., он придавал особенное значение числу 13, и его проект Лиги Наций заключался в 13 пунктах.

Идея Лиги Наций была для Вильсона idée fixe. Он глубоко проникся мыслью, что старый строй отжил, что «яд большевизма и распространился так быстро потому, что он явился протестом против той системы, которая господствует в мире». Эту систему он и хотел обновить, поставить на новый, моральный базис. В. думал, создавая Лигу Наций, образовать единый фронт против «анархии, шедшей с Востока». Вообще вопрос о большевизме не раз поднимался, и Б. определенно констатирует: «Воздействие русского вопроса на Парижской Конференции было глубоко: Париж без Москвы непонятен» (В. II, 50). Так, Фош собирался двинуть войска союзников через всю Германию, чтобы разгромить Россию, и лишь сопротивление Вильсона помешало ему. Вильсон думал действовать мирным путем и для этого во что бы то ни стало хотел осуществить Лигу Наций, в крайнем случае, ценою уступок французам. Как только, говорит Бекер, принцип взаимных уступок был допущен, он быстро распространился, и вопросы, доходившие до этого до тупика, так или иначе решались. Невольно поражаешься, что Вильсон сам до конца как будто верил, что мирный договор составлен на основании его тезисов. На заседании 13/VI, где обсуждались немецкие возражения, он говорил: «У меня нет желания смягчить мирный договор, но у меня искреннее желание изменить те отделы, относительно которых будет доказано, что они несправедливы, или что они противоречат тем принципам, которые мы сами выста-

вили» (В. II, 399). Немцам было заявлено, «что время дискуссий прошло».

Чем объясняется неудача Вильсона? Книга Бекера лишний раз доказывает, какими плохими дипломатами оказались американцы, и он это сам подчеркивает. Характеризуя «старую дипломатию», как основанную на тайных договорах 1915, 1916 и 1917 годов, Б. отмечает, что Вильсон почти ничего не знал о существовании договоров; среди его многочисленных бумаг нет ни одного документа, сообщающего о них подробно. Даже председатель Исследовательской Комиссии, полковник Гауз, еще в 1917 г. заявил, что он не особенно интересуется ими. Этот «недостаток внимания» Б. объясняет тем, что Америка никогда не имела такого подготовленного, хорошо оплачиваемого дипломатического корпуса, как европейские нации.

Представители «старой дипломатии» выступают особенно ярко во II т. в качестве сторонников захватов, возмещений и военных гарантий. Б. здесь подробно излагает весь ход мирных переговоров и отмечает отдельные кризисы—французский, итальянский и японский. Этот том особенно интересен для немцев, так как он лишний раз доказывает что все действия французов за последние годы были уже в 1918 г. включены в их программу. Это была программа Фоша, проведению которой в жизнь тогда еще мешали «умеренность» Клемансо, а главным образом противодействие Вильсона. Что эта программа диктовалась под влиянием не только ненависти, но и действительного страха перед Германией, это Б. несколько раз отмечает. Он говорит о «национальном психозе» французов.

Интересная глава посвящена экономическому соглашению. Если Вильсон в политике стремился к созданию международного сотрудничества, то в экономике он придерживался принципа laissez faire. Б. правильно указывает, как на основную причину этого явления, на проблему международной задолженности. И он с горечью констатирует: «В то время, как мы подчеркивали,—и с полном правом—что Франция и Великобритания должны уменьшить свои чрезмерные требования относительно репараций в интересах всеобщего блага Европы, мы сами не решались сделать что-либо для всеобщего блага мира. Мы подчеркивали, что Европа должна приносить жертвы, чтобы заплатить нам свои долги, но взамен мы ничего не могли давать, кроме отсрочки» (II, 254).

Таким образом, книга Бекера, являясь апологией Вильсона, кончает упреком по отношению к американскому народу: своей исключительной политикой, своим нежеланием каких-либо уступок в вопросе о долгах он является тормазом для восстановления Европы.

М. Либталь.

Переписка Вильгельма II с Николаем II.

(Переписка Вильгельма II с Николаем II. 1904—1914 г.г. С предисловием М. Н. Покровского. Госуд. Издат. Стр. VIII+212. М. 1923 г.).

Переписка Вильгельма II с Николаем II, опубликованная Центрархивом, является, несомненно, первоклассным источником для изучения дипломатической истории последних десятилетий. В значительной своей части материал центрархивского собрания увидел свет уже раньше, отчасти в немецком издании писем, обнародованных

«с копии, когда-то (в 1919 г.) в силу печальнейшего недоразумения уплывшей из соответствующего отдела покойного Главархива» («Предисловие» стр. III), отчасти еще в 1917 г. на страницах журнала «Былое» проф. Е. В. Тарле [1]) были напечатаны телеграммы, которыми обменивались Вильгельм II с Николаем II, в 1904--1907 г.г. Публикация Е. В. Тарле охватывает всего 65 телеграмм, из коих в настоящем сборнике не воспроизведены те, «подлинников которых в Романовском архиве не сохранилось» (Извещение «от редакции» стр. VIII). Всего 30 телеграмм оказалось, таким образом, за рамками центрархивского собрания, а именно телеграммы за №№ 1—9, 15, 27, 29—35, 37, 39, 43, 47, 48, 51, 56, 57, 59, 63—65 [2]). Эта неполнота настоящего сборника осложняет задачу читателя, желающего систематически ознакомиться с перепиской двух императоров. Кроме того, на 30 опущенных телеграмм приходится несколько очень важных и характерных. Хорошо было бы дать эти телеграммы, в виде особого приложения, вообще, так или иначе включив их в сборник.

Предметом переписки двух императоров, и в этом ее особое значение и особая ценность, являются международные дела и в частности, русско-германские отношения. Нас не должны смущать бытовые подробности, описание погоды, поклоны и поздравления. Под этим внешним покровом добрососедских отношений двух семейств, обменивающихся подарками и поклонами, протекает очень упорная, очень интенсивная борьба. Для Вильгельма, во всяком случае, переписка была лишь известным методом дипломатической игры, но на ином поле, и иными, более деликатными средствами. Переписка — это особый способ, особая форма давления на русское правительство и русскую дипломатию.

С этой целью, Вильгельм не аргументирует, не убеждает, он как бы хочет загипнотизировать царя простыми и ясными формулами. Подчас он бывает очень наивен со своей претензией на какую-то «простецкую искренность», с его грубоватой фамильярностью и торжественной напыщенностью, прерываемой самыми будничными и прозаическими фразами.

Вся переписка, с 1897 по 1914 г., проходит три фазы. Каждая из этих фаз переписки отмечена своими специфическими, характерными чертами. Каждая фаза определена политической ситуацией и теми требованиями, которые эта ситуация предъявляла дипломатии двух императоров.

Первый период—это девяностые годы и начало века. Россия вовлечена в дальне-восточные дела. Вильгельм очень доволен этим оборотом вещей. Год за годом он систематически толкает Николая II и его дипломатию к берегам Тихого океана. Все рессурсы пущены в ход: тут и «желтая опасность» (любимая тема Вильгельма в эти годы) и солидарность христианских наций, и великая миссия России на Востоке. 26/IX 1895 г. Вильгельм пишет: «Развитие Дальнего Востока и особенно кроющаяся в нем для Европы опасность сильно занимали меня со времени наших первых совместных шагов» (стр. 10 и 11). Вильгельм щедр на похвалу и лесть, когда дело касается активных шагов русской дипломатии на Дальнем Востоке. «Мастерское соглашение в Корее, которым тебе удалось успокоить чувства сердитых японцев, я считаю замечательным образцом дипломатии и предусмо-

[1]) «Былое» № 1 (23). Июль 1917 г. Стр. 121—143. Статья Е. В. Тарле «Императоры Вильгельм II и Николай II в 1904—1907 г.г.».

[2]) В «Былом» нумерация спутана. Правильная нумерация восстановлена в книге проф. Е. В. Тарле: «Запад и Россия». См. приложение, стр. 201—219.

трительности; какое это было счастье, что благодаря своему великому путешествию ты на месте смог изучить вопрос Дальнего Востока; теперь, собственно говоря, ты хозяин Пекина» (стр. 23).

Между тем атмосфера на Дальнем Востоке сгущается мы накануне Русско-японской войны, и вот 3-го января 1904 г. Вильгельм пишет: «Россия в праве претендовать на полосу берега, где находятся такие гавани (Владивосток, Порт-Артур). Hinterland (лежащие за ними земли) должен быть в твоих руках для того, чтобы можно было построить железные дороги, необходимые для подвоза товаров к портам (Манчжурия). Между двумя портами есть полоса земли, которая, попади она в руки противника, — может сделаться чем-то вроде новых Дарданелл. Этого ты не можешь допустить... Поэтому для всякого непредубежденного человека ясно, что Корея должна быть и будет русской» (стр. 52). Вокруг этого основного стержня и развертывается вся дипломатическая игра Вильгельма, со всеми ее аксессуарами, вплоть до громоздких псевдонимов двух императоров: адмирал Тихого океана и адмирал Атлантического океана. В этой игре главной задачей Вильгельма было не только удалить Россию с европейского театра международной политики, но и вовлечь ее в какую-либо политическую комбинацию, направленную против Англии. Отсюда вытекала и его тактика по отношению к франко-русскому союзу. Вильгельм не был заинтересован в простом его разрыве, нет, у него был более сложный план—вовлечения Франции в орбиту германской политики, через посредство России и русско-французского союза. Правда, это не мешало ему разводить подчас франкофобскую агитацию, играя на монархических настроениях своего корреспондента: «Республиканцы—революционеры de natura, и с ними совершенно правильно обращались, как с людьми, которых следует расстреливать или вешать. Теперь они говорят нашим другим, лойяльным подданным: О! мы совсем не дурные и не опасные люди. Посмотрите на Францию! Вы видите, что там их величества за панибрата с революционерами! Почему бы не быть этому и у нас... На нас, христианских королях и императорах, лежит священный долг, возложенный на нас небом, именно—поддерживать принцип «божьей милостью». В хороших отношениях с R. F. мы можем быть, но быть с ней близкими — никогда» (стр. 14). У самого Вильгельма отношение к Франции брезгливое, слегка сострадательное; эти настроения разделялись тогда самыми широкими кругами в правящей среде не только Германии, но и России. Эти настроения составляют и у Вильгельма психологическую основу его исторических обобщений. «Твои и мои подданные мыслят медленнее, в суждениях своих они трезвее и спокойнее, чем, например, южане и французы» (стр. 13). Дальше этих плоских, общих мест самодовольный консерватизм Вильгельма и не шел. Мы, впрочем, еще будем иметь случай проследить его идеологию и политическое credo. Из всех писем этого периода лучшим образчиком Вильгельмовской дипломатии является письмо от 30/V 1898 года. Здесь Вильгельм, в тоне дружеского участия сообщает о кознях Англии и о намерении ее правительства вовлечь Германию в большую анти-русскую коалицию. После запугивания начинается шантаж: «Так вот, мой старый и верный друг, я прошу тебя, скажи мне, что ты можешь предложить мне и что ты сделаешь, если я откажусь?» (стр. 26).

Николай ответил, что России Англия делала такие же предложения...

Начинается русско-японская война, а с нею и второй переход в переписке, которая именно в годы войны принимает особенно интен-

сивный характер. Войной Вильгельм пользуется для того, чтобы зафиксировать результаты всей предшествующей работы своей дипломатии. Именно в эти годы он добивается подписания известного русско-германского торгового договора и заключает тайное соглашение в Бьёрке.

О договоре есть любопытные упоминания в переписке. Вильгельм всячески настаивает на скорейшем его заключении. Николай сопротивляется, но вяло, такими гнетущими были политическо-стратегические обстоятельства в России и на театре войны... «Главное затруднение заключается в том, чтобы пригти к обоюдному соглашению по вопросу о «минимальной» пошлине на рожь, пшеницу и т. д., которая наносит нашему земледелию тяжкий и жестокий удар» [1]) (стр. 61). Договор действительно был заключен в июне 1904 г. в ущерб насущнейшим интересам русского экспорта хлеба.

Что касается соглашения в Бьёрке, то историю этого любопытного эпизода русско-германских отношений можно вполне восстановить теперь на основании «Переписки» и «Воспоминаний» Витте. Телеграммы, опубликованные в 1917 г. в «Былом», давали только намеки на то, что происходило в Бьёрке. Теперь мы знаем, что инициатива тайного договора шла от Николая, что мысль о договоре возникла в октябрьские дни 1904 г. когда, после гулльского инциндента, Николай видел себя накануне войны с Англией. 30-го октября Вильгельм сообщил «дорогому Ники» проект договора; по его плану подписанный договор должен был быть внезапно представлен Франции для того, чтобы принудить ее «оказать давление на Англию в том смысле, чтобы последняя оставалась спокойной и не нарушала мира из боязни поставить Францию в опасное положение» (стр. 83). Дело расстроилось из-за того, что Николай настаивал на ознакомлении французского правительства с проектом договора.

В это же время Вильгельм поднял шумиху вокруг «угольного вопроса», т.-е. вопроса о снабжении германским углем русского флота. В телеграммах и письмах он подчеркивает, что Германия идет на жертву для России, что она многим и многим рискует, навлекает на себя гнев Японии и ее покровительницы Англии. На самом деле германское правительство действовало с большой щепетильностью в этом вопросе. Когда Николай обратился к Вильгельму с просьбой дать угольщикам Гамбургско-Американской линии разрешение на следование за эскадрой Рождественского, отплывавшей от Мадагаскара [2]), Вильгельм сухо ответил: «Касательно его (угольного дела) я не могу давать никаких инструкций, потому что это — частное предприятие» (стр. 93).

В пылу всех этих переговоров Вильгельм не забывает о выгодах и интересах отечественной промышленности. С настойчивостью настоящего «представителя фирмы» он рекламирует германское судостроительство. «Думаю также, что с твоей стороны было бы целесообразно начать заказывать частным фирмам ряд военных судов».., (стр. 67) читаем мы в телеграмме 25/X 1904 г.

Немного спустя этот намек получает более конкретные очертания: «наши частные фирмы были бы очень рады получить заказы»... (стр. 71). В письме от 2-го января 1905 г. опять та же песенка: «Теперь, когда программа обновления твоего флота опубликована, ты, я надеюсь, не забудешь сказать своим властям, чтобы они вспомнили

[1]) Ср. у Витте. Воспоминания т. I, стр, 269—287. Берлин. 1922 г.

[2]) Этой телеграммы в сборнике Центрархива нет. См. Е. В. Тарле «Запад и Россия». Стр. 210.

о наших крупных фирмах в Штетине, Киле и т. д.» (стр. 88). Месяц спустя Вильгельм вступается за Круппа: его обвиняют, в том, что он не поставил в срок заказанные у него батареи; но это недоразумение, все жалобы на Круппа неосновательны. Вообще Вильгельма тревожит англо-французская конкуренция и в заключение, чтобы подзадорить «милейшего Ники», он, с невинным видом, пишет: «Японцы только что заказали в Англии 4 линейных военных корабля» (стр. 92). Наконец и в Бьерке Вильгельм улучает удобный момент: «В беседе (с Бирилевым, морским министром) я высказал, что раз вопрос о выборе типа для твоих судов будет разрешен, тебе следует строить их сразу как можно больше и, помимо французских фирм, не забывать при этом и частных германских. Ибо последние стали бы работать, как для своей родины, тогда как другие державы злоупотребили бы секретами твоих строителей и инженеров во вред тебе и твоему государству» (стр. 106).

Мы сейчас подошли к эпизоду в Бьёрке. Он хорошо освещен в «Воспоминаниях» Витте [1]). «Переписка» же помогает уяснить то, что было после Бьёрке.

Несомненно, тайный договор 24 июля 1905 г. был кульминационным пунктом русской политики имп. Вильгельма. Он не только обеспечивал восточные границы Германии, он фактически вовлекал Россию в политическую комбинацию, направленную против Англии и против ее союзницы Франции. «Договор—по справедливому замечанию Е. В. Тарле—делал Германию госпожею положения в Европе и просто отдавал в ее руки Россию» [2]). Но в то же время этот договор оказался с самого начала недолговечным и хилым созданием тайной дипломатии двух императоров. Уже в сентябре месяце Николай забил отбой... «Я полагаю, что Бьёркский договор не должен быть проводим в жизнь до тех пор, пока мы не узнаем, как к нему отнесется Франция» (стр. 123). Напрасно Вильгельм старался еще раз изменить и направить линию русской политики. «Что подписано, то подписано»!— восклицает он в телеграмме от 29-го сентября 1905 г. — «И бог был нам свидетелем!» (стр. 124). Уже после 17-го октября министр иностранных дел Ламздорф мог заверить Витте, что договор больше не существует.

И вот, начинается новый период в русско-германских отношениях, новая фаза в переписке.

Теперь переписка ведется под знаком взаимного охлаждения и обострения некогда столь корректных отношений. Правда, Вильгельм по-прежнему любезен. По-прежнему передаются поклоны и посылаются подарки, но стержень прежних отношений надломлен. Центр русской политики переместился на Балканы. Россия плывет в фарватере Англии и Франции. Николай жалуется на Австрию, жалуется на Германию. Вильгельм не остается в долгу: «За последние два года русская политика постепенно все более и более отклонялась от нас, все теснее примыкая к комбинации держав, нам враждебных» (стр. 144). А Николай посылает «дорогому Вилли» золотой портсигар и вспоминает «светлые, августовские дни, проведенные в Свинемюнде; как все было спокойно» (стр. 146).

Наконец, вот они: последние телеграммы, посланные в роковые дни июля 1914 года. По форме все осталось, как и было. Это все те же Вилли и Ники, интимные друзья и любящие кузены. Вильгельм

---

[1]) См. Витте. «Воспоминания» т. I 425—431.
[2]) Е. В. Тарле. «Запад и Россия», стр. 184.

так и начинает свою последнюю телеграмму, полученную в Петергофе, уже после объявления войны: «Благодарю за твою телеграмму»... (стр. 175). Они обмениваются любезностями на краю бездны, призванной поглотить их троны, их империи, их традицию.

В заключение хочется привести несколько характерных штрихов. Оставим в стороне дипломатию и международные дела. Обратимся к тому рецепту борьбы с русской революцией, который мы находим в письме Вильгельма от 21-го февраля 1905 годя. Переписка, вообще, дает очень много для характеристики Вильгельма и очень мало для Николая. И это не только потому, что количественно мало до нас дошло писем и телеграмм последнего. Николай вялый, апатичный, но где-то, в основном, очень упрямый и неподатливый, не оставляет в своих писаниях каких-либо осязательных следов своей индивидуальности. Другое дело Вильгельм. Он пишет с претензией на юмор, на острое словцо. Он всегда суетлив, всегда играет роль, всегда позирует. Начало подражания, театрализации жизни было развито у Вильгельма в высшей степени. Прибавьте к этому врожденное отсутствие всякого вкуса, склонность к дешевым, но трескучим эффектам, и вы поймете тогда, что человек, ездивший в кирасе под белым бурнусом возлагать венок на могилу султана Саладина, не мог предложить, для борьбы с революцией в 1905 году ничего другого, кроме аляповато-лубочной инсценировки в «истинно-русском стиле». Царь должен поехать в Москву и здесь держать речь «дворянству и общественным деятелям, собранным в его великолепном дворце» (стр. 101). Он объявит Habeas corpus Act и расширение компетенции Государственного Совета. Он объявит также, что принимает на себя главное командование армией. После этого царь, «entouré» духовенством с хоругвями, крестами, кадилами и святыми иконами, должен выйти на балкон и прочитать только что сказанную им речь, уже в качестве манифеста своим верноподданным, собравшимся внизу на дворе, окруженном сомкнутыми рядами войск «la bajonette au canon, le sabre au poing». Если бы ты сказал им, что... ты отправишься делить тягости войны с их братьями родными,... постараешься ободрить их и повести к победе, то весь народ, глубоко тронутый, будет восторженно приветствовать тебя, упадет на колени и будет молиться за тебя. Популярность царя воскресла бы вновь и, сверх того, он приобрел бы симпатии своего народа» (стр. 101). Ко всей этой нелепой бутафории Вильгельм относился совершенно серьезно: он давал советы в меру своего культурного развития и, вообще, в меру отпущенных ему от природы умственных способностей...

П. П. Щеголев.

„Из далекого и близкого прошлого".

(«Из далекого и близкого прошлого». Сборник этюдов из всеобщей истории в честь 50-летия ученой жизни Н. И. Кареева).

Только часть друзей и учеников маститого профессора смогла принять участие в этом сборнике; но разнообразны затронутые в нем темы, как разносторонни научные интересы, характеризующие полувековую работу юбиляра.

Из истории древнего Востока сложный вопрос о престолонаследии Тутмосидов (XVIII дин.) разбирает в своей статье В. В. Струве. По истории средневекового Востока дал статью В. В. Бартольд:

«К истории крестьянских движений в Персии» в связи с вопросом о разложении домусульманского сословного строя при Исламе». — Два очерка из истории древнего Рима: С. Н. Протасовой «Борьба общественных идеалов в Риме в эпоху Гракхов» и Д. П. Кончаловского «Критика данных Аппиана и Плутарха о причинах гракховского аграрного движения»—показывают, что история данной эпохи еще далека от окончательной разработки. Автор первой статьи по новому рисует столкновение идеала свободы, выработанного эллинской культурой, с идеалом, на котором создал свою государственную мощь Рим. Из второй статьи следует, что критическое изучение главных источников этой эпохи требует пересмотра господствующего в науке взгляда на причины и значение данного аграрного движения.—По истории средних веков имеется шесть статей. О. А. Добиаш-Рождественская, в связи с вопросом о часах в раннем средневековьи, касается культуры галльского города и поселка. «Благо размеренности жизни» стало знакомо стране не раньше конца VII-го века, когда жизнь начинает регулироваться солнечным кадраном, а позже (в Каролингскую эпоху) церковным звоном. В статье Г. П. Федотова «Чудо освобождения» этот, весьма распространенный мотив меровингской агиографии рассматривается с точки зрения отношений между церковью и государством; в основе всех этих сказаний лежит несочувствие и недоверие церкви к государственному суду. Разбирая вопрос «Как писал Эйнгард», Д. Н. Егоров говорит, что одним из главных его источников был Светоний; по нему он писал, прилаживал свой предмет к готовой уже схеме, фактической и словесной. Без насилия и подлога такое подлаживание, конечно, произойти не могло. Но, Эйнгард многосоставен; выяснение других его источников может дать много ценного для изучения подготовки эпохи Карла. В статье С. Н. Коротковой дан критический разбор известий, касающийся старшего сына Карла Мартелла — Карломана. Принципиальное и крупное значение имеет замечательная статья Д. М. Петрушевского «Феодализм и современная историческая наука». Недостаточно ясное разграничение социологических категорий и категорий исторических вызывает частые недоразумения и споры по основным вопросам западно-европейского развития. Одним из таких вопросов является отношение понятия феодализма к понятию государственности. Эта проблема скорее ставится, чем разрешается автором; сам он отстаивает положение, что следует строго различать феодальный строй от его социальных и хозяйственных предпосылок. Затем—феодализм не означает разложения государственного единства, вполне совместим с широкой государственной организацией и даже представляет одну из ее разновидностей.— В связи с исполнившимся в 1921 г. шестисотлетием со дня смерти Данте литература о нем увеличилась целым рядом новых произведений. Еще раньше И. М. Гревс доказывал в своих работах необходимость изучения трактата «De Monarchia» в тесной и взаимной связи с «Божественной Комедией». Опыт такого синтетического толкования первой главы трактата и дается здесь.

Большая половина сборника занята статьями по вопросам новой истории. «Страница из истории католического возрождения XVII века» Н. И. Радцига касается деятельности Общества св. даров в области народного образования. Ряд статей относится к истории идей XVIII и XIX веков. А. Г. Вульфиус изучает Монтескье как историка и политика, И. Л. Попов— Жан-Жака-Руссо—космополита. В. В. Бирюкович останавливается на философско-историческом мировоззрении Мельхиора Гримма, сравнительно менее изученного, П. П. Щеголев— на

социологических воззрениях Гельвеция. О молодых годах Шатобриана и его первом публицистическом опыте рассказывается в статье Е. Н. Петрова. Биографию и характеристику сравнительно мало известного у нас Стендаля дает А. И. Хоментовская. Философско-политические воззрения И. Б. Шелли служат темой статьи А. А. Гизетти.

На основании архивных данных С. М. Глаголева-Данини дает реальную картину промышленной и торговой жизни Дофинэ в последние годы старого режима. Названная провинция была авангардом революционного движения, которое в 1789 году охватило всю Францию; поэтому опыт ее исторического прошлого не может не представлять интереса для исследователя. В небольшой заметке Е. В. Тарле «Обращение Бентама к Александру I» говорит о неизданном письме английского юриста, в котором он любезно вызывается дать России подходящее законодательство, представляя при сем рекомендации и не требуя никакого вознаграждения за услугу. Письмо характерно, как для Бентама, так и для адресата; написанное в 1814 г., оно носит еще явный отпечаток XVIII века. Последствий оно не имело, взгляды Бентама уже не могли встретить сочувствия в России.—Посмертная статья А. Н. Савина «Письма Рохова к императрице Александре Федоровне» может дать кое-что новое для суждения о русско-прусских отношениях в 1849—50 гг.—Анализ социального состава либеральной оппозиции во Франции в эпоху реставрации дает в своей статье В. А. Бутенко; такой анализ необходим, чтобы понять почему народные массы в июльские дни 1830 г. восстали против Бурбонов.—В. П. Бузескул пытается найти корни пангерманизма и стремления немцев на восток. Начало этой идеологии нужно искать еще в прошлом веке, зародыши ее можно подметить уже в XVIII веке.—Вопросы недавнего прошлого затрагиваются в статье Я. Захера «К истории русской политики по вопросу о проливах в период между русско-японской и триполитанскими войнами»; эта же тема будет разработана автором в связи с войной 1914—18 годов.

А. Матвеева-Леман.

Сборник в честь С. Ф. Платонова.

(Сборник статей по русской истории, посвященных С. Ф. Платонову. Петроград. 1922 г. Издательство „Огни“. Стр. XII + 459).

Сборник вышел исключительно цельным и интересным. Самое появление его представляет незаурядное явление. Приходится отметить, что это второй сборник, посвященный С. Ф. Платонову. Последнее обстоятельство характеризует влияние, которое оказывает С. Ф. Платонов на разработку русской истории. Увлекая лекциями и исследованиями в область русской истории своих учеников, он блеском своего таланта обыкновенно делает учеников своими почитателями.

Сборник—лучший показатель того, что ученая работа не только не прекращалась в последнее время, но велась с необыкновенным упорством и настойчивостью. Большинство статей сборника, естественно, ограниченных размером, являются не эскизами, случайно и наспех набросанными, а сжатым изложением тех выводов, которые основываются на длительном и тщательном изучении громадных количеств материала. Эти статьи говорят нам о том исследовательском фонде, который накопился за последние годы, когда печатание специальных книг было затруднительно. Всех статей в сборнике 36, по-

этому нет никакой возможности в короткой рецензии охарактеризовать их. Больше половины статей посвящены истории XVI—XVII в.в.; среди них отметим статью С. Н. Чернова «К ученым несогласиям о суде над Максимом Греком», который делает некоторые любопытные выводы. О статье А. В. Преснякова «Завещание Василия III» я лишь упомяну, так как больше всего о ней скажет имя автора, лучшего знатока летописных текстов и актов. Любопытна попытка А. А. Введенского дать картину крупного промышленного хозяйства XVI века. К сожалению, материал слишком владеет автором, он отвлекается в сторону детализации тех мелочей, для характеристики которых у него имеются материалы, отчего порою проигрывает пропорциональность построения и яркость изображаемой картины. Интересна статья А. В. Бородина «Уложение о службе 1556 года», представляющая характеристику этого, как справедливо говорит автор, «важнейшего памятника истории русского военного права XVI столетия, лежащего в центре не только военных, но и крупнейших мероприятий общегосударственного характера, предпринятых Грозным в первые годы его самостоятельного правления». В статье «Кормленые дьяки и вопрос о происхождении приказов-четей в Московском государстве XVI века» П. А. Садиков делает попытку методологического построения изучения четей. Будем надеяться, что когда-либо автор порадует нас и результатами изучения по намеченной им программе. Статья Б. Д. Грекова «Вотчинные писцовые книги» стремится разъяснить значение этого сравнительно мало изученного рода источников экономической истории. Критическому изучению отдельных источников посвящены статьи А. И. Андреева: «О происхождении и значении Судебника 1589 г.», П. Г. Любомирова «Новая редакция «Сказания» Авраамия Палицына», П. Г. Васенко «Заметки к статьям о смуте, включенным в Хронограф редакции 1617 года».

Любопытный штрих воеводского правления или, вернее, самоуправства дает А. А. Кизеветтер в статье «Заградительные отряды XVII века». Большинство «москвичей» сосредоточило свое внимание на Петре Великом и XVIII веке. Таковы статьи М. М. Богословского «Заговор Цыклера», Н. Д. Чечулина «Петр Великий и художник Иоганн Купецкий», Ю. В. Готье «Происхождение собственной е. и. в. канцелярии». К этому же времени относится и статья Д. Е. Корнилович-Зубашевой «Е. Р. Дашкова за чтением Кастера». А. Н. Макаров в статье «Учение об основных законах в русской юридической литературе XVIII и первой трети XIX века» суммирует те робкие попытки, которые были сделаны по этому вопросу в указанное время.

Статья С. В. Рождественского «Из истории идеи народного просвещения в Александровскую эпоху» дает интересные штрихи из той области, которая так хорошо изучена автором. Интересными портретами, построенными на свежем архивном материиле, являются статьи Б. Л. Модзалевского «Декабрист Шаховской» и А. А. Сиверса «Иезуит Балабин». К завязке современной мировой трагедии подводят статьи Е. В. Тарле «Русско-германские отношения и отставка Бисмарка» и Б. А. Романова «Витте и концессия на р. Ялу». Последняя является интересным документальным комментарием к мемуарам Витте, дает его характеристику, и с «документами в руках» раскрывает нам те злоупотребления дворцовой камарильи, о которых так много и горячо говорило общество пред Японскою войною.

Начав с характеристики наибольшей группы и пропустив первые статьи (весь сборник построен в хронологическом порядке), считаю нужным вернуться к началу его, отметив две главнейшие статьи:

1) А. А. Спицына «Археология в темах начальной русской истории», представляющую попытку сведения в одно построение данных, полученных из изучения громадного материала раскопок.

2) Большой интерес представляет статья М. Д. Приселкова «Летописание XIV века». На пятнадцати страницах автор не только изложил свои выводы, но и выяснил тот метод, которым он строит свое исследование и делает опыт восстановления источника утраченной Троицкой летописи по «Истории» Карамзина.

Статьи сборника ведут нас, или тематически, или методологически, к работам того, кому посвящен этот сборник, они связаны вполне ощутимыми нитями. Последнее обстоятельство придает исключительную цельность всей книге.

А. Вальтер.

Дневник А. В. Богданович.

(**Три последних самодержца.** Изд-во Л. Д. Френкель. Москва Ленинград. 1924. (503 стр.).

Александра Викторовна Богданович, жена известного генерала Е. В. Богдановича, ктитора Исаакиевского собора и автора ряда лубочно-«патриотических» листовок, оставила обширный дневник, охватывающий период времени с 1879 по 1912 г. Издана часть этого дневника, не предназначавшегося для печати и поэтому ценного своей искренностью, — часть, представляющая интерес для характеристики русских правительственных и придворных кругов при трех последних императорах. Дневник А. В. Богданович—записи разговоров и рассказов, слышанных автором от ее многочисленных знакомых, бывавших в «мятлевском» особняке четы Богданович на Исаакиевской площади, являвшемся, так сказать, кулисами правительственных и придворных «сфер»; генерал Богданович имел связи и некоторое влияние в этих сферах и был хлебосольным хозяином; за его обедами и ужинами и велись все разговоры, легшие в основу дневника. Круг знакомств супругов Богдановича был необычайно широк и разнообразен: от министров и сановников до камердинера Николая II. Вращаясь в этом кругу, А. В. Богданович вполне литературным, сжатым и в то же время ярким языком заносит изо дня в день все слышанное ею из области дипломатии, внутренней политики, общественной и придворной жизни. Напрасно было бы искать в этом дневнике полного и широкого изложения всего слышанного автором за тридцать с лишним лет: все это отразилось в записях Богданович по преимуществу с анекдотической стороны, в виде слухов, часто даже сплетен, нередко анонимных («говорят»). В этих пойманных на лету салонных разговорах, bons mots, курьезах, в ряде ярких, хотя и мелких штрихов—весь интерес дневника. Такие незначительные с виду черточки создают в конце концов крайне неприглядную, порою жуткую картину окружения последних трех русских монархов.

А. В. Богданович, ярая монархистка, преданная идее самодержавия и с ужасом думающая о революции не только в России, но и в других странах, вполне отчетливо сознает, что самодержавие в России обречено на гибель. Гибель эта как с горечью сознает Богданович, неотвратима, т. к. самодержавию не на что и не на кого опереться: сами самодержцы и вся царская фамилия далеко не на высоте, окружены они недостойными сотрудниками, заботящимися только о своих

выгодах и дискредитирующими власть в глазах всего населения (стр. 122, 170). Духовенство, призванное быть примером для «мужиков», также совершенно недостойно уважения (285—6, 478—запись 31 мая). Не внушает никакого доверия автору и партия, взявшаяся за защиту самодержавия—союз русского народа и иже с ним, который Богданович откровенно называет «вертепом» и «грязной клоакой», где «... за малыми исключениями находятся все отбросы человечества, люди без стыда и совести... Одним словом, союзы эти полны проходимцами» (464, 446, 462).

Об Александре III Богданович отзывается сочувственно, считая его «справедливым, честным» и хвалит за то, что он «своею твердостью приобрел себе первый голос в политике» (стр. 77). Это, однако, не мешает ей сообщить ряд случаев, мелких, но ярких,—выставляющих Александра в ином свете. Таков прежде всего случай с тостом, провозглашенным Александром в 1889 г. на одном полковом завтраке за «единственного и искреннего друга России князя Николая Черногорского». Тост этот наделал много шума, вызвав опасения дипломатических осложнений для России: ...« тост очень повредил России. Он вызвал дерзкую речь австрийского императора, направленную против нас, в которой он считал Кобургского болгарским князем, тогда как у нас его считают узурпатором. Стягивание австрийских и германских войск на нашу границу усердно продолжается. Воевать с ними нам не по силам. Генералов у нас нет... Государь всегда такой сдержанный бывает. Как это он хватил такую глупость!» (стр. 100, 101). Любопытен рассказ о посылке по распоряжению царя во Францию во главе эскадры контр-адмирала Авелана, хуже всех адмиралов говорящего по французски именно затем, «чтоб меньше там болтал» (стр. 170). Характерен для Александра следующий его отзыв о министрах: «... когда Дурново мне докладывает, я все понимаю, а он ничего не понимает; когда Витте—я не понимаю, но зато он все понимает, а когда Кривошеин—ни он, ни я,—мы ничего не понимаем».

Интересны записи о последних днях жизни Александра III, рисующие тревожное настроение в придворных кругах, подготовлявшихся к возможной смерти царя: «... Никита Всеволожский... работает, чтобы Алису привезти сюда и здесь перевенчать. Работают также, чтобы царь не ехал в Корфу. Спасти его все равно нельзя, а вести тело из-за границы—сколько возни» (182). Интересен здесь чисто деловой тон записи.

Больше всего внимания в дневнике уделено времени Николая II, для характеристики которого автор не скупится на резкие выражения: Николай вступил на престол совершенно неподготовленным, в дальнейшем он обнаруживает упрямство, деспотизм наряду с полным безволием и способностью поддаваться влияниям; никому из своих приближенных и сотрудников он не внушает доверия—положиться на него совершенно нельзя. Все это Богданович отмечает с той же присущей ей деловитостью, характерной для всех ее записей.

Еще резче отзывается она об Александре Федоровне, принесшей России одни только несчастья своим вредным влиянием на царя. Ее Богданович изображает в самом непривлекательном свете, особенно в последние годы, охватываемые дневником (1909—1912). Дружба царицы с Вырубовой и отношения их к «грязному мужику», Распутину, вызывают у автора чувство глубокого отвращения, которым полны страницы дневника за последние годы. Общественное движение в царствование Николая II и революция 1905 г. отражены в дневнике Богданович бледно,—вернее с точки зрения хлопот и неудобств, причиняе-

мых этими событиями той среде, в которой вращается Богданович. Интереснее ее записи об Японской войне. Ответственными за нее она считает близких к царю лиц, вроде Безобразова и Абазы, втянувших его в корейскую авантюру, а также неумелую дипломатию, не сумевшую использовать в 1901 году приезд в Россию маркиза Ито: «как много вреда могут сделать люди, сидящие не на своих местах. Если бы в 1901 г. с кн. Ито сговорились, не было бы у нас войны с Японией»... когда в 1901 г. Ито уехал из Петербурга, он в Берлине обедал у Сакена, «который при нем продиктовал депешу Ламздорфу (м-ру иностр. дел) о том, что Ито» ... просит его еще раз подумать насчет предлагаемого России соглашения с Японией, что он будет 24 часа ожидать в Берлине ответа Ламздорфа, не уедет, как предполагал, сегодня, чтобы устроить соглашение с другой европейской державой, так как Японии было бы приятнее всего соглашение с Россией. На эту депешу от Ламздорфа не было никакого ответа. Ито уехал и устроил соглашение с Англией. Япония же предлагала России очень выгодные условия относительно Кореи и отдавала два южные порта — Фузан и Мазампо. Вот наша дипломатия!». Рассказ этот был сообщен Богданович чиновником, которому Сакен диктовал депешу к Ламздорфу (469—470).

Самому Николаю II не чужды были аггрессивные настроения, которые автор отмечает у него в 1908 г. по отношению к Турции: «... царь сам теперь желает войны, так как чувствуется, что России нужна победоносная война. Война будет с Турцией. Создадут конфликт для этого. На Кавказ уже двинуто с этой целью 4 корпуса» (444). В 1909 г. признание Россией за Австрией аннексии Боснии и Герцеговины, по принуждению Германии, снова заставляет автора опасаться войны, вызывая возмущение недостойной ролью русской дипломатии. Войны Богданович боится, так как за нею неизбежен «конец монархии» (458). Особенно сильное впечатление производят записи последних лет (1910—1912 г.г.), касающиеся по преимуществу Распутина и его влияния на царскую семью. Этот «мужик», у которого «зверские глаза, самая противная, нахальная наружность» и то поклонение, которым его окружают, возмущает Богданович, так как это окончательно дискредитирует царя и его семью. Записи этого времени говорят почти исключительно о придворных делах и дают полную картину разложения, глубоко охватившего придворные круги и возбуждавшего отвращение даже в таких преданных самодержавию людях, как сама Богданович.

Этой мрачной картиной заканчивается интересный дневник Богданович, безусловно заслуживающий внимания среди обширной мемуарной литературы, вышедшей за последние годы.

Т. Шатилова.

Из научной журналистики.

„Новый Восток“.

(Журнал Всероссийской Научной Ассоциации Востоковедения при Народном Комиссариате по делам национальностей. Кн. 2, М., 1922; кн. 3, М. 1923).

Объемистые томы „Нового Востока“ широко отражают современный размах углубленного интереса к странам Ближнего и Даль-

него Востока. Основной отдел в этих томах—политико-экономический—состоит из ряда статей-обзоров, типа обозрений в прежних ежемесячниках. В общем итоге они дают довольно обстоятельную картину политического движения, охватившего внеевропейские страны. Во второй книге особенно ценны статьи по Китаю Вл. Виленского, Дм. Позднеева и Г. Войтинского, дополняемые в третьей книге статьей (еще не законченной) А. Афанасьева-Казанского об «Экономическом положении Западного Китая»; напомню, что в первой—были очерки о современном Китае, его политических партиях, его железных дорогах—Ивиоса, Абрамсона, Садовского. Общего обзора движения в Китае за последнее время, насколько знаю, у нас нет; его пока заменяет живо написанная книжка американского корреспондента Мак-Кормика «Китайская революция». В научном, историко-этнологическом отделе русскому историку естественно остановиться, прежде всего, на статье Ф. В. Баллода: «Старый и Новый Сарай, две столицы Золотой Орды, и современные им селения Нижнего Поволжья» (кн. 3). Это краткое сообщение о результатах исследования золотоордынских развалин, какое проф. Баллод производил в 1919—1922 г.г. дает яркое представление о значительности добытых им данных и наблюдений. Крайне желательна скорейшая публикация полных отчетов Баллода, часть которых использована М. Н. Покровским во 2-й книге, «Вестника Социалистической Академии». Наблюдения Баллода свидетельствуют об усвоении Золотой Ордой многих элементов среднеазиатской культуры, техники водоснабжения и орошения, сложной системы отопления, строительного дела, гончарного дела, декоративного художества и т. п. Селения городского типа—частью возродившиеся на местах городов до-татарской эпохи, частью вновь возникшие,—центры торговли и промышленности, имевшей большое и недостаточно еще учтенное значение для экономического быта Великороссии. Возрождение с 14-го века стародавней поволжской торговли вскормило Московскую Русь и ориентировало ее энергию на борьбу за господство на великом Волжском торговом пути. Эта сторона истории Великороссии существенно обогащается открытиями Баллода.

Во второй книге находим, кроме общего обзора Д. К. Анучиным данных об «ископаемом человеке» в Азии и Африке, отчетливую характеристику (Т. Н. Кузьминой) того пути, каким Шамполлион пришел к раскрытию загадки египетских иероглифов; этюд В. М. Викентьева о «географических факторах древне-египетской цивилизации: «Пустыня и Нил»; интересные сообщения Б. В. Фармаковского о результатах последних раскопок в Иерихоне (Эрнста Селлина и Карла Вотцингера), В. В. Бартольда об «эпохе Омейядов по новейшим исследованиям» и «Предварительный отчет» И. Н. Бороздина о первом всероссийском съезде египтологов. Статья И. Ванина об Абиссинии относится скорее к отделу текущих обзоров.

В третьей книге, кроме статьи Баллода, имеем этюд С. А. Котляревского о социально-экономических и правовых отношениях в Вавилонии по законам Хаммураби, популярно написанный общий обзор, причем толкование некоторых статей кодекса Хаммураби у С. А. Котляревского сомнительно; так, например, статью 108 он понимает так, что «корчемница будет отказываться принимать хлеб в уплату за напитки и требовать деньги, обесценивая, таким образом, напитки» (?); по переводу Косера смысл получается иной и более вразумительный: корчемница требует денег по высокому весу (курсу), а цену напитков на хлеб—понижает (т.-е. спекулирует на разницу в курсе цен на деньги и на хлеб, очевидно предпочитая получать плату

не деньгами, а хлебом). Или ст. 51: С. А. Котляревский видит в ней указания, что «проценты признаются совершенно законными, хотя взимаются на основании царского тарифа». Но статья эта говорит о том, кто «не имеет денег для расплаты» и дает ему льготу—уплатить стоимость долга и процентов по «царскому тарифу» (м. б.—натурой по таксе?). В. М. Викентьев сообщает о сенсационной находке, взволновавшей весь египтологический мир,—гробницы фараона Тутанхамона. А. А. Васильев, недавно подаривший нам ценный этюд о «Готах в Крыму» («Известия Росс. Ак. Ист. Мат. Культуры», 1), где между прочим рассеял пресловутую легенду о готах-тетракситах, наделавшую исследователям столько хлопот, дает теперь програмную статью о «Проблеме Средневекового Крыма», намечая ряд задач, требующих исследования. Проф. Денике дал отрывок из печатаемой им книги «Искусство Востока»—об арабо-месопотамской школе миниатюры, в которой видит одну из сильных страниц мусульманского искусства. Наконец, за обзором результатов экспедиции П. К. Козлова в Хара-Хото, Д. К. Анучиным, следует небольшая, но очень наглядная и содержательная статья Н. И. Леонова—«Урянханский край до начала XX столетия».

А. Пресняков.

„Revue Historique".

Номера журнала «Revue Historique» за 1923 год не велики: каждый из них имеет около десяти печатных листов. Число исследований в них также не велико: одна — две небольшие статьи, затрагивающие какой-либо крайне узкий вопрос, или же печатание неизданных до сих пор документов, составляют содержание первого отдела; во второй отдел входит ряд обзоров научной литературы, касающейся как истории Франции, так и др. государств.

Обширная, но очень мало интересная статья аббата A. Degert «Le mariage de Gaston d'Orleans et de Marguerite de Lorraine» входит в два номера. Она посвящена истории женитьбы Гастона Орлеанского, брата короля Людовика XIII, на Маргарите Лотарингской.

В сентябрьском номере «Revue Historique» находятся опубликованные Вейлем два письма Гентца к Людовику XVIII. Письма эти, хранящиеся в архиве иностранных дел (Archives des Affaires étrangères, Fonds Bourbons), относятся к 1805 году. Гентц был в это время в отставке и не пользовался влиянием в Вене, он не имел поддержки и предвидел, что положение его будет ухудшаться. Стараясь крепче завязать свои связи с Англией, он в то же время осматривается и соображает, в каком из европейских государств он мог бы найти применение своего опыта и способностей. Время от времени он входит в сношения с лицами, приближенными к Людовику XVIII. 30 марта 1805 г. он обращается с письмом непосредственно к будущ. королю; письмо это интересно тем, что Гентц, кратко излагая свои мысли о возможности освобождения Европы от Наполеона, предсказывает всю программу, которую десять лет спустя союзные державы примут и приведут в исполнение.

Письмо начинается с выражения преданности Гентца принципам легитимности и делу короля: Гентц думает, что мир и порядок в Европе могут быть восстановлены лишь при условии возвращения во Францию законного правительства. Но он предвидит, насколько трудно было бы положение короля, если бы он вернулся во Францию

до того, как она была бы введена в свои старые границы: отказаться от новых территориальных приобретений Франции, от ее могущества и влияния в Европе — значило бы произвести во Франции тяжелое впечатление; сохранить плоды побед Наполеона — было бы несовместимо с миром в Европе. Поэтому, пишет Гентц, остается только надеяться на то, что европейские монархи, освободившись от летаргического сна, в который опи погружены, возьмут на себя самое трудное в этом деле.

Но объединятся ли кабинеты Европы против общего врага? Гентц, несмотря на общий пессимизм в этом вопросе, думает, что русский император и его доверенные министры искренно желают предпринять что - либо против «узурпатора», но лишь при том условии, чтобы Венский и Берлинский дворы искренно согласились принять в этом участие. Но, прибавляет он, зная эти дворы, необходимо знать, на каких бы это было условиях?

Австрия первая должна была бы подать знак к объединению против Наполеона: титул «короля Италии», который принял «узурпатор», завершает все унижения, которые ей пришлось испытать; но Гентц боится, что Австрия и на этот раз стерпит унижение и не воспользуется добрыми намерениями русского императора. Вечным предлогом бездеятельности Австрийского двора служит недоверие, внушаемое ему Пруссией; то же чувство по отношению к Австрии испытывает Пруссия. Гентц пишет, что в течение шести месяцев он употреблял свои усилия, чтобы уничтожить это взаимное опасение и недоверие, будучи убежден в том, что это — необходимое условие всякого успеха. Но все, что Гентц делал, говорил, писал, слышал, — убедило его в том, что главная причина бездеятельности Пруссии и Австрии заключается в характере тех лиц, которых судьба поставила во главе государств во время такого тяжелого кризиса; Гентц прибавляет, что последние известия из Англии успокоительны и хороши, но все же, если до следующей зимы не произойдет никакой существенной перемены хотя бы в одном из двух немецких дворов,— Англия не сможет продолжать войну. А что произойдет после заключения этого нового мира — об этом Гентц не хочет даже и думать.

Второе письмо Гентца к Людовику XVIII относится к 10 августа 1805 года. Оно короче первого письма и менее интересно. Гентц указывает Людовику XVIII на то, что в данный момент необычайно трудно рассчитывать на активное вмешательство одной из европейских держав в дело восстановления в Европе мира и спокойствия. Но если даже в действительности вспыхнет война, — то она будет еще более двусмысленной, мелочной и прерываемой интригами и мирными переговорами, чем все предшествовавшие войны. Более бескорыстно и с более твердыми намерениями мог бы заинтересоваться общеевропейским делом русский император. Он свободен и могуществен. Но все, что Гентц знает о настроении его и его министров, его молчание в ответ на письмо Людовика, — все это дает чрезвычайно мало надежды: при существующем у Петербургского двора настроении Россия не может восстановить порядок ни во Франции ни в Европе, а только, может быть, отнять у Бонапарта некоторое количество территории.

В небольшой статье J. E. Gérock'a (Les lignes de Wissembourg ou de la Lauter et la frontiére septentrionale de l'Alsace) автор рассматривает судьбу этих пограничных местностей, начиная с Вестфальского мира, — на протяжении второй половины XVII и в течение XVIII и XIX веков и доказывает их малое военное значение.

Общее впечатление от «Revue Historique» — несравненно менее выгодное, чем то, которое оставлял этот журнал в довоенное время. Худосочные, тоненькие книжки, с довольно случайным, малозначительным материалом совсем не напоминают прежний журнал. Будем надеяться, что в 1924 году журнал будет более и более воскрешать свои былые славные традиции.

Н. С. Измайлова.

„English Historical Review" и „American Historical Review" за 1923 год.

После почти 10-ти-летнего перерыва появились вновь в Публ. Библ. иностранные исторические журналы. Мне хочется пока поделиться с читателем «Анналов» лишь тем общим впечатлением, которое получено мною от просмотра книжек «English Historical Review» и «American Historical Review» за 1923 год.

На первый взгляд, как внешний вид, так и внутреннее содержание их остались неизменившимися; тот же формат, бумага, то же распределение материала и тот же характер его; однако, цена на журналы значительно повышена, даже в фунтах и долларах. Рядом с хорошо известными прежнему читателю именами выдающихся историков: Poole, Polard, Haskins, появились и новые, доселе неизвестные, авторы.

Хотя оба журнала построены на интернациональном принципе, т.-е. стремятся отражать историческую работу не только в области истории своей страны, но и других европейских стран, тем не менее тяга в сторону национальной истории весьма сильна, особенно в американском журнале. Недаром проф. Haskins счел полезным напомнить своим соотечественникам (Статья «European history and American scolarship» в январской книжке 1923 г. «Amer. Hist. Rev.») о нитях, протянувшихся от истории Европы к истории Америки, и посетовать лишний раз на недостаточное изучение американскими историками даже истории Англии; в личных разговорах он выражал мне те же мысли еще в более резкой форме. А между тем цель создания «Amer. Hist. Rev», долженствовавшая, в мыслях ее основателей, отличать ее от прежних журналов, была именно создать журнал всеобщей, а не только американской истории (см. т. XXVI, октябрь 1920 г. статья о 25-летнем юбилее журнала). Это благое намерение очевидно натолкнулось на недостаток американцев—специалистов в области европейской истории, а может быть, сказывается и проявившиеся за последнее время стремление изолироваться от Европы; как бы там ни было, уклон в сторону национальной истории становится все более ощутительным.

Содержание «Engl. Hist. Rev». поэтому для нас более интересно по своему разнообразию. Мы имеем здесь углубленные исследования в области истории английского правительственного аппарата. Статья Pollard'a о «Privy Council» анализирует постепенное выделение этого частного совета из рамок более широкого совета, расширение им своих функций и захват власти над другими советами и наконец постепенное ослабление его, по причине, думает автор, чрезмерного увеличения числа его членов; статья Turner'a касается происхождения другого совета, более поздней эпохи «Cabinet Council».

Ценны также экскурсии в область внешних сношений Англии, как, напр., статья P. Geyl о Карле I или статья Poole о дипломатии

Жана Саллсбюрийского при папском дворе XIII ст. Затрогивается и история других стран, напр., в статье Privité-Orton о Марсилии Падуанском, где дается, одновременно с характеристикой его мировоззрения, очерк жизни Падуанского университета в XIII ст. Истории высшей школы прямо касается статья Robert F. Young о чешских студентах в английских университетах, особенно в Оксфорде; хотя она помещена не в первом отделе оригинальных статей, а во втором, озаглавляемом «Documents», тем не менее она носит характер сводки архивного материала, присущий некоторым статьям этого отдела «Engl. Hist. Rev».

Приходится констатировать отсутствие в обоих журналах статей, касающихся последней войны.

В заключение мне хочется подчеркнуть особо приятное для нас, русских, появление (в январской книжке 1923 г. «Amer. Hist. Rev.») статьи проф. Преснякова об «Исторических работах в России за революционный период». В бытность мою за границей в 1922—23 годах мне не раз досадно было убеждаться, что нас, историков, живущих в России, слишком рано склонны сдать в архив, отчасти под влиянием пессимистических утверждений русских эмигрантов. Противодействие подобному предвзятому мнению является, разумеется, не только желательным, но и настоятельно необходимым; чрезвычайно важно было бы восстановить прерванный обмен с Западом научными изданиями, на что некоторые заграничные научные учреждения пошли бы, как мне пришлось убедиться, весьма охотно, ибо русские ученые успели заслужить себе своими трудами прочную репутацию во всей Европе.

Инна Любименко.

„Historische Zeitschrift"

(Bd. 128 (1923), Hefte 1—3).

Быть может, это впечатление случайно, но материал последнего тома «H. Z»., в гораздо большей мере, чем предыдущих, повидимому, говорит о тяжелых отголосках сегодняшнего дня. Читатель уловит в большинстве статей настроение критического раздумья, оглядки, столь далекой от вызывающего самоутверждения национального пути. Интересует по прежнему всего сильнее ближайшее прошлое. Г. Глокнер дает живой образ эстетика-гегельянца Ф. Т. Фишера, «как этико-политической личности». Этот образ может быть, до известной степени, репрезентативным для развития германской интеллигенции от отвлеченного гуманизма, через бурю 1848 г. (демократ-Фишер сидел во Франкфуртском парламенте), к нелегкому примирению с Пруссией, во имя национальной идеи. У нас в России склонны поверхностно-полемически относиться к этой эволюции. Статья Глокнера показывает тяжелую борьбу совести и историческую неотразимость пути немецкого гуманизма. Э. Ротгакер характеризует историческую школу «Савиньи, Гримм, Ранке» в их родстве и своеобразии, особенно последнего. Проблема происхождения германской историографии (романтики, Гегель) в последнее время живо дискутируется (новая книга Трельча «Der Historismus und seine Probleme» 1922). Более актуальна ст. Штейнакера «Австро-Венгрия и Вост. Европа». Автор хочет подойти к Австрии не с немецкой, а с «вост.-европейской» т. зрения. Анализ исторической судьбы западного славянства и мадьярства приводит его к положительной оценке австрийской идеи, вне которой

народы Вост. Евр. нежизнеспособны. Здесь проблема для будущей Германии и России, разрешение которой автор видит в национальной автономии меньшинств в рамках сильного государства.

Русского читателя заинтересует небольшая ст. Г. Ульмана «Трения в Бисмарковской системе договоров» в конце 1887 г. Это— трения с Австрией, которая пыталась придать австро-германскому союзу наступательное острие против России. Бисмарк отклоняет это, верный своей системе «перестраховок» (соглашение с Россией).—Средневековью посвящены две работы: В. Ленель, «Констанцский мир 1183 г. и итальянская политика Фридриха I», строго фактическое исследование, вносящее коррективы к господствующему (со времен Фикера) взгляду о дипломатической победе императора, и А. Гессель: «Одон Клюнийский и проблема французской культуры в раннее средневековье». Для научной объективности автора показательно безоговорочное признание приоритета Франции в средн. века и интерес к объяснению этой проблемы. Впрочем, индивидуальная биография клюнийского реформатора проливает немного света на общую проблему, и в остальном работа редко покидает почву общих мест.

В отделе рецензий обращает внимание книга Макса Эберта «Südrussland im Altertum» (436 p., 1921 г.)—преисторические главы ценнее греческих;—сборник статей K. Holl'a: Aufsätze zur Kirchengeschichte, Bd. I: Luther (строгий Белов дает ему почти восторженную оценку) и — вероятно, последние строки, вышедшие из-под пера Трельча—его отзыв о втором томе Шпенглера. Отзыв суровый, но метко схватывающий линии Шпенглеровской философии. Некролог, в числе других имен, сообщает о тяжелых потерях: А. Верминггофа (историка-юриста, гл. обр. церковного права) и Э. Трельча, скончавшихся в 1923 г.

Г. Федотов.

Сборник „Века".

(Века. Исторический сборник. I. Под редакцией А. И. Заозерского и М. Д. Приселкова. Ленинград. «Наука и Школа». 1924 Стр. 199).

Со времени выхода в свет последней, 8-ой, книжки «Русского Исторического Журнала» (в июле 1922 г.), специальные исследования по русской истории находили себе место в более или менее случайно удававшихся исторических сборниках, как «Сб. статей, посв. С. Ф. Платонову», «Россия и Запад», отчасти «Русское Прошлое». — «Века» примыкают к этой традиции.

Они рассчитаны, однако, не только на специальный читательский круг. Кроме значительного отдела рецензий — преимущественно на новинки по русской истории (с.с. 165—195)—сборник заключает в себе 6 очерков и исследований по русской истории XII — XIX ст. (с.с. 3—164).

А. Н. Насонов делает попытку пересмотреть вопрос об отношениях «Князя и города в Ростово-Суздальской земле в XII и первой половине XIII в.в.». К этой старой теме привлекло автора разномыслие, существующее в литературе вопроса, имеющего, как он думает, «существенное значение для понимания общего хода древнерусской истории»: «с его решением связано определение того исторического момента, на котором сходит со сцены старая вечевая Русь, и тех исторических условий, в которых зарождается новая Русь удельно-княжеская».

Представляя себе это разномыслие в виде двух мнений: Ключевского, хоронившего «вечевую Русь» в условиях «устроительской деятельности князей на севере в XII веке», и Сергеевича, сводившего ее со сцены с появлением татар, — А. Насонов пересматривает имеющийся северно-русский летописный материал с целью дать свое третье. В противность Ключевскому, он приходит к выводу, что «на севере в XII—XIII в.в. начинают проявляться бытовые черты старой вечевой Киевской Руси, в основе своей общие укладу жизни всех волостей того времени»; в согласии с Сергеевичем он думает, что татарское нашествие «убило вечевую практику города, резко определив новое соотношение сил»; в отличие от них обоих, автор выдвигает первенствующую роль торгового города (Ростова, позднее Владимира) и его коренного населения в политической жизни торгового края, отрицая эту роль за боярством и помещая это последнее «преимущественно» в Суздале, «занимавшем», как он думает, в бурных событиях к. XII—нач. XIII в.в. «пассивную роль».—А. Насоновым усердно изучены летописные тексты, и он, видимо, особенно дорожит самостоятельностью и «несогласиями» в их интерпретации, несколько легко переступая через своих ближайших предшественников и невсегда тщательно избегая натяжек, упрощений и логических шероховатостей построения статьи в целом.

М. Д. Приселков в небольшом, полном архитектурного изящества, этюде, анализируя текст «Летописца» 1305 года, отчасти вошедшего в состав Лаврентьевской и Троицкой летописей, приходит к выводу, что «Летописец» этот является попыткой возродить угасшее после 1283 г. велико-княжеское летописание, предпринятое вел. кн. Михаилом Ярославичем Тверским.

П. А. Садиков опубликовал переписку Ивана Грозного с опричником Василием Гр. Грязным, в отрывках напечатанную еще Карамзиным. Переписка, в составе одного письма Грозного и двух - из крымского плена—Грязного, извлечена из крымских посольских книг, хранящихся в архиве мин. ин. дел в Москве (№ 14). Самому тексту, в качестве комментария, П. Садиков предпослал подробный биографический очерк Грязного, устанавливающий сравнительную нехудородность «Васюка» (не «Васьки»). Публикация эта ценна тем, что дает едва ли не единственный подлинный образец эпистолярной манеры царя и отношения его к одному из близких опричников. По своей теме — вопрос о выкупе попавшего в плен Грязного — переписка не могла дать ничего для характеристики «опричной идеологии»: обстоятельство, разъяснению которого издатель напрасно уделил столько внимания во второй части своей вводной статьи.

Красочную характеристику Андрея Ф. Палицына, как русского интеллигента XVII в., дал С. В. Бахрушин—на основании большого следственного «дела», сохранившегося в моск. архиве мин. ин. дел. Переживший все перипетии смуты тушинец Палицын в царствование Михаила Федоровича попал вторым воеводой в Мангазею, в далекую Сибирь, и там сделался героем грандиозного и длительного административного скандала, выросшего на почве дикой вражды между ним и первым воеводой Гр. Кокоревым; вражды, доходившей до форменной войны с обеих сторон, с применением даже артиллерийского боя. Эпизод освещается большим количеством, между прочим, личных писем Палицына к царю. Тип среднего служилого человека, соприкоснувшегося с польской культурой, растерявшего в бурных обстоятельствах смуты цельность традиционного мировоззрения, вольнодумца и суевера, часто пьяного и буйного во хмелю админи-

стратора, одновременно искусного демагога и верного служаки — А. Палицын en regard со своим врагом Кокоревым, истинным московским держимордой и взяточником, необыкновенно удался С. В. Бахрушину, показавшему своего героя в цельном куске и конкретной бытовой обстановке.

Столь же конкретно и вплотную к жизни подводит читателя А. И. Заозерский в рассказе об одном «эпизоде из истории Пугачевского бунта», имевшем место в двух Пензенских вотчинах кн. Куракиных (по докум. собр. Тиханова в Росс. Публ. Библ.). Из сопоставления собранных следствием показаний крестьян с.с. Архангельского и Борисоглебского, оказавшихся в районе действий пугачевских «партий», А. Заозерский собрал живую картину, рисующую поведение крестьянских миров и их должностных лиц в дни соприкосновения с «партиями». Бунт, сказавшийся здесь преимущественно в том, что крестьяне лишь принимали и исполняли приказы пугачевцев, не вскрыл никакой розни в крестьянах и «только повернул весь мирской аппарат в другую сторону», не подвинул крестьян на вооруженное или активное содействие восстанию, даже на убийство арестованного было приказчика.

Оставаясь строго в пределах данного эпизода, автор лишь предположительно объясняет такую пассивность крестьян невнушавшими им доверия составом и образом действий «партий».

Интересный материал для истории франко-русских отношений после Крымской кампании изложила Л. Фейгин в статье о секретном русско-французском договоре 3 марта 1859 г., завершившем переговоры, начавшиеся между обоими правительствами еще до подписания Парижского мира 1856 г. Переписка, взятая автором из секретного архива кн. Горчакова (в архиве мин. ин. дел?), детально освещает период 1856 — 59 г.г., как русскую попытку выйти из изолированного положения, в какое попала Россия на Парижском конгрессе и добиться пересмотра трактата 1856 г. при содействии Наполеона III, искавшего в свою очередь помощи России в готовившейся франко-австро-итальянской войне. Текста договора Л. Фейгин полностью не приводит, и из недостаточно отчетливых пересказов нескольких проектов и контрпроектов договора читателю приходится с трудом самому восстанавливать его пункты; приэтом так и остается неясным: обязательство двинуть русский корпус к австрийской границе — было ли включено в текст договора или составило предмет устного обязательства Александра II?

Б. Романов.

Новые документы по истории последних лет.

Красный Архив. Исторический журнал. Центрархив—Москва. 1923 г.—Т. т. III (327 стр.) и IV (451 стр.).

Две последние книжки «Красного Архива» отличаются не меньшим богатством содержания, чем предшествующие. Можно сказать, что предпринятый Центрархивом опыт публикации сырого исторического материала, весьма ценного для исследователя и одновременно интересного для широких читательских кругов, в основном вполне удался, и журнал имеет все шансы на дальнейший успех и признание. Главнейшее условие этого успеха—в том, что первое место в журнале принадлежит документам по новейшей истории России. Самая

разнородность их тем и содержания, неизбежная во всяком журнале, имеет то преимущество, что представляет читателю эту совсем недавнюю старую Россию каждый раз в живом, многостороннем куске— при помощи дипломатического документа, дневника современника, должностного донесения чиновника, писем царствующих и правящих особ, прокламаций, прошений, свидетельских показаний, подлинного литературного отрывка или авторского к нему пояснения, протокола судебного процесса и т. п., с приложением важнейших автографов. Отметим наиболее значительные документы по международной и политической истории, напечатанные в III и IV т. т. журнала.

Происхождения мировой войны касаются: 1) всеподданнейшие доклады мин. ин. дел. С. Д. Сазонова 1910—12 г. г. (т. III, с.с. 5– 28) и 2) поденная запись министерства иностранных дел с 3 по 20 июля 1914 г. Доклады Сазонова взяты из «секретного архива министра», хранившегося, сколько знаем, отдельно от общего архива министерства иностран. дел и давшего уже обильный материал, опубликованный Н. К. И. Д. в I т. «Материалов по истории франко-русских отношений за 1910—14 г.г.», М. 1922. Именно в этом последнем сборнике напечатан очень интересный для истории Антанты доклад о переговорах с Пуанкарэ, имевших место в Петербурге в августе 1912 г. В нашем издании имеем доклады: 1) о переговорах с Вильгельмом, Бетман-Гольвегом и Кидерлен-Вехтером в Потсдаме в октябре 1910 г., 2) о переговорах с двумя первыми в Балтийском Порте в июне 1912 г. и 3) о переговорах с Георгом V и Эд. Греем в Бальморале, а также с политическими деятелями в Париже и Берлине, в сентябре 1912 г.—Как известно Потсдамское свидание русского и германского императоров в свое время наделало шуму в Европе и дало повод к толкам (даже в депутатских выступлениях во французской палате) о фактическом расторжении франко-русского союза и переходе России на сторону Германии. Утверждали, что Россия в стремлении к Персидскому заливу нанесла удар Англии, согласившись с Германией в Багдадском вопросе, и под давлением этой последней, перешла к активной политике в Китае, причем указывалось на состоявшуюся в это время перемену в дислокации русских войск на германской границе, повлекшую ослабление русских сил, назначенных против Германии [1]). Из опубликованных теперь документов можно точно установить характер и степень происшедшего в Потсдаме сближения. В объяснениях Сазонова с Вильгельмом были затронуты два вопроса: о покровительстве Вильгельма панисламистской пропаганде и о морских вооружениях Германии и Англии. Вильгельм категорически отрицал существование «Берлинского халифата» и след. всякого повода к проявляемому в России беспокойству за свои 20 милл. мусульманских подданных; относительно же Англии, точно догадываясь об известном теперь плане Фишера (см. «Анналы», III), Вильгельм обвинял ее в замысле внезапно уничтожить германский флот и угрожал, что не потерпит ни малейшего изменения к невыгоде Германии в соотношении обоюдных морских сил. Переговоры Сазонова с руководителями германской политики наметили: 1) полную готовность Германии, по своей инициативе, взять на себя посредничество и отказать Австрии в поддержке, если бы она обратилась к политике захватов на Балканах, и 2) принципы соглашения в вопросе о герман-

[1]) См. „Материалы по истории франко-русских отношений", т. I, с.с. 37, 63, 67. За решение удалить с границы 4 армейских корпуса Вильгельм благодарил Николая задолго до свидания; см. „Переписка Вильгельма II с Николаем II", М. 1923, стр. 158, письмо от 11 января 1910 г.

ской торговле в Персии, железнодорожном строительстве там и возможной доле участия России в управлении Багдадской ж. д.—Как Николай, в резолюции на докладе Сазонова, так и Вильгельм, в письме к царю после свидания («Переписка», стр. 159), выразили полное удовлетворение результатами переговоров. Предложение облечь их в юридическую форму последовало с германской стороны вскоре после свидания в виде проектов двух договоров, представленных Сазонову гр. Пурталесом (приложены к докладу с пометкой Сазонова, что отклонены Россией 28 ноября 1910 г.). Один из них, заключавший отказ Германии от каких-либо концессионных искательств в русской зоне в Персии и обязательство России не препятствовать сооружению Багдадской ж. д. и в течение двух лет приступить к постройке ж. д. Тегеран-Ханекин на соединение с Багдадской линией, был подписан лишь 6 августа 1911 г. и в последующей дипломатической переписке получил кличку «Потсдамского соглашения». Другой, по балканскому вопросу, так и остался отклоненным со стороны России. Было бы смешно утверждать, что клочек бумаги способен был бы предотвратить начавшуюся в 1914 г. войну, но смысл германского текста проекта, в нашем издании, сводился именно к этому. Согласно ему, Германия отказывалась поддержать австрийскую экспансию на Бл. Востоке, взамен чего Россия обещала не оказывать поддержки враждебной Германии английской политике; обе стороны соглашались сохранить status quo на Балканах, а, в случае возникновения конфликта, принять все возможное для его локализации и воздействия на своих союзников в целях предотвращения всеобщего пожара.—Если этим с Потсдамом и ограничилось, то чорт выходил отнюдь не таким страшным, как его малевали. Несовсем понятно только, на чем основывался Извольский, когда, возбуждая в октябре 1911 г. перед французским правительством вопрос о свободе действий России в проливах, убеждал русское министерство иностранных дел, что и Германия не окажет России явного противодействия потому, что «и н а ч е б ы л и б ы с р а з у п о т е р я н ы в с е р е з у л ь т а т ы П о т с д а м а».—Или устное заявление Бетман-Гольвега о готовности не поддерживать политику захватов, в связи с отказом России подписать соглашение о защите status quo на Балканах, можно было толковать в смысле согласия Германии на свободу действий России в проливах?

1912 год—год завершения германской судостроительной программы и балканской «освободительной войны»—был годом свиданий и решительного равнения держав на всеобщую войну. Свидание в Балтийском Порте—бледная попытка укрепить добрые отношения двух кабинетов, «не меняя ничего в сложившихся отношениях» между Петербургом, Парижем и Лондоном. Доклад Сазонова и не дает ничего нового против того, что стало известно официально в печати непосредственно после свидания. Отметим лишь, что Вильгельм попрежнему с автоматическим упорством предупреждал Сазонова об японской опасности и желательности поэтому сохранения цельного и сильного Китая, на что Сазонов, не упоминая о секретных соглашениях с Японией 1907 и 1910 г.г., отвечал лишь указанием на возможную опасность для России именно со стороны сильного соседнего по тысячеверстной границе Китая. Как раз в эти дни в Париже шло совещание начальников русского и французского штабов, а немногим позднее (август) Пуанкарэ под большим секретом сообщил Сазонову о состоявшемся устном соглашении с Англией относительно вступления ее в войну в случае нападения Германии через Бельгию, и советовал Сазонову договориться с Англией о совместных действиях в Балтий-

ском море. Поездка Сазонова в Англию (Бальмораль) в сентябре 1912 г., как видно, стояла в прямой связи с сообщениями Пуанкарэ.

Сазонова ждал в Бальморале «необыкновенно радушный прием», как со стороны короля, так и со стороны Эд. Грея и лидера оппозиции Бонар-Ло. «Пользуясь этой благоприятной обстановкой», Сазонов счел прежде всего полезным осведомиться у Грея о том, «чего бы мы могли ждать от Англии в случае вооруженного столкновения с Германией»: «и мне—пишет Сазонов—представляются весьма знаменательными слова, которые мне довелось услышать по этому поводу, как от ответственного руководителя английской внешней политики, так затем и из уст самого короля Георга». На вопрос, «не может ли Англия (по примеру Франции на Средиземном море) в свою очередь оказать нам одинаковую услугу на Севере, оттянув германские эскадры от нашего побережья в Балтийском море», — Грей, не колеблясь, заявил, что если бы наступили предусматриваемые обстоятельства, «Англия употребила бы все усилия, чтобы нанести самый чувствительный удар германскому морскому могуществу», хотя бы ей и пришлось ограничиться операциями в Северном море. Приэтом Грей, «по собственному почину», сообщил собеседнику о принятом на себя Англией обязательстве, в случае войны с Германией, оказать Франции помощь путем высадки войска на материке. Король же «высказался еще более решительно», «воскликнув, что, в случае столкновения, последнее должно будет иметь роковые последствия не только для германского военного флота, но и для немецкой морской торговли, ибо англичане пустят ко дну (We shall sink) всякое немецкое торговое судно, которое попадется им в руки». — Из затронутых далее тем, первое место принадлежало связавшим обе стороны с 1907 г. персидским делам, причем в самом дружественном тоне речь пошла о дальнейшем углублении раздела этой страны: Сазонов не настаивал на восстановлении на престоле экс-шаха Махомеда-Али, Грей согласился поручить регентство Саад-уд-Доуле и выдать, при условии, что то же сделает и Россия, авансы на образование жандармерии; вопрос о трансперсидской ж. д. решили в том смысле, чтобы концессию на нее взять теперь же с тем, что Россия может строить линию от границы до Тегерана независимо от того, когда Англия решится строить свой участок и отказаться от «островного» положения, которое сохраняется теперь за Индией. Далее Грей предупредил, что, в виду непригодности шведов, Англии придется, вероятно, организовать военные отряды под руководством английских офицеров для поддержания порядка как в британской, так и в нейтральной зонах. Но так как в данный момент Грей не спрашивал еще на это согласия России, решение было отложено, и Сазонов поспешил предложить пересмотреть вопрос о нейтральной зоне «в смысле сведения ее на нет», дабы исключить притязания на нее «третьих сторон». Грей тотчас же «подал мысль о возможности раз навсегда исключить посягательства Германии» на эту зону путем получения совместно Англией и Россией единственно заманчивой для Германии концессии на ж. д. Тегеран-Мохаммера, на что Сазонов выразил полную готовность, не откладывая добиваться этой концессии всеми возможными средствами. Не менее дружественно затронуты были и вопросы тибетский и монгольский, которым Грей пытался придать аналогичное значение: первому для Англии, второму для России.—В остальном сентябрьский доклад Сазонова имеет ценность сводного обзора текущего международного момента, как он отразился в политике великих держав, мало давая однако нового по су-

ществу отдельных вопросов, затронутых в беседах б. министра в Париже и Берлине.

Поденная запись министерства иностр. дел (т. IV, стр. 5—62) заслуживала опубликования уже по одному тому, что теперь можно, повидимому, считать исчерпанным тот материал, который имелся в русском м-ве относительно действий этого м-ва в июльские дни 1914 г. Документ представляет собою дневник происходившего в министерстве с 3 по 20 июля с разбивкой по дням же и всех исходящих телеграмм в сокращенном изложении. Редакция совершенно правильно не ограничилась воспроизведением «записи», а и напечатала in extenso в приложении те из телеграмм, которые еще не были опубликованы в советских изданиях («Красный Архив», т. I и «Материалы рус.-фр. отн.», т. I). Текст «записи», повидимому, изготовлялся в м-ве не по пятам событий; по крайней мере некоторая работа по собиранию материала шла еще в январе 1915 г. [1]). — Как известно, решение вопроса о русской мобилизации сопровождалось некоторыми колебаниями. Теперь «запись» совершенно точно устанавливает относящиеся сюда подробности, не лишенные интереса. Частичная мобилизация (4 округов) решена была в заседании совета министров 11 числа «принципиально». 12-го в совещании у царя решено не объявлять мобилизации, но принять все приготовительные меры. 16-го с разрешения царя состоялось совещание Сазонова, Сухомлинова и Янушкевича, которые пришли к заключению о необходимости произвести общую мобилизацию, не приступая к частичной, на что царь тут же по телефону и согласился. В 11 ч. веч. однако последовало приказание об отмене общей мобилизации [2]). 17-го Кривошеин, по соглашению с Сазоновым, в целях добиться отмены приказания о приостановке мобилизации, просил о приеме, но получил из Петергофа отказ за недостатком времени. Между тем Сазонов, Сухомлинов и Янушкевич пробовали убеждать Николая по телефону, но тот стоял на своем и «коротко объявил, что прекращает разговор». «Янушкевич, державший в эту минуту в руках телефонную трубку, успел лишь доложить, что министр иностранных дел находится тут же, в кабинете, и просит разрешения сказать государю несколько слов. Последовало некоторое молчание, после которого государь изъявил согласие выслушать министра». Сазонов попросил принять его для неотложного доклада в тот же день, на что, «помолчав», Николай спросил: «Вам все равно, если я приму вас одновременно с Татищевым в 3 часа, так как иначе у меня сегодня нет ни одной минуты свободного времени?». — Янушкевич «умолял» Сазонова непременно убедить царя согласиться на общую мобилизацию, так как ее успех будет «скомпрометирован» предварительным производством частичной, и, в случае удачи, передать ему, Янушкевичу, об этом из Петергофа по телефону. «После этого,—сказал Янушкевич — я уйду, сломаю мою телефон и вообще приму все меры, чтобы меня никоим образом нельзя было разыскать для преподания противоположных приказаний в смысле новой отмены общей мобилизации». — В Петергофе Сазонов в течение почти целого часа

---

[1]) Т. наз. „забытая“ телеграмма Николая Вильгельму от 16 июля с предложением передать австро-сербский спор на гаагскую конференцию (сообщенная французскому послу лишь в январе 1915 г.) имеется в „записи“ без всяких признаков вставки. Между тем черновик телеграммы был найден—и впервые стал известен Сазонову—в январе при разборе бумаг царя. См. Палеолог, Царская Россия, т. I. стр. 204.

[2]) Как записал в своем дневнике Сухомлинов, он передал Янушкевичу „до утра ничего не делать“, и 17 „Мобилизация остановлена не была». Дела и Дни, кн. I, с 220.

доказывал, что война стала неизбежной и необходимо встретить ее во всеоружии, пока добился согласия царя. Теперь можете сломать телефон», прибавил Сазонов, сообщив Янушкевичу о состоявшемся решении, и мобилизация была объявлена. Итак и в этой, столь официальной, записи сохранился полный реализма отпечаток личности Николая: Татищев, молча присутствовавший при разговоре, как-то вставил: «Да, решить трудно». «Решать буду я», резко оборвал Николай.

Хороший материал заключает в себе Дневник А. А. Половцова (т. III, с.с. 76 — 172 и т. IV, с.с. 63 — 128) за 1901, 1902, 1903, 1905—1908 г.г. В качестве рядового члена Госуд. Совета Половцов хорошо знал жизнь правящего Петербурга благодаря, многообразным своим близким и дальним связям. До-революционная часть дневника неизмеримо содержательнее последующей, и представляет полную аналогию Куропаткинских дневников. Совершенное разложение правящей верхушки у Половцова выходит еще выпуклее, чем у Куропаткина, и при всей, иногда очень глубокой, наивности Половцова у него больше критического отношения, он смотрит на происходящее несколько со стороны, не чувствует себя полноправным участником правительственного действа и сохраняет большую самостоятельность суждения, опираясь на бытовую свою независимость, традиции либерализма 60-х г.г. и аристократического барства. До последней степени лишенный сарказма и иронии, Половцов, однако, своими точными фактическими и мелочными записями не пощадил никого. Читая дневник, видишь человека в полном покое своего личного быта сознающего безвыходность положения страны, которое он склонен порою сравнивать с временем Павла. Много мелких черточек соберет историк со страниц дневника, который однако в целом почти ничего нового не дает после дневников Куропаткина.

Формально совершенно новый вид документа имеем в опубликованной в IV т. Архива (стр. 131—156) переписке м-ра фин. В. Н. Коковцова с известным французским банкиром Эдуардом Нецлином (1906—1909). Нецлин, устроитель т. наз. большого русского займа 1906 г., не мог не испытывать известного беспокойства за судьбу финансовой операции, произведенной в стране, отнюдь не изжившей, как он видел, революционного кризиса с созывом I Думы. Переписка, возникшая по его почину, первоначально и имела целью поставить его в курс ближайших общеполитических перспектив русского правительства из самого первоисточника; поэтому она, что касается писем Коковцова, получила вид, как бы отчетов о правительственной деятельности. В общем, переписка подводит русского читателя, м. б., впервые к самому нерву, связывавшему старую Россию с миром европейского финансового капитала в эпоху первой революции. В письмах Коковцова имеются и некоторые любопытные подробности о внутренних делах, как, напр., о знаменитом инциденте с приглашением Шипова и др. «общественных деятелей» в кабинет.—Документ взят из архива министерства финансов. Этот первый опыт обращения журнала к названному архиву показывает, — что и без того можно было предполагать,—что и там могут находиться весьма ценные материалы по новейшей политической истории.

Исключительный интерес представляет серия писем и телеграмм Александры и Николая в последние месяцы перед февральской революцией (4 дек. 1916—1917 г., т. IV, с.-с. 169—221). Читатель, знакомый с ранее изданным томом этой переписки за за 1914 — 15 г.г., казалось бы, достаточно подготовлен к тому, чтобы

не удивляться: но именно в последние месяцы режима патологическая сторона переписки превосходит все ожидания читателя. Центральная фигура—Распутин.

Наконец, переписка Сухомлинова и Янушкевича за 1914 г. и 15 г.г. по день отставки первого, начатая печатанием в I и законченная в III т. Архива, еще и еще раз дает изумительную иллюстрацию, в параллель с семейной перепиской Романовых, той пустыни, которая царила в личном составе правящих классов. Давая множество фактических деталей, переписка представляет все данные для самого жестокого судебного приговора обоим руководителям военных действий. Со стороны Сухомлинова — это ревнивое к своему министерскому положению легкомыслие, со стороны Янушкевича— заискивающее и постоянно извиняющееся за причиняемое старшему в чине беспокойство просьбами о присылке «бомбочек» и всякого др. снаряжения. Сколько, напр, гордости звучит в письмах Сухомлинова, когда он упоминает об организационных талантах своей жены и пробует представить ее себе во главе артиллерийского ведомства и сколько подобострастных похвал по ее же адресу за поезда-прачешные расточается в письмах Янушкевича.

Нет возможности в краткой заметке исчерпать все содержание рецензируемых томов «К. Архива» [1]). Но и сказанного достаточно, чтобы судить о том, какой ценный материал подбирается мало по малу в Центрархивском издании. Нужно пожелать лишь быстрейшего его продолжения. При построении курса новой и старой России уже и без этих вышедших 4 т. т. не обойдется ни один исследователь.

Б. Романов.

---

[1]) Следует упомянуть еще любопытнейшие письма Победоносцева к Александру III за март—апрель 1881 г. (т. IV).

Хроника.

Положение германской науки.

(Die Not der deutschen Wissenschaft und der geistigen Arbeiter. Geschehnisse und Gedanken zur Kulturpolitik des Deutschen Reiches von D. Dr. Georg Schreiber ordentl. Universitätsprofessor in Münster i. W., Dr.-Ing. h. c., Mitglied des Reichstags. Leipzig, 1923. 8°. 149).

Член герм. рейхстага проф. Г. Шрейбер, выдвинувшийся умелой и энергичной защитой культурных ценностей Германии и человечества в эпоху тягчайшего из пережитых Германией испытаний, опубликовал в значительно дополненном и расширенном виде свой запрос в рейхстаге 16 окт. 1922 г., чрезвычайно солидно обоснованный и сопровождавшийся полным успехом. Брошюра обратила на себя внимание и в Германии, и за границей; стоит с нею ознакомиться и русскому читателю, так как она, повидимому, хорошо резюмирует все существенное в громадной и для нас совершенно или почти недоступной литературе, посвященной больному вопросу первостепенной важности. Досадно лишь то, что книга печаталась уже в мае 1923 г., и потому фактические сведения, даваемые ею, значительно запоздали. Впрочем, не в них заключается основной интерес книги, а в общем освещении тягости положения германской науки в различных сторонах ее быта.

Автор развертывает такую картину состояния герм. науки, которая должна глубоко потрясти всякого образованного человека, особенно научного работника, в сохранении и процветании науки видящего всегда один из надежнейших залогов наступления лучших времен.

Научная деятельность университетов, исследовательских институтов, академий наук, высших технических заведений Германии замирает, потому что нет средств оплачивать расходы на их содержание. На освещение, отопление и обслуживание учреждений расходуется столько, что на научно-исследовательскую, т.-е. ученую, и учебную части остается несоразмерно мало. Лаборатории не в силах приобретать себе необходимейшие аппараты и машины; для опытов не хватает реактивов, материалов и животных: дошло до того, что за морскую свинку в июне 1922 г. платили 5--6 франц. фр., за крысу—4 фр., и раздавались голоса о необходимости в законодательном порядке воспретить вывоз за границу кроликов, крыс, морских свинок и мышей; даже столь необходимое для многих опытов и прежде обычное иенское стекло стало недоступной роскошью, вследствие чего опыты потеряли свою точность.

Библиотеки не снабжаются новыми книгами и журналами, особенно заграничными, так как приобретение даже германских произведений печати не по карману библиотекам при их бюджете. Ведь в то время, как на нужды сравнительно небольшой библиотеки Упсальского университета было ассигновано около 34.000 долл. и из них около 17.000 долл. на покупку новых книг, на все свои научные библиотеки Пруссия в ноябре 1922 г. еле смогла дать около 4.000 долл., а до апреля 1923 г. на все потребности этих библиотек и институтов всей Германии Союзом спасения герм. науки израсходовано 10.000 долл.! Правда, в мае—июне 1922 г. было рассчитано, что для приобретения всех вышедших в Германии в течение года необходимых книг следовало бы каждой библиотеке ассигновать по миллиону марок, но множитель (Schlüsdzahl) основной цены, бывший в сентябре 1922 г. 60, уже в декабре дошел до 600, в февр. 1923 г. был 2.000, а в июне 4.200. В результате даже Берлинская и Мюнхенская библиотеки оказались не в силах приобретать многие новинки германских издательств. Нечего и говорить, что гораздо более дорогие издания франц., английские и др., совершенно почти недоступны, так как к их цене присоединяются еще расходы на пересылку и пошлины. С большим трудом Союз спас. герм. науки обеспечил на всю Германию около 4.000 иностр. книг и 800 журналов. А в результате, напр., Берл. Госуд. Библ. вместо 2.300 иностр. журналов зимой 1922—23 г. имела только 200, а Гамбургская вместо 500 в начале 1923 г. только 5. Пробелы за 1914—1921 гг. остаются не заполненными. Вообще в смысле ассигнований

на покупку книг библиотеки вернулись к положению 1900 г. Естественно, что и условия пользования книгами ухудшились, так как штаты библиотечных служащих сокращены.

Не лучше дело обстоит и с музеями, даже такими, которые, как Немецкий музей в Берлине, Римско-Герм. Центр. музей в Майнце, Германский музей в Нюренберге, стоят в центре внимания и государства, и общественных кругов.

Печатание научных книг и журналов стало непосильным делом для издателей, которые берутся за него только при субсидии от государства или от Союза спас. герм. науки, но все-таки цены на все печатное настолько высоки, что главными покупателями являются иностранцы с крепкой валютой. О печатании докт. диссертаций и думать не приходится. Научные журналы или гибнут (как погибли уже Ztschr. f. christl. Kunst и др.), или находятся на краю гибели.

Но тяжелее всего приходится живым научным силам. Профессора получают содержание, почти равное тому, что зарабатывает извозчик, развозящий пиво. Заработок научными статьями ничтожен: «за одну строку научной работы платят меньше, чем метельщику улицы за два взмаха его метлы», как саркастически отметил один немецкий журналист. Приходится для пропитания семейства продавать даже самое дорогое, часть своей души: библиотеку. О покупке книг, поездке с научной целью может быть речь только в исключительно благоприятном случае, при постороннем содействии. «Испытанные ученые должны изнывать в заботах о куске хлеба и часто не знают, на что они будут жить в течение ближайшей недели, ищут подсобных занятий и заработков. Они слишком горды, чтобы жаловаться, но горькая нужда подтачивает их силы» (слова А. Гарнака).

Все же положение профессоров может облегчаться помощью со стороны государства, так как их количество невелико и ценность научных заслуг их признается госуд. властью независимо от их специальности и политических взглядов, да и взрослые дети могут оказывать поддержку. Но поистине трагична судьба молодых ученых, борющихся за признание своей ценности в научном мире. Попрежнему только научные заслуги, а не заслуги или угодливость перед влиятельными лицами могут привести молодого человека к намеченной цели, но для этого ни у кого не может оказаться достаточно собственных средств при современном обеднении средних классов Германии, выделявших из себя главную массу научных работников. Прив.-доценты вынуждены для спасения от голодной смерти себя и семьи прибегать ко всякого рода заработкам, вплоть до поденной работы землекопами на жел. дор. Выработался новый тип «рабочего доцента» (Werkdozent), который наукой занимается мимоходом, поскольку остается времени и сил от добывания средств к жизни. Простой чернорабочий на постройке получает не меньше молодого доктора прав или философии, а рабочий на верфи в Гамбурге получает в 16 раз больше, чем прив.-доцент на философском факультете Кёльнского Университета.

Наконец, изменилось и положение студентов: «буршей» сменили «рабочие студенты» (Werkstudenten), добывающие себе всякими способами средства для пропитания и обучения. Летом 1922 г. из 120.000 студ. оказалось 60.000 раб. студ., причем 37,5% из них работали в качестве подносчиков кирпича, каталей в угольных копях, землекопов и кочегаров. По отдельным городам число студентов, не могущих жить без заработков, колеблется от 50% до 85%; вероятно, не одинаково оно и в разные годы; еще, напр., в декабре 1922 г. хозяйственный комитет студентов Берл. ун-та заявлял, что для окончания своего обучения «почти каждый» студент ун-та должен зарабатывать.

В результате студент учится без уверенности в том, что ему удастся кончить курс, и не имея возможности надлежащим образом проходить курс учения. Подготовляющиеся к профессуре лица лишены многих средств для усовершенствования своих знаний и продвижения вперед в избранной каждым научной области.

Профессора находятся в лучшем материальном положении, но зато морально подавлены уже наступившим запустением и разрушением, а еще более теми последствиями, которые грозят Германии в будущем. Уже закрылись или дышат на ладан ряд интереснейших и важнейших научных журналов: Zetschr f. christl. Kunst (закр. в 1922 г.), Röm Quartalschr. (в крайне опасном положении); вообще предположено поддерживать только определенные журналы, а не все, и то в сокращенном размере.

Заграничные институты, содержавшиеся на счет государства в Риме, Флоренции, Афинах и Каире, зоол. станция проф. Дорна в Неаполе и зоол. станция в Ровиньо, а также частные институты в Риме (Истор. инст. общества Гёрреса и Campo Santo) подвергаются большой опасности: едва хватает денег на наем помещения, а поправка провалившейся части крыши уже чрезвычайно затруднительна; о научной работе и мечтать не приходится. Первейшей важности громадное предприятия, как издание греч. перевода LXX Библии, лат. и греч. отцов церкви, деяний всел. соборов, документов по истории реформации и катол. реакции, деяний Тридентск. собора, сочинений Лютера, Regesta pontificum Rom., Italia pontif., Germania pontif., Gallia pontif., наконец, даже Monum. Germ. Histor., отчасти влачат с трудом свое существование, а отчасти прекратились до лучших времен; то же наблюдается и относительно ряда других, как, напр., Corpus inscr. lat., Corpus inscr. graec., Thesaurus linguae lat., собрания трудов греч. медиков, историков, греч. папирусов, энциклопедии Pauly-Wissowa-Kroll.

Картина положения науки в Германии нарисована действительно жуткая для глаза культурного европейца! Но в той же брошюре проф. Шрейбера даются сведения, заставляющие думать, что вся эта картина, верная для времени до мая 1923 г. уже в декабре 1923 г. должна была коренным образом измениться к лучшему. Весь тяжелый и больной вопрос сделался предметом живейшего обсуждения в печати, на съездах, в рейхстаге; выяснены были причины явления и тяжесть последствий как для Германии, так и для всей мировой культуры, и немедленно же организована была помощь с трех сторон.

1) Министерства внутр. дел, народн. хозяйства и финансов, как общеимперские, так и в отдельных государствах Германии не только расширили свои ассигнования на нужды высшего образования, но и приняли ряд других мер. Между прочим предложено ввести в налоговую политику новые принципы, ведущие к облегчению бремени налогов для работников науки. Напр., книги для ученого то же, что рубанок для столяра; пользуется он ими для общественно-полезной цели; собирается же библиотека ученого ценою урезывания своих потребностей, которое является жертвой его на общую пользу. Задача государства—облегчить приобретение книги ученому, особенно заграничной, через сложение пошлин.

2) Органы самопомощи и частной помощи действуют единодушно и успешно. Представительство общих интересов высших уч. зав. Германии возложено на „Герм. союз высш. уч. зав.“ (Deutscher Hochschulverband), свободно избранный и включающий в себя разнообразные оттенки политических направлений. Но главная роль принадлежит «Союзу спасения германской науки» (Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft), основанному 30 окт. 1920 г. на собрании представителей всех немецких академий наук, университетов, высших техн. заведений, Общества имп. Вильгельма, Союза научно-техн. обществ и общества немецк. естествоиспытателей и врачей; впоследствии присоединились земледельческие и ветеринарные высшие школы, горные и лесные академии. Это—орган самоуправления в „республике ученых“ без всякой даже тени оффициальности: самая мысль о превращении Союза в имперский коммиссариат была решительно отвергнута. Союзу удалось привлечь доверие и симпатии не только ученого мира, но и органов власти и широких кругов общества внутри Германии и заграницей, благодаря чему на помощь науке пришли обильные частные пожертвования. „Комитет учредителей Союза Спасения герм. науки“ (Stifterverband der Notgemeinschaft) под председательством К. Ф. Сименса, директора известной фирмы, собирает и распределяет средства помощи совместно с „Союзом спасения“ и с Гельмгольцевским обществом, представляющим интересы технических дисциплин. Задача „Союза“: 1) оказывать поддержку печатанию журналов, серий и отд. исследований; 2) снабжать аппаратами и инструментами; 3) добывать материал для работы в лабораториях; 4) заготовлять животных для опытов; 5) добывать ученую литературу из-за границы; 6) давать деньги на научные командировки. Внесение планомерности и организованности в разные стороны деятельности отдельных учреждений по уврачеванию нужд науки составляют предмет особого внимания „Союза“. Между прочим любопытно отметить, что для приобретения иностранной литературы страны распределены между университетами по степени предполагаемого соприкосновения с каждым: Бонн собирает литературу романских стран и Голландии, Киль—скандинавскую. Грейфсвальд—нижненемецкую, Гёттинген—английскую, Бреславль—восточно-европейск. и слав., Мюнхен и Лейпциг—итальянскую и балк. государств.

3) Помощь из-за границы притекала обильно и в разнообразных формах. Датская Академия наук пожертвовала по экземпляру всех вышедших в Дании с 1919 г. трудов; из Швейцарии пришли 25.000.000 марок для литераторов; папа Пий XI, сам выдающийся ученый, пожертвовал 20.000 лир на издание Regesta pontif. Rom, 50.000 лир—деяний Тридентск. собора; Anglo-American University Library for Central Europe распределяет обильные пожертвования книг из Америки; Голландия, Швеция, Финляндия, Аргентина, Бразилия не отставали от других; один видный представитель японской промышленности назначил по 2.000 иен ежемесячно в течение трех лет на физико-химические исследования. Помощь студентам оказывали и скандинавские страны через Красный крест, и америк. квакеры через Всемирный Союз христ. студ.; 4.000.000 финск. марок прислано из Гельсингфорса, значительная сумма поступила даже из Англии.

Сам по себе ни один из указанных видов помощи не был бы достаточен, но усилия, направляемые твердой рукой к одной цели, должны дать благоприятный результат в ближайшем будущем, вероятнее всего, уже ко времени появления этого моего реферата в печати. Германия спасла у себя науку в тягчайших условиях своей жизни все-таки своими собственными силами. Живые силы высших учебных заведений и ученых учреждений устояли на своих постах, несмотря ни на какие трудности и лишения; студенты получают в средних учебных заведениях не менее тщательную подготовку, чем прежде, и выделят из своей среды достойных продолжателей славных научных традиций. Ни один университет не закрыт, наоборот, число их даже увеличилось тремя вместо утраченн. Страссбургского: новые открыты во Франкф. на Майне, Кёльне и Гамбурге. Никаких сокращений персонала, закрытия кафедр, ограничения свободы преподавания и т. д. не производилось. А между тем сокращение напрашивалось само собою и, произведенное в широких размерах, устранило бы много затруднений. Ведь, уже до

1911 г. было около 30 исследовательских институтов, но с 1911 по 1922 г. было открыто «Обществом имп. Вильгельма» новых 86 (да еще 11 проектировались к открытию): ясно, что поддерживать такое развитие научной энергии было под силу богатейшей стране и, казалось бы, можно было возвратиться к числу хотя бы до 1911 года. Однако, и нынешняя Германия не отказалась от своей задачи и внешним образом выразила свою принципиальную позицию в том, что инициатор учреждения новых институтов знаменитый богослов Ад. Гарнак избран и председателем центр. комитета «Союза спас. герм. науки».

В. Н. Бенешевич.

Архивы мировой войны.

Экономический и исторический отдел «Фонда Карнеги для пропаганды Интернационального Мира» превратился со времени последней войны в фонд, субсидирующий печатание книг по экономической и социальной истории мировой войны. В основу этой эволюции была заложена мысль, что изучение катастрофических экономических и социальных последствий войны явится наилучшим средством пропаганды в пользу мира. В 1922 году в различных европейских государствах находился в работе ряд исследований: 43 во Франции, 30 в Англии, 29 в Австрии и Венгрии, около десятка в Италии и Бельгии и очень небольшое число в мелких государствах и в Америке. К этому времени повидимому только Англия успела напечатать 4 книжки. В числе подготовленных к печати имеются исследования по различным вопросам: о состоянии земледелия, различных производств, торговли, железных дорог, портов, воздухоплавания и пр. во время войны; об общественном питании, гигиене, призрения беженцев, по положению оккупированных территорий и проч.

В Ленинградской библиотеке Академии Наук получен экземпляр одной из уже вышедших английских книг этой серии, принадлежащей перу архивиста Лондонского государственного архива «Public Record office» Hilary Jenkinson «a Manual of Archive—administration, including the problems of War-archives and archive-making». (Руководство для управления архивами, включающее вопросы об архивах войны и создании архивов). Том этот (243 стр.) издан с внешней стороны прекрасно, в обычном типе английской книги довоенного времени. С одной стороны здесь дается обзор английских достижений в области архивоведения, а с другой делается попытка установить принципы для создания архивов в будущем. Любопытно указание, что количество бумаг, оставленное войною, превышает всю сумму архивного материала нынешнего государственного архива; вероятно это обстоятельство так повлияло на автора, что в отделе об уничтожении бумаг он высказывается за возможно большее уничтожение бумаг в современных канцеляриях. Резко проведенное отгораживание архивиста от историка, в объективность которого автор не верит и которого положительно склонен считать злом в архивной администрации, заставило его придти к плачевному выводу о необходимости оставить дело уничтожения новых бумаг всецело в чиновнических руках.

В книге много ценных технических указаний. Более подробный отзыв о ней будет дан позже.

И. Любименко.

Переворот в области хронологии Египта.

В 1915 г. E. H. Gauthier (в «Le musée Egyptien») издал новые фрагменты аннал Древнего Царства Египта, приобретенные незадолго до того Каирским музеем. В 1917 г. L. Borchardt в своей работе «Die Annalen u. die zeitliche Festlegung des Alten Reiches der Egyptischen Geschichte» сопоставил новые Каирские фрагменты с давно известным науке камнем Палермского музея, сохранившим значительный обломок плиты, содержавшей когда-то эти древние анналы. Borchardt'у удалось восстановить первоначальный вид каменной летописи и путем остроумной комбинации он находит в ней свидетельство о дате восхода Сириуса, звезды, которая, как известно, для определения хронологии Египта играет такую важную роль. На основании указания даты восхода Сириуса было определено начало Среднего Царства 2000 г. до Р. Х., а Borchardt, на основании установленной им даты, определяет начало Древнего Царства, начало правления первого царя, объединителя Египта Менеса—4186 г. до Р. Х. Это хронологическое определение Borchardt'a противоречит общепринятой до недавнего времени датировке Ed. Meyer'a, определившего время Менеса 3400 г. до Р. Х., эпохой, когда и в Вавилонии начали слагаться условия исторической жизни. Датировка Borchardt'a уничтожает столь соблазнительный синхронизм Египетской и Вавилонской истории и доказывает, в случае своей истинности, значительную древность Египетской культуры, перед вавилонской. Теория Borchardt'a поэтому встретила сильную оппозицию, в особенности среди асси-

риологов, но последние раскопки в Библе, кажется, бесспорно доказали справедливость новой хронологии. Здесь была найдена, согласно сообщению Sayse (Journ. Roy. Asiat. Society, 1924, стр. 111), древне-шумерийская статуэтка архаического периода, относящаяся ко времени около 3400 г. до Р. Х. вместе с предметами V династии (датированной Ed. Meyer'ом 2700 г. до Р. Х.). Следовательно Менес, отделенный, как известно, от V династии 700 годами, правил, действительно, около 4100 г. до Р. Х. В виду такого хронологического примата Египта перед Вавилонией гибнут все крайности панвавилонизма, считавшего Египет культурной провинцией Вавилонии.

В. Струве.

Архив и переписка Мольтке-младшего.

В ноябре 1922 года появился в свет сборник документов первостепенной важности, говорящих о подготовке к великой войне и об ее первых месяцах. Это—дневники и личная переписка генерала Гельмута фон-Мольтке, изданные его вдовой Элизой фон-Мольтке (Erinnerungen, Briefe, Dokumente 1877—1916. dl. «Der kommende Tag»). Мольтке заранее подготовлялся в преемники начальника Генерального Штаба графа Шлиффена, выполняя обязанности генерала-квартирмейстера. С 1906-го года до начала войны он стоял во главе германского штаба. Однако, участие его в войне не было длительным: непосредственно после битвы на Марне он должен был сдать должность Фалькенгайну и с тех пор вплоть до самой смерти в 1916 г. не занимал никаких официальных постов и выполнял только роль добровольного советника при германском правительстве, забрасывая письмами Вильгельма II и Бетмана-Гольвега.

Главный вопрос, на который должны дать ответ дневники Мольтке, это то, действительно ли он попал не на свое место, не он ли является первоначальным и главным виновником недостаточного военного успеха Германии в первый период войны, на быстроте которого был построен весь план кампании. Мольтке рисуется нам человеком большого ума и тонкой наблюдательности, но в нем было мало военного. В лучшем случае, это был только придворный генерал, вернее говоря, просто хорошо образованный и критически относившийся к себе человек, который чувствовал себя не на месте там, где требовалось полная уверенность в своих силах, и отлично знал, что ему далеко до военного гения своего дяди. Он был поклонником Метерлинка, живо интересовался теософией Рудольфа Штейнера и вообще обнаруживал склонность к мистике. Война и в особенности неблагоприятная для Германии обстановка, получившаяся ввиду выступления Англии, потрясли Мольтке до глубины души: „Он был в неописуемом волнении и проливал слезы отчаяния". В самом начале кампании он был полон зловещих предчувствий. Октябрьский дневник 1914 года полон сетований на то, что нужен решительный успех хоть где-нибудь, но его все нет и нет. Мольтке отлично понимал, что только беспрерывный ряд побед может спасти Германию—когда германский фронт дрогнул у Марны, он ощутил это, как начало катастрофы. В эти трагические дни он объезжал штабы германских армий. Командующий III армии генерал Гаузен прямо ему заявил, что его войска выходят из повиновения и удерживать дольше позиции становиться невозможным. На свой собственный риск и страх, не дожидаясь одобрения императора, Мольтке отдал приказ об отступлении III армии, в связи с этим пришлось оттянуть назад IV и V армии. „Это было самое тягостное за всю мою жизнь решение, стоившее мне всех душевных сил. Но я считал катастрофу неизбежной, если бы не было произведено отступление. Ночью в три часа я возвратился в главную квартиру в Люксембург. 13-го сентября я доложил императору о происшедшем и мотивировал свой образ действий. Император не обнаружил каких-либо признаков немилости, но у меня осталось впечатление, что он не вполне был убежден в необходимости отступления. Я должен признаться, что мои нервы из-за всего пережитого были ниже всякой критики и я, должно-быть, производил впечатление больного человека. 14-го сентября ко мне явился генерал фон-Линнер и заявил мне, что императору кажется, что я слишком болен, чтобы руководить дальше операциями. Его величество приказывает мне объявиться больным и уехать в Берлин. Генерал Фалькенгайн должен принять на себя руководство военными действиями".

Мольтке лично сообщает Фалькенгайну об этом новом назначении, к крайнему удивлению последнего; Мольтке и Фалькенгайн вместе являются к императору. Вильгельм говорит, что вторичное посещение Мольтке Карлсбада как будто бы его ослабило. Начальник штаба умоляет императора не увольнять его непосредственно после первой неудачной битвы, так как это произведет невыгодное для самого же Вильгельма впечатление в стране. Фалькенгайн того же мнения. Принимается тогда решение официально не объявлять отставки Мольтке, но фактически все руководство военными действиями передать генералу Фалькенгайну, назначив его генерал-квартирмейстером. Мольтке добровольно ради страны и императора взял на себя мученичество два месяца пробыть в ставке и быть безвольным свидетелем действий, хотя и совершаемых от его имени, но совершенно им не одобряемых.

Назначение Фалькенгайна Мольтке считал несчастьем для Германии и открыто это высказывал в письмах к канцлеру и императору. Он вполне сходится с Людендорфом (книга „Kriegslitung und Politik") в отрицательной оценке рассчитанной на истощение врага стратегии (Ermattongsstrategie) своего преемника. Так упускались сплошь и рядом благоприятные для Германии положения.

Первая часть воспоминаний Мольтке вместе с мемуарами двух других начальников главного штаба в эпоху Вильгельма II—Вальдерзее и графа Шлиффена—дает яркую картину развития прусского милитаризма. Мольтке отрицательно относится к его крайностям, к пустой декоративности „петличек, выпушек, отличий" и в самых мрачных тонах описывает обстановку придворного подобострастия, царившую вокруг Вильгельма. Интересен его разговор с императором по поводу неудачной постановки военных игр. Император всегда брал на себя командование над одною из состязающихся армий и неизменно одерживал победу. В конце концов все дельные командиры стали отказываться руководить частями, действовавшими против императора, зная наперед, что они будут побеждены. Мольтке настаивал на полной серьезности ведения дела и предложил императору отказаться самому от участия в состязании и оставаться нейтральным арбитром при главном штабе.

Все старания Мольтке были направлены к тому, чтобы представить себе возможно яснее будущую «войну народов». Он неутомимо работает и страдает каждый раз, когда обязательные вместе с императором поездки на яхте «Гогенцоллерн» отнимают у него драгоценное время.

Мольтке не вырабатывал самостоятельно плана войны, но получил его в наследство почти в готовом виде от графа Шлиффена. Ему принадлежит лишь одно изменение: отказ от прохода через южную Голландию. Тут также выразилась половинчатость и нерешительность Мольтке, делавшие его мало пригодным в тех случаях, когда приходилось ставить все на карту.

В начале своей военной карьеры Мольтке приходилось много путешествовать с различными поручениями дипломатического характера: он бывал в Риме, Копенгагене, Париже, присутствовал на коронации Николая II в Москве и рядом с описанием иллюминаци в Кремле упоминает также и о тягостном впечатлении Ходынки; 16 декабря 1895 г. он был в свите императора при посещении последним Бисмарка. Ярко описана встреча императора с его бывшим канцлером, изложен самый ход разговора. О событиях текущей политики говорить избегали. Бисмарк рассказывал о том, как Наполеон III спрашивал у него совета, вводить ему конституцию или нет? Бисмарк ответил, что покуда у императора французов имеется в распоряжении 50.000 отборной швейцарской гвардии, этот вопрос не имеет особой важности: конституцию можно для опыта ввести и опять ее взять обратно. „Во всяком случае, саркастически прибавил «железный канцлер», монарху удобно иметь вокруг себя буфер из министров, который может принимать остроту первых ударов, а то ведь, чего доброго, народу вздумается во всем обвинять своего повелителя, даже в дурной погоде".

История русской революции. В Берлинском издательстве «Firn» в декабре месяце 1922 г. вышел двухтомный труд Элиаса Гурвича «Geschichte der jüngsten russischen Revolution». В работе Гурвича тщательно использована накопившаяся до сих пор мемуарная литература. Изложение октябрьских событий сделано на основании показаний лиц, непосредственно окружавших в то время Керенского и бывших очевидцами событий. Картина гибели Керенского и описания последнего заседания Государственного Совещания в Мариинском дворце принадлежит к наиболее ярким частям книги Гурвича. Второй том целиком посвящен внутренней борьбе в России: истории московских тайных организаций, фронту, Учредительному собранию и Колчаку, расстрелом которого и заканчивается повествование.

— В Берлине вышел новый труд о германской политике перед войной: Haller Johannes «Die Aera Bülows». Перед нами историко-политическое исследование, подвергающее резкой критике деятельность германского дипломата. В книге впервые публикуется ряд материалов.

— Архивный материал богато использован в недавно появившейся истории мировой войны майора Фолькмана (Volkmann Erich Otto. Der grosse Krieg 1914—1918).

— В начале 1923 года в одном из Штуттгартских издательств вышли мемуары Гана (Hann), директора департамента полиции Вюртемберга. В них дается очерк полицейской охраны (организация и история Sicherheit и Polizei und Reichswehrtrupen) на юге Германии в годы 1918—1922. Особенно интересна глава, относящаяся к периоду, непосредственно последовавшему за восстанием Коппа. Вечером 14-го марта 1920 года в Штуттгарт прибыл президент Эберт вместе с германским правительством. В ближайшие недели центром всей внутренней политической жизни страны был старый дворец в Штуттгарте, занятый бежавшим из Берлина правительством. Здесь Эберт вместе со своими министрами находился непосредственно под охраной Гана. У него лично остановился Носке, весь еще под свежим впечатлением берлинских событий. На глазах же Гана постепенно восстанавливалась связь социалистического правительства со всей

страной, что происходило как-то само собой, без особой активности со стороны самих политических вождей.

— Во Франции вышел в свет последний (пятый) том труда Pierre de la Gorce «Histoire religieuse de la révolution française». Работа эта посвящена периоду между 18 брюмера и заключением Конкордата; автор подробно рассматривает все переговоры и осложнения, предшествовавшие Конкордату, в силу которого была восстановлена церковная жизнь во Франции.

— Во Франции в конце 1923 года вышел в свет труд Augustin Filon «Histoire de l'Angleterre depuis les origines jusqu à la paix de 1919». Книга эта за смертью автора закончена его личным другом M. Novion и издана его вдовой и сыном. Filon с присущим ему научным беспристрастием и проникновением в изучаемый им предмет дает историю Великобритании со времени Плантагенетов до современной нам эпохи, отмечая, что традиционная политика Англии не изменилась в основных своих целях на протяжении всей ее истории.

— В 1920 году Бласко Ибаньес отправился в Мексику с целью изучить на месте ее историю. Он опубликовал книгу «La révolution mexicaine et la dictature militaire» (2 тома), в которой сообщает свои впечатления и заметки, касающиеся дона Venustiano Carranza, когда он стоял у власти, незадолго до того, как генерал Obregon с помощью других начальников и отрядов его сверг. Ибаньес описывает с большой искренностью под свежим впечатлением развертывающихся событий бегства Карранцы, его убийство, триумф тиранического милитаризма и нынешнюю анархию в Мексике.

— Бреславским профессором Friz Xav. Seppelt'ом опубликован сборник источников, относящихся к истории папы Целестина V—«Monumenta Coelestiniana».

— A. Berger опубликовал второй выпуск второго тома и 3-й том своей капитальной монографии «M. Luther in kulturgeschichtlicher Darstellung».

— Fritz Hartung опубликовал труд, посвященный истории Германии в период с 1871-го по 1914-й г.г.—«Deutsche Geschichte von 1871—1917». Он равномерно охватывает все стороны немецкой жизни, но не основывает свое изложение на каких-либо новых, ранее неизвестных источниках.

— Книга J. H. Clapham'a «The economic developement of France and Germany» 1815—1914, возникшая из курса лекций, читанных ее автором в Кэмбриджском университете, содержит хорошо разработанный обзор главнейших явлений хозяйственной жизни Франции и Германии в 19-м веке.

— В издательстве Мейнера, в Лейпциге, вышла книга K. P. Hesse—«Der Kommunistische Gedanke in der Philosophie», представляющая общий обзор коммунистических учений, начиная с древности и кончая нашими днями.

— Истории Чехии посвящен труд R. Beér «Geschichte Böhmens mit besonderer Berücksichtigung der Geschichte der Deutschen in Böhmen».

— Приближенный Вильгельма II лейтенант А. Ниман (A. Niemann) опубликовал книгу «Der Kaiser und die Revolution», посвященную событиям трех месяцев, предшествовавших ноябрьской катастрофе 1918 г. Книга имеет конечной целью реабилитацию б. императора.

Pro domo sua.

В последнее время ко мне неоднократно обращаются с вопросами о каком-то литографированном курсе моих лекций. Пользуюсь случаем, чтобы раз навсегда заявить, что ни за какие литографированные курсы, так же, как за всякие interviews и вообще за все, что не является написанными и подписанными мною печатными книгами и статьями, я на себя ответственности никогда не принимал и не принимаю.

Евг. Тарле.


UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA
3 0112 076145108